



ЕВГЕНИЙ

ЧИРКАСОВ

ТРИАДА

Евгений Чепкасов

Триада

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=18272259

Аннотация

Автор считает книгу «Триада» лучшим своим творением; работа над ней продолжалась около десяти лет. Начал он ее еще студентом, а закончил уже доцентом. «Триада» – особая книга, союз трех произведений малой, средней и крупной форм, а именно: рассказа «Кружение», повести «Врачебница» и романа «Детский сад», – объединенных общими героями, но вместе с тем и достаточно самостоятельных. В «Триаде» ставятся и отчасти разрешаются вечные вопросы, весьма сильны в ней религиозные и мистические мотивы, но в целом она не выходит за рамки реализма. Это умная, высокохудожественная книга о современности как для широкого круга читателей, так и для эстетов.

Содержание

Об авторе и о книге	6
I.	10
Круг первый. Сумерки	11
Круг второй. Вечер дня	27
Круг третий. Ночная темнота	39
Вне кругов. Свет	68
II.	69
Неделя первая	70
Неделя вторая	109
Неделя третья	154
Рецепт	193
III.	194
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ТЕПЛО – ХОЛОДНО	195
Глава первая	196
Глава вторая	207
Глава третья	217
Глава четвертая	232
Глава пятая	250
Глава шестая	265
Глава седьмая	279
Глава восьмая	295
Глава девятая	317
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. КЛАССИКИ	338

Глава десятая	339
Глава одиннадцатая	360
Глава двенадцатая	387
Глава тринадцатая	401
Глава четырнадцатая	422
Глава пятнадцатая	455
Глава шестнадцатая	479
Глава семнадцатая	498
Глава восемнадцатая	514
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ДОГОНЯЛКИ	535
Глава девятнадцатая	536
Глава двадцатая	551
Глава двадцать первая	573
Глава двадцать вторая	597
Глава двадцать третья	614
Глава двадцать четвертая	632
Глава двадцать пятая	648
Глава двадцать шестая	662
Глава двадцать седьмая	678
Евгений Владимирович Чепкасов	696
СОДЕРЖАНИЕ	707
ПРИМЕЧАНИЯ	709
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ	710
ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ КНИГИ	711

Евгений Чепкасов

ТРИАДА

Посвящается моим родителям.

Автор

Кружение. Рассказ

Врачебница. Повесть

Детский сад. Роман

Об авторе и о книге

Об авторе

Евгений Валерьевич Чепкасов. Родился в городе Пензе в 1978 году, живет и работает в Санкт-Петербурге. Писатель, литературовед, этнограф, специалист по рекламе и связям с общественностью, член Союза писателей России, кандидат филологических наук, доцент. Автор книг «Бухта Барахта» и «Триада», художественных публикаций в журналах «Наш современник», «Сура», «Волга» и др., коллективных сборниках «Молодой Петербург», «Молодая пензенская проза» и др. Лауреат Всероссийского конкурса молодых прозаиков (Переделкино, 2004), лауреат Международного фестиваля «Одигитрия» в номинации «Поэт» (Витебск, 2007, 2010, 2013), лауреат премии литературного журнала «Сура» в номинации «Проза» (Пенза, 2009), обладатель гран-при премии им. А.И. Куприна «Гранатовый браслет» (Пенза-Наровчат, 2010), Всероссийской премии им. М.Ю. Лермонтова (Тарханы, 2012). Автор многочисленных научных публикаций, в частности, монографий «Художественное осмысление шаманства в произведениях Ю.Н. Шесталова» (Ханты-Мансийск, 2007, 2012) и «Творчество Ф.М. Достоевского в школьном изучении» (Санкт-Петербург, 2008), а также Интернет-курса «Малые шедевры великой русской

прозы» (2013).

О книге

По мере написания составные части книги «Триада», т.е. рассказ «Кружение», повесть «Врачебница» и роман «Детский сад», – публиковались в журналах «Сура», «Наш современник», коллективном сборнике «Молодая пензенская проза» и были отмечены литературными премиями, а также рецензиями критиков. В 2012 г. книга была издана в Санкт-Петербурге малым тиражом, который быстро разошелся, а в 2014 г. переиздана в Торонто (Канада). Таким образом, перед вами уже третье издание книги «Триада». За эту книгу Евгению Чепкасову была присуждена Всероссийская Лермонтовская премия (Тарханы, 2012).

Вот как оценивают книгу писатели-читатели:

Андрей Воронцов, писатель (о «Хромающем человеке» – повести, состоящей из «Кружения» и «Врачебницы»): «Перед нами действительно «петербургская повесть» – мистическая, глубокая, написанная «кровью души», с сильным влиянием образов Достоевского, но совсем не эпигонская, а напротив, творчески развивающая идеи великих писателей «петербургского периода» нашей литературы. А мы, если говорить честно, уже соскучились по значительным произведениям, созданным в Петербурге».

Ефим Сорокин, писатель: «Роман «Детский сад» – голос настоящего прозаика. Богатство языка и литературных при-

емов позволяют Чепкасову рисовать образы тонко и глубоко. Большой плюс романа – отточенная форма (а форма, как известно, это тоже содержание). В литературной ткани произведения персонажи живут, будто в Иерусалиме: все верующие. Здесь и православные, и свидетели Иеговы, и эзотерики, и атеисты. Здесь любого можно спросить: в чем твоя вера? И получить вполне вразумительный ответ».

В заключение приведем фрагмент **вступительного слова автора** из первого издания:

Книга «Триада» значит для меня очень много. Я писал ее десять лет. Эти десять лет во многом прошли под знаком «Триады», и некоторые события, происходившие со мной и моими знакомыми в этот период, так или иначе отразились в книге. Некоторые события жизни влияли на сюжет, и некоторые события сюжета влияли на жизнь. Кое-что я проверял жизнью, чтобы написать достовернее, а кое-что прописывал, чтобы не прожить в реальности. Но гораздо больше событий случилось со мной помимо моей воли, и именно они коренным образом влияли на то, чтобы книга «Триада» была написана. <...>

Я мистик, и «Триада» – книга мистическая. Речь идет не столько о ее содержании, сколько о том, какая длинная цепь случайностей сделала возможным ее появление на свет. Кто-то прикладывает руку к тому, чтобы такие цепочки возникали, – я в это верю. И теперь книга – в ваших руках. Случайно ли это?

I.

КРУЖЕНИЕ
рассказ

*В сумерки, в вечер дня,
в ночной темноте и во мраке.
Притчи Соломоновы 7, 9*

Круг первый. Сумерки

Вообще-то сумерки страшны: они полупрозрачные, студенистые, вязкие – как дохлая медуза. Падая на город, медуза вытесняет воздух, и людям поневоле приходится дышать ее клейстерным телом. В пряные летние сумерки некоторые умирают от удушья. Лица таких умерших искорежены ужасом...

Но описываемый сумеречный момент случился зимой, и было морозно. К тому же дядя Паша не боялся медузы: однажды летом, оголодав, он принялся жадно хапать ртом медузий студень, и голод отступил. А зимой медуза колкая и невкусная – зимой медузой не поужинаешь.

Дядя Паша озирает людей на троллейбусной остановке, и ему представлялось, что вот сейчас смерзнется медуза, и все они застынут, словно прошлогодняя жухлая трава во льду. Однако это не пугало, а веселило дядю Пашу, и он беззаботно бил оземь мягкой пятой серого валенка.

Людно на остановке, но около дяди Паши будто магический круг очерчен – пусто. Какой-то малыш сквозь варежку тычет пальчиком в центр загадочного круга, а мама зажимает пальчик в шерстяной кулак и что-то шепчет на ушко. Шепчет она долго и вдохновенно, сочиняя, вероятно, сказочку про то, почему никто не подходит к тому человеку, по-

чему он постоянно морщит лоб и бьет ногой о снег и почему один глаз его скошен к носу. Оробевший малыш спрятал лицо в лисьем меху маминой шубы, и женщина улыбнулась: есть теперь, кем пугать непослушного.

Пока мама шептала что-то успокоительное и ободряющее, дядя Паша бочком, бочком, вывертывая одну ногу, подошел к некоему пареньку и, чуть нарочито пуская слюни, попросил оставить докурить. Паренек неторопливо сделал две затяжки и отдал сигарету, брезгливо глядя на слюну, застывшую на щетине подбородка просителя.

Как только дядя Паша докурил бычок до фильтра и поперхнулся едким дымом тлеющей ваты, подполз долгожданный троллейбус. Ехать дядя Паша никуда не собирался, а погреться бы не мешало – вот он и полез в троллейбус, набычившись и тяжело, надсадно мыча. Кучка народа у дверей миглом раздалась, внутри машины гадливо потеснились, и дядя Паша, перестав мычать, свободно поместился. «Идет коза рогатая... Му!» – что-то в этом роде подумал дядя Паша и тоненько захихикал, когда двери с лязгом съехались.

Оттотулив губы, дядя Паша жарко дышал на овальное стекло двери, отодвигался посмотреть, как волнисто плавится лед, и снова дышал. А в его голове на разные лады пели козлы.

* * *

Окна троллейбуса были плотно обиты белыми ветвями

папоротника – совсем как крышка гроба. Кто-то процарапывал глазки в ледяной флоре и получал возможность судить о внешнем мире, но таких любопытных было немного. Троллейбус, обычно весьма прозрачный и бесхитростный, нынче решил поскрытничать и мягко плыл по сумеречному городу, везя в себе неизвестный мир.

Над головой дяди Паши зашипело, затрещало, и ржавый голос проскрежетал: «Роддом». Отверзшаяся дверь легонько пнула дядю Пашу, произошла обычная людская перетасовка, и он, проворно поднырнув под поручень, оказался в лучшем местечке троллейбуса (местечко с трех сторон ограничено задним окном, стенкой и поручнем; это тишайший затон при любом многолюдстве). Как не позавидовать дяде Паше?.. Сам он был совершенно счастлив.

Кстати говоря, не он один пребывал в веселейшем расположении духа: неподалеку кучковались четверо пареньков и уж так смеялись... Они казались ровесниками – шестнадцатилетними или около того; чтобы засмеяться, им было достаточно взглянуть друг на друга, а уж когда рядом возник дядя Паша... Впрочем, они очень старались сдерживаться, один даже зажимал нос, и оттого его прорывающийся смех был похож на чиханье, а другой всё приговаривал: «Тихо, парни: палимся!»

– Доброго здоровья, дядя Паша!

Дядя Паша вздрогнул, поскольку голос раздался у самого уха. «Опять встретились! – подумалось ему. – Часто...»

– Вот и опять встретились! – жизнерадостно воскликнул человек в дубленке, незаметно протиснувшийся к дяде Паше сквозь людскую гущу, и сжал его правое предплечье в том месте, где фуфаечный рукав продран и видна вата (дядя Паша гордился этим рукавом, особенно когда тянул руку за милостыней: тянет руку, а рукав продран и вата видна).

– Часто... – сказал дядя Паша, чуть погрузнев, наморщил лоб еще сильнее и пнул фанерную стенку троллейбуса.

– Не рад, что ли? – недоверчиво полюбопытствовал человек в дубленке.

– Сам знаешь. – Дядя Паша хапнул побольше воздуха и стал медленно выдыхать в стекло, едва не касаясь его губами.

– Рад, рад... – поспешно заключил человек в дубленке. – Хоть ты и злой стал с тех пор, а вижу – рад!

Дядя Паша негромко, страдальчески замычал.

– Ведь тебе как этим паренькам тогда было, столько же? Ладно, прости, не буду напоминать, прости...

Лед под дыханием дяди Паши плавился.

– А ведь мне сейчас любопытная мысль в голову пришла. Лет шестнадцать назад ты бы заревел от восторга, ты любил такие мысли, философствовал всё... Короче, слушай. В троллейбусе люди говорят так же свободно, как наедине. Других они считают чем-то вроде мебели. Ведь любопытно же! Здесь можно подслушать гораздо больше, чем, к примеру... я уж не знаю, где. И открыто, без ухищрений! Как тебе, дядя Паша?

Дядя Паша сосредоточенно дышал в стекло. Человек в дубленке резко припал к его уху и быстро зашептал:

– Почему ты на меня злишься? Я же тебя растормошить хочу, а ты злишься... Ведь я интересные вещи говорю, а ты не дурак, ты ведь отличником был – зачем злишься? Посмотри на тех пареньков: они же не просто так хохочут. Нарики, закурились травки и ну ржать! Послушай, у них сейчас разговор любопытнейший... Слушай!

– Ну прям, любопытнейший! – скептически произнес один из смехачей.

– Это ты к чему? – поинтересовался второй.

– Да вот, сказал кто-то, что у нас разговор любопытнейший.

– Ты гонишь! – убежденно заключил второй. – Докажь ведь, Леш. Ну вот... Так что ты, чувак, совсем. Тебя глючит уже. Кто мог сказать – этот бомж, что ли? – И паренек заразительно расхохотался.

Остальные зараженно заржали следом, но третий (Леша, которого просили доказать, что никто ничего не говорил) вдруг замолк и прошептал страшным шепотом:

– Тихо, парни: палимся!

– Палимся! – передразнил четвертый. – А кто всех зазвал в троллейбусе покататься? Палимся, ха-ха-ха!

Пугливый хохот вновь чертиком проскакал по головам парнишек и притаился. Они продолжили переговариваться.

– А знаете, парни, где сегодня самая крутая тусовка?

– Где всегда...

– Нет, сегодня в церкви.

– В натуре: сегодня в полночь там все наши соберутся.

– Прикиньте, парни, дискотеки позакрывают, тусоваться разрешат только в церкви. Прикиньте, колокольный звон такой, диджей Поп и все пляшут, отрываются...

– Не хрена гнать: Бог накажет.

– Вообще-то, правильно. Не зря же в фильмах показывают монстров всяких из ада или там как душа убитого ходит и всех мочит. По ходу, есть Бог.

– Ну вот и не хрена гнать.

– Не, я понять хочу, как меня Бог наказать может. Демоны, что ли, сюда припрутся и сожрут? А?

– Ну охота вам базарить о таком бреде?

– Не, я понять хочу.

– А что, пойдем сегодня в церковь!

– Пошли. Там все наши и диджей Поп – прикольнемся.

– Ты, Леш, с нами?

– Нельзя мне, я некрещеный.

– По хрену, я тоже некрещеный. Есть здесь крещеные? По ходу, никого... Серый, фиг ли ты тогда: «Бог накажет...»? Пошли-пошли, подзарядимся божественной энергией...

– Подзарядимся... Ха-ха!

– Ха-ха-ха!

– Тише, парни: палимся!

Пареньки ненадолго примолкли.

– Вот такие дела, дядя Паша... – прошептал человек в дубленке. – Страшно это, страшно...

– У них бесенок по макушкам скачет, – заинтересованно заметил дядя Паша. – Как обезьянка – и мордастеный такой...

– Это бывает, дядя Паша. Это ничего...

– Он их съесть хочет... Пускай, нечего смеяться... Хвостатенький...

Внезапно салон троллейбуса пропитался мутным унылым светом; желтоватенький свет чем-то напоминал дешевые столовские щи. Кое-где в продолговатых светильниках, грязных изнутри, не хватало лампочек, и такие их участки были омертвело-темными. Светильники эти всегда казались дяде Паше живыми – кем-то вроде светляков, которыми унизаны травинки в болотистой местности. Вообще, дядя Паша мало кого жалел, а вот троллейбусных светляков с омертвелыми темными телами ему было жаль – хоть плачь. Он был уверен, что их придавили.

Дядя Паша порывисто обернулся. В одном из светильников, видных ему, не хватало лампочки, и дядя Паша, болезненно скривившись, уткнулся в слепое окно.

– Светляков жалко? – участливо поинтересовался человек в дубленке.

– Подранок есть, – сказал дядя Паша. – А остальных не тронули. Может, оклемаются...

– Не понимаю я тебя: светляков тебе жаль, а к людям рав-

нодушен. Их вот, к примеру, бесенок собирается сожрать, а тебе всё равно.

– Они пусть сами думают... Им весело, а подранку больно... – И тут он вдруг насмешливо глянул в лицо собеседнику, будто разгадал какую-то каверзу. – Зачем ты?.. Ведь людей здесь не-эт!..

– Странный ты, дядя Паша, – задумчиво молвил человек в дубленке. – Но я тебя люблю.

После этого он надолго замолк.

– Задняя площадка, оплачиваем свой проезд! Проездные предъявляем! Вижу... Студенческий с собой? Вижу... Я вас немножечко потесню... Хорошо. У вас что? Два? Вот сдача. Вижу...

Кондукторша продвигалась неторопливо, энергично и неумолимо – как ледокол. Приходилось только удивляться, каким образом ее массивное полногрудое тело проникает сквозь людские дебри. словно космическая ракета, кондукторша разогрелась от трения: ее мясистое лицо взмогло, и она, приостановившись на мгновение, отлепила ото лба прядь русых волос и упрятала под шарообразную шерстяную шапку.

– У вас что? – обратилась она к четверке смешливых пареньков. – Предъявляем, не ждем.

Смехачи переглянулись, будто не понимая, чего от них хотят, и внимательно посмотрели на кондукторшу.

– А чего она такая потная? – поинтересовался один и тот-

час же зажал нос пальцами, запирая подкатившее хихиканье.

– Из бани, – предположил другой и расхохотался.

– С легким паром! – поздравил третий сдавленным голо-
сом и заржал.

Четвертый ничего не смог вымолвить, он лишь уперся лбом в заиндевелое стекло и затрясся, как от рыданий. Его лицо перехватило судорогой, точно невидимой повязкой, которую всё затягивали и затягивали.

На счастье пареньков, троллейбус остановился, двери разъехались, и они, не сговариваясь, сиганули вон и уже на остановке корчились от хохота, будто их кто под дых ударил.

– Вот ведь хулиганье! – возмущенно воскликнула кондукторша и, погладив хвост талонной ленты, спросила убыстрившимся и поглубевшим голосом: – У вас что?

Дядя Паша с важностью достал из кармана фуфайки проездной и предъявил.

– Школьный?! – прошипела кондукторша, пятнисто краснея и утирая пот. – Сколько тебе лет-то, школьничек?

– Шестнадцать, – спокойно ответил дядя Паша и убрал проездной.

– Не, вы гляньте! – чуть ли не завопила она. – Шестнадцать лет ему! Бесстыжий! Да тебе два раза по шестнадцать, ты мне ровесник!

И тут странное выражение проявилось на гневном, разгоряченном лице женщины. Она замолчала, чуть ухмыльнулась, и дяде Паше показалось, что, прежде чем уйти, она под-

мигнула ему. У человека в дубленке кондукторша проездного не спросила.

– Действительно, странно... – задумчиво пробормотал человек в дубленке. – Зима, а она потеет... Почему ты, кстати, сказал, что тебе шестнадцать? – спросил он, точно спохватившись.

– Не знаешь как будто! – проворчал дядя Паша, болезненно скривившись. – В шестнадцать я умер. Жил-жил и умер. А то, что взрослый теперь, – это мне наказание.

– Извини, дядя Паша, я запамятовал, – с серьезным сожалением молвил человек в дубленке.

А дядя Паша, оттопулив губы, жарко дышал в стекло, отодвигался посмотреть, как волнисто плавится лед, и снова дышал. Он почти улыбался, мысленно перебирая цветные лоскутки воспоминаний о детстве.

* * *

– За тетю Ма-ашу... Молодец! За дядю Серё-ожу... Умничка! За бабу Ка... Не хочешь за бабу Катю? Как не стыдно – она тебя пирожком угощала... Давай-ка, родной! За бабу Ка-атию... Вот так. А последнюю ложечку за мамочку, за мамочку... Вот и покушали, а говорил не съешь. Утри ротик!

Мамочка счастливо улыбалась и, откинувшись на спинку стула, наблюдала, как Пашенька утирает ротик белой ма-

терчатой салфеткой и обеими ручками отодвигает тарелку с крупинчатыми мазками манной каши на бледно-голубом орнаменте. Иной раз, глядя на сытого сынулю, мама плакала спокойными, привычными слезами – не задышалась, не била себя в грудь, не всхлипывала даже, а лишь плакала и улыбалась. Мама никогда не предлагала Пашеньке ложки за папочку, а тетя Маша, и дядя Сережа, и баба Катя были всего лишь соседями по коммуналке – хорошими, правда, соседями. Они жалели мамочку, предлагали что-то, непонятное Пашеньке, – познакомить ее с кем-то, но она отказывалась и только плакала, глядя на сытого сынулю.

Этот лоскуток воспоминаний о детстве был белым – цвета манной каши и салфетки.

Прикрывая ладошками клетчатые листки бумаги, дети слюнявили цветные карандаши и напряженно рисовали что-то, скрытое ото всех. Закончив, они крепко прижимали рисунок к груди и бежали к воспитательнице – главному цензору и искусствоведу. А та хвалила – почти всегда хвалила, разве что могла обмолвиться иной раз, что трехногих собак не бывает. И вдруг она вскочила со стула с каким-то рисунком в руках и гневно воскликнула:

– Смотрите, дети!

Пашенька, как и остальные детсадовцы, посмотрел: оказалось, что один мальчик черным карандашом начертил большую загогулистую свастику.

– Смотрите, дети! – гневно воскликнула воспитательница и разорвала рисунок. Позже Пашенька думал, не договорилась ли воспитательница с тем мальчиком: ну кому захочется по собственной воле изображать свастику?

Сам Пашенька рисовал хорошо. Особенно ему удавались богатыри: на коне, с мечом-кладенцом или копьем, они кололи драконов в брюхо или рубили им головы. Воспитательница не раз поручала Пашеньке копировать простенькие рисунки из какой-то заветной книжечки, что было очень почетно. Один из них хорошо запомнился: воздушный бой, фашистский самолет, разорванный взрывом надвое, словно он был бумажным, и наш самолет-победитель. Пашенька скопировал всё очень похоже и тщательно закрасил клетчатое небо голубым карандашом, хотя этого и не требовалось.

Когда детсадовцев выводили на прогулку, Пашенька часто смотрел в небо каким-то вопрошающим взглядом. Затем его забирала мама. Она уже не плакала непонятно о чем, а подолгу молилась.

– Эх, ушла бы я в монастырь, да на кого я тебя, родимого, оставлю? – иногда тихо говорила она, поднимаясь с колен. – Мой грех в монастыре отмаливать надо!

Это лоскуток воспоминаний о детстве был голубым – цвета неба, нарисованного и настоящего.

А небо было всё тем же – голубым и нестерпимо ясным. Голые деревья, росшие вдоль дороги, окунали в него ветви и

походили на дворницкие метлы. Деревья орали по-грачиному. Паша семенил ножками, держась за мамину руку, задирал голову и слушал грачей. Дорога вела в церковь.

Наконец на ликующем небесном фоне прорезался тусклый позолоченный купол, и он показался Паше каким-то несчастным, обездоленным. Внутри храм был того же цвета, что и купол, – золоченым, но словно вылинявшим, а бледновато-желтые священнические ризы выглядели довольно поношенными.

Но началась служба, и всё для Паши преобразилось: слова молитв, как сказочные заклинания, превратили унылую церковь в чудесный дворец, окружающее стало величественным и чарующим. «Так вот куда меня мама привела! – восхищенно подумал Паша. – Здесь хорошо и весело, это всё равно, что смотреть на небо...»

Служба закончилась, прихожане поцеловали крест и тихо разошлись. Неумело крестясь и кланяясь храму, Паша заметил, что купол с восьмиконечным православным крестом сияет ярко-ярко в лучах солнышка. Мальчик улыбнулся понимающе-хитровато и пошел восвояси вслед за мамой.

– Ма, а церковь грустная, ненарядная такая – это ведь для маскировки? Ну, как на войне, чтобы враги не заметили? – все приставал он дорогой, и мама, улыбнувшись, согласилась.

Раньше мама лишь крестила Пашу на ночь, а в тот день он прочитал «Отче наш» и «Богородицу», повторяя вслед

за ней. Лежа в постели, мальчик сквозь ресницы смотрел на коленопреклоненную маму и думал, что вот сейчас она поднимется и вновь прошепчет про свой грех и про монастырь. Но она поднялась молча, со следами от слез и потушила настольную лампу.

«Я уйду в монастырь и буду молиться за тебя, мама!» – подумал вдруг Паша и тихо заплакал.

Этот лоскуток воспоминаний о детстве был желтым – цвета церковного купола и солнышка.

– Я, пионер Советского Союза... – начала вожатая громко и сурово.

– Я, пионер Советского Союза... – хором повторили дети, выстроенные на мощенной булыжником площади. Было что-то жутковатое в этом хоровом «я».

– ...перед лицом своих товарищей торжественно обещаю... – продолжила вожатая еще суровее.

Дети послушно повторяли, а памятник кому-то бородатому, возвышавшийся за ее спиной, смотрел на посвящающихся каменным взглядом. Он казался именитым гостем, специально приглашенным по такому случаю.

Паша, слегка утомленный строевым походом к площади, облизанный шаловливым весенним солнышком, разморенный, машинально повторял вызубренную клятву и улыбался. Когда дети закончили клясться, Паше показалось, что памятник чуть кивнул головой.

И тут к посвященным по команде бросились, кинулись, ринулись старшие пионеры и с ловкостью профессиональных душителеев накинули на их шеи треугольные алые галстуки и стянули узлом. Так Паша стал пионером.

Он вернулся домой усталым и радостным, хотя после посвящения был задумчив и чуть ли не хмур. Он чувствовал себя не вполне достойным пионерского галстука, но молчал, когда накануне учительница спрашивала об этом у класса. «Ничего, я заслужу!» – решил Паша и вспомнил слова клятвы об уважении к старшим. «Ничего, я заслужу!» – весело повторил Паша мысленно и припомнил, что на исповеди священник говорил ему о почитании родителей.

– Заслужу – заслужу! – пел он, взлетая по лестнице на четвертый этаж...

Паша вернулся домой усталым и радостным. Из общей кухни умопомрачительно пахло пирогами с вареньем – расстаралась мамочка. Он нежно улыбнулся, скинул ботинки и тихо вошел в комнату. Мама, отдыхая после готовки, сидела за столом и читала Евангелие. Мальчик показал галстук, поразовался маминой радостью, сходил выпить кипяченой воды и возвратился серьезным и торжественным.

Мама выжидательно смотрела на него.

– Я уйду в монастырь и буду молиться за тебя, мама! – тихо и твердо вымолвил Паша давно продуманное.

Мама посмотрела на него каким-то переливчатым взглядом: сперва недоверчиво, потом радостно, затем испуганно;

она смотрела долго-долго и наконец заплакала.

Этот лоскуток воспоминаний о детстве был алым – цвета пионерского галстука.

Дядя Паша почти улыбался, мысленно перебирая цветные лоскутки воспоминаний о детстве: вот лоскуток белый, вот голубой, вот желтый, вот алый... Дальше он вспоминать не хотел.

– Послушай-ка, дядя Паша, – внезапно обратился к нему человек в дубленке. – А ты никогда не задумывался, отчего священники в соборе такие нарядные? Они то в белых ризах служат, то в голубых, то в желтых, то в алых... А монахи всё время в черных, черноризники! Отчего так?

– Думать, что ли, больше не о чем?.. – пробормотал дядя Паша.

– А может, и не о чем, – произнес человек в дубленке загадочным тоном. – Я, может, в этом году в монастырь ухажу.

– Ты?! – завопил дядя Паша так, что пассажиры оглянулись на него.

– Я! – самодовольно подтвердил человек в дубленке. – Говори, пожалуйста, потише.

Вдруг где-то поблизости зашипело, затрещало и громкий ржавый голос проскрежетал: «Роддом». Троллейбус замкнул круг.

Круг второй. Вечер дня

Троллейбус замкнул круг, остановился и неловко, жалко открыл дверные створки, словно ушибленные лапки поджал. Дядя Паша обернулся, отступил на шаг в сторону и вгляделся в прямоугольник внешнего мира. А вовне из тончайших, чуть заметных сумеречных волокон уже соткался добротный пуховый платок вечера. Небо, еще чуть освещенное откуда-то снизу, было густо-фиолетовым и почти беззвездным.

Люди вышли, люди вошли, двери схлопнулись, троллейбус мягко поплыл по вечернему городу, и в салоне вновь возникла иллюзия самодостаточности. На самом же деле неизменными, выдержавшими полный троллейбусный круг, были лишь дядя Паша и человек в дубленке, а также кондукторша, прикованная к троллейбусу, как гребец к галере. Всё остальное стало иным.

Час пик миновал, и давки уже не было. Большинство пассажиров сидели, а остальные вольготно стояли, держась за поручень. Дядя Паша, ошарашенный новостью о монастыре, тупо смотрел на продышанный глазок, подернувшийся тончайшей нежной наледью. Человек в дубленке стоял рядом и молчал с видом непрофессионального актера, произнесшего реплику и томящегося в ожидании следующей.

А неподалеку расположилась парочка. Такие парочки все-

гда размещаются около заднего окна, вдоль низкого поручня, иногда их число достигает двух или трех одновременно, и тогда поручень напоминает кукан с рыбой. Конструкция данной парочки была классична: девушка – спиной опирается на поручень, который пролег чуть ниже лопаток (обломков крылышек), ножки вместе, головка слегка приподнята; парень – держится за поручень обеими руками, окружив подругу своеобразным полуобъятием, ноги на ширине плеч, голова принагнута.

Дядя Паша покосился в сторону парочки, и человек в дубленке отодвинулся, чтобы не загромождать.

Румяные лица, свербящий запахок молодости и перегара, короткая поношенная кожанка и лохматая шуба из шкуры неизвестного науке зверя – это почти всё, что одномоментно воспринял дядя Паша. Со второго взгляда можно было заметить, к примеру, проплешину на шубе, кое-как прикрытую шерсткой (явно поработали расческой, даже бороздки от зубчиков видны). Подобная жалкая попытка молодиться роднила шубу с лысеющим мужчиной. Но носители ветхих одежд были молоды. Они спокойно смотрели то в лицо друг другу, то мимо, изредка официально улыбались и молчали.

– Сегодня у тебя? – спросила наконец девушка.

– Да. Тетка уехала, – ответил парень.

И вновь почти унылое молчание.

– Тебе какую шоколадку? – спросил парень.

– С орехами, – ответила девушка и улыбнулась более есте-

ственно.

Он чуть склонился и наискось мотнул головой (не поймешь, куда пришелся поцелуй, – на ноздрю, щеку или скулу). Улыбка девушки одеревенела, парень распрямился и безразлично уставился на изузоренное морозом стекло.

Человек в дубленке вновь прислонился к продольному поручню и скрыл парочку от взгляда дяди Паши. Занавес.

– А ты знаешь, – мечтательно произнес человек в дубленке, – я ведь давно думал в монастырь уйти, да всё как-то...

Лицо дяди Паши внезапно преобразилось: он резко расправил складки на лбу, и тот оказался не таким уж и низким, а просто усталым, просто измученным, с тремя продольными морщинами. Одновременно дядя Паша стиснул челюсти, так что зубы скрежетнули и взбугрились щетинистые желваки.

– И ведь буквально с детства мечтал... – простодушнейшим образом продолжал человек в дубленке.

Дядя Паша с хрипом выдохнул в стекло, прерывисто, судорожно вздохнул и, успокаиваясь, выпустил воздух тонюсенькой струйкой. Ледяная поверхность стекла проплавилась, и дядя Паша, прикинув глазом к миниатюрному оконцу, увидел крупную, нежную, чуть грустную звезду.

– Ты, кстати, в церковь сегодня пойдешь? – поинтересовался человек в дубленке. – В полночь там...

– Куда ты едешь? – перебил дядя Паша.

В ответ тот слегка снисходительно, почти удивленно, жа-

леючи глянул на спросившего и смолчал, словно думая: «Ну и глупый же вопрос!» Затем молчание стало нейтральным и прочным.

– А ну-ка, кто еще хочет приобрести билеты? Спасибо, красавица! Вижу, родимый. Задняя площадочка... Не надо пенсионного, я верю. Вот вам билетик, барыня-сударыня! Проездные? Верю, верю, совет вам да любовь!

Парочка улыбнулась словам кондукторши, как улыбались все пассажиры, а та, разгоряченная и веселая, похожая на базарную торговку пирожками, задержалась возле дяди Паши, словно чего-то ожидая.

– Что с тобой? – изумленно спросил тот (он уже с полминуты как обернулся и наблюдал за кондукторшей). – Ты была другая...

– А мне скучно быть одинаковой, – озорно ответила она. – Ты погоди, погоди, дядя Паша, я еще покажу, какая я могу быть.

Кондукторша явственно подмигнула.

– Ты меня знаешь... – сказал дядя Паша, но не удивленно, а как-то грустно. – Все меня знают...

– Будет следующий круг, – проговорила она тихо, с почти яростной интонацией, – и будет ночь, и мало народа будет в троллейбусе, и я покажу...

Не договорив, женщина резко развернулась и ушла. Дядя Паша ошеломленно посмотрел на ее удаляющуюся тучную фигуру и наморщил лоб.

Внезапно девушка, притиснутая парнем к поручню, громко засмеялась – то ли разговор кондукторши с оборванцем показался ей смешным, то ли еще что. А дядя Паша вдруг скукожился, стиснул уши ладонями с оттопыренными, дрожащими пальцами и заскулил – заскулил тихо и жалобно, пощеньчы.

* * *

Смех, нутряной и какой-то икающий женский смех, уже давно стал страшнейшим из наваждений дяди Паши. Вслед за смехом всегда вспоминалась пульсирующая подвижная темнота плотно сомкнутых век. Темнота плыла и кружилась, словно водоворотистый омут, и Пашу (в то время ему было шестнадцать) сильно тошнило. Вскоре на мутном фоне тошноты проступали другие ощущения, появлялось осязание, и Паша начинал чувствовать свое тело.

Он лежал на узкой кровати, ничком и косо, так что левая нога его свешивалась. Между ним и кроватью присутствовала какая-то прослойка, теплая и влажная, и он не вдруг понимал, что это женщина. Он лежал и ощущал, как крупный сосок упирается в его душку – нежное, сокровенное место под кадыком, обрамленное двумя трепетными жилками. Женщина под Пашей дышала, и сосок давил то сильнее, то слабее, то сильнее, то слабее, и не было возможности пошевелиться.

Невыносимое омерзение, тошнота, вращающаяся темнота

сомкнутых век и плаха женского тела – таков был неизбывный кошмар дяди Паши.

Но дядя Паша лишь смутно помнил то, что случилось после, – хоть в этом ему посчастливилось. А случилось следующее: женское тело приподнялось, и Паша, соскользнув с него и с кровати, гулко ударился бедром о дощатый пол. Грянул смех, несколько иной, чем раньше, Паша распахнул глаза, и ему почудилось, что с кровати свесился некто трехголовый. Две колышущиеся головы оказались грудями, а третья, просмеявшись, игриво спросила:

– Ты счастлив, Пашенька?

Паша вскочил и, зажав рот рукой, кинулся к двери (не та!), к другой, попал наконец в ванную... Там его продолжительно и неудержимо рвало над раковиной. Потом он рыдал, умывался и полоскал рот холодной водой, мутной от хлорки.

– В ванной чисто? – беспокойно и грубо поинтересовалась голая бесстыдница, когда Паша вышел.

Он кивнул и увидел, что ногти у нее на ногах крашены красным лаком; вновь резко затошнило. Паша внезапно понял, что наг, и устыдился, но прикрыться рукой показалось ему слишком пошлым, и он повернулся боком к женщине, своей ровеснице.

– Ты вроде и пил-то мало... – произнесла та почти задумчиво и, хмыкнув, шлепнула его по заднице. – Ладно, для первого раза ничего!

И на мгновение обняв трясущегося Пашу, проскользнула

в ванную и неплотно прикрыла дверь, будто приглашая подглядывать в щелочку. Струя воды звонко ударилась об эмаль. А Паша вдруг ощутил какое-то сладостно-тягучее чувство от мерзости произошедшего, и это чувство плавно переродилось в похоть. Пашин рассудок, уже давно бездействовавший, почему-то ожил и сильно заинтересовался сходной сущностью омерзения и похоти, но истерически спокойные и весьма абстрактные мысли прервались.

– Ты в монастырь-то как – не раздумал идти? – донесся издевательский женский голос, а затем и смех.

Паше захотелось убить гадину, но он лишь заплакал, поспешно оделся и выбежал в душные летние сумерки.

«Почему?! – оглушительно думал он, пробегая квартал за кварталом. – Что же это?.. А как же мама, монастырь, я?..»

Задышавшись, Паша взобрался по лестнице на четвертый этаж и трижды ударил по звонку кулаком.

– Пожар, что ли? – недовольно пробормотала соседка по коммуналке, открывая дверь. – Мама твоя в магазин ушла.

«Спасибо!» – мысленно поблагодарил кого-то Паша и прошел в комнату. Первым делом он корявым почерком написал записку («Прости меня») и положил ее на мамино Евангелие. Вторым делом он открыл окно и хотел было перекреститься, но не стал, словно побоялся, что исчезнет. Третьим делом он вскарабкался на подоконник, задержал дыхание, как перед прыжком в воду, и выбросился.

* * *

Дядя Паша тихо и жалобно скулил, стиснув уши ладонями с оттопыренными, дрожащими пальцами.

– Что ты? – встревоженно спросил человек в дубленке, и, судя по всему, спрашивал он уже не в первый раз.

– Смех!.. – с мукой ответил дядя Паша.

– Какой смех? Нет уже никакого смеха, а парочка на той остановке вышла... Сам послушай.

Дядя Паша отчетливо слышал негромкий голос собеседника даже сквозь притиснутые к ушам ладони, а смех – как внутренний, так и внешний – и впрямь исчез. Осторожно, недоверчиво, всё еще страшась ошибиться, выпустил голову из рук, резко схватился за нее вновь, будто боясь, что она упадет без поддержки, а затем отпустил окончательно: кошмар действительно миновал. Перестав скулить, дядя Паша желтыми обкусанными ногтями содрал тонкую наледь с продушанного оконца во внешний мир и торопливо посмотрел туда. Как и ожидал, он вновь увидел крупную, нежную, чуть грустную звезду и почему-то мгновенно успокоился. Казалось, что звезда неспешно следует за троллейбусом.

– А ты сам-то пойдешь? – поинтересовался дядя Паша, и человек в дубленке прищуристо поглядел на него, словно не вполне понимая, а после ответил:

– Конечно, пойду. В полночь – как штык. Правда, народу будет уймаща, пьяные всякие – но неважно, главное не это. Обязательно, обязательно нужно в церкви быть сегодняшней

ночью...

Дядя Паша хмыкнул.

– И зря смеешься: пусть они пьяные, пусть парочками, пусть тискаются потихоньку, а всё равно лучше, если придут! – с горячностью говорил человек в дубленке. – Ясное дело, мало кто понимает, что это за праздник, идут в основном из-за стадного чувства, потому что так принято, потому что зрелище...

Он говорил, а дядя Паша глядел на него и чувствовал, что есть в говорящем какое-то несоответствие, какая-то неуловимая нелепица – вроде тени, падающей навстречу источнику света. Вглядывался, вглядывался и наконец понял: ораторствуя, человек в дубленке сладко прикрывал глаза – наподобие кота-мурлыки. Дядя Паша хмыкнул вторично.

– Ну, я не знаю, дядя Паша... – обиженно перебил себя оратор. – Это до какой же степени надо опуститься, чтобы смеяться над такими вещами! Ты же верующим был, болезненно верующим – по крайней мере, до шестнадцати лет. – Он вновь прикрыл глаза – возможно, чтобы утаить странноватый взгляд. – Хотя бы из уважения к себе тогдашнему мог бы...

– Вон! – сипло, почти беззвучно заорал дядя Паша.

– Еще чего! – холодно отозвался человек в дубленке и, видимо, передразнивая, принялся усердно дышать в стекло. Лед не плавился.

Стиснув зубы, дядя Паша лягнул стенку троллейбуса, по-

елозил рукавом фуфайки по заветному миниатюрному оконцу и посмотрел на звезду. Он знал, что непременно увидит ее, хотя троллейбус успел свернуть чуть ли не в противоположную сторону, – знал и увидел, увидел и успокоился, при-смирел, почти улыбнулся.

– Впрочем, – произнес точно через силу человек в дубленке. – Впрочем, извини.

Троллейбус остановился, двери разъехались, и произошло нечто неожиданное: в заднюю дверь безо всякого сопровождения ворвались две собаки.

Они были великолепны – большой черный кобель, смахивающий на добермана, и маленькая беленькая сучка, дворняжка с востренькой мордочкой. Они, пожалуй, и не заметили, куда заскочили, они совершенно не смотрели на окружающее: они были влюблены.

Да, именно влюблены! На мгновение собаки неподвижно стали под поручнем, на месте парочки, и, приблизив морду к морде, ласково, неизъяснимо ласково поглядели друг на дружку. И столько истинного, столько вечного было в этом мгновении, что никому из тех, кто повернулся в сторону собак, не пришло в голову прогнать их.

Троллейбус тронулся, и собаки поначалу слегка встревожились из-за того, что пол под их лапами заколыхался, но вскоре испуганное повизгивание сменилось повизгиванием успокаивающим, потом – «разговорным». Склонив красивую продолговатую морду, кобель понюхал под хвостом у

сучки – понюхал почтительно и нежно. Именно так, наверное, романтический поэт наслаждался бы ароматом прекрасного цветка, который жаль сорвать. Сучка с настоящей или притворной стыдливостью отошла, но кобель последовал за ней, словно привязанный за нос. Она неторопливо шествовала впереди, а он сзади, на троллейбусной площадке было где развернуться, и они так и прошли «паровозиком» пару кругов.

Затем собаки свернули в проход между сиденьями и стали бок о бок.

– Ишь ты, какую маленькую подружку себе нашел! – добрым голосом сказала одна старушка.

До этого люди молчали и лишь смотрели на собак, но после реплики старушки заговорили почти одновременно:

– Эх-х, нет фотоаппарата!

– Он же ее раза в два больше... Как же они?..

– Красивый пес! Бывают же такие красивые ублюдки!..

– Смотри, смотри, как ласкаются!..

– Да, чего только не увидишь...

И лишь одна тетка подошла к кондукторше и спросила:

– Почему в салоне собаки? – спросила, а сама глядит на них и мимовольно улыбается.

– Выбегут на остановке, – сказала кондукторша и доверительно добавила: – Я ведь их и сама боюсь.

А собаки жили в своем собачьем мире, жили своей собачьей любовью и полностью игнорировали говорящих. Он

склонил тяжелую голову к мордочке подружки, разинул пасть и блаженно прикрыл глаза, а она нежно-нежно покусывала его нижнюю челюсть.

На остановке они без напоминаний выбежали прочь и навсегда исчезли из тесного троллейбусного мирка, а люди еще долго улыбались тихими хорошими улыбками.

Улыбки уже успели растаять, когда вдруг зашипело, затрепало и громкий, пророчески-зловещий голос проскрежетал: «Роддом». Второй троллейбусный круг замкнулся.

Круг третий. Ночная темнота

Второй круг замкнулся, троллейбус остановился и с тюремным лязгом резко распахнул двери. Дядя Паша отвернулся от заиндевелого стекла, отступил на шаг в сторону и тревожно взгляделся в прямоугольник внешнего мира. А извне ночная темнота зорко вглядывалась в него, дядю Пашу, словно тюремщик, который стоит на пороге камеры и вот-вот скажет: «На выход». Никто не вышел из троллейбуса, никто не вошел в него, – вероятно, не хотели мешать свиданию человека и темноты.

Дядя Паша зажмурился: он давно догадывался, что хотя и маскируется темнота, пропитываясь мертвым светом фонарей, на самом деле она черная, и захлебнуться в ней проще, чем в чернилах...

Когда он открыл глаза, троллейбус уже мягко плыл по ночному городу, а темноты не было видно.

Многое в салоне изменилось по сравнению с началом предыдущего круга: количество пассажиров уменьшилось настолько, что почти никто не стоял и были свободные места, да и сами пассажиры изменились. Колыбельное колыхание троллейбуса, его беззлобный вой и слепые окна – всё это способствовало безмолвию, и люди молчали, глядя в никуда.

Они нырнули в себя, думая, вероятно, о разном, но –

странное дело! – выражение их разновозрастных и разнохарактерных лиц было одинаково. Всмотревшись в такие лица, можно увидеть лик человечества, не искаженный ничем внешним. Лик этот печален, причем печаль, проступающая на нем, не минутная, не случайная, а вечная, вселенская даже... О ней легко забыть и сложно вспомнить; чувство, близкое к ней, возникает, когда мы перебираем свои детские фотографии.

Люди с неуловимым отблеском истины на лицах молчали, а человек в дубленке, будто припомнив или поняв что-то, весело произнес:

– А ведь сейчас, дядя Паша, ночь перед Рождеством. Этой ночью, по Гоголю, нечисть в самую силу входит.

Слова человека в дубленке наложились на ощущения недавнего свидания с темнотой, и дяде Паше стало жутковато. Поспешно содрав наледь со своего оконца, он глянул на звезду, невыразимо мягко светившую во тьме. Внезапно туманный зеленый шар пиротехнической ракеты устремился к звезде, повисел рядом и провалился: кто-то расстреливал остатки новогодних боеприпасов. А дядя Паша неотрывно смотрел на звезду и уже ничего не боялся.

На очередной остановке в троллейбус со смехом заскочили три запыхавшиеся женщины лет сорока – едва успели. Свободны были только одиночные места, а женщинам, как видно, не хотелось разлучаться, вот и облепила компания продольный поручень на задней площадке, тяжело дыша, но

не прерывая разговора, начатого где-то вне троллейбуса. Вошедшие торопливо тараторили, будто читали текст на время, причем текст явно эзотерического содержания. В непролазных дебрях разговора часто раздавалось рыканье: реинкарнация, карма, чакра... И еще мелькало слово «ангелы», в отдельности лазурное, но рядом с рыкающими соседями приобретенное сизый цвет.

– А вот и третье блюдо... – тихо пробормотал человек в дубленке, словно подумал вслух.

Затем он резко припал к уху дяди Паши и безо всякой видимой связи с чем бы то ни было быстро зашептал:

– Почему ты на меня злишься? Я же тебя растормошить хочу, а ты злишься... Зачем злишься? Посмотри-ка вон на них. (Кивок в сторону женского трио). Они же не просто так хохочут: нарики, наку... – Человек в дубленке осекся, поняв, вероятно, что явно напутал и повторяется. – То есть не нарики, не накурились (это я оговорился), а обычные современные ведьмочки. – Поправившись таким образом, он уже без запинки произнес: – Послушай, у них сейчас разговор любопытнейший... Слушай!

– Так-таки и любопытнейший... – иронично усомнилась одна из женщин.

– Ты о чем? – осведомилась другая, удивленно на нее глянув.

– Просто кое-кто нашим разговором заинтересовался. Говорит, что любопытнейший.

– Кто же это? – почти испуганно прошептала третья женщина. – Я ничего не слышала.

Первая указующе скосила глаза в сторону дяди Паши и человека в дубленке.

– Тот мужичок, что ли? – спросила вторая сомневающимся полусшепотом.

– Ну да, – утвердительно ответила первая. – Больше никому...

Третья захихикала в ладошку.

– Да тише ты! – прищкнула вторая. – Продолжаем разговор и ни на кого не обращаем внимания. О чем мы говорили?

– Об ангелах.

– Точно. Так вот, Олег на семинаре по ангелам про Атлантиду рассказывал. Она и впрямь существовала. То есть был такой материк – Карагуана, а столица его называлась Атлантидой. Атлантйцы были высокие, краснокожие, голова у них была яйцеобразная, заостренная кверху...

– Кверху?!

– Ну да. Непонятно, правда, чем они думали, но цивилизация у них была классная. Лазеры там, кристаллы какие-то, космические корабли, атомная энергия... Еще они владели сферической магией, в смысле телепортацией, и жили по двести восемьдесят лет.

– А откуда Олег всё это взял? – наивнейшим образом полюбопытствовала широкоокая женщина, обозначенная в нашем повествовании третьим номером.

– Откуда?... – переспросила вторая весьма удивленно. – Из Акаша-хроники, конечно.

– Откуда-откуда? – третья чуть съежилась и прищурила глаз.

– Да темная она – что с нее взять, – успокоительно обратилась женщина номер один ко второй, которая едва в кому не впала оттого, что подруга не знала об Акаша-хронике. – Акаша-хроника – это космический банк данных, – назидательно сообщила она номеру третьему. – Там содержатся сведения о том, что было и что будет. Акаша-хроника – это истина. Некоторые люди умели подключаться к ней: к примеру, Будда, Иисус, Ванга, Серафим Саровский. Ну и Эдгар Кейси, конечно же.

– А что за Эдгар Кейси?

– Ну Эдгар Кейси, знаменитый «спящий пророк». Он впадал в транс и говорил чужим голосом, а за ним записывали.

– Что ж, если чужим голосом заговорил, – значит, правда? – простодушно осведомилась третья.

– Не пытайся казаться глупее, чем ты есть! – очень строго, с величавостью одернула вторая. – Слушай лучше про Атлантиду. Так вот, атланты жили в гармонии с природой: параллельно с научными достижениями у них было всё хорошо и на спиритуальном уровне. Почти все они были целителями там, ясновидящими, ну и с ангелами общались.

– Это как? То есть как общались? – любопытствовала третья.

– Да не перебивай ты! Общались: есть такие специальные техники, с помощью которых можно настроиться на ангелов. Они и сейчас известны, эти техники, и они очень даже простые. Сходи на семинар, и Олег тебе всё объяснит.

– Денег нет...

– Уж как будто не найдешь!.. Займи, в конце концов! Где ты еще такое узнаешь?.. Олег – он еще попов ругал в том смысле, что они скрывают от нас доступ к духовному миру. Он сказал, что они не дают нам общаться с нашими невидимыми братьями и сестрами – и, знаете, с волнением так сказал, даже лицом задергал... Так что, подруга, копи деньги – будешь общаться с ангелами.

Ладно, это в сторону. Вообще-то есть 144 ангела, и каждый имеет свой символ, имя и сферу деятельности. Есть ангелы-стихии, есть покровители профессий – с ними со всеми можно работать, и они будут помогать. Атлантйцы как раз и работали – устраивали коллективные медитации. Был у них еще совет локки – это высшие посвященные, духовные воспитатели народа. Они во всем советовались с ангелами.

– Бредятина! – скептически пробормотал дядя Паша и весьма удивился, что мысленно, совсем как в предсмертный юношеский период, стал выстраивать ряд созвучных слов: Бердяев, берданка, бередить, бродить, Бродский... Постепенно дошел до «баранины». Дядя Паша изумился, взволновался и почти испугался, потому что уже более десяти лет ничему не удивлялся, ни к чему не прислушивался с инте-

ресом, а тут и Атлантида, и Бердяев с Бродским... – Бредятина... – беззвучно, одними губами, словно самому себе не доверяя, прошептал он.

«Так юноша, когда краснеет и понимает, что краснеет, краснеет еще сильнее, – подумалось вдруг. – Кажется, из Достоевского... Или Толстого...»

«Кому подумалось?!» – встрепенулся дядя Паша. Понятно, не ему: это было бы слишком. Значит, фразу произнес человек в дубленке.

– Бредятина! – в третий раз выдохнул дядя Паша.

– Разумеется, бредятина, – готовно подхватил человек в дубленке, зачем-то дождавшись, чтобы слово было произнесено трижды. – Эдгар Кейси, «спящий пророк», – я ведь о нем слышал. Он впадал в транс и отвечал на вопросы – и, знаешь, удачно так: к примеру, надо было спасти жизнь человека – к нему. Так, мол, и так. Он им и выдал, что есть в такой-то аптеке такая-то скляночка. Спасли. Опосля этого можно ведь любые сказочки рассказывать – поверят! А тем, кто не поверит, скажут: цыц, он про скляночку напроорочил, он человека спас... Только ведь пророчествовал он в транс и чужим голосом – милое дело. Ну нормальному христианину объяснять не надо: любил парень поспать и давал тело напрокат кому требовалось, а когда просыпался – пожинал лавры. Зато сколько на нем, наверное, диссертаций защитили – у-у!.. – Человек в дубленке взвыл с каким-то завистливым сожалением, словно все диссертанты попользовались

его идеей или изобретением, а он остался ни с чем. – Ладно, фиг с ними, с диссертантами: они сейчас, наверное, в одном котле с Эдгаром Кейси варятся, а лавровые венки пошли на приправу. (Ну, не поэт ли я?) Жаль только, что бес, который сказочки придумывал, безвестен. Записали ведь за ним всё, книжки издали, а на обложке – Кейси. Будь я тем бесом, мне обидно было бы.

Дядя Паша как-то особенно проницательно посмотрел на него, и тот, слегка запнувшись, продолжил более спокойным тоном:

– И ведь в каждой сказочке начинка – иначе никак. К примеру, сказочка про Атлантиду. Во-первых, сроки. Возникла, дескать, эта цивилизация 150 тысяч лет назад. А по Библии, от сотворения мира каких-то семь с половиной тысяч лет прошло. Мораль: Библия врет.

– Женщина о сроках не говорила, – заинтересованно сказал дядя Паша.

– Гм... Значит, забыла. Не суть важно, сроки там такие. Далее, идея вторая: общение с ангелами, «невидимыми братьями и сестрами». Разумеется, светлым Ангелам те милые женщины на фиг не сдались. Сколько раз Ангелы в Библии являлись людям – по пальцам перечесть можно. А наши ведьмочки спокойненько «работают» с ангелами – с падшими ангелами, конечно же. Идея ясна: общайтесь с бесами, они плохому не научат. Слушай, кстати, что ведьмочка сейчас глаголить будет – ухихикаться можно.

Между тем рассказчица, инвентаризованная как «женщина № 2», уже успела:

а) похвалить мудрых локки, осознавших с помощью ангелов законы Вселенной;

б) отругать гадких варваров, которые совсем ничего не смыслили в законах Вселенной и потому принесли в Атлантиду свои глупые идеи;

в) посетовать на то, что глупые варварские идеи привели к расколу в обществе атлантйцев, к убийствам, войнам и так далее;

г) поведать о трех катастрофах, заставивших Атлантиду погрузиться в морские глубины (взрыв химического оружия, взрыв энергетических станций, атомный взрыв).

– ...И вот после второй катастрофы, – продолжала она, – локки поняли, что Атлантиду не спасти. Тогда они вместе с частью населения эмигрировали в Египет, Палестину и Центральную Америку. В Египте они понастроили пирамид и научили египтян многим полезным вещам. Олег сказал, что в какой-то из пирамид хранятся записи атлантйцев. А в Палестину отправились самые дельные локки. Там они образовали сообщество, которое тогда считалось сектой. Они назывались ессеями. Именно из их среды должен был выйти Иисус, Божий посланник.

– Что?! – вскричал дядя Паша и забормотал: – Если бы я был жив, ересь была бы ересью... А здесь это всё равно, здесь так и надо...

– Интересно? – осведомился человек в дубленке. – То ли еще будет...

– Отстань! – отмахнулся дядя Паша.

А рассказчица всё это время держала эффектную паузу и поплатилась: женщина за номером один обрадовалась возможности прервать поднадоевшее повествование и неожиданно полюбопытствовала:

– А чакра, которая на два цуня ниже пупка, – она как называется? Никто не помнит?

– Сакральная, кажется, или сексуальная – два названия, – ответила вторая.

– Сакральная – значит тайная? – спросила третья.

– Не тайная, а священная. Священная, она же сексуальная. Мы ведь вместе на семинаре были...

– Да нет, я почти все помню, – поспешно произнесла первая. – И названия, и где располагаются, и за что отвечают. Чакры еще часто засоряются, и тогда их прочищают энергетическим шомполом...

Третья вдруг расчихикалась.

– На два цуня ниже пупка – шомполом!.. – едва выговорила она. И вновь закашлялась смехом.

– Пошлячка! – ухмылисто охарактеризовала вторая, и вскоре ухихикивались уже втроем.

А дядя Паша сощурился, скукожился и вжался в фанерную стенку; он чувствовал, что недавний кошмар в любую секунду мог возродиться от женского смеха. Что-то подоб-

ное он ощущал в детстве, когда осторожно шел по льду большой глубокой лужи: лед потрескивал под ногами, но нельзя было ни остановиться, ни пойти быстрее, ни покинуть лед в два прыжка – тогда наверняка провалишься. Вот и сейчас дядя Паша слышал ненадежное потрескивание мира и напряженно цепенел, боясь шевельнуться и повредить Вселенную.

* * *

Пашу, что называется, собрали по кусочкам, а он так и не поверил. Нырнувший с четвертого этажа в адскую бездну, он воспринимал дикую боль как самое естественное последствие прыжка и приготовился терпеть вечность, изредка скрежеща зубами. Но через некоторое время боль почему-то начала утихомириваться, а затем почти исчезла. Паше, жаждавшему вечного наказания, стало обидно, и он скрежетал зубами уже не от боли, а с досады и плевался в бесов, одетых в белое. Однако он внезапно успокоился, осознав, что неудовлетворенная жажда боли, жажда муки и есть страшнейшее наказание. С той поры он иной раз даже ухмылялся и подмигивал бесам, – мол, молодцы, хорошо придумали!

Его выписали.

Как оказалось, ад был до смешного похож на тот мир, из которого Паша выпрыгнул. Даже поселили новопривывшего в такой же дом, как и раньше, в такую же комнату. Вот только жила рядом не мама, а какая-то чужая женщина. Женщина эта ежедневно приходила к Паше в дни боли, и он еще то-

гда выделил ее среди бесов, одетых в белое, – из-за того, что снежная одежда смотрелась на ней неестественно. Неожиданная соседка пыталась доказать, что она его мама, и даже плакала и молилась, часами простаивая на коленях, – у-ух, хитрющая!.. Но Пашу не проведешь!.

Около года он прожил рядом с ней, тихонько посмеиваясь, как человек, постигший механику бытия, а потом приехали бесы, одетые в белое, и увезли странную женщину. Когда ее выносили, она отрывисто вскрикивала, судорожно пыталась приподняться, но падала, и голова ее тяжело билась о носилки. Паша понимающе улыбался, глядя на эту сценку, и в конце концов тоненько захихикал. Сосед по адской коммуналке, очень похожий на прежнего, настоящего, размахнулся и врезал Паше в ухо.

– Ты что?! – воскликнула жена соседа, очень похожая на прежнюю, настоящую. – Он же глупеньким стал после больницы! Он же не понимает!

– Ничего... – злобно произнес сосед, потирая кулак. – Со всем он ее извел, гаденыш!..

А Паша, слегка оглохший, лежал на полу и наслаждался расцветающей болью.

Через несколько дней в его комнате появился гроб, а в гробу – женщина, причем явно не та, которая билась головой о носилки. Сосед по адской коммуналке, ударивший Пашу, стоял на лестничной площадке перед крышкой гроба и постукивал молотком. Он брал астры и двумя ударами вкола-

чивал гвоздь в их мясистый зеленый кадык, второй гвоздь вонзался в стебель. Лепестки астр, узкие, нежные и многочисленные, казались материализовавшимся воплем. А соседова жена кормила Пашу пирожками; она и впоследствии опекала его, когда он уже повзрослел и стал дядей Пашей.

На следующий день поутру в отпахнутую дверь скорбной вереницей стали входить соседи по подъезду, сослуживцы и неслыханные родственники из деревни. Они медленно подходили ко гробу, некоторые стискивали ледяные белые тапочки умершей; потом они подолгу вглядывались в ее лицо и уходили, оставляя деньги на тюле.

Дядя Паша не помнил, отпевали или нет эту женщину. Он помнил кладбище.

Оркестра не было, и гроб несли под птичий щебет. В числе немногих Паша ковылял следом; шли медленно, и он почти не уставал, передвигаясь бочком, по-крабьи, и вывертывая ногу. Еще одним последствием прыжка с четвертого этажа был скошенный к переносице глаз, из-за чего Паше казалось, что мир тайком сделал небольшой шаг влево. Наконец неподалеку от кучи свежей земли и могильной пасти гроб поставили на две табуретки.

– Прощайтесь, – сказал кто-то.

Пашу зачем-то подтолкнули к желтоватому остроносому лицу усопшей. Он отпрянул и стал поодаль, а несколько человек поцеловали умершую в лоб. Зато когда приколотили крышку, опустили гроб в могилу и выдернули вожжи, Паша

первым бросил горстку земли. Точнее, он заметил большой, почти идеально круглый земляной ком, похожий на глобус, взялся за него, но ком рассыпался в Пашиной руке, и в могилу полетела лишь горстка.

С той поры Паша остался один. Он не работал и не учился, жил на деньги, которые ему выплачивало государство, словно оно было отцом, платящим алименты отвергнутому ребенку. Деньги он отдавал соседке по коммуналке, и та вела хозяйство: покупала что надо и прибирала в его комнате. Через несколько лет к имени Паши прилепилось словцо «дядя», а еще через несколько он, более со скуки, нежели по нужде, стал просить милостыню. Просил он странно: ковылял к прохожим и серьезным, деловым тоном говорил: «Слушай, дай две копейки». Подавшие почти всегда принимались неосознанно вычислять, во сколько их щедрость превысила запросы нищего; решив в уме несложную арифметическую задачку, они улыбались. А дядя Паша по примеру многих нищих тратил подаяние на курево и водку. Выпивкой он, впрочем, не увлекался: так, иногда, да еще зимой для сугреву.

Такова была внешняя оболочка жизни дяди Паши, внутренняя же оболочка, та, под которой таится непроницаемая душа, гораздо интереснее.

Как и следовало ожидать от человека в его положении, дядя Паша с любознательностью естествоиспытателя принялся изучать ад. Потом, конечно, надоело, но поначалу мно-

гое казалось весьма забавным. Смешило, к примеру, то, что истязуемые грешники не понимали, где находятся, боялись попасть в ад. И что самое уморительное – здесь даже церкви были.

Дядя Паша зашел однажды в храм, и что-то земное ему вспомнилось, что-то из детства – времени, когда он еще живым был, когда еще в рай мог попасть... И дядя Паша, поддавшись вдруг изощренному бесовскому обману, принялся подпевать клиросу. Но тут такая жуть на дядю Пашу напала, что его залихоманило, от телесной дрожи задрожал и голос, став каким-то козлиным... И словно кто подсказал, как избавиться от ужаса и тряски, – дядя Паша осекся и начал размеренно, очень четко выговаривая слова, материться. Вмиг полегчало, и внезапно он понял, что и на клиросе поют матом, и уж тогда-то он расхохотался. Легонько подталкивая, его вывели из церкви, а он всё смеялся и думал: «Ай да молодцы бесы, ай да искусники!»

Вскоре дядя Паша научился видеть и самих бесов. Было их куда больше, чем людей, как, впрочем, и положено в аду: они кишмя кишели в воздухе, сидели на людских плечах, а мизерная их часть шутики ради маскировалась под ангелов. Воздух походил на кипящую воду с бесами-чайниками, поэтому дядя Паша перестал смотреть на небо, некогда голубое.

Через несколько лет пребывания в аду дядя Паша настолько ко всему привык, что даже не замечал нечисти. Ему словно и неведома была страшная истина; в числе нищенствующи-

щих грешников он просил милостыню на водку и курево у тех грешников, которые спешили в церковь. Сам дядя Паша туда не ходил, лишь на Крещение заглядывал на церковный двор, смотрел, как люди давят друг друга, ругаются и чуть ли не дерутся из-за святой воды, и хохотал до изнеможения. А на Пасху и Рождество он даже милостыню не просил – сам не понимал, почему.

В общем-то, дядя Паша был бы вполне доволен после-смертием, если бы не вырослел, а оставался шестнадцатилетним (ведь так и умереть можно – дальше-то куда?..). И если бы не было того кошмара с тошнотой и женским смехом. И если бы не приставал этот человек, слишком уж напоминающий живого, земного, – человек, одетый в дубленку и стоящий рядышком, в том же троллейбусе, что и дядя Паша.

* * *

Опытная рыбина жует безопасный конец червя, нанизанного на крючок, мудрая мышь потихоньку скусывает сыр со стерженька мышеловки – и обе остаются безнаказанными, потому что делают это медленно-медленно, осторожно-осторожно. С той же медлительностью и осторожностью дядя Паша выбрался из стылого оцепенения, когда смолк женский смех. Окружающий мир утратил катастрофическую хрупкость и замер в мало кому заметном, привычном и совсем не страшном ожидании конца света. Человек в дубленке молча наблюдал за дядей Пашей и почему-то облизывался.

– Вечно ты, подруга, с пошлостями... – пожурила вторая женщина третью, когда они уже сполна насладились колышущейся тишиной послесмешия.

– Правда, посерьезнее надо быть, – поддержала первая. – Ты всё полтергейстами, тарелочками увлекаешься, а пора уже людям пользу приносить.

– Это как? – улыбочиво поинтересовалась третья.

– Как-как – целительством заниматься! – ответила женщина и, манерно избоченившись, выдала: – Мы, между прочим, лечим наложением рук – как Иисус.

– Кстати, об Иисусе, – спохватилась вторая. – Я же не сказала.

– Выходить скоро, – уныло напомнила первая.

– Я быстро, – уверила вторая и затараторила: – В общем, так. Я остановилась на эссеях, потомках атлантийцев, которые в Палестину эмигрировали. Короче, им было откровение, что из их среды выйдет Божий посланник. Ну и вышел. А они обеспечивали Ему помощь и поддержку. На берегу Мертвого моря был тайный учебный центр эссеев (кажется, Курман назывался), и там Иисус проходил обучение. А то, что в Библии написано, что Он лет до тридцати плотничал, а потом вдруг пошел проповедовать – это всё глупость, конечно. Да, и еще ведь Иисус был женат, и жену Его звали Марьям – а потом она умерла. И Он, кстати, на кресте не умер; Он просто овладел методиками этих локки и заставил сердце биться раз в полчаса – вот и подумали, что умер, а

из гроба Он телепортировался. Олег говорил, что, согласно некоторым источникам, Иисус уплыл на корабле во Францию и там уже умер своей смертью. А насчет Его рождения есть две версии: первая – это то, что при рождении в Него вселилась какая-то сущность, а вторая... как уж его... Да, вторая – это что Его душа идеально очистилась в предыдущих воплощениях. Есть еще евангелие от ессеев (археологи недавно откопали) – там обо всём этом подробно написано. Вот так! – победно заключила рассказчица.

– Любопытно-любопытно... – заинтересованно произнесла первая. – Что-то я такое уже слышала – не помню, где. Евангелие от ессеев... Любопытно... Надо бы на семинар сходить!

– А по-моему, всё это сказочка – что Библия, что это ваше евангелие от ессеев... Две тысячи лет прошло – какой смысл что-то вспоминать? Гипотезы, гипотезы – делать, что ли, больше нечего? У нас тут чудеса на каждом шагу, НЛО летают, никаких раскопок не надо – бери видеокамеру и снимай. А вы в древность лезете... – с искренним возмущением и, похоже, даже для самой себя неожиданно вскинулась женщина номер три. – Вот, прям, денег много – ходите на семинары, пишете под диктовку... Вызубрили – и тра-та-та-та-та, лапшу вешать! А вы вообще-то знаете, чем Евангелие от Библии отличается?

– Евангелие от ессеев от Библии? – переспросила вторая, немало удивленная. – Конечно! Нам Олег...

– При чем тут Олег и ессеи?! – выкрикнула третья почти остервенело, и видно было, что она сама себя пугается, но остановиться не может. – При чем?

– Люди, люди кругом! – зашептала первая.

– Пусть люди! При чем? Я спросила о просто Евангелии и просто Библии, – произнесла третья потише. – Чем они различаются?

– Ну... – протянула вторая и беспомощно посмотрела на первую. Та пожала плечами. – Ну... Не знаю, надо будет у Олега спросить.

Человек в дубленке троекратно хлопнул в ладоши, словно зритель, щеголяющий знанием пьесы – знанием того, что далее уже ничего не будет. Далее и впрямь ничего не было: троллейбус остановился, и три женщины молча исчезли в дверном проеме.

А с дядей Пашей творилось страшное. Внешне это выглядело так: приблизительно с середины рассказа второй женщины он зажмурился и уперся лбом в заиндевевое стекло, а лед плавился, плавился... Мысли же дяди Паши напоминали какофонию настраивающегося оркестра, где музыкальные инструменты визжали и ревели не своими голосами. Какофония мыслей абсолютно не зависела от воли дяди Паши, многое в ней было ему непонятно, и лишь одно он знал точно: лучшего аккомпанемента к неслыханно глупой ереси и не подобрать. Слушал он тупо и безучастно, но невольно вникал в каждое слово, и лед под его разгоряченным лбом пла-

вился.

Наконец дядя Паша услышал, как человек в дубленке троекратно хлопнул в ладоши и как троллейбус, остановившись в раздумье, согласно лязгнул дверьми. Какофония мыслей смолкла. Зритель замер в ожидании. Лед плавился.

«Как они посмели? – одиноко подумал дядя Паша в пустоте, внезапно разверзшейся. – Почему они хулили Бога, почему? Бесы знают и трепещут, бесы веруют, а они... – Дядя Паша почувствовал, что время сместилось, сжалось, что так думать может лишь Паша, шестнадцатилетний чистый мальчик. – Они уже в аду, да, но зачем такое жестокое наказание, зачем лишать их возможности узнать правду и раскаяться? Так нельзя думать, так грешно думать, но это нечестно, нечестно! Хотя бы здесь, в аду хотя бы, должна же быть справедливость, должны же они узнать, где Истина, и плакать, и скрежетать зубами оттого, что ничего нельзя изменить!.. И, может быть, в следующей Вечности, если она будет, все грешники простятся, потому что все покаются и все плакали и скрежетали зубами... А эти смеются, смеются!» – и Паша, шестнадцатилетний чистый мальчик, заплакал, а дядя Паша, нежно посторонившийся, плакал уже давно, но слез не было. И лишь когда мальчик, выговорившись, зарыдал, единственная слезинка пала на щетинистую щеку. Вдруг рыдания мальчика пропали, а значит, и сам он исчез, и дяде Паше остались лишь воспоминания о нем, чистом, и влага на правой щеке.

Лед плавился.

– Уж ты не плачешь ли, дядя Паша? – спросил человек в дубленке то ли насмешливо, то ли участливо. – Погоди пока, – добавил он то ли угрожающе, то ли утешительно. – К тебе, кажется, идут. – Последняя фраза была произнесена совершенно бесцветно, и оттого показалась дяде Паше зловещей.

Он обернулся. Долю секунды он видел перед собой изузоренное стекло с проплавленным во льду оконцем; там идилично соседствовали нежная звезда и щербатая луна. Дядя Паша почти уже подумал что-то очень важное, но обернулся и...

На этот раз кондукторша подошла молча. Она тихо остановилась за спиной дяди Паши и, поглаживая нервным движением талонную ленту, стала дожидаться, когда он обернется, и... Лишь по тому, как тяжело женщина выдохнула, стало понятно, что она даже дыхание таила, чтобы производить как можно меньше шума. Дядя Паша полуиспуганно глядел на нее – странно возбужденную, прерывисто дышащую, молчащую.

– Помнишь, – произнесла она наконец, – как я тебе говорила, что будет следующий круг, и будет ночь, и мало народа будет в троллейбусе? Помнишь, дядя Паша?

– Помню, – заворуженно ответил он.

– А помнишь, – продолжала она ужасающе вкрадчивым голосом, – помнишь, как я тебе говорила, что еще покажу,

какая я могу быть?

– Помню, – глухо ответил он, неотрывно глядя на мутную жемчужинку пота на ее левой щеке.

А человек в дубленке, заметно нервничая, дергал дядю Пашу за рукав и что-то говорил, говорил...

– Хорошо, что помнишь, дядя Паша, – таинственно прошепестела женщина. – Сейчас я тебе шепну кое-что на ушко, а ты слушай...

– Это я шепчу ему на ушко! – свирепо рыкнул человек в дубленке, и дяде Паше показалось вдруг, что молния на одежде рыкнувшего с визгом расплзлась донизу, и в щели не оказалось ничего, кроме голого тела, – впрочем, не голого, а густо поросшего прямой жесткой шерстью, похожей на волчью. Заметив неладное, человек в дубленке мигом застегнулся и повторил: – Это я шепчу ему на ушко!

Но кондукторша абсолютно игнорировала его и будто бы не видела даже. Женщина хищно припала к уху дяди Паши и спросила тоненьким помолодевшим голосом:

– Ты счастлив, Пашенька?

И она засмеялась – сначала тихо, потом громче, и постепенно ее смех превратился в нутряной и какой-то икающий – в смех из кошмара дяди Паши.

– Ты?! – завопил дядя Паша так, что пассажиры оглянулись на него.

– Я! – самодовольно подтвердила женщина.

– Вон!!! – дико заорал дядя Паша и топнул, топнул, топ-

нул ногой. – Вон!

– Вон! – рыкнул и человек в дубленке. – Вон!

Но она не ушла и не исчезла: она стояла тяжким, недвижимым монолитом и сладостно ухмылялась. И тут человек в дубленке проворно подскочил к ней и как-то очень ловко взял ее за голову: левую ладонь приложил к низкому лбу, словно проверяя, нет ли у женщины жара, а правой принакрыл шарообразную шерстяную шапку в области затылка, да так нежно, что шапка не шелохнулась. Взяв женщину за голову, он очень коротко и тихо шепнул ей на ухо и отошел.

Словно обезумев, кондукторша сорвалась вдруг с места, кинулась к кабине водителя и что-то кричала, кричала, кричала ему, пока он не остановил троллейбус, не доезжая остановки, и не открыл переднюю дверь. Продолжая кричать, женщина сиганула вон, а троллейбус, недоуменно клацнув дверью, пополз дальше. Если кондукторша и была прикована к нему, как гребец к галере, то теперь она разбила цепи и прыгнула за борт – в открытое море.

– Что ты сказал ей? – удивительно спокойно спросил дядя Паша.

– Да так... – неопределенно ответил человек в дубленке, облизываясь, и любознательно глянул на него.

С минуту молчали.

– А ведь у меня к тебе серьезный разговор, дядя Паша, – медленно и как будто чуть-чуть неуверенно произнес человек в дубленке. – Очень серьезный.

– Ну, – безучастно поторопил тот.

– Скажи, тебе нравится в аду?

– Да так... – неопределенно ответил дядя Паша, безразлично добавив: – А я и не знал, что ты знаешь.

– Знаю, я всё знаю, – уверил человек в дубленке и с волнением продолжил: – А хочешь, я тебе тайну открою?

– Ну.

– Так вот... Первое – это еще не тайна, это присказка только, да ты и сам, наверное, уже догадался... Первое – это то, что я не человек. Не человек – понимаешь? Я бес.

– А, – ужасающе спокойно, меланхолически отозвался дядя Паша. – Понятно.

– Да, бес, бес я – понимаешь? – бес! – нервно зачастил носитель дубленки, явно оскорбленный таким невниманием. – Вот мы с тобой говорим, говорим, а ведь ты ни слова вслух не произносишь. Обо мне и речи нет: меня вообще никто, кроме тебя, не видит. Ну неужели тебе всё это неинтересно?

– Да так... – неопределенно ответил тот и судорожно зевнул.

– Ничего, дядя Паша, ничего, родной, – я тебя расшевелю... – едва ли не жалостливо пробормотал бес, глядя на человека, и зло добавил: – Переборщила она, сильно переборщила – и кто ее просил, стерву?! Пусть теперь побегает!..

Бес задумчиво почесал нос скрюченным пальцем и, обаятельно улыбнувшись, молвил:

– Теперь я даже кривляться не буду: мне уже всё равно.

Веками лгать, а теперь «правда, вся правда и ничего, кроме правды» – это ведь форменное извращение, это ведь приятно! Так вот, тайна очень проста, и состоит она в том, что ты, дядя Паша, отнюдь не умер и что здесь не ад. – И, не давая времени усомниться или возразить что-либо, он проникновенно, с потусторонним жаром зашептал: – Теперь ты мне должен верить, теперь я ни на полсловца не солгу! Помнишь Пашу, шестнадцатилетнего чистого мальчика, который изредка просыпается в тебе? Он всё сетует на несправедливое устройство ада, на то, что истязуемые грешники не ведают Истины, на то, что покаяния лишены. Это ведь его, Пашина слеза на твоей щеке – помнишь?..

Крупная дрожь, почти конвульсия, проструилась по телу дяди Паши снизу вверх, и голова сильно мотнулась в сторону, словно от удара. Бес понимающе кивнул и потер неприметно изменившиеся ладони – что-то с количеством пальцев.

– Вижу – помнишь! – удовлетворенно констатировал черт. – Ты ведь стыдишься его, чистого мальчика, ты ведь жалеешь его, страдальца!.. А помочь-то ему можно, еще как можно. Ведь настоящий, настоящий-то ад, до которого ты не допрыгнул, – он ведь справедлив, в нем действительно плач и скрежет зубовой, и все всё понимают. Ну, так что?..

Дядя Паша молча дрожал и затравленно смотрел то на пассажиров, то на беса, то на изузоренное морозом стекло; след от разгоряченного лба уже успел затянуться наледею.

– Вижу – понимаешь, всё понимаешь! – почти ласково сказал искуситель. – Тебе только успокоиться надо, чуть-чуть успокоиться, а я пока расскажу про свою работу. Говоря по правде, самое сложное было шестнадцать лет назад – довести тебя до грехопадения. А насчет того, чтобы из окошка сигануть – тут просто маленькая подсказочка нужна была, а не подкажи я, ты бы и сам, пожалуй, додумался. А после самоубийства я уже полное право на тебя получил – самоубийц ведь не прощают... Натешился я, конечно, вдоволь! Приятнее всего было, когда ты свою мать до инсульта довел... Помнишь?

Дядя Паша беззвучно, бесслезно рыдал, колотясь головой о стекло, но вдруг перестал.

– А вообще, – говорил между тем черт. – А вообще, я бы мог спокойно подождать, пока ты сам не умрешь. Но ты мне уже наскучил! Извини, но это так!

– А у меня точно получится? – удавленным голосом просипел дядя Паша.

– Из окошка-то? – небрежно уточнил искуситель. – Разумеется, получится. И прямехонько в справедливый ад.

– Ладно, – согласился дядя Паша и, подумав, добавил: – Спасибо.

Бес ничего не отвечал, вид его был торжественен и сосредоточен, а дубленка, неприметно утратив цивилизованность, превратилась в большое черное руно, накинутое на плечи.

«Вот и кончилось... – подумал многострадальный чело-

век. Так думают, глядя на титры, ползущие снизу вверх по экрану телевизора. – Вот и кончилось...»

Ум его был ясен, предельно ясен, и он спокойно вспоминал все гадости и нелепости, сотворенные во второй половине жизни. Так после просмотра фильма спокойно вспоминают о гнусных поступках главного злодея именно потому, что фильм закончился показом тяжкого топора, заслуженно падающего на злодейскую шею, и сырым звуком за кадром.

Человек отлично понимал, что бес прав, что второй дубль – долг перед тем чистым мальчиком, что дубль этот будет удачен. Он всё понимал, но вне зависимости от его воли трусость (нормальная трусость здравомыслящего человека) обуяла его. Он и клял себя, и Пашу вспоминал, и на откровенного беса косился, но постыдный страх не исчезал. И тогда человек, припомнив кое-что и обнадежившись, принялся торопливо соскребать наледь с заветного оконца.

В бытность свою бесноватым он иногда в тоске выл на луну, и тоска улетучивалась. В прошлый раз и луна, и звезда были в окошечке, будто отражения в проруби, но теперь осталась лишь звезда, доселе так хорошо, так успокоительно сопутствовавшая дяде Паше. И от безысходности, от страха неминуемой гибели, от тоски по непонятому миру человек завыл. Если бы звери, твари бессловесные, могли молиться, самая горячая, самая выстраданная их молитва звучала бы именно так.

Черт шарахнулся в сторону, не в силах слушать; пассажи-

ры повскакивали с сидений, не в силах слушать; сам человек зажал ладонями уши, не в силах слушать!

И свершилось чудо. Застыли все люди в троллейбусе. Застыли все троллейбусы в городе. Застыли все города на Земле. Застыла Земля в космосе. Застыла Вселенная. На короткий миг, необходимый для чуда, время остановило течение свое.

– Он мой! – сказал бес кому-то.

– Вы что – Гёте обчитались?! – возмутился бес.

– Но ведь он уже убил себя, он уже... – объяснительно забормотал бес.

– Делайте как знаете. Мне себя упрекнуть не в чем, – уныло произнес бес и дерзко добавил: – Всё равно, что Варавву освободить!

И исчез.

Время возобновило течение свое. Пассажиры тихо и спокойно сели на места, несколько удивленные тем, что непонятно с чего единодушно вскочили. Человек, всё видевший и всё слышавший, рыдал, и слезы его были обильны. Долго ли рыдал он, коротко ли, но источник слез иссяк, и подумал человек: «Кто я? Я уже не чистый мальчик, не Паша. Я уже не бесноватый, не дядя Паша. Кто я? – Павел умиленно всхлипнул. – Три жизни... Сподобил же Господь!»

И Павел принялся усердно, жадно молиться: вот они, молитвы, вот, ничего, ничего он не забыл... «Зачем я Тебе, Господи? – спросил он наконец. – Я калека, человек никчем-

ный, многогрешный. Зачем?..»

– Роддом! – предупредил троллейбус ржавым голосом, остановился и распахнул двери.

Павлу вдруг показалось, что в салоне невыносимо жарко и что жар ежесекундно усиливается. Размыкая третий троллейбусный круг, Павел выскочил вон.

Вне кругов. Свет

Захлопнув двери, троллейбус уплыл в неосознаваемый, неразличимый для глаз мрак. На остановке не было никого, кроме Павла, коленопреклоненно стоящего на утоптанном, но поразительно чистом снегу.

В тот миг, когда Павел ступил на заснеженную земную твердь, произошло нечто неизъяснимое: если в троллейбусе с соизволения беса в овечьей шкуре он вспомнил всё, что было в годы умопомрачения, то теперь он тоже вспомнил. Вспомнил то, чего не знал раньше и чего почти никто из живущих на земле не знает.

Незачем было думать об этом, незачем было пытаться понять – да он и не пытался. Звезда висела над Павлом и, едва он поднялся с колен, колыхнулась и поплыла вперед. Тихо плача, он пошел следом.

Павел почти не удивился, осознав, что уже не хромает.

Пенза, 1999

II.

ВРАЧЕБНИЦА

повесть

*Понеже пришел во лечебницу,
да не неисцелен отыдеши*.*

Окончание молитвы перед исповедью

Неделя первая

– Адрес?

Он назвал.

– Полис есть?

– Есть.

– На что жалуетесь?

– Высокая температура, сильный кашель, слабость.

– Сколько дней болеете?

– С первого числа.

– Новый год, наверное, так хорошо отметили?

– Я его не отмечаю.

– Почему?!

– Я Рождество праздную.

Доктор с любопытством посмотрел на больного и поинтересовался:

– И как же вы его праздновали?

– Почти никак. В церковь сходить не смог. Позавчера вечером и вчера утром тропари отчитал, разговелся – вот и весь праздник.

Несколько мгновений врач изумленно глядел на собеседника, и лишь внезапный глубинно-надрывный кашель больного заставил доктора встрепенуться, вспомнить о профес-

сиональных обязанностях и продолжить расспросы:

– Кашель с мокротой?

– Сухой.

– Температура до сколько поднималась?

– До сорока.

– Возьмите градусник. Чем лечились?

– Аспирин, парацетамол, зверобой, мать-и-мачеха.

– Значит, только жаропонижающие и травы... Встаньте лицом к окну. Рот откройте.

– А-а-а!..

– Можно и без «а-а-а». Понятно... Язык не обложен, зев чистый... Садитесь. Аппетит был хороший в эту неделю?

– Так себе.

– Да еще и постились, – укоризненно заметил доктор.

– Это несложно.

– Не знаю-не знаю... Есть среди знакомых больные туберкулезом?

– Нет, вроде бы.

– Хорошо. – И вполголоса медсестре: – Оформляем в пульмонологию.

Медсестра взяла ненадписанную историю болезни и спросила:

– Фамилия, имя, отчество?

– Слегин Павел Анатольевич.

– Полных лет?

– Тридцать шесть.

– Полис дайте.

– Пожалуйста.

– Неработающий? – уточнила медсестра, переписывая с полиса недостающие данные.

– Официально – да.

– Карточка на вас заведена?

– Нет.

– Почему?

– Не болел.

– Не болел-не болел – и на тебе! – усмехнулся доктор. –

Как же вы так?

– Не знаю.

– Но ведь у каждой болезни есть причина.

– Не спорю. – Павел Слегин улыбнулся.

– Перед Новым годом простужались, горло болело?

– Нет.

– Кашляли?

– Кашлять я три дня назад начал.

– Давайте градусник и раздевайтесь до пояса... Тридцать девять и две. А выглядите на тридцать восемь. Встаньте. –

Врач заткнул уши фонендоскопом. – Дышите глубоко и ровно... Еще глубже... С силой выдохните... Еще раз... Одевайтесь. Ребра давно ломали? – неожиданно закончил он.

– В шестнадцать.

– Кто же вас так?

– Земля.

– В смысле?

– С четвертого этажа летел.

– Везунчик вы, однако, – произнес доктор, торопливо записывая что-то в историю болезни. – Оль, смеряй пока давление.

– Сейчас... Придерживайте вот здесь... Сто на шестьдесят.

– Идите на флюорографию, – сказал врач, закончив писать и протягивая Слегину тонкую крупноформатную книжку. – Кабинет 116, налево по коридору.

– А какой диагноз? – робко спросил Павел.

– Подозрение на пневмонию. Снимок покажет. Постойте, что у вас с ногой?

– С ногой? – удивленно переспросил больной, приостанавливаясь у двери приемного отделения.

– Вы сильно хромаете.

– Со мной бывает, когда задумаюсь. Извините. – И вышел, смущенный.

Он медленно, но безо всякого хромоножия двинулся по коридору, посматривая на номера кабинетов и думая, что вот ведь странность: всего пару часов назад к нему приехал участковый врач, и он был дома, а сейчас уже в больнице, и история болезни на руках, и надо переобуваться в тапочки. «Хоть не в белые – и то слава Богу», – мысленно пошутил Павел.

Вскоре он, сопровождаемый медсестрой, уже подымался

в лифте на четвертый этаж и с улыбкой смотрел на неестественно чистый пол, на свои клетчатые шлепанцы, на спортивный костюм, в одном из карманов которого лежал гардеробный номерок. В гардеробе больной тоже улыбнулся, увидев, как на плечики с его одеждой натягивают большой брезентовый чехол с карманами для обуви. Всё было ново и интересно и заслуживало поощрительной улыбки, но вот только эта пустыня во рту, и колокольная медная тяжесть в голове, и слабость, слабость...

Лифт остановился, дверные створки разъехались в стороны, и Павел крупно вздрогнул: ему представилось, что он не в лифте, а в троллейбусе, возле задних дверей, и рядом стоит не белохалатная медсестра, а человек в дубленке, и этот человек, который и не человек вовсе, хочет шепнуть что-то на ушко...

– Сле-эгин!... – укоризненно протянула медсестра.

Павел вновь вздрогнул и поспешно покинул лифт.

Больного сдали с рук на руки двум милостивым девушкам с медпоста, и те, посмеиваясь с каким-то заговорщицким видом, стали рассуждать, куда положить новопривывшего.

– Слегин, идите в палату № 400, – велела курносая сестричка, недавняя школьница. – Это рядышком, во-он там, третья дверь отсюда. Как только положите вещи, сразу возвращайтесь. Пойдете на уколы и капельницу.

В начале сестричкиной речи Павел улыбнулся ее забавной назидательности, а при словах об уколах и капельнице по-

мрачнел и, попинывая сумку с вещами, пошел к указанной палате. «Этого не может быть! – подумал он вдруг, подойдя к прикрытой застекленной двери с табличкой «400». – Четверка означает этаж. Палата № 0...» Павел уставился на узорчатое дверное стекло, за которым что-то белело, и вспомнил, что три года назад стоял перед таким же, только на то стекло можно было дышать, ототулив губы, а лед от дыхания волнисто плавился, плавился...

«Что-то серьезное начинается», – решил Павел, зажмурившись и покусывая губы. Прочитав Иисусову молитву, он открыл глаза, отворил дверь и, шагнув через порог, сказал: – Здравствуйте.

* * *

– Здравствуйте, – ответили ему три обитателя довольно просторной четырехместной палаты.

Слегин, чуть сутулясь от всеобщего липучего внимания, прошел к незастеленной кровати и поставил сумку на пустую тумбочку. Не присев, он с минуту смотрел в окно на хорошенькие конусообразные елочки и цепочку глубоких сизоватых следов, прострочивших сияющий наст.

– Хорошо сейчас на воле... – мечтательно произнес крепенький бородатый дедок, глядя во второе окно.

– На воле всегда хорошо, – пробасил обрюзгший мужчина лет под шестьдесят, сидящий на кровати наискосок от Павловой.

Ближайший сосед Слегина, изможденный старик, тяжело вздохнул и выматерился.

Павел, словно продолжая цепочку реплик, надрывно раскашлялся, вслепую сел на кровать, согнулся, упершись локтями в колени, и вскоре затих, утер слезы, встал и вышел.

Перед капельницей Слегина, уже лежащего на топчане в процедурной, железно ужалили в палец и взяли немного крови. Затем перетянули руку жгутом, заставили сжимать и разжимать кулак, прощупали вену, мазнули по ней спиртом и вкололи иглу, сняли жгут, покрутили колесико на регуляторе и спросили:

– Не жжет?

– Нет, – ответил Павел, подумав, что не такая уж это и страшная вещь – капельница. «Да и сколько их мне переделали лет двадцать назад...» – додумал он, невесело усмехнувшись.

Пузырьки всплывали на поверхность и там лопались. Подобно им, сквозь мутную толщу времени всплывали прозрачные воспоминания и лопались в мозгу Павла. Многие из воспоминаний были ужасны и, будто разрывные пули, могли бы разнести голову вдребезги, но лицо больного оставалось спокойным, взгляд катался на воздушных пузырьках, как на подводном лифте, а думалось примерно следующее: «Это мои грехи, и я их искуплю. Господь милостив».

Вспомнились мечты о монастыре («Я уйду в монастырь и буду молиться за тебя, мама!»), а после – гнусное грехо-

падение с плахой женского тела и полет с четвертого этажа. Вспомнились безумная уверенность в том, что попал в преисподнюю, и смерть матери, доведенной им до инсульта, и шестнадцать адских лет, срежиссированных неким находчивым собеседником. Вспомнились три троллейбусных круга в рождественскую ночь, и тот самый собеседник в дубленке, и крупная, нежная, чуть грустная звезда, неотвязно следовавшая за троллейбусом.

В ту ночь свершилось незаслуженное чудо: дядя Паша стал Павлом; и теперь, глядя в высокий больничный потолок, он благодарно улыбался, вспоминая, как три года назад глядел в небо и шел за звездой. Во время того звездного пути к церкви он услышал строгий небесный голос, сказавший: «Помни и молись».

– Господь милостив! – прошептал Павел. – Слава Тебе, Господи!

Капельница иссякла.

Закрутив до упора колесико регулятора, Слегин очень удивился своим действиям, поскольку раньше, лет двадцать назад, колесико закручивали медсестры или близлежащие больные. Сестричка, пришедшая вскоре, тоже удивилась и похвалила Павла.

– Вы, наверное, часто в больнице лежите? – поинтересовалась она, выдергивая иголку из его вены. – Держите.

– Редко, – ответил он, придерживая ватку и медленно сгибая руку в локте.

– Повернитесь на бок и приспустите штаны.

Жаропонижающий коктейль (анальгин с димедролом) де-вушка вколола каким-то изошренным способом: зажала два шприца между указательным, средним и безымянным пальцами полусогнутой ладони, вонзила двуигольчатый кулак в цель и внутренней его стороной вдавила поршни до упора.

– Держите ватку. Резко не вставайте, а то голова закружится.

– Спаси Бог, сестра.

– Не за что. Выздоровливайте.

С минуту Павел полежал, затем посидел немного на краю топчана, потом встал и медленно прошаркал в палату.

На его койке успела возникнуть стопочка постельного белья, и он стал стелиться; сил не было, и несколько раз приходилось садиться, чтобы отдышаться или откашляться. Когда постель была готова, больной почти упал на нее со стуком в висках и ощущением, что по лицу проводят и проводят видимой и осязаемой половой тряпкой. Он прикрыл глаза.

– Кто здесь Слегин? – спросил женский голос.

Врач и сестра с электрокардиографом на тележке сноровисто сделали свое дело, сняли зажимы с лодыжек и запястий обследуемого, удалили присоски с его груди и удалились сами вместе с длинной розовой лентой электрокардиограммы.

Лента ЭКГ внезапно вытянула из памяти Слегина другую ленту, поуже, с розовенькими буквами. Талонная лен-

та хвостом свешивалась из сумочки кондукторши, и потная женщина в шарообразной шерстяной шапке нервно поглаживала эту ленту и непонимающе глядела на школьный проездной, предъявленный дядей Пашей, а потом кричала, кричала... Она кричала и после, но уже иначе, она так и выскочила из троллейбуса с безумным криком, и понеслась куда-то, а бес в дубленке ехидно ухмылялся ей вослед...

«Где ты теперь, матушка?.. – грустно подумал Павел, глядя в окно. – Узнать бы...» Температура плавно спадала от укола, по небу плыли длинные облака, и становилось всё легче и грустнее.

– Слышь, тебя как звать-то? – вдруг скрипуче спросил изможденный старик с соседней койки, до которой Слегин при желании мог бы дотянуться рукой.

– Павел.

– Паша, значит...

– Павел, – действительно поправил новоприбывший.

Остальным больным такая щепетильность не очень-то понравилась, но нужно было знакомиться, и знакомство состоялось. Ближайший сосед новенького, начавший разговор, назвался Колей, крепенький бородатый дедок с кровати у другого окна – Сашей, а обрюзгший, проспиртованного вида мужчина лет пятидесяти с гаком сказал, что зовут его Женей, а в имени «Паша» ничего обидного нет, но уж «Павел», так «Павел»...

– Ты с чем лежишь-то? – продолжил Женя.

– Подозрение на пневмонию. Снимок не готов еще.

– Тут у всех пневмония, у Коли только бронхит с серд-
чишком.

– Жидкость в легких скапливается, и дышать тяжело. Го-
ворят, от сердца, – подтвердил сосед Слегина и безысходно
выматерился.

– А я уже почти месяц тут, у меня двухстороннее, и никак
не вздохнуть полной грудью, никак, – сокрушенно сообщил
бородатый Саша и добавил с самоистязательной ухмылкой: –
Стало бабушке полегче – реже начала дышать!

– Ну-у, затянул опять! – проворчал Женя. – Меня вот
шесть раз бушлатили, весь изрезан, в брюхе сетка – и ничего,
весел! «Говорунчика» бы сейчас – и совсем хорошо...

– Только и знаешь – «говорунчик»... – пробормотал бо-
родач.

– А ты только и знаешь – ВЧК, – парировал весельчак и,
подмигнув Павлу, доложил: – Он ведь у нас «чекист» – ВЧК
да ВЧК...

– Пора в ВЧК! – громко проскрипел старичок Коля, за-
улыбался и коротко, по-доброму матюгнулся.

– Тьфу ты, околеешь с вами!.. – рассердился толстомясый
Женя и вышел из палаты. В дверях он чуть не сшиб худоша-
вую белохалатную женщину, отпрянул и смущенно прогово-
рил: – Извините, Мария Викторовна.

– Ничего, Гаврилов, идите, – сказала врач с усталой ма-
теринской улыбкой. – Только к тихому часу будьте в пала-

те... Слегин Павел Анатольевич? – вопросительно прочитала она в истории болезни, потолстевшей от флюорографических снимков, и внимательно посмотрела на нового пациента.

– Да. Здравствуйте.

– Здравствуйте и вы. Разденьтесь, пожалуйста, до пояса – я вас послушаю.

Слушая, Мария Викторовна отрешенно смотрела в окно, и лишь когда нужно было передвинуть прохладное металлическое ухо фонендоскопа, она коротко взглядывала на тело больного и вновь уносилась в законную бесконечность.

– Можете одеваться.

– Что скажете, доктор?

– У вас правосторонняя нижнедолевая пневмония. Снимок уже готов, да и хрипы прослушиваются. Жидкости в легких нет. Если всё пойдет нормально, недели через три выйдете отсюда. Пока от вас требуются двадцать пятиграммовых и десять десятиграммовых шприцев и десять систем для капельниц. На первом этаже есть аптека или родственникам закажите. Еще нужны тарелка, ложка и чашка: в столовой их, как ни грустно, не дают. Всё, кажется.

– А позвонить отсюда можно?

– Да, по карточке. Но разок можно и с поста. Поспешите: с двух до четырех у нас тихий час и по коридорам не ходят.

– Спаси Бог, вы очень хорошо всё объяснили.

– Опыт. Выздоровливайте. И если хотите звонить, то иди-

те сейчас же.

Когда она вышла, клинобородый Саша посмотрел на Слегина тихим осенним взглядом и пояснил:

– Это наш лечащий врач, Мария Викторовна. Замечательная женщина.

– Да, – согласился Павел и пошел звонить.

– Марья Петровна? – спросил он через пару минут, сжимая телефонную трубку. – Да, я. Положили с воспалением легких. Говорят, недели на три... Ничего страшного, не переживайте. Марья Петровна, окажите любовь: мне нужны чашка, ложка, тарелка и телефонная карточка... Именно так. В моей комнате на полке стоят «Жития святых» – знаете? В пятом томе лежат деньги. Принесите... Да, тарелок здесь нет... Пока еще не ел – не знаю. С четырех до семи можно... Пульмонология, четвертый этаж, палата № 400... Лучше, наверно, с халатом и тапочками... Спаси Бог, Марья Петровна, до встречи...

Павел Слегин положил трубку, поблагодарил медсестру и вернулся в палату.

* * *

Павел утонул в липко-буrom сне сразу же, как только рухнул на визгливую койку после телефонного разговора. Саша и Коля дисциплинированно уснули в положенное время, а Женя еще долго материл какого-то гробовщика, но и эта обидчивая ругань постепенно теряла членораздельность

и наконец переродилась в рокочущий храп. Слегин кашлял во сне и, спасаясь от кашля, хватался за хрупкую кромку чего-то коричневого, похожего на шляпку гриба, и на пальцы липла труха; воздух был колкий и мутный – это песчаная буря, а надо идти по гребню бархана и не свалиться, но навстречу шествует улыбочивый эфиоп, не разойтись, и песок стеклянно поет.

– Вот и опять встретились, – сказал эфиоп.

– Я не вернусь в троллейбус, – ответил Павел.

Эфиоп схватил скорпиона, пробежавшего мимо, и съел.

Павел осенил себя крестным знамением и проснулся.

– Гробовщик, сволочь, с утра обещал... – устало ругался

Женя.

– Плохо без «говорунчика»? – ехидно осведомился Саша.

– Не в том дело, я же ему больше денег-то дал, а он, гад, ничего не принес.

– Не донес, значит. Он ведь который уж день не просыхает.

– У меня сын в деревне – тоже такой, – заговорил Коля, сокрушенно матюгнулся и продолжил: – Всё без меня там пропьет. Я соседям деньги оставил, хлеб ему чтобы покупали. И чего пьет?

– И не работает? – спросил Саша.

– Куда-а... – безнадежно протянул Коля. – Ему бы только глаза залить.

– А если жить скучно?.. – пробормотал Женя, как-то уж

очень серьезно, словно говорили о нем, а не о каком-то деревенском пьянице. – Лучше уж пить, чем вешаться. А «говорунчика» хряпнешь – так еще и заговоришь – а?

Он усмехнулся, и Павлу стало жутко от этой усмешки.

– Ты и без «говорунчика» вон какой говорун, – заметил Саша, – а я больше тридцати лет даже пива не пью – и ничего, не скучно.

– То-то ты только про ВЧК и талдычишь, тебе скучать некогда – совсем уже помирать собрался...

– Жень, ты обиделся, что ли?

– Да ну тебя, надоело мне всё...

– Успокойся, пожалуйста, раскричался на всю палату...

Придет твой лифтер.

– Он не лифтер – он гробовщик. Ему бы на твоём ВЧК в самый раз работать.

– А что такое ВЧК? – спросил Павел.

Остальные трое улыбнулись, словно вопрос был из приятных и отвечать на него – одно удовольствие. Саша пригладил бороду и важно изрек:

– ВЧК – это Восточно-Чемодановское кладбище.

– Все там будем, – примирительно сказал Коля. – И пьяные, и тверёзые.

«И из всех будет лопух расти, – подумал Павел, вспомнив тургеневского Базарова. – Действительно, скучно».

За окном помутнело, завьюжило, в палате включили свет, медсестра принесла градусники и таблетки.

– Эх, демократия... Лампочек не могут вернуть! – обиженно проворчал Саша.

Из четырех ламп дневного света горели только две, а половинка одной из горящих, той, что над Павловой кроватью, предсмертно мерцала и потрескивала. «Светляк-подранок, – подумал Павел с улыбкой. – А вообще-то, маленькая неисправная лампа. А солнце – лампа большая и исправная. Такой лампы человеку не сделать». От этой мысли грусть растаяла, и стало весело, и ртуть в градуснике, зажатом под мышкой Слегина, не захотела ползти дальше.

Марья Петровна, с робким дверным стуком вошедшая в палату, застала своего соседа по коммуналке смотрящим на мерцающую лампу и солнечно улыбающимся.

– Здравствуйте... Здравствуй, Павел.

– Здравствуйте, Марья Петровна, присаживайтесь – вот стул.

– Улыбаешься – значит, всё хорошо будет. Как же это тебя угораздило?

Больной, уже успевший сесть на кровати, пожал плечами, почувствовал градусник под мышкой, вынул, рассмотрел и положил на тумбочку.

– Сколько?

– Тридцать восемь.

– Уже лучше. Уколы тебе делали? Врач осматривал? – закончив с расспросами, женщина сообщила: – А я тебе пирожков испекла.

Она угощала его пирожками еще тогда, когда мама кормила Пашу с ложечки манной кашей. Она угощала его пирожками, присматривала за ним и убиралась в комнате, когда мама поглупевшего и охромевшего юноши умерла от горя. Она угощала его пирожками и последние три года, когда рассудок Павла прояснился и хромота пропала. Марья Петровна была первый год на пенсии и чрезвычайно обрадовалась, что сосед-горемыка, с которым она так долго нянчилась, позвонил именно ей и попросил помочь.

На тумбочке появились пирожки-«соседки», которые она в шутку именовала «коммунальными» и которые с детства любил Слегин. Такие пирожки, махонькие, со смородиновым вареньем внутри, выкладывались в глубокую сковороду впритык друг к другу и смазывались сверху яйцом, а затем ставились в духовку. «Соседки» получались настолько сплоченными, что при разделении их, палевоголовых, на беззащитно-белых боках некоторых пирожков разверзались рубиновые раны.

Глядя на одну из раненых «соседок», Павел подумал: «А ведь какой-нибудь светский писатель мог бы перекинуть мостик от такого пирожка ко Христу! Тут и «жизнь за други своя», и рана, как от копья, и кусочек «тела и крови» спасенному другу достались... Вот только угодны ли Ему эти мостики?»

– О чем задумался? – ласково полюбопытствовала соседка по коммуналке.

– О Достоевском, – ответил Слегин. – Долго объяснять.

– Ты его всего, наверное, перечел в том году? – полуутвердительно спросила она.

– Почти всего.

Он закашлялся, сплюнул в платок, испуганно посмотрел на кровяные прожилки в мокроте и поспешно спрятал увиденное.

В палату вошла миловидная сестричка и потребовала градусники и результаты измерения температуры, а Павлу сказала следующее:

– Слегин, слушайте внимательно. Завтра с утра не есть: сдаете кровь из вены и из пальца. Вот в эту баночку – мочу, вот в эту – мокроту. И то и другое поставьте до восьми часов на тумбочку возле туалета. Мокроту сдавать так: почистили зубы, прополоскали рот, покашлиали, харкнули, закрыли крышкой.

Она говорила с серьезной назидательностью, словно девочка, играющая в куклы или в магазин, и на ее детском курносом лице таилась невинная лукавинка, как на лице той девочки, понимающей, что из кукольного мира, в котором она – строгая мама, можно легко перенестись во взрослый мир, где она – послушная дочка.

Обремененная градусниками и температурными записями, девушка удалилась.

– Ты, Павел, эту Светку заметь, – пробасил Женя. – Молодец пацанка.

– Уколы хорошо делает, – подтвердил Коля и хотел было добавить что-то привычное, но не добавил, вспомнив о Павловой посетительнице.

А Марья Петровна отдала Павлу заказанные миску, ложку, чашку и телефонную карточку, сходила в аптеку на первом этаже купить шприцы и системы для капельниц, вернулась и отчиталась:

– Вот шприцы на пять, вот на десять, вот системы, вот оставшиеся деньги. Взяла из книжки, как ты сказал. Их обратно положить?

– Оставьте себе; если вдруг что-то понадобится, я вам позвоню.

– Хорошо. Я постараюсь каждый день забегать, тут недалеко. Как здесь кормят? – спросила она у остальных.

– Сносно, – был ответ. – Но нам еще из дома приносят.

– И я тебя подкармливать буду – не пропадешь, – заверила она Павла.

– Спаси Бог, – сказал он. – Дело душеполезное, так что отговаривать не стану. Спаси Бог, Марья Петровна.

Вскоре она ушла, а немного позже позвали ужинать.

– Лежи, – коротко велел Слегину массивный Женя, забрал его тарелку и через некоторое время вернулся с двумя порциями, одну поставив на свою тумбочку, а другую – на Павлову. – А чай там – помои. Лучше здесь вскипятить, – присовокупил он.

Перед едой Павел беззвучно прочел «Отче наш» и пере-

крестился, после чего ощутил как минимум два изумленных взгляда, вязко-клейких, словно перловка в тарелке, и первую ложку он проглотил с трудом, вторую – уже полегче, третью – свободно, поскольку взгляды отлипли, а четвертой не захотел – наелся. Когда он перекрестился после благодарственной молитвы, взгляды были не так назойливы, но он подумал, что для чтения утреннего и вечернего правил придется искать какое-то убежище.

Убежище нашлось быстро: коридорчик, последней палатой в котором была палата № 0, заканчивался тупичком с окном, почти полностью заслоненным могучей пальмой. После молитв на сон грядущий Павел немножко постоял просто так, глядя на голубоватый перевернутый кулек фонарного света, а на Павловом плече покровительственно покоилась зеленая пальмовая длань.

Незадолго перед этим Слегину вкололи два антибиотика, и он опирался на безболезненную ногу, а нога дрожала от слабости. Когда он дошел до койки, мир успел расплыться почти до неузнаваемости, но всё-таки был узнан, а затем и сфокусирован. Больной разделся, лег под одеяло и, прежде чем заснуть, подумал, что он как свинец, залитый в форму. Тяжелый, горячий и неподвижный, он лежал на койке и видел сон.

Властная сила быстро волокла его по бесконечному извилистому коридору, выложенному пластами сырого мяса, и кружилась голова, а на очередном повороте кто-то метнул

ему в лицо ежа, кажется, – да, ежа, Павел видел его, пока острые длинные иглы не пронзили глаз, пока не ослеп. Ослепленный, он в ужасе проснулся, но ничего не увидел – неужели?! – однако вскоре различил смутные ночные предметы, понял, что выключили свет, и вновь заснул. Сон был разнообразно кошмарным, но одинаково коварным: еж, неожиданно кинутый в лицо и прокалывающий сперва сомкнутое веко и роговицу, затем заднюю склеру и тонкую кость глазницы, а потом – упругий мозг, – этот всепроникающий еж трижды вышибал сновидца в темную явь.

Следующая волна забытья бросила обессиленного Павла на песчаный гребень бархана, к ногам эфиопа, который в дневном сне съел скорпиона.

– Здравствуй, – насмешливо поздоровался чернокожий. – Давно не виделись.

Павел оперся на руки, поднялся на колени, на ноги и, прямо посмотрев в его лицо, подтвердил:

– Да, давно.

– Ты едва стоишь – совсем слабенький, – заметил супостат.

– Поэтому ты и пришел?

– Как сейчас выражаются, надо ловить момент. Три года к тебе было не подступиться.

– И чего ты хочешь?

– Справедливости, – ответил эфиоп взволнованно. – Из-за тебя надо мной там смеются!

– Я был твоей добычей, и это было справедливо, – согласился Павел. – Но милосердие выше справедливости, и...

– Да заткнись ты! – взревел бес. – Ты мне проповеди не читай, пожалуйста! Хватит и того, что ты надо мной в утренних молитвах глумишься! Учти, родной: если я тебя не затащу в троллейбус, то попросту умерщвлю. Сил у меня хватит.

– Если Бог со мной, то кто против меня? – Человек жалостливо глянул на черта и, отвернувшись, сел на песок.

Хотелось пить; Павел перекрестил близлежащее миражирующее марево, и оно окрепло, превратившись в желанный оазис. Путник спустился со склона бархана под пальмовую тень, припал к ручью, утер губы, кратко помолился и заснул. Проснувшись на больничной койке, он слегка удивился, но быстро опомнился, оделся и отправился в пальмовую модельню. За окном стлался пустырь, припорошенный предрассветно-розоватым снегом, а из-под снега проглядывал лабиринтообразный фундамент потенциального здания. «Замороженная стройка», – подумал Слегин с улыбкой, вдохнул, выдохнул и принялся за утренние молитвы. Длинный задравный ряд он закончил той же фразой, что и раньше:

– Молю Тебя, Боже, и об искусителе моем бесе, имя же его Ты, Господи, веси*.

Получалось в рифму.

* * *

– Здравствуйте, – сказала Мария Викторовна, стреми-

тельно входя в палату № 4 с фонендоскопом на шее, тонометром в левой руке и кипочкой историй болезни в правой.

Больные ответно поздоровались и стали с привычной поспешностью снимать рубашки и майки. Обход лечащего врача производился ближе к полудню, когда все пациенты уже позавтракали, укололись и лежали под капельницей. Слегин помимо вышеперечисленного сдал четыре анализа, в том числе кровь из вены и из пальца; утренняя больничная суэта сильно утомила Павла.

Сначала доктор осмотрела старичка Колю, фамилия которого, как оказалось, была Иванов и произносилась с рабоче-крестьянским ударением. Женщина задавала вопросы и слушала плохо сформулированные ответы, слушала она также сердцебиение и дыхание, а кроме того – пульс при измерении давления. Лицо ее было печальным, сострадательным и безмерно усталым. Никак не прокомментировав состояние Иванова, она перешла к Слегину.

– Как вы себя чувствуете сегодня?

– Как и вчера. Температура, слабость. От процедурной до палаты еле дошел.

– Вам и нельзя так далеко ходить. Пока – только до туалета, а уколы и капельницы вам будут делать в палате, как Иванову. Микстуру от кашля пьете?

– Пью. У меня мокрота с кровью появилась.

– Кровь сгустками? Прожилками?

– Прожилками.

– Ничего страшного. При сильном кашле в легких капилляры рвутся. Как кашель помягче станет, всё пройдет.

Доктор послушала Павла фонендоскопом, измерила давление и перешла к следующему.

– Карпов, как у вас сегодня?

– Пока жив, – ответил крепенький бородатый Саша. – А какое, кстати, сегодня число?

– Девятое, вторник. Дышите глубже.

Обрюзглого Женю, живот которого был стянут биндом, Мария Викторовна осмотрела бегло и на прощание сказала:

– Гаврилов, завтра сдадите анализы и сделаете флюорографию. Вас на выписку.

– Везет тебе, – позавидовал Карпов, когда врач удалилась. – А мне еще не знаю сколько торчать.

– Везет, как утопленнику, – хмыкнул Гаврилов и, кивнув Слегину, объяснил: – Я ведь, Павел, как попал-то сюда? В подъезде по пьяни навернулся с лестницы и отключился на бетоне. И перелом, и воспаление легких – целый месяц тут лежу.

– У нас в деревне падать некуда, в погреб разве, – заметил Иванов. – Как бы мой обормот туда не... – Мат, разумеется.

– Не ругайся, ради Бога, – попросил Павел, укутываясь одеялом: его сильно знобило.

– А как мужику не ругаться? – удивился Коля.

С минуту Слегин молча глядел на голубое законное небо, и озноб нарастал в течение этой минуты, перерожда-

ясь в неуправляемую дрожь, почти конвульсии, и больной едва смог выговорить просьбу о том, чтобы кто-нибудь сходил за градусником. За градусником пошел Карпов, а Павел изо всех сил старался не разрыдаться, понимая, что рыдания эти – результат всего лишь высокой температуры, а не высокой скорби о грехах мира. Прочитав несколько раз Иисусову молитву, он успокоился раньше, чем принесли градусник.

Температура доползла до сорока, что было на два градуса выше утренней. Быстроногая медсестра влетела в палату и сделала пылающему больному жаропонижающие уколы. Ближе к вечеру температура вновь подскочила и ее опять сбивали, а ночью кошмарный эфиоп снова таскал Павла по извилистым коридорам и кидался ежами из-за угла. Пальмовая молельня располагалась не дальше туалета, так что Слегин прошел туда утром, не нарушая предписаний врача, отчитал же он только молитвенное правило Серафима Саровского: на большее сил не хватило.

Марья Петровна пришла навестить Павла после тихого часа и очень расстроилась, увидев бледно-зеленое лицо, заостривший нос и воспаленный взгляд соседа. А тот очень настоятельно наказывал ей:

– Вот телефон, Марья Петровна, позвоните прямо отсюда, по карточке: я не дойду. Это квартира. Спробуйте отца Дмитрия. Это священник. Скажете, что я сильно болею, пусть придет. Собороваться, скажете, пока не надо – просто причаститься. Всё запомнили?

– Запомнила, родной, сейчас... Где твоя карточка?

– Вот здесь. Вот она. Позвоните Христа ради...

– Не волнуйся, только не волнуйся... Я быстро.

Через несколько минут она вернулась.

– Он завтра утром придет.

– Слава Богу!

Вечером, после молитв на сон грядущий, уже лежа в постели, Павел мысленно готовился к ночной пытке. «Главное – не бояться, – думал он. – Господь меня не оставит. А завтра Он навестит меня и принесет Жертву ради меня и я снова стану Христовым». Заснул он с таким ощущением, словно лежит не на постели, а на широкой деревянной лавке, как стародавний провинившийся мужик, и он обнажен, и изо всех сил стискивает отполированные края лавки мозолистыми ладонями, и он готов, он ждет, ну что же ты медлишь?! А истязатель с кнутом в руке стоит рядышком, смотрит и ухмыляется.

Заснув окончательно, человек ужаснулся: никаких мучений не было и в помине – напротив, ему было очень удобно. Он сидел в огромном глубоком кресле со спинкой, значительно отклоненной назад, так что изменить очень комфортное положение тела казалось немислимым, и эта приятная несвобода шелковистым коконом обволакивала недавнюю готовность Павла к решительной битве, и он подумал сокрушенно: «Увы мне, я погиб!»

– К чему такие черные мысли? – услышал он знакомый

ГОЛОС.

Чуть повернув голову влево, человек увидел аналогичное кресло, а в нем – давнишнего знакомого, одетого в пушистый, можно даже сказать курчавый, шерстяной свитер, синие джинсы и тапочки.

– В дубленке сидеть неудобно, – пояснил бес.

Между креслами располагался журнальный столик, а на нем лежали рядышком беспроводной джойстик и Библия, книга – со стороны Павла. Стены и потолок отсутствовали, а кресла и столик стояли на бесконечном паркетном полу, и кресла были взаимно повернуты под таким углом, что сидящие могли при желании видеть один другого. Впрочем, потенциальные собеседники могли глядеть прямо перед собой, и тогда их взоры пересеклись бы и разминулись на нейтральной территории, незаметно и безболезненно.

– В такие кресла психоаналитики сажают своих клиентов, – неторопливо проговорил черт. – Хорошие кресла: в них люди расслабляются и могут без стыда рассказывать о своей жизни. Один умный человек изрек такой афоризм: «Психоанализ – это исповедь без отпущения грехов». Психоаналитик молчит да кивает, а клиент выговаривается, платит деньги и уходит, грехи же остаются, – славно... Но я не психоаналитик и молчать не буду, твои грехи я и так знаю, а отпустить их я не имею права.

Взгляд Павла тонул в бледной бесконечности, логичная и спокойная речь искусителя расслабляла и обволакивала, и

человек никак не мог сосредоточиться.

– Кстати, – продолжил бес, – извини меня, пожалуйста, за прошлые ночи. Эти мясные коридоры, головоломные лабиринты, ежи в глаза – бр-р!.. Средневековые какое-то! Я ведь и сам понимаю, что это не метод, но уж очень я зол тогда был, очень обижен, я скорпиона-то от чистого сердца слопал, безо всякой рисовки, – вот до чего ты меня довел своими молитовками. А всё-таки приятно было, что ты меня даже в эфиопском обличье узнал, чертовски приятно! Это я сейчас вроде инженеришки из кухонных философов, таким ты меня целых шестнадцать лет видел, а там-то – пустыня и негритос навстречу по гребню бархана прет, а всё-таки узнал... Эфиопом-то, «темноликим мурином», я представился, чтобы тебе приятное сделать: ты ведь «Жития святых» всё читал, ну а там бесы частенько в таком виде являлись. Хотя, по большому счету, негры – люди как люди, есть и христиане среди них...

«Вздор он какой-то говорить начал, – подумал Павел. – Порфирий Петрович точно так же Раскольникова допрашивал, внимание усыплял. Но я-то не убийца!»

Черт ухмыльнулся и, облизнув губы, посетовал:

– Ты, к сожалению, в игры компьютерные не играл, ничего в них не смыслишь – жаль, очень жаль. Одну из граней моей пустынно-негритянской метафоры упустил. Есть, к твоему сведению, такие игры, где люди выбирают одного из нескольких виртуальных убийц и управляют его дей-

ствиями. Цель игры – убить виртуального противника. Ну хочется людям убивать, ну нравится им убивать призраков, поскольку за убийство призраков уголовной ответственности не предусмотрено! Пусть тренируются. А с моей пустынно-негритянской метафорой связана старенькая игра «Mortal Combat» («Смертельный бой»): там в одной из версий два бойца дерутся в пустыне, на бархане, совсем как мы тогда. Ты, кстати, в тех раундах победил. Так что для меня выгоднее не сражаться с тобой, не пытаться тебя, а попросту поговорить.

– Выгоднее, – согласился Павел.

– Мы же цивилизованные существа! – обрадовано воскликнул искуситель. – Молодец, что заговорил вслух: твои мысли удобочитаемы. Ты вот думал недавно о Достоевском, о допросе Раскольникова Порфирием, о том, что не убийца. Аналогия похвальная, а по отношению ко мне – так просто комплиментарная. Но всё-таки неверная. Ты – убийца.

– Нельзя мне было так думать, – согласился человек. – Здесь ты прав.

– Раскольников всего-то двух старух убил, а ты – себя! И забыл!

– Я еще мать убил, – добавил Павел.

– Ну, тут уж скорее я виноват, – свеликодушничал лукавый. – У тебя тогда уже не было свободы воли, ты был вроде компьютерного призрака, а я играл, и играл великолепно... – Он ностальгически улыбнулся и прикрыл глаза.

– Но Бог меня пощадил.

– Но Бог тебя пощадил, что было крайне несправедливо. Однако сейчас ты серьезно болен и я сижу очень близко от тебя и вновь искушаю. С чего бы это?

– Значит, я согрешил.

– Так. Но вопрос в том, насколько серьезен грех. При серьезном согрешении Бог иногда попускает нам вселиться в грешника. Тебе это хорошо известно. Возьми, пожалуйста, книгу и прочти из одиннадцатой главы от Луки стихи с двадцать четвертого по двадцать шестой. Они мне очень нравятся.

Павел удивленно посмотрел на беса, взял Библию, нашел указанное место и прочел:

– «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местами, ища покоя, и не находя говорит: возвращусь в дом мой, откуда вышел. И пришед находит его выметенным и убранным; тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и вошедши живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого».

– Не о нас ли с тобой здесь написано, – а, дядя Паша? – очень живо заинтересовался черт, легко встал с кресла, обогнул столик и остановился в полушаге от Павла.

Человек оцепенел, Библия вывалилась из его рук, и он не видел, куда она упала, зато краем зрения он ясно различал, что в кресле кто-то сидит – нет, уже не сидит, уже идет, уже пришел, уже встал рядом с первым, подмигнул третьему, си-

дядю в кресле, и спросил с издевкой:

– Не о нас ли с тобой здесь написано, – а, дядя Паша?

Семь раз Павел услышал страшный вопрос, семеро стояли перед ним, напрочь заслони́в бледную бесконечность, а когда восьмой бес, одетый в курчавый шерстяной свитер, синие джинсы и тапочки, встал из кресла, оно опустело. Высоко подскочив, черт запрыгнул на журнальный столик, и джойстик жалобно хрустнул под его копытом (тапочек уже не было). Нечистый навис над человеком, вплавленным в психоаналитическое кресло, и тихо-претихо сказал:

– «Безводные места», по которым я ходил, – это пустыня из «Mortal Combat». Ты проиграл, дядя Паша.

Он протянул когтистую шестипалую лапу и нежно погладил Павла по голове.

– Нет!!! – заорал человек и, вскочив с постели, схватился за грудь.

Дышать было нечем, смотреть было некуда, ледяная сердечная ломота мгновенно проморозила всё тело, но Павел, прежде чем превратиться в прозрачную статую, которой суждено упасть и расколоться, успел взмолиться: «Господи, пощади!» И сердце не разорвалось.

Уже оттаивая, но всё ещё сжимая грудь, где сердце чугуно колотилось, он извинился за крик и попросил у старичка Иванова, сердечника с хроническим бронхитом, таблетку валидола.

* * *

– Доброго здоровья! – проговорил отец Дмитрий, несмело входя в палату № 0.

Трое больных ошалело посмотрели на священника – лет тридцати пяти, длинноволосого, с лениворастущей бородкой, одетого в долгополую широкорукавную рясу и с ребристой скуфейкой на голове.

– Здравствуйте, – разноголосо ответили те трое, недоуменно глядя на гостя.

Батюшка целеустремленно прошел к четвертому, уже вставшему с кровати, радостно улыбающемуся и просящему благословения. Сухо-шершавые губы благословленного чуть царапнули тыльную сторону священнической ладони, а после Павел и отец Дмитрий тоекратно расцеловались.

– Здравствуйте, Павел.

– Здравствуйте, отец Дмитрий.

– Садитесь, ради Бога: вы едва стоите, – попросил священник, переставляя легкий деревянный стул, ночевавший возле больничного стола, себе за спину. – Как же вы так?

Застилая красным платом страшноватый железноногий стол, который был расположен в простенке между окнами и частично занят полупустыми пузырьками с микстурой, иерей досадовал на себя за глупый вопрос.

– По грехам и муки, – ответил Слегин, продолжая стоять. – Я уже успел с утра валидол иссосать – мне можно причащаться?

– По болезни можно, – сказал отец Димитрий, затепливая от зажигалки свечу и раскладывая на плате необходимое для таинства. – Сердце болело?

– Да.

Из сумочки-дароносицы, висевшей на шее поверх наперсного креста и епитрахили, батюшка достал преждеосвященные Дары и спросил, обернувшись:

– Еще кто-нибудь желает причаститься?

Трое смущенно отказались.

– Помолимся, Павел. Садитесь вот сюда, на стул.

– Я выстою.

– Садитесь, ради Христа. Вы больны. – И батюшка принялся быстро, но внятно читать молитвы.

Слегину было непривычно креститься сидя, но он понимал, что и впрямь мог не выстоять: он и теперь едва держал голову.

– Внемли убо: понеже пришел во врачбницу, да не исцелен отыдеши, – читал отец Димитрий, а Павел взволнованно внимал, готовясь к тому страшному и радостному, что должно свершиться.

К удивлению больного, исповеди не было: священник сразу накрыл ему голову епитрахилью и с торжественной медлительностью стал проговаривать разрешительную молитву, а раб Божий Павел с горячечной поспешностью вспоминал свои грехи и каялся перед Господом.

А потом было причащение, хлебный и винный вкус Тела и

Крови Христовых и счастливое понимание того, что недавний ночной ужас не повторится, что пустынная битва выиграна бесповоротно и что бес не сможет войти туда, где обитает Бог.

«Он и раньше не имел власти вселиться в меня, – понял Павел, – он просто хотел убить. Если бы я умер без причастия, со всеми грехами, у него был бы шанс». Слегину хотелось рассказать об этом и многом другом отцу Димитрию, но язык строптивился, и сугубая слабость тянула лечь и молча смотреть на небо, и больной понял, что еще не время.

Священник дал ему поцеловать большой медный крест, выслушал благодарность и пробормотал:

– Ничего, Павел, теперь станет полегче. Я буду за вас частицы на проскомидии вынимать. Выздоровливайте. – Он задул свечку, фитилек зачадил, и пришлось прищипнуть его, после чего свечка был положена в ту же кожаную сумку, куда и прочая богослужебная утварь. На больничном столе остались лишь полупустые пузырьки с микстурой.

– Отец Димитрий, мне поговорить с вами надо, не сейчас только...

– Я через неделю снова приду причащать вас, тогда и поговорим. Сегодня у нас четверг – в следующий четверг с утра постарайтесь не есть и не пить. И молиться не забывайте, если в силах. До свидания.

– До свидания, – ответили все четверо и дружно проследили, как черные ряса и скуфейка исчезли за белой застек-

ленной дверью, задернутой изнутри белой же занавеской, а проследив, напряженно притихли.

Священник уже спустился на лифте, уже оделся, уже вышел, и лишь тогда неловкая тишь раскололась от призывного клича: «На завтрак!» Больные засуетились, загремели кружками и мисками, заторопились в столовую, а батюшка в черном долгополом пальто, издали похожем на рясу, и с той же скуфейкой на голове неспешно шел к троллейбусной остановке, но вот он уже и скрылся, и Слегин отвернулся от окна, а Женя Гаврилов с двумя порциями каши вошел и сказал:

– Ешь.

Гаврилов нашел-таки прошлым вечером своего «гробовщика» и нынче был похмельно-серьезен.

– Зачем ты пьешь, Женя? – с болью спросил Павел, стараясь не морщиться от перегара.

– А что еще делать-то?

– В Бога верить. Ты же своим «говорунчиком» просто от Бога заслоняешься!

– Значит, хорошая штука «говорунчик», если им Бога заслонить можно – а?! Поздно мне, Паша, в Бога верить – помру скоро. Весь уже изломан, изрезан, в брюхо сетку вставили – в следующий раз уже в ВЧК отвезут, а не сюда. Пovesелиться надо напоследок – а там уж и червей кормить.

– Послушай, но я-то ведь тоже весел. Весел, потому что счастлив, а счастлив, потому что верю в Бога. Сегодня, например, мне и умереть не страшно. До причастия было

страшно, а сейчас – нет. Ты крещеный?

– Нет и не собираюсь. В партии тоже не состоял и не собираюсь. Я сам по себе. И нечего меня агитировать! В червей верю, а в Бога – нет!..

– Ты чего раскричался? – спросил Саша Карпов, входя в палату с кашей и чаем.

– Хочешь в ВЧК? – набросился на него Гаврилов. – А вот он – хочет. Надоели вы мне все, сами жрите свою кашу! Меня выпишут сейчас, я дома поем!

– Эх его с похмелюги!.. – воскликнул Коля Иванов с порога. – Чуть с ног не сшиб... Мой сын тоже так. – И добавил, глядя в тарелку: – Зря это он: всё-таки манная каша...

– Райский завтрак, – согласился бородатый Саша.

С минуту Павел смотрел в ближний угол, затем проморгался, волнисто вздохнул, помолился и стал есть.

После обхода Женю Гаврилова выписали. На прощанье он пожимал остающимся руку и желал им выздороветь поскорей, а они смотрели на него улыбочиво, с легкой завистью и желали остепениться, найти работу, пить поменьше и сюда уж не попадать – хватит.

– Не попаду, – отвечал Женя с пасмурной усмешкой и, протягивая руку Слегину, сказал: – Выздоравливай, Павел. Прости, если чем обидел.

– Бог простит. И ты меня прости, – ответил тот, слабо пожимая тяжелую мясистую ладонь, и коротко пожелал: – Выздоравливай, Евгений.

На пятничном обходе Мария Викторовна сказала Павлу, что он выглядит повеселее, а больной объяснил, что видел ночью хороший сон, очень хороший сон.

В субботу и воскресенье обходов не было, кровать Гаврилова пустовала, и ничего существенного, кроме визитов родственников, не происходило в палате № 0. Медсестры, в выходные бегавшие чуть медленнее, чем в будни, ставили больным капельницы и уколы, назначенные врачом, и записывали температуру.

У Слегина температура перестала скакать: она укрощенно прогуливалась в тесном вольере между тридцатью семью и тридцатью восемью градусами, и Павел, несмотря на продолжающееся кровохарканье, чувствовал себя значительно лучше.

Заходила Марья Петровна, с киселем, пирожками-«соседками» и вестью о том, что звонил отец Димитрий и спрашивал, как там болящий.

– Передайте, что лучше, намного лучше, после причастия сразу лучше стало, – наказывал растроганный Слегин.

Главным же было то, что в эти ночи он спал спокойно.

Старичка Иванова ежедневно посещали родственники, каждый раз иные, и говорили о житье-бытье других родственников, весьма многочисленных, так что на глазах Павла из ссохшегося корня, покоящегося на соседней кровати, произросло величественное генеалогическое древо. Ветви и веточки его приносили плоды, и старенький Коля питался

этими плодами между завтраком, обедом и ужином. Однако больной жаловался, что худеет, что таблеток ему стали давать меньше, да и вообще – вся задница исколота... При родственниках он не матерился.

К Карпову почти каждый день приходила жена, благообразная старушка, которую он называл «баушкой», придавая и без того ласковому слову нечто баюкающе-аукающее. Беседовали они тихо и плавно, прямо-таки ворковали, и идиллической своей напоминали Павлу гоголевских старосветских помещиков. Слегин слушал березовый шелест их бесед с почти молитвенной радостной грустью и задумчиво улыбался земному отблеску небесной любви.

В понедельник утром, сразу после обхода, в дверях палаты появился массивный мужчина с задорно-мальчишеским выражением на толстом, полувековой давности лице, огляделся, поздоровался и проследовал к незанятой кровати. Вскоре новенького зашла осмотреть Мария Викторовна, и стало известно, что больного зовут Михаилом Колобовым, что он уже месяц лечился от пневмонии амбулаторно, однако снимки оставались неважными и его решили положить в стационар.

– А раньше о чем думали? – пробормотала доктор, то ли спрашивая самого Колобова, то ли критикуя врачей, не уложивших сразу человека с такими снимками. – Сейчас снимки получше, конечно, но вы бы уже выписались, если бы месяц назад легли. Как себя чувствуете?

– Хорошо, – ответил Михаил, и было видно, что он говорит правду. – А обед скоро? – спросил он, когда Мария Викторовна ушла.

– А у тебя тарелка с ложкой есть? – осведомился Саша Карпов.

– Нет.

– Значит, и обеда тебе не положено, – заключил не без ехидства бородатый Саша.

– Ничего себе! – изумился новенький с таким простодушием, что остальные трое дружно рассмеялись.

– Демократия!.. – саркастически произнес Карпов.

– Вот и... – согласно выматерился Иванов, употребив вертикальное словечко, похожее на выхлоп стартующей космической ракеты.

Неделя вторая

– Все как люди, а мы – как хрен на блюде! – смачно изрек Саша Карпов, чуть помедлил и брезгливо выдохнул: – Эх, демократия!..

Реплика его относилась, вероятно, к новостям, хриплоголосо сообщаемым по радио.

Простуженный радиоприемник появился в палате двумя днями раньше, одновременно с Михаилом Колобовым, и был для Карпова настоящим подарком, поскольку давал еще один повод поговорить о политике. Бородатый Саша любил такие разговоры, как любят есть вяжущие, костистые, маломякотные ягоды черемухи, находя странное удовольствие в мучительной судорожной оскоmine. От политических разговоров набивалась не ротовая оскомина, а сердечная: душа застывала, судорожно вывернутая, будто язык после изрядного количества черемушных горстей, но хотя Карпов и жаловался Марии Викторовне, что никак не вздохнуть полной грудью, никак, – по случаю и без случая восклицал:

– Эх, демократия!..

До недавнего времени ему не везло с собеседниками: Женю Гаврилова волновали только воспоминания о прошлом, с социализмом не связанные, и «говорунчик»; Коля Иванов охотно поддакивал, но навряд ли понимал Сашу, разговор

поддержать не мог, а если и пытался, то кричал что-то о родной свиноферме, да так громогласно, что Карпов морщился и старался его утихомирить; Павел Слегин поначалу был так плох, что даже попа позвал, тут уж не до политики, а в последние дни, хоть и полегчало ему, молчал, но вроде бы с интересом слушал Сашины рассуждения. И лишь с Михаилом Колобовым можно было, как оказалось, поговорить о «положении дел в стране» – всласть, до душевной оскомины.

– Эх, демократия!.. – брезгливо отозвался клинобородый Саша Карпов на какое-то сообщение хриплоголосого колобовского радиоприемника.

– Да ладно тебе, дядь Саш, – миротворчески молвил Михаил. – И раньше вертолеты падали, нам просто не говорили.

– Сомневаюсь я в этом, Миша. Раньше порядок был и деньги платили – с чего бы им падать?

И беседа завертелась вокруг того, скрывали или нет раньше что-либо, а если скрывали, то что именно и зачем.

– Ты, Миша, всю жизнь на одном заводе вкалываешь, ну, в армии отслужил еще. А я тридцать лет за баранкой, весь Союз объездил, много чего видел, – наставительно говорил Карпов. – Теперь, правда, уже отъездился, – грустно добавлял он и замирал, причесывая воспоминания. Когда мысленная расческа добиралась до 90-х годов, она словно выезжала на лысину, больно царапая голую кожу, и тогда Саша принимался костерить демократов: – Демократы, получается, не о правде пекутся, а лишь бы у власти удержаться, потому и

хают коммунистов, – заключил он. – Раньше коммунисты для дикторов бумажки писали, теперь – демократы; вот и вся разница.

– Да демократы – это те же коммунисты, – парадоксально заявил радиовладелец. Только теперь они со свечками в церкви стоят и про рыночную экономику говорят. Согласись, дядь Саш, ведь партия с головы сгнила. Зато теперь товары появились.

– Миша, не коммунисты они, а перевертыши. Много в мире ...удачков – и в очках, и без очков. А насчет церкви – это да. Все верующими стали – ужас какой-то! – Карпов, по-видимому, не хотел дискутировать на тему гниения с головы и появления товаров. – И ведь не все из-за моды, некоторые от души веруют.

Он коротко глянул на Павла, молчаливо лежащего на кровати возле противоположной стены.

– Жить стало труднее, вот и веруют, – предположил Колотов.

– Труднее всё-таки! – победоносно воскликнул собеседник.

– Да я не о том. На себя надо надеяться – и заработаешь получше, чем раньше. А у нас привыкли к «зряплате», вот и надеются на Бога. Раньше – на государство, а теперь – на Бога. Это, вроде того, самовнушение. – Последнее слово было произнесено неуверенно, как малоупотребимое. – А Бог разве поможет?..

– Поможет, – прошептал Павел Слегин, вспоминая, как три года назад, на исходе третьего троллейбусного круга, был незаслуженно помилован Господом. «Ничего себе самовнушение!..» – подумал он и щадяще улыбнулся.

«Как мне отблагодарить Тебя, Господи?» – спрашивал Павел, идучи той рождественской ночью из церкви. Он вспомнил три слова, сказанные ему несколько часов назад строгим небесным голосом. «Помни и молись», – это было похоже на ответ, опередивший возникновение вопроса, опередивший всякую попытку понять произошедшее. Но по пути из церкви мышление Павла, очистившееся от многолетней проказы, работающее, как у шестнадцатилетнего отличника Паши, цепкое и порывистое, склонное к рефлексии и максимализму, – мышление Павла поставило вопрос: «Как мне отблагодарить Тебя, Господи?» И ответом: «Помни и молись», – не удовлетворилось.

«Любой оказавшийся на моем месте помнил бы и молился, – размышлял спасенный. – Но ведь я-то самоубийца! Если я прощен...»

Ему вспомнилось, как совсем недавно, совсем недавно он доказывал теорему, стоя у коричневой доски, с белым мелком, зажатым между большим, указательным и средним пальцами (если бы не мелок, этой щепотью вполне можно было бы перекреститься). Прямоугольный меловой брусок то бесследно проскальзывал по доске, то густо крошился, а

юноша комментировал недолговечные записи уверенным и снисходительным отличническим голосом: «Если угол альфа равен...»

«Если я прощен, – размышлял Павел, – то спасение возможно для страшнейших грешников. А коли так, буду молиться обо всех знакомых – и о некрещеных, и о самоубийцах... И о бесе-искусителе надо молиться, – подумал он, улыбнувшись. – Молю Тебя, Боже, и об искусителе моем бесе, имя же его Ты, Господи, веши».

Светили фонари, звезды и луна. Поклонившись Богомладенцу, люди расходились по домам, подобно давнишним восточным волхвам, неторопливо возвращавшимся в страну гороскопов. Обгоняя остальных, легко и стремительно по дороге шел человек в фуфайке, продранной на рукаве, шел и, ничего вокруг не замечая, вопрошал: «Как мне отблагодарить Тебя, Господи?»

И вдруг он остановился.

– Да! – восторженно воскликнул он. – Это будет лучшей жертвой!

На него удивленно поглядели несколько прохожих, оказавшихся рядом, но вот он уже пошел, пошел молча и неторопливо, вот он уже свернул на боковую улицу, нам с ним не по пути, и незачем о нем думать, скоро дойдем до дому – и спать, спать, спать...

Скучающий охранник в камуфляже и две кислотики проститутки молчаливо курили на крыльце круглосуточного

продовольственного магазина.

– Мой сосед идет, – сказала одна из барышень.

– А ты разве бомжуешь? – пошутил охранник.

– Он не бомж, он этажом выше живет, я – на третьем, а он – на четвертом, его дядя Паша звать.

– Твой хахаль, что ли? – спросила вторая и расхохоталась, а потом продолжила вполголоса, на фоне смеха собеседников – продолжила мрачно и ожесточенно: – Алкаш отмороженный, мой батяня такой же, ненавижу...

– Он, вроде бы, и не пьет – у него просто с головой неполадок. Он, кажется, с крыши свалился и с тех пор хромой и шизанутый. А пить – не пьет.

– В каком это месте он хромой? – любопытствовал охранник.

– Ой...

Миновав яркий магазин, Павел продолжил путь, освещаемый скудноватым светом фонарей, звезд и луны. Однако внутри пешехода сияло такое солнце, что глаза невольно щурились и слезились, губы улыбались, а мысли были медленными, мягкими и словно масляными.

«Это будет мой дар Тебе, Господи, – думал он. – Ты вернул мне разум, а я подарю его Тебе. Юродство Христа ради, высший путь служения Богу... Мне и убеждать-то никого не надо будет, что с ума сошел: убедил уже...»

– Не хромает, – проговорил охранник, – но лыбится, как придурок, это уж точно.

– Леш, он же еще вчера утром хромал, я видела...

– Значит, рождественское чудо, как у Диккенса, – ухмыльнулся Леша.

Он умудрялся совмещать работу магазинного цербера, а попутно и сутенера, с учебой в пединституте на филфаке и очень боялся, что не сдаст зарубежную литературу в эту зимнюю, зимнюю сессию.

Стояла летняя теплынь, светило солнце и загнанно билось сердце, когда шестнадцатилетний Паша положил на мамину Библию записку («Прости меня») и выбросился из окна. Вернувшись домой морозной рождественской ночью, Павел первым делом отыскивал ту самую Библию, помолился по памяти и уснул, положив книгу под подушку. В первый год из трех, отделяющих ту ночь от нынешней больничной койки, Павел читал только Библию: сначала Новый Завет, потом Ветхий, затем вновь Четвероевангелие. И копил деньги на двенадцатитомные «Жития святых».

Внешне жизнь его изменилась мало: он по-прежнему хромал, рассудив, что внезапное прямохождение было бы подозрительно; по-прежнему просил милостыню на кладбище возле собора, иногда отчебучивая что-нибудь эдакое для поддержания репутации; по-прежнему отдавал деньги, которые ему выплачивало государство, Марье Петровне, и она всё так же вела хозяйство: покупала что надо и прибирала в его комнате.

Курить Павел бросил, а зимой для сугреву пил чай из термоса – очень даже удобно. Стоя с протянутой рукой, он молился о каждом проходящем; со временем он научился отличать прихожан от «захожан» и о «захожанах» молился усерднее. С последним ударом благовеста он шел на службу и после нее отправлялся домой, попутно разбрасывая в нищенские плошки утреннее подаяние. Заплатанные коллеги дружно решили, что теперь-то он точно сбрендил.

Раз в месяц в одном из отдаленных городских храмов Павел исповедовался молодому священнику отцу Димитрию и причащался святых Христовых Таин.

Откладывая малую часть нахристардствованных денег, Павел к концу первого года скопил достаточно, чтобы купить на книжном рынке облюбованный двенадцатитомник – «Жития святых» святителя Димитрия Ростовского, репринтное издание. В январе следующего года он принялся за январский том, а в декабре дочитал декабрьский.

Встречаясь с житиями юродивых, Павел радовался, читал и перечитывал, сравнивал со своей жизнью и от жития к житию всё более и более задумывался. «Они спали под открытым небом, поношения и побои принимали, обличали нечестивых, чудеса творили, им Христос и Богородица являлись, а я что?..»

Когда Павел читал житие юродивой Исидоры, инокини Тавеннийского женского монастыря, светило майское солнце, орали коты и целовались влюбленные, а тела женщин, хо-

дивших под окнами читаря, всё более и более обнажались. «Иногда Исидора притворялась как бы бесноватой, дабы утаить пред окружающими ее сестрами свои добродетели». На голове она носила тряпку вместо куколя, по этой тряпке ее и узнал старец Питирим, пришедший из Порфирической пустыни, чтобы поклониться великой праведнице. Еще Исидора пила воду, оставшуюся после мытья посуды, и Павла затошнило, когда он читал об этом, и он подумал в сердцах: «Если, чтобы войти в Царствие Небесное, необходимо такое питание... Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий...» Светило майское солнце.

В январе следующего года, за год до болезни, Павлу стало нечего читать, и он купил учебник по истории России XX века. Кое-что он, правда, уже узнал из автобусных разговоров (троллейбусом он больше не ездил), и узнанное казалось настолько странным, что невольно думалось: «Ну ладно, я-то Христа ради юродствую, а они из-за чего?..» По вечноработающему кухонному радио вместо вестей с полей и концертов по заявкам передавали новость что, и жить в этой странной стране, весьма отличной от СССР времен Андропова, было непривычно и неудобно, как неудобно смотреть даже незамысловатый фильм с середины.

А первого января Павел услышал, что полумертвый Ельцин ушел в отставку и вместо него теперь будет воинственный Путин. Это известие взволновало всех гораздо боль-

ше, чем новогодняя пьянка, и Христа ради юродивый решительно отправился на книжный рынок, чтобы купить свою первую светскую книгу.

– ... А Бог разве поможет?.. – риторически заключил Михаил Колобов, сказавший перед тем, что вера в Бога – это что-то вроде самовнушения и что надеяться надо только на себя.

– Поможет, – прошептал Павел Слегин, вспоминая, как три года назад...

– Ты что шепчешь, а? Плохо тебе? – скрипуче поинтересовался старичок Иванов, приподымаясь на локте, и кровать его скрипнула тем же голосом.

– Нормально. Спаси Бог.

– А меня еще священники удивляют, – продолжалась беседа у противоположной стены; клинобородый Саша Карпов обращался вроде бы к Колобову, но внимательным оком поглядывал на Слегина: ему хотелось растормошить этого странного Павла, втянуть в разговор, спор, но только бы не было этого высокомерного молчания... – Удивляют меня священники. Простые люди, к примеру, пришли, помолились, ушли, им вроде как полегче стало. А священникам приходится всю жизнь молиться, и ведь бывают среди них молодые здоровые мужики. Неужели ж они так веруют, что им в бабьем платье ходить не стыдно?..

– Что ж это ты, Саша, на священников... – укоризнен-

но молвил Коля Иванов и тоже глянул на соседнюю койку, словно хотел добавить: «При нем».

Павел молчал.

– Да у попов просто работа такая. Мы – у станка, а они – с кадиллом. И получают побольше нашего, – откликнулся Михаил. – Я тут историю про одного попа знаю – обхохочешься.

– Не надо, – досадливо оборвал Карпов.

– Не надо? – удивился Колобов.

– Не надо, – подтвердил Иванов.

Слегин перевернулся на бок, лицом к окну, и не к окну даже, а к тумбочке – совсем не видно лица. Но, перевернувшись, закашлялся, сел, харкнул в баночку кровью, утер слезы. От сильного кашля иногда идут слезы.

«Сегодня среда, – подумал Павел среди внезапного значительного молчания. – В четверг придет отец Димитрий, причащусь. Завтра уже, скоро...»

И он улыбнулся, как улыбается младенец, тянущий к заплаканному лицу любимую игрушку.

– Павел, ты сиди побольше, ходить пробуй, – посоветовал Саша Карпов извиняющимся тоном. – А то, как говорится, в ВЧК могут вызвать.

– Мне врач говорила. Спаси Бог. До обеда посижу на стуле. Он со спинкой. Спаси Бог.

За обедом Слегин пошел сам. Он уже второй день хо-

дил в столовую – да, именно так, прошлым утром он впервые посетил это заведение, оно было совсем рядом, но пока стоял в очереди к раздаточному окну, закружилась голова и пришлось привалиться к стенке. Нынешним утром всё было слава Богу, а как же – крепнем, выздоравливаем, скоро и в процедурную пойдём; да, надо сегодня же на вечерние уколы сходить. Ну, вот и столовая, и очередь небольшая – слава Богу.

Павел пристроился к короткохвостой очереди, и вскоре он уже протягивал тарелку разгоряченной девушке с половником, как тянул когда-то руку за милостыней. Пока девушка наливала пустоватые щи и оделяла хлебом, Слегин почти рефлексивно молился о ней, как молился, стоя на околицерковном кладбище с протянутой рукой, обо всех проходящих.

– Дяденька, вы сядьте за столик: столики свободные, – весело напутствовала девушка с половником.

– Спаси Бог, так и сделаю.

– Следующий.

Столиков было десять, половина из них пустовали, и Слегин, прошептав «Отче наш» и перекрестившись, сел в дальнем углу. Он принялся старательно хлебать щи, приговаривая мысленно: «Надо есть. Надо есть. Надо есть». И вдруг поперхнулся, сдержанно закашлялся, замолк и вновь посмотрел на полную женщину в цветастом халате, и смотрел неотрывно, пока та не вышла из столовой с порцией второго в руках.

«Неужели она?.. – смятенно думал больной. – Похожа, очень похожа... Тоже здесь и тоже с воспалением – привел же Господь... Как же тебя зовут, матушка? Дай Бог памяти... Раба Божия... Раба Божия... А может, и не раба Божия: крестика на ней тогда не было, точно, не было... Господи, дай памяти! Ленка, точно! Елена, значит... Царица Елена обрела крест Господень, Воздвижение – двенадесятый праздник... Елена. Спаси, Господи, и помилуй сию Елену и пошли ей душевного и телесного здравия!»

– Мужчина! – услышал он недовольный женский голос. – Вы будете второе брать?

– Буду! – спохватился Павел, мгновенно дохлебал щи, прошел через пустую столовую к раздаточному окошку и, протягивая тарелку, сказал смущенно: – Простите Христа ради – задумался.

С картофельным пюре и квашеной капустой Слегин разделался уже в палате. Помыв тарелку, он вскипятил в кружке воду и заварил чай: больничный, как и предупреждал незабвенный Женя Гаврилов, был сущими помоями. Вода возле крупных чайных листиков всё более и более бурела, а сами листики набухали и разворачивались, и наблюдать за этими метаморфозами было весьма приятно. Павел успел успокоиться после неожиданности, произошедшей в столовой, и решил, что если Елена увидит его и захочет поговорить, то они поговорят, а сам он ни искать встречи, ни избегать ее не будет. Однако с того самого дня он предпочитал брать еду

в палату.

Слегин пил крупнолистовой чай без сахара и припоминал грехи для завтрашней исповеди, старичок Иванов спал с открытым ртом, а Карпов и Колобов снова разговаривали о политике. Бородатый Саша, чем-то похожий и на Ленина, и на Солженицына, неторопливо констатировал, что другие страны уже не уважают нас, что соседи разбежались из Союза по своим углам, что у власти – воры, что нет никаких идеалов, что по телевизору – сплошная порнография... Миша, пятидесятилетний толстячок с лицом шкодливого, но добродушного мальчишки, отвечал, что раньше он по два часа стоял в очереди за пивом, и было только «Жигулевское», а теперь в каждом киоске...

– А цены?! – тихогласо возмутился Карпов и для сравнения привел тогдашние и теперешние цены на бензин, попутно заметив, что пива или чего покрепче он уже больше тридцати лет не пил.

– Ничего себе! – изумился Колобов. – Как же ты так, дядь Саш?

– А вот так. Ехал как-то утром: солнышко светит, трасса ровнехонькая, впереди Ленинград – благодать Божия, одним словом. А я улыбнуться даже не могу: башка трещит с похмелюги. Ну, тогда я и дал зарок, что всё – ни грамма больше.

– А кому дал зарок? – заинтересованно спросил Павел.

– Просто дал зарок. Себе, наверное. По-моему, если му-

жик что сказал, то должен сделать – иначе он не мужик.

– Здорово! – восхищенно воскликнул Михаил, помолчал и, ехидно ухмыльнувшись, спросил: – И так-таки ни разу ни грамма?

– Да.

– А женат ты уже был?

– Нет еще, я года через три после того женился.

– И неужели ж ты, дядь Саш, на собственной свадьбе ни грамма не выпил?! – с торжественной риторичностью спросил испытующий.

– Ни грамма, – ответил Саша и с усмешкой добавил: – Нам, даже когда бокалы били, вместо шампанского лимонад «Буратино» наливали.

– «Буратино»!.. – и Колобов громогласно расхохотался, скрипуче корчась на кровати и колотя ладонью по ляжке; Павел тоже засмеялся.

– Что?.. – вскинулся старичок Иванов и, когда взгляд его прояснился, загнул: – Совести у вас нету – поспать не дадут...

– Прости, дядь Коль, – извинился толстячок, просмеиваясь. – Ты знаешь, какой среди нас трезвенник есть?

– Знаю, знаю... Он у нас святой. Он на свадьбе только лимонад... Слышали...

– До тихого часа, между прочим, еще двадцать минут, – заметил Карпов.

– Слышали... – повторил старичок, закрыл глаза и стойко

перенес новую волну хохота.

– А как там, в Ленинграде? – спросил чуть позже Колобов с тем чистым любопытством, с каким спрашивают внуки, сидящие на дедовых коленях.

– Очень красиво. Сейчас он уже, правда, Петербург – в Петербурге я не был. Но в Ленинграде самое красивое место – это Эрмитаж. Я всегда по нескольку часов выкраивал, чтобы сходить. Есть там один такой зал... ну-ка... да, как войдешь – налево, на второй этаж – и снова налево. Он огромный, весь белый с золотом и с огромными хрустальными люстрами. Там есть такие часы-павлин: огромная золотая клетка, а внутри дерево, трава, грибы, сова и павлин... Всё из золота, и каждый час павлин вертит головой и распускает хвост. А еще из этого зала есть выход в сад, на втором этаже настоящие деревья растут, трава, цветы – висячий сад, чудо света!

– Бывает же такое... – потрясенно пробормотал Михаил.

– А где ты еще был, дядь Саш?

– Да весь Союз, почитай, объездил. В Грозный съездить только не получилось, жалко. А сейчас там война.

– У меня брат недавно из Чечни вернулся, денег много привез.

– Сколько?

Колобов сказал.

– Прилично.

– Он контрактник, им платят. Он сразу машину купил,

«Волгу» новую, погулял хорошо. Еще он две гранаты привез: одну у мамы в деревне взорвал – рыбу глушил, а другую бережет на всякий случай.

– Опять на войну не собирается?

– Хватит, навоевался.

– Молодец.

Павел заинтересованно слушал.

– А вот я когда в армии служил, мне денег не платили. Но до чего здорово там было! – произнес Колобов с внезапным воодушевлением, и приятственные воспоминания прозрачно засквозили в его взгляде. – Я на китайской границе служил, на заставе. Эх, там и природа! И охота, и рыбалка, и грибы с ягодами. Здесь ты с удочкой, с бредешком – если ведро наловишь, то это уж очень хорошо. А там речка шириной метра два и снастей никаких не было, а рыбы – ужас. Мы прямо брали бочку и сетку-рабицу, и этой сеткой просто черпали рыбу и черпали. За час полную бочку начерпывали. Зубров били, медведей были. У медведей лапы отрубали, а остальное – волкам, из когтей кулоны делали.

– А шкуры что же? – поинтересовался Карпов и, заранее ужасаясь чужой бесхозяйственности, спросил: – Неужто не снимали?

– Не снимали, дядь Саш. Мы их выделывать не умели. Беличьи шкурки, правда, брали на стельки для сапог, но они быстро трескались, вонять начинали – дня на три хватало, а потом выбрасывали. Зато как этих белок стреляли – обхохо-

чешься. Солдаты вместо собак были: собаки лают, как белку увидят, а мы: «Товарищ старший лейтенант, белка!» Он ее из мелкашки – бац: «Подбери!» – Михаил тихо рассмеялся.

– Как-то не похоже на армию, – недоверчиво заметил Слегин.

– Просто на границе, поэтому и вольности такие. Нас вместе с офицерами и двадцати человек не насчитаешь, начальство далеко, так что мы летом по полдня в одних майках ходили. Да это еще что – рядом метеостанция была, и там метеоролог жил, бобыль. А патроны от автоматов подходили к его карабину – вот мы и меняли патроны на бражку. Хорошо!.. А как я там ел – я так нигде не ел. И кормили, и охота-рыбалка, и еще на собак отпускалось по 5 кг сала в день – ну, сала они, конечно, не видели, им и так хватало...

Павел заснул с улыбкой, и последним, что он слышал наяву, было: «Местные там чай странно пьют: мы – с сахаром, а они – с солью».

– Действительно, странно: они – с солью, мы – с сахаром, а ты, Павел, – безо всего, – произнес потусторонний знакомый.

– Чего тебе? – спросил человек, боеготовно сконцентрировавшись и попутно творя Иисусову молитву.

– Да ничего особенного, пришел засвидетельствовать почтение, – рассеяно отвечивал бес.

– А еще что?

– А больше ничего. Елену ты уже видел сегодня – почему

бы и мне не заглянуть... Для полноты впечатления.

– Но тебе же, наверное, побеседовать хочется... Раз уж заглянул.

– Вовсе нет. Тебе хотелось бы беседовать с субъектом, который истошно орет и размахивает дубиной? Вот и я с молящимся человеком говорить не расположен. До встречи, приятель.

Учтиво осклабившись и откланявшись, искушитель покинул сон Павла Слегина.

– Колобов, четырехсотая палата, спуститесь вниз, к вам пришли. Колобов, четырехсотая, спуститесь вниз. Колобов, четырехсотая.

Все динамики на этаже пронзительно щелкнули и смолкли. В первые дни Павел вздрагивал, слыша подобные громогласные призывы: ему представлялось, что он в троллейбусе и что незримый водитель всё объявляет и объявляет очередные остановки... Потом эта страшноватая ассоциация сменилась более нейтральной, и больной уже не вздрагивал.

Михаил поспешно сложил в сумку пустые банки, надел спортивную куртку и вышел из палаты. У самых дверей он разминулся с человеком, одетым в пушистый, можно даже сказать курчавый, шерстяной свитер, синие джинсы и тапочки. Поверх серого свитера была повязана куцая белая накидка, сбившаяся назад и подрагивающая при ходьбе наподобие

сломаных крыльев.

– Доброго здоровья! – сказал человек, переступая порог палаты, и направился к кровати Слегина.

Недавно проснувшись и еще не вполне освоившись в грубой реальности, тот с ужасом наблюдал приближение гостя. Он отчетливо помнил, как неделю назад сидел в убийственно-удобном психоаналитическом кресле, а к нему подходили и подходили одинаковые бесы в курчавых серых свитерах, синих джинсах и тапочках... Но ведь он уже проснулся – неужели опять?!

– Здравствуй, Павел! Как говорится, пришел засвидетельствовать почтение, – сказал неожиданный гость.

Больной хотел крикнуть – и не мог, хотел перекреститься – но рука не слушалась, он лишь смотрел на гостя, а гость с видимым недоумением глядел на Павла и поправлял накидку. Белая накидка округло улеглась на плечах посетителя, став похожей на священническую фелонь, и Слегин внезапно улыбнулся.

– Здравствуйте, отец Димитрий! – радостно проговорил он. – А я вас завтра ждал.

– Завтра само собой, а сегодня просто в гости зашел. Извините, Павел, но мне показалось, что я чем-то напугал вас...

– Так и есть, – весело подтвердил тот. – Садитесь, пожалуйста, на стул – я вам сейчас всё расскажу.

– Как на вокзале, – заметил священник, усаживаясь и

прислушиваясь.

– У меня тоже с вокзалом ассоциация, – согласился большой. – Скорый поезд такой-то прибывает на такой-то путь... А вы меня и вправду напугали.

И Павел негромко и обстоятельно рассказал о домогательствах беса. Отец Димитрий, придвинув стул вплотную к сидящему на постели, внимательно слушал его рассказ; старичок Иванов с соседней койки тоже пытался вслушиваться, но вскоре бросил ввиду тихости и непонятности повествования.

– Надо же... – задумчиво пробормотал батюшка и продолжил тихим исповедальным голосом: – Ко мне ведь тоже приставлен один поганец из их ведомства, во сне иногда является. Говорливый, нагловатый, в костюмчике – он мне представился даже, Иваном Федоровичем его зовут.

– Как Ивана из «Братьев Карамазовых»?

– С умным человеком и поговорить приятно, – усмехнулся отец Димитрий. – Давно перечитывали?

– В прошлом месяце закончил. Я когда диалог брата Ивана с чертом читал, о своем знакомом вспоминал.

– А ваш знакомый и сам не прочь о себе напомнить...

– Отец Димитрий, неужели же всем людям бесы являются? Для бесед... Во сне, а то и наяву... А?

– Наверное, только большим грешникам и большим праведникам. Я отношусь к первой категории, а к какой вы – не знаю.

– Я же вам исповедовался и историю свою рассказывал. Какой из меня праведник?.. А на себя вы, по-моему, наговариваете.

– Павел, ничегошеньки вы обо мне не знаете, – молвил иерей с мягкой грустью. – Это даже как-то нечестно. Вы про себя рассказывали, а я про себя – нет. Идеализировать священников – это вообще большая ошибка. Идеализация – она хуже клеветы: клевету можно опровергнуть, а в идеале можно только разочароваться. Один Бог без греха. А свою историю я вам сейчас расскажу. Знаете ли... – отец Димитрий замаялся и слегка покраснел. – Мне кажется, что после моего рассказа мы сможем перейти на «ты». Всё-таки ровесники, три года знакомы, а грешен я не меньше вашего.

Батюшка опасливо огляделся и заговорил еще тише, так что даже Павлу было едва слышно. Впрочем, начала повествования Слегин не смог воспринять, радостно оглоушенный возможностью перехода на «ты».

– Надо же! – усмехнулся отец Димитрий. – Мне уже почти не хочется рассказывать. Чисто интеллигентская черта – не разрушать благоприятного представления о себе, ни в чем не каяться, а тихо-мирно рефлексировать, как сказано в одном мудром фильме, «сделать гадость, а потом долго-долго мучиться»... Однако попробуем преодолеть. Дело в том, Павел...

Павел вздрогнул, очнувшись от приятных раздумий.

– ... дело в том, что я всего лишь четыре года как священ-

ник, всего лишь четыре года. Восемь лет назад архиепископ благословил меня на левый клирос и на заочное обучение в семинарии. На третьем курсе был рукоположен в диаконы, на пятом – в иереи, заканчивал семинарию уже священником. А до тех восьми лет относительной воцерковленности я, любезный Павел, был в секте.

– В секте?!

– Именно. Причем не в какой-нибудь протестантской, где хотя бы иллюзия христианства присутствует, а во вполне оккультной секте. Знаете ли, в те годы была мода на эзотерику, причем это, в отличие от дней сегодняшних, была вполне элитарная мода. Студенту-гуманитарию, каким я был тогда, любое «там что-то есть» казалось вполне революционным и безусловно положительным заявлением. И вдруг – приглашение в тайное общество, с инициациями, с ритуалами, с бесконечными ступенями посвящения... Это вам не Церковь, где одни глупые бабки коленки протирают, а священники – сплошь стукачи или переодетые гэбэшники! Это синтез науки и тайной мудрости Востока! Это религия одушевленного Космоса! Вот такая вот бяка была у меня в голове, Павел.

Сейчас все эти оккультные секточки всего лишь сфера бизнеса: вводная лекция – бесплатно, первая ступенька – столько-то, вторая – столько-то, третья – и т.д., и т.п. Каждая ступенька дает некую сумму оккультных знаний, умений и навыков, увеличивает возможности посвященного. Очень

похоже на сетевой маркетинг с рангами дистрибьюторов.

Раньше было не так: те же ступеньки, но не за деньги, а по заслугам. Я был неглуп, умел убеждать, не уклонялся от общественной работы и, соответственно, довольно быстро шагал по лестнице оккультного познания. «Малых сих» я убеждал в надрелигиозности нашего тайного общества, в неприменимости к нему, скажем, христианской терминологии, однако чем выше я карабкался, тем больше убеждался в обратном. Безличностные космические силы и энергетические потоки внезапно оказывались очень даже личностными и требовали жертвоприношений. А Великий Астральный Свет носил, как выяснилось, более короткое имя – Люцифер. Отношение к Православию на более высоких ступенях тоже менялось: из сборища дураков и гэбэшников Церковь превращалась в реальную силу, абсолютно враждебную нашей секте. Я решил, что врага следует знать в лицо, принялся изучать Православие и в результате стал православным священником.

Отец Димитрий невесело улыбнулся, послушал молчание Павла и продолжил:

– Да, Павел. Я великий грешник. Две трети из тех, кого духовно соблазнил, я смог перетащить в Церковь. А одну треть – не смог. И этой одной трети, если по справедливости, вполне достаточно для моего осуждения. Однако я надеюсь на милосердие Божие.

Священник вновь замолчал, а Павел, чрезвычайно взвол-

нованный, пытался подобрать нужные слова – и не получалось.

– Может быть, вы и не зря меня за беса приняли, – проговорил батюшка, неловко усмехнувшись. – Хотя джинсы – это случайность: матушка зимние штаны замочила, говорит – грязные...

– Брат мой! – воскликнул Павел, подобрав-таки слова, и трое остальных обитателей палаты, в том числе и вернувшийся Колобов, посмотрели на Слегина и его гостя.

– Братство во Христе гораздо лучше, чем братство во грехе, – пробормотал отец Димитрий, разглядывая узор на линолеуме. – И лучше бы нам бесы не являлись, хоть это и роднит нас. – Он поднял стыдливо опущенную голову, посмотрел в глаза собеседника и улыбнулся. – Но братьям сподручнее говорить друг другу «ты» – тебе так не кажется?

– Кажется, – уверенно ответил Павел и робко спросил: – Как ты пришел к Богу? Евангелие? Богословская литература? Молитвенный опыт?

– Сначала – Достоевский. Потом – Евангелие и молитвенный опыт. А богословская литература – уже в семинарские годы.

– Достоевский... – удивленно повторил Павел. – А я думал, что это тупиковый путь.

– В смысле?

– Слишком много грязи и страстей. А о Боге почти ничего – только мельком, краем глаза или на горизонте. А в грязь и

страсти попросту суют лицом.

– Вот именно! Ты слышал про апофатическое богословие?

– Богопознание через познание того, что не является Богом.

– Не всякий мой прихожанин столь сведущ.

– В прошлом году я много читал.

– Похвально. Однако вернемся к тому, что Федор Михайлович сунул тебя лицом в страсти и грязь. Самая естественная реакция в данном случае какая? Встать и отряхнуться. Движение прочь от хорошо описанной грязи – это движение в сторону неопишуемого Бога. А система координат в произведениях Достоевского истинно православная, так что рефлекторное движение читателя предполагается не в сторону какой-нибудь пустой нирваны, а в сторону всепрощающего Христа.

Священник говорил уверенным, почти лекционным тоном, и Павлу вновь вспомнилось отличническое доказательство теоремы и стук мелка о доску и подумалось, что две трети подопечных отца Димитрия, которых он вырвал из секты и привел в Православие, – это, вероятно, довольно большое количество людей.

– Всепрощающего... – пробормотал Слегин. – А разве Он всех прощает? Разве все обречены на спасение?

– Срезал, – похвалил батюшка. – Милосердие Бога безгранично, мы с тобой это на себе испытали. Однако простить

и спасти Он может только того, кто хочет быть прощенным и спасенным и выполняет указания Врача. Словом, если хочешь бессмертия – принимай лекарство от смерти, то есть причащайся, а перед причащением – кайся в грехах. Это я не тебе, Павел, говорю – это я общо. А кто не желает принимать лекарства, тот умрет, и Врач тут совсем не виноват.

– Кажется, диакон Андрей Кураев такое развернутое сравнение приводил.

– Да и не он один, – заметил отец Димитрий и процитировал: – «Отче Святый, Врачу душ и телес наших...» Забыл, что ли?

– Не забыл, – ответил Павел и улыбнулся.

– Ну, вот и хорошо. Раз не забыл – скоро поправишься. Я завтра часов в восемь приду. Будь готов.

– Всегда готов.

Посмеялись и помолчали.

– А ты сегодня намного лучше выглядишь, чем в прошлый раз, – похвалил священник. – Тогда совсем доходягой был.

– Лучше. Со вчерашнего дня уже сам в столовую хожу.

– Молодец.

– А еще меня вчера на флюорографию возили, в коляске. Флюорографию на первом этаже делают, я бы не дошел.

– Приятно, когда тебя возят?

– Скорее стыдно.

– Очень хорошо, Павел. А результаты уже известны?

– Врач говорит, что организм отреагировал на лекарства

и есть улучшения.

– Ну, вот и славно... Павел, мне идти пора. Завтра увидимся.

Священник встал со стула, а больной – с кровати; священник протянул руку, а больной пожал ее.

– До завтра, Павел.

– До завтра, отец Димитрий.

– Это был твой брат? – спросил у Слегина Колобов, когда посетитель ушел.

– По плоти – нет, по вере – да, по духу – скорее отец, нежели брат.

– Не понял, – простодушно констатировал Михаил.

– Завтра утром поймешь, – улыбчиво пояснил Павел.

Однако до утра еще нужно было дожить: утру предшествовали вечер и ночь. Вечером Павел самостоятельно сходил на уколы, помолился в пальмовой молельне, глядя куда-то сквозь оконное стекло и заснеженный пустырь, и отправился спать.

В ночном сне ему приснилось позднее зимнее утро, черно-белое кладбище и цветные небо, солнце, купол. Слегин шел в церковь к большому празднику и по собственному умонастроению вдруг понял, что он не Павел, а дядя Паша, и ему стало грустно, как бывает грустно душе, возвращающейся в тело после клинической смерти.

Дядя Паша рыкнул, прогоняя странную грусть и пугая прохожих, после чего по-крабьи заковылял далее. Глаза его (прямосмотрящий и скошенный к носу) глядели вниз, туда, где ступали его ноги (здоровая и покалеченная). Вверх смотреть было незачем: он и так знал, что в воздухе кишмя кишат бесы и оттого воздух похож на кипящую воду с бесами-чайниками.

Обычно дядя Паша в церковь не ходил: не дурак же он в конце концов – какие в аду церкви?! Однако на Крещение он регулярно заглядывал на церковный двор посмотреть, как люди давят друг друга, ругаются и чуть ли не дерутся из-за святой воды, – и хохотал до изнеможения. Нынче церковный двор вновь был забит людьми с пустыми бидонами, трехлитровыми банками и пластиковыми бутылками, и это было очень смешно. Но на сей раз какое-то чувство, столь же непонятное, как и недавняя грусть, втокнуло дядю Пашу в храм.

Народу было не очень-то много: большинство стояло снаружи в ожидании водосвятного молебна. Дядя Паша уже довольно давно выяснил, что на клиросах поют матом, а прихожане ничего не замечают, и это было уморительно, но слушать всё-таки не хотелось. Теперь же в храме совершалось что-то необычное: через открытые Царские врата было видно, что в алтаре какого-то мужчину с испуганным и откуда-то знакомым лицом, бородача, одетого в белое, водят вокруг престола, ставят на колени, подводят к архиерею... На-

конец иерарх возгласил:

– Аксиос!

– Аксиос, аксиос, аксиос! – весело подхватил клир.

«Иностранное ругательство», – решил дядя Паша и подпел по-русски:

– Накося, накося, выкуси!

На него возмущенно посмотрели, и он, посмеиваясь, пошел из храма, а с клироса неслось вдогонку:

– Достоин! Достоин!

– Достоин... – повторил дядя Паша и тревожно подумал: «Откуда же я его знаю?..»

Подумав так, человек раздвоился и в упор посмотрел на свое щетинистое лицо со скошенным к носу глазом. «Этот глаз надо запомнить», – понял Слегин.

«Глаз!» – мысленно воскликнул Павел, проснувшись.

Он посмотрел на часы, поспешно оделся и отправился в пальмовую молельню. Там он прочитал утренние молитвы и молитвы перед причащением, а канонов читать не стал, не надеясь на свою память. До прихода отца Димитрия он успел вернуться. На этот раз священник пришел в широкорукавном подряснике и скуфейке, с епитрахилью, крестом и дароносицей на груди, и ошеломленный Михаил Колобов понял, почему вчерашний посетитель Слегина, не являясь братом по плоти, может быть братом по вере и духовным отцом.

После причащения Павел спросил:

– Отец Димитрий, а вас (тебя то есть – никак не привык-

ну)... Тебя, случаем, не в праздник Крещения рукополагали? Не в соборе?

– Да, – удивленно ответил батюшка. – Завтра ровно четыре года будет.

– Я, оказывается, видел... тебя тогда. У тебя довольно испуганное лицо было.

– Как это ты запомнил, интересно?

– Во сне сегодня увидел.

– Надо же... А там, когда диакон тебя водит то вокруг престола, то архиерею руку целовать, вообще ничего не соображаешь. Испуганное лицо... – Священник рассмеялся и продолжил: – Да, четыре года. А сегодня вечером я буду воду в проруби святить, многие моржевать придут. Вообще-то, от крещенской воды еще никто не заболел; может, и я окупнусь... Да, праздник великий! Ну, Павел, поздравляю тебя с принятием святых Христовых Таин, с наступающим праздником тоже поздравляю. А я пойду. Выздоровливай.

Павел поднялся с постели и взял благословение, после чего они с отцом Димитрием троекратно расцеловались.

– В следующий четверг приду причащать; может, и среди недели забегу. Ну, до встречи! – попрощался батюшка.

– До встречи! – ответил Слегин.

– До свидания! – дружно сказали остальные больные.

– До свидания! – ответил священник, улыбнулся и вышел.

Через минуту в палату влетела милостивая сестричка по

имени Света, та самая, которую очень хвалил Женя Гаврилов, – впрочем, Павел лежал уже одиннадцатый день и имел не один случай убедиться в правоте Жени. Влетев в палату, Света на мгновение застыла, как девочка, играющая в прятки и достигшая наконец убежища; вся ее ладная фигурка и в особенности курносое личико были пропитаны напряженной растерянностью.

– Доброе утро, – сказала она, очнувшись. – Я вам градусники принесла. Сейчас шла сюда, а мне навстречу – поп! Настоящий! В рясе, с крестом! У меня аж мурашки по коже: я из-за угла – и он из-за угла...

– Это отец Димитрий, он к Павлу приходил, – готовно сообщил Колобов.

– Да?.. – Девушка заинтересованно посмотрела на Павла. – А вам, Слегин, с сегодняшнего дня дышать назначили. До поста дойти сможете?

– Смогу. А в каком смысле дышать?

– Пойдемте, – сказала Света с лакомой улыбкой. – Я вам всё объясню.

– Когда моя дочка так улыбается, я ее убить готов, – проговорил Михаил после исчезновения медсестры и больного.

– Она дочка тебе? – уточнил Иванов.

– Нет, конечно. Просто улыбка одинаковая.

А тем временем Слегин и белохалатная Светлана медленно шли по коридору, и Павел, слегка задыхаясь, спрашивал:

– Простите, сестра... но разве вы раньше... не видели

здесь... священников?

– Я здесь недавно работаю, – ответила та, подавляя ножную прыть. – Уже скоро...

Скоро они и впрямь подошли к медпосту – трехстенному закутку с деревянным ограждением, «похожим на стойку бара», – подумал бы кто-то. «Высотой как поручень возле троллейбусного окна», – отметил Павел. Часть ограждения была отделена и посажена на петли; ее-то Света и толкнула, пригласив больного войти. Сразу за ограждением располагался стол с телефоном, вдоль боковых стен стояли шкаф с медикаментами и диван, возле пухлого диванного валика притулился рахитичный столик на колесиках, увенчанный замысловатым аппаратом.

– Присаживайтесь вот сюда, ближе к краю, – предложила медсестра, легко обезглавливая ампулы, вытягивая из них лекарство и впрыскивая его в какой-то полупрозрачный пластмассовый стаканчик. – Сейчас будем дышать, – пояснила она, присоединяя стаканчик к шлангу аппарата и закрывая сверху клювообразной насадкой. – Вот вам пока градусник. Дышать будете десять минут, заодно и температуру смеряете. – Она щелкнула переключателем, аппарат заурчал, а жидкость внутри стаканчика забурлила. – Мундштук берете в рот, вдыхаете только ртом. Когда вдыхаете, нажимаете вот на эту кнопку, выдыхаете через нос. Понятно?

Павел кивнул, нажал кнопку под клювом мундштука, вдохнул влажный лекарственный воздух, отпустил кнопку,

выдохнул через нос, нажал кнопку... В палате он сплюнул в раковину, прополоскал рот и почистил зубы, а потом позвали завтракать.

В палате № 0 завтракали только двое – Слегин и Колобов. Карпов тоже взял завтрак, но лишь тоскливо глядел на стынущую молочную вермишель с пенками: анализ крови нужно было сдавать натошак, а медсестра-кровопускательница задерживалась. Иванов и вовсе не ходил на завтрак, поскольку успел хорошенечко наесться домашними подношениями, и теперь спал с полуоткрытым ртом.

Доев, Михаил очень медленно (чтобы не скрипнула) поднялся с постели, выудил из тарелки длиннущую (вероятно, специально отложенную) вермишелину и со шkodливым выражением на лице пошел на цыпочках к почивающему старичку Иванову. Павел и Саша заинтересованно наблюдали, как озорник, достигнув цели, принялся водить влажной вермишелиной по ладони спящего, а ладонь судорожно вздрагивала, взмывала в воздух, пытаясь избавиться от навязчивой мухи... Наконец Иванов проснулся, оценил ситуацию и, повернувшись к соседней кровати, озадаченно сказал:

– Павел, вот ты – умный. Вот ты объясни мне – что этот шельмец делает?

– Озорничает, – ответил Слегин и, не в силах сдержаться, расхохотался.

– Дядь Коль, обедать уж пора, а ты спишь! – сообщил ша-

лун.

– Да иди ты отсель! – сердито ответил разбуженный, глянул на часы и добавил: – Ой, ну и дурак!

– Скажи спасибо, что он тебе «велосипед» не сделал, как в армии, – проговорил сквозь смех Саша.

– Спасибо.

– Карпов, кровь сдавать! – сказал кто-то, не заходя в палату.

– Наконец-то, – обрадовался тот и поспешно вышел.

До его возвращения Слегин доел вермишель и узнал, что «велосипедом» называется довольно жестокая шутка: спящему вставляют между пальцами ног спички, поджигают и смотрят.

– Тебя, похоже, выписывать собираются, – предположил Колобов, взглянув на вернувшегося однопалатника: одна рука Карпова была согнута в локте, а большой и безымянный пальцы другой руки сжимали ватку. – И из вены, и из пальца. И ты ведь утром еще мочу сдавал?

– Сдавал, – гордо подтвердил Саша. – А к десяти на флюорографию пойду.

– Точно – выписывают.

– Смотря какие результаты будут. Ты, Миша, не говори пока ничего – вдруг сглазишь. В любом случае будем лежать до победы.

– Ага, – мрачно проговорил Иванов. – До 9 мая.

Весело было этим утром в палате.

Во время обхода Мария Викторовна сказала, что Павел выглядит намного лучше и спросила, продолжается ли кровохарканье.

– Вчера было раза три, сгустками, а сегодня – нет, – ответил Слегин.

– Хрипы не прослушиваются, – комментировала врач. – Это славно. Дышать ходили?

– Да. На уколы я со вчерашнего вечера тоже сам хожу.

– Замечательно. Набирайтесь сил, не залёживайтесь. Со следующей недели вам уже можно будет на дыхательную гимнастику ходить.

– Лет двадцать гимнастикой не занимался.

– А зря.

Иванову Мария Викторовна ничего не сказала, а Колобову посулила бронхоскопию назавтра.

– А что это за зверь? – любопытствовал Михаил.

– Это такое обследование. Через нос вам введут в легкое трубочку с оптической системой и посмотрят, что у вас там интересного. По ощущениям чуть-чуть неприятнее, чем гастроскопия, но в целом терпимо.

– Ну ни хрена себе! – взревел Михаил, заметно побледнев.

– Колобов, не выражайтесь.

Старичок Коля хихикнул, а доктор перешла к Карпову.

– Вас, Карпов, можно поздравить. Завтра на выписку.

– А результаты анализов? – радостно спросил Саша.

– Результаты должны быть хорошими. Впрочем, после

обеда принесут снимок, и я вам скажу точно.

– Тебя на выписку, а меня – на бронхоскопию, – жалобно проныл Колобов, когда Мария Викторовна удалилась. – Тебе хоть делали эту гадость?

– Нет. Сначала назначили, а потом отменили... У меня ведь сердце.

– И что?

– Могло не выдержать. Там, говорят, когда ее делают, шприц специальный держат наготове. Чтобы, если сердце остановится...

– Ну ни хрена себе! – взвыл Михаил, схватил сигареты и выскочил из палаты.

Павел сотворил Иисусову молитву и перекрестился, прибавив мысленно: «Господи, избави мя от бронхоскопии!»

После обеда Мария Викторовна сообщила Карпову, что снимок хороший.

– Слава Тебе, Господи! – воскликнул Саша. – Обрадую теперь баушку.

«Баушка» пришла после тихого часа и, узнав новость, радостно перекрестилась.

– Слава Богу! А я хотела завтра водички тебе принести.

– Вместе за водичкой ходим, вместе. Меня утром выпишут – сразу и пойдем. Тут как раз церковь рядом. Самую большую свечку Богу поставлю! Чтобы уж никогда, никогда так не болеть! Сорок дней лежал! Хорошо ты меня, баушка, мороженым покормила...

– Приятное хотела тебе, дурню, сделать. Кто ж знал, что ты такой нежный?

– Да я не в обиду, я так...

– Так ты, дядь Саш, из-за мороженого здесь? – встрял Ми-хаил.

– Из-за мороженого, – живо откликнулась старушка. – Я, дура, его побаловать хотела, а он только с мороза пришел, не согрелся, а потом ему опять уходить было нужно – опять не согрелся. Так и началось.

Поздним вечером в палату, как всегда, пришла медсестра и сделала старичку Иванову несколько уколов. Несмотря на ликующее настроение, Карпов не сдержался и проворчал:

– Работают, как папа Карло, а получают, как Буратино на мороженое. Это ж надо – за такие деньги в чужие задницы заглядывать! Эх, демократия!..

«Почему как Буратино на мороженое?» – подумал Павел, отходя ко сну. Поразмыслив, догадался. Догадавшись, заснул.

Его разбудило радио.

– Сегодня Русская Православная Церковь отмечает великий двенадесятый праздник – Богоявление, – сообщил диктор с той же деловитостью, с какой рассказывал минуту назад о подрыве российского бронетранспортера чеченскими боевиками. – Другое название этого праздника – Крещение. По преданию, в этот день Иисус Христос крестился в Иор-

дане посредством Иоанна Крестителя. Когда Иисус выходил из воды, разверзлись небеса, и Дух Святой в виде голубя сошел на Него, и был глас с неба, глаголющий: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Так были явлены все три ипостаси Пресвятой Троицы. Вчера вечером и сегодня утром по всей России были отслужены торжественные водосвятные молебны. Освящалась вода в прорубях, и некоторые смельчаки купались там. Сложно сказать, что придавало им смелости – вера или же выпитое спиртное...

– Господи, помилуй нас, грешных! – прошептал Павел и принялся одеваться.

После завтрака медсестра Света принесла обеденную порцию таблеток и поздравила всех, а в особенности Павла («Почему в особенности?» – «Ведь вы же верующий») с праздником. Карпову таблеток уже не полагалось, а Иванову принесли целую горсть.

– Саш, твои теперь, наверное, мне достались, – прокомментировал старичок Коля, на что Саша отвечивал:

– «Пить так пить», – сказал котенок, когда его несли топить... Что-то я волнуюсь, мужики!

– Да ладно тебе, дядь Саш! – раздраженно проговорил Михаил. – Тебе нынче домой идти – не на бронхоскопию.

– Господи! Пусть никогда я больше сюда не попаду! – воскликнул Карпов, глянул по сторонам и широко перекрестился.

– Нервишки... – пробормотал Колобов.

Павел встал с постели, подошел к перекрестившемуся и тихо спросил:

– Саша, а почему ты крестика не носишь?

– Павел, а я, может, и некрещеный. Не знаю даже, считается это или не считается... Ты сядь, пожалуйста, вот сюда, на стул, – я тебе расскажу. В общем, попов тогда было мало, да и крестить в церкви боялись, – короче, меня крестила бабка. Это считается?

– Считается, – с удовольствием объяснил Слегин. – Только в церкви сразу же за таинством крещения совершают таинство миропомазания. А бабка его, естественно, совершить не могла. Миропомазание – это великое таинство. Слышал, наверное, что царей называют помазанниками Божьими. Это из-за того, что при восшествии на престол их второй раз в жизни мажут миром. А первый раз – при крещении, так что сходи в церковь, купи крестик и дополни таинство. В воду тебя уже окунать не будут, а миром помажут.

– Вот как, оказывается, тебя разговорить можно, – усмехнулся Карпов. – А насчет таинства – не знаю, пока. Я ведь в Бога не очень верую. Вот баушка моя – та верует. А мы с ней всю жизнь душа в душу. Я не пью – она и не ругается. Вот я и думать стал: если там всё-таки есть что-то, то мне бы и дальше с ней хотелось, с баушкой. А то ВЧК да ВЧК – страшно.

– Саша, я дам тебе телефон отца Димитрия. Если надумаешь – позвони. Кстати, креститься или дополнить таинство

можно и дома. Он придет и всё сделает.

– Спасибо, Павел. Я подумаю. Где-то тут у меня была ручка с бумажкой...

На обходе Мария Викторовна поздравила Карпова и выдала ему анамнез, а Колобову сообщила, что бронхоскопия переносится на понедельник, поскольку не удалось достать талончик. В ответ на эмоциональные возгласы Михаила врач попросила его прекратить истерику и быть мужчиной. На этом обходе был осмотрен еще один больной – новенький, расположившийся на свежезастеленной кровати Карпова, то есть на бывшей кровати Карпова, в то время как сам Саша скромненько сидел на легком деревянном стуле с сумкой на спинке, словно и не лежал здесь Саша сорок дней, а лишь заскочил на минутку проведать кое-кого, и уже пора восвояси, под ручку с «баушкой», ждущей за дверью. Перед уходом он услышал интересное – такое, о чем можно рассказать супруге или приятелю:

– Ну, я и попал! – воскликнул новенький, парень лет двадцати.

– Все мы тут попали... – пробормотал Михаил.

– А у меня свадьба через неделю, – нервно пояснил парень.

– Н-да-а... – протянул Саша Карпов, попрощался со всеми за руку, пожелал скорейшего выздоровления и ушел.

Слегин взял телефонную карточку и тоже вышел. В коридоре он позвонил Марье Петровне и попросил принести

крещенской воды и двенадцатый том Достоевского.

– После тихого часа? Хорошо, буду ждать... Там окончание «Братьев Карамазовых» и рассказы. Рассказы я не успел прочитать, так уж вышло... Не надо колбасы, не надо. Лучше уж сыра, если на то пошло... Ну, спаси Бог. До встречи.

Павел повесил трубку, повернулся, чтобы идти в палату, и застыл: в двух шагах от него стояла Елена и умоляюще смотрела снизу вверх. Она стояла на коленях.

– Прости меня, Павел, – сказала женщина.

– Бог простит, – ответил мужчина, опускаясь на колени, так что расстояние между собеседниками сократилось до одного шага. – И ты меня прости, Елена.

– За что?!

– До больницы я ни разу не молился о тебе. О бесе-искусителе молился, а о тебе – нет.

«Все женщины в больнице ходят в халатах: медсестры и посетительницы – в белых, а больные – в цветастых, – подумал Павел, глядя на отворот женского халата, шею, новенькую тесемку на шее... – Вот оно! Раба Божия Елена... Вот зачем эта встреча!»

И Павел ясно вспомнил, что *тогда* креста на ней не было. Был только один крест – его собственный. И был момент, когда цепочка зацепилась за ее грудь, и Паша испугался... Но цепочка выдержала, и юноша закинул крест на спину.

Павел посмотрел в глаза Елены и улыбнулся.

– Ты изменился, – сказала она. – Не хромаешь, глазом не

косишь, бороду отпустил.

– И в здравом уме к тому же, – улыбочиво добавил Павел. – Помнишь, Елена, когда Христос изгнал из бесноватого легион бесов, люди увидели того человека одетым и в здравом уме и ужаснулись. Ты не ужасаешься – ты плачешь. Это нормальная реакция.

Женщина плакала, а мужчина неторопливо говорил: он знал, что Господь не допустит, чтобы кто-нибудь помешал разговору.

– Когда ты окрестилась?

– В прошлом году, в сентябре.

– На Воздвижение Креста Господня?

– Да, как ты догадался?

– Царица Елена... – загадочно ответил Слегин.

– Ой, Павел! – воскликнула Елена и рассказала, что после того, как выскочила из троллейбуса, бегала по ночному городу и кричала, пока не охрипла, а потом была больница, пульмонология. Кондукторша вылечилась и почти забыла причину болезни, но на следующее Рождество опять попала в больницу с воспалением легких. С середины декабря женщина взяла отпуск и упорно сидела дома, но всё-таки заболела. Это было год назад.

– Когда я окрестилась, я думала, что в четвертый раз уже не заболею. Теперь я поняла.

– Я думаю, в следующем году всё будет в порядке, – сказал Павел.

Точнее, он знал, что в следующем году всё будет в порядке. Знал он также и содержание рассказа Елены: было достаточно тогдашнего бегства в морозную ночь и нынешней тесемочки от крестика, чтобы размотать трехлетний свиток. Павел не знал одного: есть ли у Елены муж. Рассеянно слушая ее рассказ, Слегин думал: «Может, мне жениться на ней? Если спасусь я, спасется и она. Если спасется она, спасусь и я».

– Ты замужем? – спросил он.

– Да, – ответила она.

«Слава Тебе, Господи, – поблагодарил Павел. – Не дал мне, по грехам моим, тяжелого креста».

– Вы венчались?

– Нет. Но я уговорю его, обвенчаемся.

– Бог в помощь. Я помолюсь, чтобы уговорила.

– Спасибо.

– «Спаси Бог» говорить надо. Учишь вас, учишь...

– Спаси Бог.

– Ну, вот ты и улыбнулась.

– Ты правда простил меня?

– Простил. А ты простила, что я о тебе не молился?

– Простила. Но теперь-то не забывай.

– Не забуду. И ты не забывай обо мне молиться.

– Я – о тебе?

– Именно. Прощай, – сказал Павел и поцеловал женщину в лоб.

Та посмотрела на него слезящимися глазами и, не посмев

прикоснуться губами к его лицу, поцеловала в правое плечо.

– Ну, так не пойдет! – запротестовал он, поднимаясь с колен и подавая Елене руку. – Мы теперь брат и сестра.

Они троекратно расцеловались.

– Прощай, Павел.

– Прощай, Елена.

Только Бог был свидетелем их разговора.

Неделя третья

– Опять в этих креслах?! – возмутился Павел и принялся усердно творить молитву.

– Извини! – поспешно проговорил бес, и под человеком оказался деревянный больничный стул. – Не молись пока, пожалуйста. У меня к тебе серьезный разговор.

Сам искуситель униженно утопал в психоаналитическом кресле, расположенном по другую сторону пустого журнального столика.

– Три года назад у тебя тоже был ко мне серьезный разговор, и после него я решил выпрыгнуть из окошка, – напомнил Павел, продолжая мысленно проговаривать коротенькую молитву.

– И выпрыгнул бы, если бы тебя не помиловали, – с отвращением проговорил черт. – Человеческая трусость плюс Божественный произвол – равняется рождественское чудо... Впрочем, сейчас уже поздно об этом. Сейчас я просто хочу, чтобы ты прекратил молиться и выслушал меня. В память о той несправедливости.

– В память о той несправедливости я ежедневно молюсь о тебе. Кстати, выглядишь ты неважно: бледный, пот градом...

– А скоро и вовсе исчезну. Мне очень трудно здесь оставаться. Смилуйся, Павел!

– Хорошо. Аминь. Говори.

Павел почувствовал себя пустынноиком, зачем-то засыпавшим родник; и хотя ясно было, что родник никуда не делся, что его можно легко отрыть и вновь напиться воды, исподволь думалось о смерти от жажды. Бес ухмыльнулся, и на столике возникла бутылка минералки.

– Чтобы не думалось, – прокомментировал он. – А вообще-то, Павел, внутренне ты поэт. Ума не приложу, отчего ты стихов не пишешь.

– Говори, зачем пришел.

– Пришел я рассказать об одном твоём грехе. Мне этот грех не нужен. Лучше уж я тебя на чем-нибудь другом поймаю.

– Мне даже Ангел-хранитель о моих грехах не рассказывал. А ты-то с какой стати?

– Повторяю для тугоухих: мне этот твой грех не нужен. Ты меня этим твоим грехом уже достал. Надо мной коллеги смеются из-за этого твоего греха.

– То есть молиться о тебе – грех, – заключил Павел.

– Догадлив, однако, – иронично сказал черт. – А раньше догадаться не мог?

– Я и сейчас не уверен, что это грех. Говорят, некий святой молился о падших ангелах. А я же не обо всех – я только о тебе...

– Наговорили на твоего святого. А ты – просто дурак, и моя задача – доказать тебе это.

– Не очень-то ты учтив, – с усмешкой заметил человек. – Доказывай, конечно, только я верю, что Бог может простить любого кающегося грешника, если он и меня простил, и отца Димитрия.

– Я, кстати, знаком с Иваном Федоровичем.

– С искусителем отца Димитрия?

– Так точно. Интересный чертяка, диалектик, Гегеля цитировать любит, – с искренним воодушевлением охарактеризовал бес.

– Надо же, – удивился собеседник.

– А он вообще философией увлекается. Я-то всё больше по изящной словесности специализируюсь (псевдонимчик ему тоже я придумал), а он – голова: с Флоренским на Соловках беседовал и с Кантом тоже, за завтраком, – уточнение лукавый почему-то произнес юмористически.

– Ай да Иван Федорович! – воскликнул Павел, развеселившись. – Ты бы и себе, что ли, псевдонимчик придумал. А то неловко даже.

– Себе? Пожалуйста. Зови меня Вергилием.

– Вергилия не читал. Знаю, что жил давно и был поэтом.

– Главное – не то, что он был поэтом, – умненько произнес черт. – Однако вернемся ко мне, грешному. Настолько грешному, что молитва обо мне является грехом.

– А я по-прежнему считаю, что Бог может простить любого кающегося грешника, – упрямо спостулировал человек. – Главное – раскаяться.

– Давай-ка привлечем гегелевскую триаду, – малопонятно изрек бес. – Твое заявление было тезисом, мое опровержение будет антитезисом, а то, что в результате образуется в твоей голове, вполне можно назвать синтезом. Предположительно синтез должен быть такой: «В принципе я прав, но об этом засранце молиться греховно».

– Сначала выскажи антитезис, – предложил Павел. – А синтез – это уже мое дело.

– Разумеется, – согласился нечистый и начал излагать свои доводы. – Во-первых, Бог прощает не каждого кающегося грешника. Иуда, например, и раскаялся, и деньги возвратил, и вешаться пошел – а Бог его не остановил. Во-вторых, Бог может смилостивиться над грешником просто так, из самодурства. Твой новозаветный тезка, например, не калялся, преследовал себе христиан и в ус не дул – а Бог его просветил, рядом с Петром поставил. В-третьих, на падших ангелов милосердие Божие не распространяется, и потому молиться о нас – ошибка, то есть грех.

До этого момента черт говорил с уверенностью и снисходительностью отличника, доказывающего у доски теорему, и Павел припоминал свои школьные годы и прошлый год, и три продольные морщины всё глубже и глубже проступали на его лбу. Но после тон чертячьего рассказа изменился, стал нервным и проникновенным, и морщины на Павловом лбу обмелели: человек внимательно слушал.

– Послушай, Павел, – говорил бес. – Я ангел, хоть и пад-

ший, я слуга, посланник – не более. Я свободен в гораздо меньшей степени, чем любой человек. Скажу сразу, что в этом веке, до конца времен, ни я, ни кто-либо из бесов не был прощен и не будет. Есть надежда на прощение лишь в веке будущем, после Страшного Суда, однако *ваши* за эту надежду предали Оригена анафеме. И вновь повторяюсь, Павел: я – слуга, и смогу раскаяться лишь по примеру моего владыки.

– Но неужели вам нельзя отпасть от сатаны, как он когда-то отпал от Бога? – воскликнул человек.

– Пока еще никто не отпадал, – ответил черт. – Человекам это возможно, пока они здесь, а бесам – нет. У вас есть причастие, у вас души пластичные, вы можете грешить и каяться. А мы не можем измениться, пока Бог нам этого не позволит. Ради вас Христос Себя в жертву принес, а к нам Он только однажды заглянул – разломал ворота и души ветхозаветных праведников вывел. Это, знаешь ли, как атомный взрыв для нас было – очень страшно...

Он прикрыл глаза и замолчал, а Павлу было до слез жалко падшего ангела и хотелось молиться, молиться, молиться о бесплотном грешнике, но человек уже понимал, что так он лишь причиняет боль самозванному Вергилию, погруженному в психоаналитическое кресло.

– Ладно, я не буду за тебя молиться. Но после Суда я буду просить о тебе у Господа.

– Синтез вполне приемлемый, – оценил бес. – Благодарю.

А почему ты не зовешь меня Вергилием?

– Я читал «Божественную комедию». Мне такой поводишь, как ты, не нужен.

– Bravo! – восхитился лукавый. – Тебе тогда было пятнадцать лет, а я заглядывал в книгу из-за твоего левого плеча и бранил переводчика. Впрочем, разве мог он переложить на грубый русский язык те драгоценные терцины?

– Ты эстет, – констатировал Павел.

– А кем мне прикажешь быть? – риторически спросил черт. – Наслаждаться творчеством Божьим я уже не могу – остается творчество человеческое.

Помолчали. Человек перекрестил бутылку минералки, стоявшую на столе, отвинтил крышку и отпил. «Здесь могла быть ваша реклама», – подумал он.

– Остроумно, – похвалил черт. – Тебе, кстати, скоро просыпаться. И возможно, что мы теперь долго не увидимся. Ты выздоравливаешь телесно, а духовно почти здоров. Нечисть же навещает лишь нездоровых. Свидригайлов об этом очень грамотно рассуждал: мол, болезнь – это ненормальное состояние, в котором могут возникать точки соприкосновения с иным миром, и чем тяжелее болезнь, тем таких точек больше... – он сделал паузу и с потусторонним жаром продолжил: – Грех тоже является болезнью, и я верую, что когда-нибудь ты очень серьезно согрешишь, и я приду к тебе, и затащу в троллейбус, и снова уговорю выпрыгнуть из окошка! – Его облик неприятно, но очень естественно изменил-

ся. – Я хочу, чтобы ты запомнил меня таким – с клыками и копытами! Я – злой, и никакими человеческими молитовками этого не изменить! Запомни!!!

– Запомню... – пролепетал Павел, перекрестил искусителя и проснулся.

Он проснулся в понедельник утром; за окном было сумрачно, в палате мерцала и потрескивала полудохлая лампа дневного света; паренек, угодивший в больницу за неделю до свадьбы, рассказывал анекдот:

– Умер гаишник и очутился перед Богом. Бог его и спрашивает: «Как ты жил? Плохие дела творил или хорошие?» Гаишник отвечает: «Были плохие, были и хорошие». Бог говорит: «Ну, раз так – вот перед тобой две дороги. Одна ведет в ад, другая в рай. Выбирай любую». А гаишник Ему: «А можно я здесь, на перекресточке постою?»

«Умный анекдот», – отметил Слегин и под смех остальных обитателей палаты призадумался о прошлогодних событиях, как дельвал не раз и не два в эти больничные дни.

Первую светскую книгу, прочитанную в новой жизни (а это был толстенький учебник по истории России XX века), Слегин заглотил менее чем за неделю – успел до Рождества. «Ну и ну!» – подумал он и поехал на книжный рынок. Во второй год юродствования Павел привычно откладывал часть подаяния, и теперь оно пригодилось: продавец учебников и детских энциклопедий заполучил странного по-

стоянного клиента – одетого в драную фуфайку и хромоно-гого. «За эти деньги в «Сэконд Хэнде» можно нормальную куртку купить, – размышлял продавец, протягивая экстравагантному книгочею красочную энциклопедию. – Вот ведь чудак!» А книгочей был просто недоучившимся отличником, и в его взгляде, чувственно оглаживающем книжные ряды, сиял жуткий интеллектуальный голод.

Перед началом Великого поста деньги кончились, и Павел спросил у того продавца:

– Можно мне сюда устроиться – книги таскать?

– Вы же хромой! – изумленно напомнил продавец.

– Могу и не хромать, – невозмутимо сообщил Слегин и прошелся спортивной походкой.

– Ну ты и жук! – восхищенно воскликнул книжник. – Я поговорю с хозяином.

Работа Павлу понравилась: теперь он ежедневно видел восход солнца, а раньше мог и проспять. С семи до девяти утра он возил тридцатикилограммовые коробки с книгами со склада на рынок, а во второй половине дня, с трех до пяти,

– с рынка на склад. Возил он их сначала на санях, а потом – на тележке, по четыре коробки за раз, и в конце дня получал деньги – в месяц набегало примерно столько же, сколько и у среднезагруженного доцента, не берущего взятки. Работа идеально подходила Слегину: он успевал и на позднюю обедню, и на всенощное бдение.

Милостыню он просить перестал, хромать – тоже, рассу-

див, что и в церковь, и на книжный рынок ходят отнюдь не самые глупые люди, что взаимопроникновение этих двух групп людей неизбежно, а потому неизбежно и разоблачение. Половину жалованья Павел раздавал нищим, а на остальное покупал книги, еду, одежду. Марья Петровна на радоваться на него не могла и чуть ли не ежедневно кормила пирожками-«соседками», однако нахмурилась, узнав, что он сходил в поликлинику и изумил врачей, в результате чего денег ему больше платить не будут.

– Ну, работал бы ты и те деньги тоже получал бы. Что же ты такой несообразительный?.. – горестно произнесла соседка по коммуналке.

– Не хочу обманывать, – ответил Слегин.

– А раньше что же?.. Ой, извини, Павел!

– Что? – Он просто не понял.

– Ну, ты ведь еще два года назад выздоровел... На Рождество. И глаз у тебя с тех пор прямо смотрит, и хромать ты иногда забывал...

– Плохой из меня конспиратор, – усмехнулся он. – А почему же я, по-вашему, притворялся?

– Ну, на работу сейчас сложно устроиться, а так хоть что-то платили... И еще милостыня – ее ведь тоже не всякому дадут... – с запинкой проговорила она и, робко глянув в лицо собеседника, вздрогнула и воскликнула: – Павел! Павел, прости меня! Ой, прости меня, дуууууу!..

– Бог простит. И вы меня простите.

– За что?

– За соблазн.

Слезы опрометью скатывались по его кумачовым щекам и стыдливо прятались в зарослях бороды. «Вот так юродивый! – мысленно повторял Павел. – Ну и юродивый!»

То же самое он повторял и в начале года, когда совмещал юродствование Христа ради и чтение светской литературы. Он всё чаще и чаще думал, что юродствование в современных условиях – это скорее антиреклама христианства, нежели проповедь. «Сейчас проповедовать надо по телевидению – а кто меня туда пустит, юродивого? – размышлял он. – Обратиться к правителю с обличением может теперь каждый: голову не отрубят. Иван Грозный слушал блаженного Василия, потому что боялся Бога. А нынешние только шантажистов и киллеров боятся. Да и вообще, фуфайки нынче не в моде...»

Устроившись на работу и сменив одежду, Слегин не прекратил жить церковной жизнью – он даже решил восполнить некоторый пробел в образовании и принялся за богословскую литературу. Поначалу она показалась ему смешной: слишком уж грубы и приблизительны были слова по сравнению с тихим внесловесным знанием, открытым Павлу той рождественской ночью. Однако вскоре внесловесное знание куда-то исчезло, а богословская литература осталась, и читарь полюбил ее, заметив там блики прежнего сияющего знания и горько сожалея о потере.

Осенью Слегин в поисках тех же несказанных бликов купил старенький и дешевый двенадцатитомник Достоевского. В этих книгах с цветными и черно-белыми иллюстрациями слово «Бог» писалось с маленькой буквы, а шрифт был мелок и изящен. Рассказы из последнего тома («Вечный муж», «Мальчик у Христа на елке», «Кроткая», «Сон смешного человека», «Примечания»; нет, «Примечания» – это не рассказ), Павел дочитал уже в больнице, в прошедшие выходные.

– Апофатическое богословие... – задумчиво пробормотал он, дочитав. – Может быть, и так.

– Что ты там бормочешь? – осведомился старичок Иванов.

– Ничего. Книга очень хорошая. Читал Достоевского?

– Нет. Мура это всё. Эх, пожить бы еще немножко!

Ночью Павлу приснился бес, а утром двадцатилетний жених рассказал анекдот про гаишника.

Итак, было утро понедельника – обычное больничное утро, добротнo сконструированное из кирпичиков грубой реальности. Эти незамысловатые кирпичики – такие, как холодок зубной пасты во рту, прохлада градусника под мышкой, влажное урчание ингалятора, клейкость перловой каши, расширяющаяся боль от укола и последующая кратковременная хромота, – эти предсказуемо-узнаваемые кирпичики были подогнаны друг к другу столь же плотно, как и

блоки египетских пирамид. Данное обстоятельство радовало Слегина, поскольку при таком построении яви в ней просто не мог распахнуться люк, возле которого Павел оказался перед пробуждением, – люк, зияющий в ледяной открытый космос.

– Ну, блин, сестричка! Ну, блин, прикололась! – потешно возмущался Колобов, вернувшись после уколов в палату № 0. – Это не Светка, это другая какая-то – черненькая какая-то чувырла. Я уже, короче, спустил штаны, стою весь на нервах, а она мне: «А Колобову сейчас будет больно!» Вот ведь зараза!

Смеялись все четверо, и это тоже было незыблемым реальностным кирпичиком.

На обходе Мария Викторовна сказала Слегину, чтобы он шел на дыхательную гимнастику вместе с Колобовым, а самому Михаилу напомнила, что в двенадцать – бронхоскопия.

– Помню, – мрачновато ответил тот.

Гимнастика Павлу понравилась: проводилась она в специальном зале с зеркалами и шведскими стенками, многие упражнения был знакомы со школьной поры и потому приятны, а некоторые обладали забавной специфичностью. Несмотря на то, что физрук, стройная и флегматичная молодая особа, укоренилась на стуле и давала лишь словесные указания, – дюжина больных выполняли упражнения правильно и с удовольствием. Удовольствие было есте-

ственным следствием того, что люди, занимавшиеся дыхательной гимнастикой, были не столько больными, сколько выздоравливающими. Наиболее интересным Слегину показалось, что больным с правосторонней пневмонией позволялось сгибаться только в левую сторону, а левосторонним – наоборот. И еще он немножко испугался, когда было получено указание разбиться по парам и поочередно колотить друг друга по согнутой спине, испугался же он того, что Колобов по рассеянности пришибет его. Но обошлось.

Около полудня Михаил отправился на бронхоскопию, а к жениху пришла невеста.

– Привет, Леш, – сказала невеста.

– Привет, Люб, – ответил жених.

Павлу вдруг подумалось, что, когда девушка уйдет отсюда, поверх свободного свитера она наденет лохматую шубу из шкуры неизвестного науке зверя, и на шубе той непременно окажется проплешина, кое-как прикрытая шерсткой. Увидев эту проплешину чуть более трех лет назад, в том самом троллейбусе, Слегин заметил, что над проплешиной явно поработали расческой, даже бороздки от зубчиков видны, и он подумал тогда (а может, впрочем, и не подумал), что подобная жалкая попытка молодиться роднила шубу с лысеющим мужчиной. «Вообще-то, – размышлял Павел, внимательно глядя на Лешину невесту, – парень у нее теперь другой. Может, и шуба другая».

– Температура не спадает, – нервно жаловался Леша, – и

кашель – с-сука!.. Врач говорит, метрогил слабоват – надо абактал покупать. У них, типа того, нет. А он, сука, дорогой...

– Леша, Леша, успокойся – сегодня же купим, – заботливо баюкала Люба. – Тетя Тая тебе барсучьего жиру вечером принесет и этот, как уж его...

– Вот, на бумажке... Только ты, Люб, не забывай: нам на свадьбу «бабки» нужны.

– Зайдем, если что. Главное – чтобы ты поправился, – сказала невеста, чуть помедлила и грустно добавила: – А если улучшения не будет, придется переносить.

– Щаз! Разбежались! – проорал жених, вскакивая с кровати, постоял, сел и заговорил тише: – Мы и так сколько туда вбухали: продукты, зал, камера, приглашения разослали. Мишка из Москвы приедет... Исключено, короче. Врач сегодня тоже говорила – переносить. Типа, говорит, загнешься. Невесту, типа, на руках к памятнику понесешь – и шлепнешься. Да я на войне был – не загнулся!

Парень надрывно раскашлялся, отдышался, проморгался и спросил:

– Шарик купили?

– Что?.. – вздрогнула невеста, нежно поглаживавшая его ладонь.

– Шарик, спрашиваю, купили? Воздушные. Для украшения зала.

После того, как Люба ушла, Леша посмотрел на Михаила,

вернувшегося с бронхоскопии и минут пять лежавшего на кровати пластообразно и каменнолико, – посмотрел и поинтересовался:

– Как оно?

– Ничего хорошего, – ответил Колобов. – Она мне в одну ноздрю трубку пихала, пихала – так и не пропихнула. А в другую ничего – пролезла. Она как посмотрела, так и говорит: «Ну у тебя там, – говорит, – и помойка», – он через силу посмеялся и спросил: – А ты где воевал? Я тут краем уха...

– В Чечне.

– У меня брательник тоже в Чечне воевал.

– Живой?

– Да.

– Повезло.

Несколько минут в палате молчали, а потом Леша заговорил:

– Я полгода назад оттуда вернулся. Служил снайпером. Меня здесь баба ждала – переписывались, всё такое. А как я вернулся, мы через месяц разбежались. Она говорит: «Ты, типа, другой стал, агрессивный». А оттуда, вообще-то, сложно беленьким вернуться. Вот Любка – она поняла... – Он ненадолго примолк и негромко сказал: – Я когда своего первого мальчика убил, полдня блевал. Потом меня спиртом отпаивали – держали и вливали в глотку. Я тогда понял, что если бы не я его, то он бы меня, – и всё по местам встало... А мы еще пули со смещенным центром тяжести использовали.

И вот если обычной, например, пулей в человека попадешь, то он может еще метров пятьдесят пробежать и ничего не почувствовать. А если, например, пуля со смещенным центром тяжести в руку попадает, то руку отрывает на хрен!.. Я в того мальчика тоже такой пулей выстрелил, в голову. Нас учили, что в голову – это наверняка. Бывают, правда, редчайшие случаи, когда пуля между полушариями пройдет, навывлет... Выстрелил, короче, а у нас оптика очень хорошая была, видно – как вас сейчас... И там вместо головы – фонтан какой-то из крови и мозгов, головы уже не было!..

В палате тягостно молчали, старичок Иванов беззвучно плакал, а потрясенный Слегин думал о том, как страшно умереть вот так – внезапно, без покаяния...

* * *

Слегин спал, и ему снилось позднее зимнее утро, черно-белое кладбище и цветные небо, солнце, купол. Павел стоял на обочине дороги, ведущей к храму, и просил милостыню. Прислушавшись к себе, он вдруг понял, что молится о людях, идущих к поздней обедне, и больничному сновидцу стало стыдно, как бывает стыдно ложиться спать, не омывшись, на чистые простыни.

Юродивый ощутил внезапный стыд и, объяснив его собственной греховностью, помолился и о себе. Вскоре справа от него солнечно полыхнуло и он увидел лучезарного духа. Перекрестив неведомого посланника, человек улыбнул-

ся, перекрестился сам и поклонился Ангелу.

– Хранителю мой святой, а почему ты такой внезапный и яркий? – поинтересовался Павел, восклонившись и улыбувшись.

– Но ведь ты же не вздрогнул и не сощурился, – ответил Ангел слегка смущенно. – А для других я невидим.

– Прости меня! – воскликнул человек, пав на колени, чем вызвал смех соседних нищих.

– Бог простит. И ты меня прости, – молвил небожитель, помогая Павлу подняться.

Некоторое время они совместно молились о прохожих: Ангел подсказывал имена и раскланивался с коллегами, а человек поименно молился о мимоидущих людях и тоже кланялся Ангелам-хранителям, становившимся на мгновение видимыми, будто в темноте на них направляли луч фонаря.

– И как голова не отвалится... – пробормотала соседняя нищенка, завистливо глядя в плоску Павла.

Тот улыбнулся, взял плоску с подаянием и, пересыпав монетки в кружку соседней нищенки, вернулся к улыбающемуся Ангелу и продолжил молитву.

Когда людской поток иссяк, юродивый спросил:

– Мне идти на службу?

– Как хочешь, – ответил Ангел. – Раннюю обедню ты уже отстоял, так что можешь и не ходить.

– Значит, домой?

– Подожди немножко. Сейчас сюда спешит отрок Генна-

дий. Он всегда опаздывает на службу минут на двадцать или полчаса и по пути непрестанно творит молитву Иисусову. Я хочу, чтобы ты помолился о нем.

Павел исполнил желание Ангела.

– Я хочу, чтобы ты увидел его и запомнил, – продолжил небожитель.

– А зачем?

– Может случиться так, что тебе это будет необходимо. А пока я кое-что расскажу о нем...

Павел хорошо запомнил ангелов рассказ и того непунктуального паренька, бросившего монетку в его плошку, – очень бледного, несмотря на мороз и тяжелое дыхание.

– Святой Ангеле, – обратился Павел после того, как Геннадий скрылся за церковной оградой. – Я забывчив и недогодлив, а ты всё видишь. Расскажи мне о моих грехах.

– Человек, видящий свои грехи, выше человека, видящего Ангелов, – с улыбкой процитировал вопрошаемый. – Расти, Павел.

– Постараюсь. Прости меня.

– Бог простит. И ты меня прости.

– Не уходи, Ангеле!

– Я ухожу в невидимость, но я рядом.

– Последний вопрос, Ангеле! Почему я больше не вижу бесов?

– А разве ты хочешь их видеть?

– Нет.

– Если захочешь вновь видеть их, попроси об этом у Господа или основательно согреши. Но вообще-то не советую.

– Ангеле!..

– До свидания, Павел.

Слегин проснулся заплаканным, утерся пододеяльником и около получаса думал о чем-то настолько самоуглубленно, что не замечал окружающего. Наконец он вынырнул из собственных глубин и увидел справа от себя, за окном, мутную предрассветность, а слева, с соседней кровати, услышал хриплое дыхание старичка Иванова.

– Коля! – позвал Павел вполголоса. – Тебе плохо? Может, кислородную подушку?

– Да! – придушенно прохрипел тот.

Слегин вскочил, наскоро оделся и поспешно пошел за медсестрой: теперь он уже не задыхался при ходьбе. Было раннее утро среды, на медпосту сидела сестричка Света и, высунув кончик языка, что-то медленно и красиво записывала в большой клетчатой тетради при желтом свете настольной лампы.

– Доброго здоровья.

– Здравствуйте, Павел.

– Иванову нужна кислородная подушка.

– Опять?! – воскликнула девушка и сорвалась с места.

Вскоре на груди Иванова, словно огромная ромбообразная бутылка, лежала кислородная подушка, и он жадно со-

сал ее содержимое через беленькую пластмассовую соску. Включили свет, разнесли градусники, потом рассвело и свет выключили, а старичок всё сосал и сосал кислород, уже без жадности, а подушка всё уплощалась и уплощалась, перемещающаяся из трехмерного в двухмерное пространство. Накислородившийся Коля порозовел и повеселел, а бездыханная подушка, скатанная рулетиком, была унесена прочь.

На завтрак еще не звали, а Иванов уже успел принять два укола, выдышать подушку кислорода и теперь лежал под капельницей. Когда рот его освободился от соски, он сказал:

– Спасибо, Павел. Я сегодня точно бы помер, если б не ты.

– Всё в руках Божьих.

– Это точно. И еще говорят, что перед смертью не надышишься. – Он замолк, слушая, не скажет ли сосед чего-нибудь успокоительного, но тот был тих, и пришлось продолжить: – Я чувю, не выйти мне отсюда. Не сегодня, так завтра – в ВЧК. – Вновь обоюдное молчание и вновь необходимость договаривать: – В деревне – сын беспутный, пропьет всё на...

Прости, Павел.

– Бог простит. И ты меня прости.

– Что же мне делать?

– Ты крещеный?

– Да.

– Тогда – собороваться.

– Ничего себе советик, – усмехнулся Иванов. – Я, можа, и не помру, а ты меня уже отпевать снаряжаешь.

– Соборование – это не отпевание, – терпеливо объяснил Слегин. – Соборование – это одно из семи церковных таинств, помазание елеем больных. После этого таинства совсем не обязательно умирать. Наоборот – иногда происходит чудесное исцеление. И самое главное – при соборовании прощаются грехи, о которых забыл, и можно исповедоваться в грехах, которые помнишь. И еще сразу после соборования можно причаститься. А насчет помереть или не помереть – это уже как Бог даст.

– Складно говоришь, – иронично прокомментировал Коля. – А сам-то ты соборовался хоть раз?

– Конечно, – ответил Павел с улыбкой. – Если боишься, я и сам вместе с тобой соборуюсь, хоть завтра. А я пока помирать не собираюсь – честное слово. Завтра отец Димитрий, скорее всего, придет причащать меня, так что я сегодня же позвоню ему и скажу, чтобы...

– погоди, Павел. Мне надо подумать. Но если что – чтобы вместе.

– Договорились.

После завтрака к Леше пришли мать и невеста и подробно говорили о свадьбе. Жениху слегка полегчало: сильный антибиотик подействовал надлежащим образом, кашель смягчился от барсучьего жира, и заведующая отделением обещала, если состояние больного еще более улучшится, отпустить его на сутки под расписку. По замыслу заведующей, перед регистрацией брака Леше необходимо было сделать два уко-

ла, после которых более получаса придется хромать, затем ни к какому памятнику, конечно же, не ездить, во время застолья не пить, а в брачную ночь следовало непременно полежать под капельницей.

– И только попробуй не сделать! – сердито добавила мать, увидев на лице сына ухмылку.

– Завтра утром Мишка из Москвы приедет, – сообщила невеста. – Может, сразу к тебе зайдет.

– Круто! – обрадовался жених.

После тихого часа к Иванову пришли родственники и очень обеспокоились его состоянием. Павел видел, как дочь Коли остановила в коридоре Марию Викторовну, о чем-то спросила, получила ответ и, резко и глубоко вздохнув, прижала ладонь к приоткрытому рту. Затем она пошла звонить по телефону, и вскоре родственников прибавилось. Они все приезжали и приезжали, и старичок обреченно плакал, а Михаил, Павел и Леша ушли из палаты, чтобы не видеть тягостного.

В холле, заставленном различными растениями в горшках и кадках, а также жестковатыми креслами, работал телевизор, и трое из палаты № 0 приютились там. Шла какая-то передача, в которой нужно было отвечать на вопросы, а поскольку остальные телезрители старались отвечать, отвечал и Павел. Вскоре на него стали уважительно поглядывать, и это было приятно ему.

Через некоторое время к Слегиному подошла дочь Иванова

и отозвала в сторонку.

– Отец хочет собороваться, – проговорила она глухим голосом. – Он сказал, что вы тоже будете и можете позвонить какому-то священнику. Наверное, лучше договориться на завтрашнее утро. Врачи нас сейчас выгоняют, говорят, что мы его расстраиваем, и разрешили прийти только завтра, с утра. – Она потянула носом и сглотнула. – Поэтому нужно позвонить сейчас.

– Я понял. Пойдемте, – ответил Павел.

– Доброго здоровья, – говорил он через пару минут. – Отца Димитрия можно к телефону?.. Благословите, отче... Прости, я забыл... Спаси Бог, у меня нормально, а вот одного раба Божия из нашей палаты надо соборовать. Ты не занят завтра утром?.. Слава Богу. И меня тогда вместе с ним соборуй, а то он один боится... Знаю, что мне и так нужно, просто после больницы собирался... Отец Димитрий, тут его дочь стоит рядом. Передаю трубку.

– Здравствуйте, святой отец, – взволновано сказала женщина, покраснела и поправилась: – Батюшка. Простите, я со священником первый раз... Скажите, пожалуйста, что нужно для этой процедуры?.. Простите, таинства... Восемь свечей... А зачем миска с крупой?.. Понятно, я и не подумала... Да, крещеный, только крестика не носит... Значит, купить и надеть. Ясно. А сколько это времени займет?.. Я думала, меньше. Тогда, наверное, к половине восьмого надо подойти, чтобы до завтрака... Да, встречаемся завтра внизу, в поло-

вине восьмого. И еще, простите, но сколько я буду вам должна?.. Ну, это несерьезно: должен же быть какой-то тариф... Простите... Да, до завтра.

– Странно как-то, – озадаченно пробормотала она, стоя перед оглохшим телефоном. – Дадут – спаси Бог, и не дадут – спаси Бог... Человек же трудится, время затрачивает...

– У него служба такая – он не имеет права отказать, – проговорил Павел.

– Ну а всё-таки – сколько?

Слегин сказал, сколько примерно берут за соборование в церкви, и попросил купить не восемь, а девять свечек (семь на стол плюс по одной в руки – Коле и ему).

– Деньги я отдам, – добавил он.

– Какие деньги, что вы!.. – воскликнула женщина и, махнув рукой, пошла прочь.

Ранним утром следующего дня старичок Иванов тихо беседовал со Слегиным.

– Я, Павел, никогда не исповедовался. Волнуюсь. Потренироваться хочу.

– Но ведь я не священник.

– Ты, Павел, хороший мужик. Послушай. Я тебе только об одном расскажу. Просто, по-человечески.

– Слушаю.

– Я ведь тоже человека убил.

Павел вздрогнул от этого «тоже».

– Как вон Лешка, снайпер-то, – продолжил Коля. – Только я не на войне: в войну я пацаном был. Это уж после, на грузовике задавил, выпимши. И голова под колесо попала – тоже фонтан... Отсидел, как полагается, а спокойствия нет. Детишек вон настрогал – взамен, что ли... Вот и всё. Чтоб ты знал.

– Спаси Бог, – спокойно сказал Павел и с улыбкой добавил: – А я, чтоб ты знал, гораздо грешнее.

Он поднялся с постели и стал одеваться.

– Павел! – позвал старичок. – Правильно креститься – вот так вот?

– Да, – подтвердил тот и отправился в пальмовую молельню.

Вскоре пришли отец Димитрий и Колина дочь. На шею Иванова повесили серебряный крестик на тонкой цепочке, больничный стол вновь очистили от пузырьков с микстурой и застелили красным платом, на столе оказалась большая эмалированная миска с рисом, в которой были установлены семь свечей. Вся палата заворуженно смотрела, как священник раскладывает на красном платке необходимое, как наматывает ваточные наконечники на семь спичек, как затепливает рисовый семисвечник от зажигалки и дает две иные горящие свечи Николаю и Павлу.

Иерей читал длинную молитву, начинающуюся со слов: «Отче Святый, Врачу душ и телес наших...», потом – Апостол и Евангелие, а после помазывал елеем лоб, ладони и

грудь собираемых, напевая:

– Исцели ны*, Господи. Исцели, Владыко. Исцели ны, Святый.

Затем он вынимал из риса свечку, тушил ее и откладывал в сторону, рядом с использованной ваточной спичкой.

Это повторялось семь раз.

Николай, полулежавший на двух подушках так, чтобы видеть, и Павел, стоявший позади батюшки, были торжественны и крестились, когда крестился тот, а их лоб, внешняя сторона ладоней и приоткрытая грудь блестели от масла. Когда все свечи были потушены, началась исповедь, и посторонние вышли из палаты, хотя их и не просили. Затем исповедники причастились и поцеловали крест.

– Слава Богу! – сказал отец Димитрий по окончании, попрощался со всеми и ушел.

Вскоре позвали завтракать, а после завтрака Лешу посетил долгожданный Миша из Москвы. Леша крайне обрадовался, обнял посетителя, усадил, стал расспрашивать. Судя по разговору, они были одноклассниками, а нынче Миша вона как – москвич. Говорили про общих знакомых (кто где, кто с кем), про больницу и свадьбу, про Москву.

– Эх, мы и погудели на Новый год! – смачно повествовал приезжий. – Компания – человек десять. Прикинь, мы еще когда на хату ехали, еще трезвые... Ты метро видел?

– Да.

– Так вот, там вдоль поручней эскалаторов такие желоба,

и по этим желобам постоянно сверху монетки пускают – прямо до низу звенит. Прикольно, там внизу всегда бомжи падутся. Я один раз видел, как одна старуха внизу подняла монетку и перекрестилась, будто это ей подали – умора... Так вот, когда еще по трезвянке поднимались наверх, мы сверху, прикинь, по этому желобу петарду немаленькую запустили. Эх, она и долбанула! Как атомный взрыв! И это, ты учти, по трезвянке. А что потом было!..

Поговорили о том, что было потом, посмеялись, разузнали о финансовых делах друг друга, позавидовали-посочувствовали и расстались.

– Вот ведь! – воскликнул Леша после ухода Миши. – В одном классе учились. А где я – и где он...

– Нет, ну какие «бабки» у людей! – вновь воскликнул он после получасового молчания.

А на обходе Мария Викторовна обрадовала сразу двух человек – Колобова и Слегина, сказав, чтобы завтра сдавали анализы и что, если всё будет благополучно, то в понедельник на выписку.

– А почему не в субботу? – возмутился Колобов.

– В выходные я не работаю, если нет дежурства, – ответила врач. – Пора бы уже запомнить.

Леша шутейно сообщил доктору, что готовится к исполнению супружеских обязанностей, в ответ на что был профессионально припугнут и утихомирен.

А Иванову Мария Викторовна с удовольствием сказала,

что выглядит он значительно лучше, что пульс славный и что вообще всё это как-то странно.

– Это всё соборование! – радостно повторял Николай. – Это всё Господь!

Долго ли, коротко ли, но наступил вечер, и Павел, привычно зайдя за кадку с пальмой и глядя в законную тьму, принялся молиться. Внезапно он вздрогнул, поспешно перекрестил пространство справа от себя, светло улыбнулся и, перекрестившись сам, поклонился.

– Давно не виделись, – прошептал он, распрямившись.

А ночью, во время черно-белого сна, где о чем-то важном спорили демоны с Ангелами, умер раб Божий Николай.

* * *

Сиденье было очень жестким, белые занавески задернуты, рядышком, на том же плоскотелем коричневом топчане, – мама. «Трясет, как в грузовике», – подумал он, опершись локтями о колени, свесив невыносимо тяжелую голову и слушая, как что-то легкое, пустотелое подпрыгивает на каждом ухе одновременно с его головой и гремит, гремит...

Приехали. Мама и санитар помогли ему выбраться из машины «скорой» и он, слегка страхуемый мамой («Сам! Сам!»), медленно пошел вслед за санитаром или врачом – он их не различал. В приемном отделении ему задавали какие-то вопросы, меряли давление и протягивали градусник, а он не мог самостоятельно снять свитер, не мог расстегнуть

тугую верхнюю пуговицу рубашки... Без свитера ему было очень холодно: трясло, зубы дробно стучали, а из прикушенного языка сочилась кровь.

Плетясь на флюорографию по длинному-длинному коридору, он уже без стеснения полновесно опирался на маму. Впрочем, он был легок, а в дни болезни стал еще легче. На флюорографии его худосочные чресла окольцевали тяжелым, невыносимо тяжелым свинцовым поясом и попросили стоять прямо и не дышать. «Лежать прямо и не дышать», – мрачновато переиначил он.

Вскоре он прямо лежал на топчане и смотрел в высокий белый потолок, а одесную стояла стройная металлическая подставка с мутной капельницей. Потом за ним пришла мама и проводила в палату со странным номером. «Что же в нем такого странного? – думал больной, тихо поздоровавшись с однопалатниками и направляясь к свободной свежестеленной кровати. – Четыреста... Четверка – этаж! Палата № 0!»

– Ты что, Гена? – спросила мама, остановившись на полпути вместе с сыном.

– Ничего, – ответил тот, дошел до кровати и сел, отметив, что на тумбочке лежит их опустевшая сумка.

С двух кроватей, расположенных по другую сторону широкого прохода, на Гену кратковременно и будто бы виновато взглядывали мясистый мужчина лет пятидесяти и крепенький паренек немного постарше самого юноши. «Словно что-то знают, а не говорят, – подумал он. – Да нет, что

они могут обо мне знать...» А бородатый длинноволосый мужчина с соседней кровати, очень похожий на священника, смотрел на него и приветливо улыбался.

– Меня Павел зовут, – сказал мужчина, и юноше показалось, что он уже где-то видел соседа и слышал его голос. – Я скоро выпишусь – можешь тогда перебраться на мою кровать.

– Спасибо. Меня зовут Геной.

– Спасибо, – сказала и мама, и ей показалось, что она уже где-то видела этого человека. – Ему будет хорошо у окна.

«У окна, – подумала она, силясь вспомнить. – Именно у окна».

– За что ж вы меня благодарите? – удивился Павел. – Если бы я сейчас предложил меняться – тогда понятно...

– Всё равно спасибо. Извините, Павел, меня Тamarой зовут, скажите: мы с вами нигде не встречались?

– Может быть, мельком, в общественном транспорте...
Городок-то маленький.

– Да, наверное...

Павел, человек, как видно, общительный, очень забавно рассказывал о больничных порядках, о кормежке и процедурах и вскоре ободрительно наставлял:

– Держись, Гена. Улыбайся почаще, молиться не забывай.

– А как вы узнали?

– Это заметно.

– А по вам, кстати, тоже заметно.

– Спаси Бог.

В палату вошла Мария Викторовна, внимательно глянула на веселого Павла и оживленного новенького, улыбнулась и сказала:

– Доброго здоровья. Валерьев Геннадий Владимирович?

– Да.

– Полных лет восемнадцать, педуниверситет... Вы раздевайтесь, раздевайтесь... И на каком факультете такие тощие студенты учатся?

– На филологическом, на первом курсе.

– Ясно. Сессию успели сдать до болезни?

– Успел. Все пятерки.

– Замечательно. А болеете давно?

– Дней десять. Думал, грипп, а температура всё держится и держится...

– Давайте я вас послушаю.

Павел сидел на соседней кровати, сосредоточенно глядя в окно, и перед уходом доктор мимолетно и незаметно коснулась ладонью его плеча, крепко сжала и тотчас же отпустила.

Так начался первый больничный день Гены Валерьева, и был тот день пятницей, и запомнился он надолго.

В ту пятницу юноша узнал, что у него правосторонняя нижнедолевая пневмония (осложнение после гриппа), и точный диагноз, хотя и неутешительный, его немножко приободрил. Весьма ободряли и жизнерадостные рассказы Пав-

ла Слегина с соседней койки (Гена узнал в ту пятницу имена и фамилии всех обитателей палаты). Еще он узнал, что парень по имени Леша завтра женится (!) и потому сегодня, после тихого часа, прихватив капельницы и шприцы с ампулами, смотается.

Валерьев был свидетелем любопытной сценки: Леша подошел к Павлу и спросил:

– Скажите, а можно нам с Любкой повенчаться?

– Не можно, а нужно.

– Но она, понимаете, уже беременна.

– Я понял, Леша. В идеале, конечно, невеста должна быть невинной, но по нынешним временам это большая редкость. Можно и до рождения ребенка обвенчаться, можно и после. Главное – не забыть.

– Спасибо. А я думал, уже всё, поздно. И еще я что хотел спросить... Этот отец Димитрий – он в какой церкви работает?

– Служит.

– Служит, черт.

– Просто служит. В Крестовоздвиженской.

– Это где такая?

Павел объяснил.

А Михаил Колобов был в ту пятницу мрачен и неразговорчив.

Если бы не мама и не этот странный Павел, говоривший именно тогда, когда надо, и именно то, что надо, и, когда

надо, умолкавший, – если бы не он и не мама, Гена, несомненно, впал бы в мрачное безразличие. И повод к сумрачному настроению у Валерьева был гораздо более веский, нежели у Колобова: пятидесятилетний здоровяк увидел чужую смерть, а к восемнадцатилетнему юноше подкрадывалась своя собственная.

Когда снимок был готов, вокруг Гены сразу же засуетились врачи и медсестры. Слышались произносимые шепотом фразы: «сильная интоксикация», «возможен абсцесс». А то, что может последовать за непонятным абсцессом, больной ощущал всё явственнее и явственнее. Ему кололи уколы, очень болезненные уколы, но боль была почти приятна, поскольку контрастировала с огненным телесным отупением. Большую часть времени в пятницу и последующие выходные он провел под капельницами.

То ли из-за полусгнившего легкого, то ли от огромного количества антибиотиков, – у него началась рвота, и продолжалась она с вечера пятницы до воскресного вечера. Он ничего не ел, но рвота не прекращалась, и во время приступов, свесившись к металлическому эмалированному судну, он думал: «Господи, лучше умереть!» А кашлял он так, что звенели стекла.

Гена через соломинку пил яблочный сок с мякотью, слушал веселого Павла и с наслаждением сухогубо целовал мамины руки, а из глаз его текли слезы и впитывались в подушку. Мама всё время была рядом, даже ночи она проводила

в больнице: спала вполглаза на свободной койке в соседней женской палате, и многие больные, врачи и медсестры ободряюще улыбались Тамаре.

С тех пор, как началась рвота, юноша почти не замечал того, что происходило в палате: голос Павла, мамины недоцелованные руки, а остальное неважно, неважно... Но кое-что он всё-таки запомнил: в воскресенье, ближе к вечеру, вернулся Леша, и Михаил поинтересовался:

– В кольце не жарко?

Леша усмехнулся, а Гена улыбнулся.

Позвали ужинать, и Тамара спросила:

– Может, поешь? Картофельное пюре с квашеной капустой – вкусно, наверное.

– Возьми и съешь сама, – ответил сын чуть слышно. – Меня всё равно вырвет.

Она взяла и съела, а юноша стал задремывать, но вдруг встрепенулся, непонимающе посмотрел на потолок, на маму, моргнул, улыбнулся, закрыл глаза, но, пролежав несколько минут, вновь содрогнулся и резко сел на кровати, глядя прямо перед собой.

– Что ты? – с беспокойством спросила мама.

– Погоди... – пробормотал Гена, вновь улегся и проспал около получаса.

– Против Бога они ничего не могут! – со счастливой дрожью в голосе сказал он, проснувшись.

– Кто?

– Бесы! – ответил он на мамин вопрос и стал взволнованно рассказывать, со слезами и бесконечной улыбкой, мешающей говорить. – Бесы бессильны! Я, помнишь, резко просыпался два раза... Это мне снился один и тот же сон, или это бред был... Меня волочили по коридору из сырого мяса, а потом бросали ежа в глаза, и еж протыкал глаза, и я просыпался... А потом я сообразил и стал читать молитву Иисусову, и знаешь, что мне приснилось? Церковная парча с золотыми узорами, а потом церковь и центральное паникадило, и я был будто бы совсем рядом с паникадиллом, немножко сверху, я видел эти большие цепи – ну, те, на которых паникадило висит, и на них пыль была... А потом – иконы, иконы (точнее, фрески), и я будто бы смотрю на них не снизу, а откуда-то повыше, на уровне ликов, и так легко мне было, и так хорошо сейчас... Мама, послушай! Я бессмертен, и Господь меня любит! Мама, я хочу, чтобы мы с тобой и после смерти были вместе!..

Он восторженно разрыдался, а когда успокоился, начал проповедовать. Он пересказал ей главные события Библии, рассказал о христианстве, Церкви и значении православных таинств, и слова его были просты и точны, и он не выбирал их, но радовался, что они ему даны.

– И вот тебе мое желание, – сказал он в конце, почти полностью обессилив. – Если я умру, постарайся стать христианкой.

– Если ты умрешь, я тоже жить не буду.

– Только попробуй! – с угрозой прошептал юноша. – Тогда мы точно не встретимся. Короче, ты слышала. А умирать я пока не собираюсь – я эту сволочь задушу! – жизнелюбово проговорил он, под сволочью подразумевая болезнь, – и прикрыл глаза веками.

Ни на какое иное действие сил у Гены не осталось.

Они плыли на лодке – обычной обшарпанной лодке, какую им вполне могли бы дать напрокат на любой лодочной станции. Павел весьма поверхностно греб веслами, словно его задачей было не плыть куда-то, а всего лишь кропить водой Гену, сидящего на корме. Юноша щурился и улыбался от водяных брызг и солнечных лучей. «Наверное, утро, – подумал он, – и мы плывем к солнцу, на восток».

– Ты видел когда-нибудь Галилейское море? – спросил гребец.

– Нет, – ответил Гена.

– Смотри.

– Ах, как я угадал! – воскликнул юноша, оглядевшись. – У меня есть рассказ про Галилейское море.

– Я знаю, – сказал собеседник.

Гена задумчиво помолчал, а потом спросил:

– Ты Ангел?

– Нет. Но я вестник. Я послан сообщить, что ты выздоровеешь.

– А разве я болен? – удивился юноша и вспомнил, что

действительно болен.

Вспомнил он и Павла и, улыбнувшись, сказал:

– Здравствуй, Павел.

– Здравствуй, Гена, – ответил тот и, улыбнувшись, спросил: – В церковь всё опаздываешь?

– Опаздываю. А откуда ты знаешь?

– Я про тебя много чего знаю, – уклончиво ответил вестник.

– Павел, а ведь у тебя крылья, – заметил Гена.

– У тебя, Гена, тоже крылья.

– Но я своих не вижу.

– И я своих не вижу. А вообще, юноша, у каждого человека есть крылья, даже у величайших грешников, – пусть грязные, переломанные – но есть. И нужно научиться видеть эти крылья и любить людей за них.

– Хорошая метафора. Жаль, что я снов не помню.

– Этот сон ты запомнишь, если не захочешь забыть. –

Павел вдруг перестал грести и несколько мгновений смотрел вправо, потом нагнул голову, словно согласно кивнул кому-то, и сказал: – Скоро я покину тебя, Гена, а потому слушай внимательно и не перебивай. Маме своей говори почаще, что Христос воскрес. А то года три назад я слышал, как она рассказывала, что Он и не умирал, просто замедлил сердце, а из гроба телепортировался, жил долго и счастливо и умер во Франции... Господи, помилуй нас, грешных!

– Откуда?!

– Она рассказывала об этом подружкам в троллейбусе – очень тяжело было слушать. Ты, Гена, попробуй ей как-нибудь объяснить, что Бог поругаем не бывает. Ругателей жалко – вот в чем дело, а тебе она мать. К тому же, и у нее крылья есть – не зря ты ей руки целуешь.

– Павел, прости, что перебиваю. Я вспомнил, как проповедовал сегодня... Неужели...

– Молчи и радуйся, – строго сказал вестник. – Напоследок дам тебе два совета. Во-первых, в нескольких шагах от палаты есть замечательная пальмовая молельня. Телесно я сейчас нахожусь там, и никто меня не замечает, так что имей ее в виду. Во-вторых, тебе надо причащаться, желательно раз в неделю. Рвоты у тебя больше не будет, не бойся. Когда проснешься, дам тебе телефон отца Димитрия – он очень хороший священник. А теперь мне пора.

– Павел, последнее! Что там за толпа на берегу?

– Там проповедует и исцеляет галилеянин Иисус.

– Господи!

– Садись на весла и гребь. Может быть, доплывешь раньше, чем проснешься. Прощай.

Павел поднялся, качнув лодку, взмахнул крыльями и, перекрестившись, коснулся лбом прохладного оконного стекла. А за окном, в кромешной тьме, притаился снег – очень много снега. Фонарь почему-то не горел, и снег терпеливо дожидался солнца, чтобы стать сначала – стыдливо-розовым, а затем – белым.

Рецепт

Проснувшись утром, Гена Валерьев первым делом посмотрел на соседнюю кровать. Павел уже оделся и с удовольствием снимал постельное белье, тихонько напевая Символ веры. Закончив, он поинтересовался:

– Как спалось?

– Хорошо. Вас во сне видел, – ответил юноша, чуть помедлил и спросил: – А вы не дадите мне телефон отца Димитрия?

Слегин молча протянул ему сложенную вдвое записку.

Валерьев молча развернул ее и прочел.

Наверху стоял крестик.

Далее следовал телефон отца Димитрия.

Ниже была приписка:

«Желаю скорейшего выздоровления. Не забывай о пальмовой молельне. Молись обо мне.

Раб Божий Павел».

Санкт-Петербург, 2002

III.
ДЕТСКИЙ САД
роман

*И выслал его Господь Бог
из сада Эдемского.
Бытие 3, 23*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ТЕПЛО – ХОЛОДНО

*Сей род ищущих Господа,
ищущих лице Бога Иаковля.
Псалтирь 3, 26*

Глава первая

– Холодно! – кричали с разных сторон. – Холодно!

Женя шел медленно, с вытянутыми вперед руками, с растопыренными чуткими пальцами – как слепой. Но глаза его были открыты, зрячи, а взгляд предельно напряжен. Те, кому случалось так смотреть, знают: веки каменеют, взгляд каменеет, изменить его направление можно лишь поворотом головы, а то и всего тела. Потом глаза болят, и их приходится протирать ваткой, пропитанной тепленьким слабозаваренным чаем без сахара.

– Теплее! – кричали с разных сторон. – Еще теплее! Со всем тепло! Горячо! Совсем горячо!

Женя остановился и с усилием моргнул, затем присел на корточки и из широкой щели между старыми крашеными досками внешней стороны беседки достал острый осколок зеркала. Заглянув в него, Женя увидел губы с трещинкой на верхней, прямой нос, покрасневший глаз с наползающей на него толстой русой челкой, голубое небо, облачную ватку, пока еще не смоченную чаем, нестерпимо сияющее расплавленное золото и вновь спокойное небо.

– Теперь Женек прячет, а Сашка ищет! – кричали с разных сторон. – Теперь Сашка ищет!

Саша победно изрек: «Yes!» – хотя и так было ясно, что

его очередь, и, отвернувшись к глухой стене беседки, начал считать. Женя подумал и, усмехнувшись так, что треснувшей губе стало больно, спрятал осколок в кармашек шорт. «Нечестно!» – вскрикнул кто-то, но другие зашикали и предвкусно захихикали.

– Можно, – сказал Женя, обращаясь к Саше, и, глядя, как тот озирается по сторонам, добавил: – Тепло.

– На фига так близко? – недовольно спросил Саша, а все, ухохатываясь, закричали:

– Тепло!

Некоторое время Саше было тепло, куда бы он ни пошел, но потом Женя сжалился и положил осколок туда, откуда взял.

– Так нечестно! – заорал Саша, когда нашел осколок и когда ему объяснили, в чем дело. – Я так не играю!..

– Честно, честно! – заспорили все. – Просто раньше так не делали.

– Я так не играю... – тихо повторил Саша и заплакал.

Заплакав, он убежал и сел на лавочку под гигантским шелудивым грибом с бурым исподом.

– Нюня, – неодобрительно сказал кто-то.

– Конечно, нюня, – отозвались еще несколько.

– Я тоже не играю, – со вздохом произнес Женя и пошел к Саше.

Тот уже не плакал, а сосредоточенно пытался отковырнуть от лавочки тонкую полированную щепку. Солнце спа-

рило, и до ржавой шляпки гриба было больно дотронуться. Женя вступил в вязкую знойную тень и, сев на лавочку, виновато спросил:

– Ты чего?

– Ничего! – грубо ответил Саша.

Женя посмотрел на лавочку: по ней полз маленький черный муравей. Подумав, Женя звонко стукнул ноготком перед насекомым, и муравей свернул в сторону, затем стуканье продолжилось, а муравей всё сворачивал и сворачивал, и Саша заинтересованно следил за происходящим, но вот Женя промахнулся, и слепой ноготь разрубил муравья надвое. Стало стыдно и страшно, и Женя, поспешно стряхнув муравьиные останки с лавочки, прошептал:

– Давай мириться.

Они помирились, но веселее Жене не стало; он тоскливо поглядел на резвящихся детей, на Сашу, мирно соседствующего, и сказал то, чего вовсе не собирался говорить.

– Все умрут, – грустно сказал он.

– И что?

– И ты, значит, умрешь.

– Сам ты умрешь! – обиделся Саша.

– Умру, – согласился Женя.

Саша испуганно посмотрел на него, затем на лавочку, по которой полз муравей, и на свою руку, лежащую на той же лавочке, после чего отдернул руку и зажал ладонь между голыми ляжками.

Женя улыбнулся.

– Мы с тобой не умрем! – радостно воскликнул Саша. –

К тому времени изобретут лекарство от смерти.

– А новые люди родятся – им где жить?

– Пусть на другие планеты летят. Или мы улетим.

– Улетели одни такие... – скептически проговорил Женя

и повторил: – Все умрут.

Саша почему-то вдруг перестал спорить. Он только спросил:

– А дальше?

– Дальше в рай или в ад.

Саша вспомнил игру в классики: на асфальте мелом нарисованы квадраты, а над парой верхних – полукруг и в нем три буквы – рай.

И Саша улыбнулся.

– После смерти душа вселяется в новое тело, – возразил он, явно гордясь тем, что ему удалось произнести такую длинную и умную фразу. – Это я по телевизору видел. И папа мне говорил.

– А мне мама говорила про рай и ад.

– Мой папа главнее!

Женя не стал спорить, вместо этого он полюбопытствовал:

– А Бог есть?

Саша пожал плечами.

– Спроси у своего папы, – посоветовал Женя и улыбнулся:

бывают же такие темные люди...

– Де-ти! – раздался неподалеку призывный женский голос. – Де-ти!

– Тетя Тамара, – сказал Саша. – Обедать.

– Угу, – согласился Женя.

Дети поспешили к воспитательнице и она, пересчитав их по головам, удовлетворенно произнесла:

– Двенадцать. Все.

* * *

Жене нравилось число двенадцать, и представлялось оно ему не вершиной циферблата, не дюжиной месяцев или апостолов, а квартирным номером – медным или золотым, но непременно желтым. Две широкие, строгие, блестящие цифры были словно началом отсчета и вели в бесконечность – Женя понял это, хотя и не сформулировал точно, еще год назад, когда научился считать до двадцати. Мальчик жил на четвертом этаже пятиэтажки, а этажом ниже находилась квартира № 12, и благороднейшее число было белым, пластмассовым, наляпанным на коричневый ромб с пошлыми завитушками. Женя не раз жалел, что не он живет в той квартире: уж он-то упросил бы родителей повесить номер из блестящего желтого металла...

– Встаньте по парам, – продолжила тетя Тамара.

А встать по парам не так-то просто: девочек на два человека больше, чем мальчиков, – решите-ка задачку. Начать

надо следующим образом: «Пусть количество мальчиков x , тогда...» Но в детском саду таких сложных задачек, конечно же, не решали, а построение было своеобразной игрой: мальчики хотели стоять с мальчиками, девочки – с девочками, но одна пара неминуемо оказывалась смешанной, и все потешались над нерасторопными «женихом» и «невестой».

Саша проворно схватился за Женину руку. Перед ними в паре стояли Машка и какая-то девочка из старшей группы – ее имени Женя не помнил. Машка воровато оглядывалась на Сашу, хихикала и что-то шептала на ухо подружке, и та хихикала тоже. Саша начал громко сопеть, потом не выдержал и с силой дерганул Машку за косу.

– П'гиду'ток! – гневно скартавила Машка и, обернувшись, долбанула мякишкой кулака по Сашиному носу.

На секунду мальчик замер, бессознательно решая, драться или плакать, но вот он уже рванулся к обидчице, и тетя Тамара едва разняла их... А впрочем, такие вольности между братом и сестрой – дело обычное.

Окончательно усмиренный, маленький отряд под предводительством тети Тамары тронулся в путь. Странно, конечно, что в отряде было всего лишь двенадцать человек и соседствовали представители разных групп, – например, Женя с Сашей из подготовительной и Машка из старшей. Но всё объяснимо: пылал июль, и более счастливые детсадовцы из упомянутых групп где-нибудь отдыхали, а оставшихся решили объединить. И вот теперь маленький отряд медленно

шел по очень хорошо изученному миру, обнесенному железной оградой.

В саду были качели, карусели, гигантские тенистые грибы и не только тенистые, но и прохладные деревянные беседки. В саду лежал круглый бассейнишко с темной водой, в которой водились «крыски» размером с фалангу детского пальца; когда их продолговатое хвостатое тельце лопалось и умирало, душа принималась летать в поисках человеческой крови. В саду располагалась высокая горка с неприлично длинным сияющим языком; воспитатели говорили, что сторож дядя Вася подключает к горке электричество и что трогать ее нельзя; взрослые боялись, что дети порвут штанишки, а дети любили издали наблюдать, как по горке весело скачут крохотные шаровые молнии.

Прошагав по территории сада нужное расстояние, дети и воспитательница скрылись в двухэтажном здании. Кто-нибудь сведущий, оставшийся снаружи, мог бы с уверенностью предположить, что сейчас они пройдут мимо распахнутой двери на кухню, откуда доносятся завлекательнейшие запахи, смех и лязганье посуды, затем – мимо комнат младшей и средней группы и попадут в раздевалку. Там маленький отряд переоденется, открыв зеленые деревянные шкафчики, внутри которых, помимо второй обуви, лежат трусы и носки на чрезвычайный случай. Потом все по лестнице с низенькими перильцами поднимутся на второй этаж и, минуя дверь в большой танцевально-праздничный зал, проследуют

в свою комнату, где будут накормлены и уложены в кровать. Но никого, кто мог бы предсказать с такой точностью путь маленького отряда, снаружи здания не было и в помине; лазутчика, прокравшегося за детсадовцами в их цитадель, тоже не было, а потому нельзя сказать определенно, что же случилось внутри с маленьким отрядом под предводительством тети Тамары.

* * *

Был тихий час, когда Женя, проснувшись и увидев белый потолок, прошептал Иисусову молитву.

На простыне под мальчиком и на пододеяльнике над мальчиком стояли сивые штампы; штампов на наволочке не было. От долгого смотрения вверх после пробуждения у Жени потекли слезы – такое случается с задумчивыми людьми и в более позднем возрасте. Одна слезинка щекочуще проползла по скуле и впиталась в наволочку, а другую Женя, не утерпев, смазал.

Он лежал на крайней кровати и, повернувшись на бок, увидел остальные одиннадцать, стоящие впритык и образующие сонный кроватный ряд. Дети явно спали, и сказочная тишина пульсировала от их легкого слаженного дыхания. Ни воспитательницы, ни нянечки поблизости не было.

Женя впервые проснулся так – посреди тихого часа, в сонном царстве; он прислушивался, прислушивался, и ему становилось жутко и весело. Зажмурившись и снова открыв гла-

за, он зачем-то принялся дышать в ритм со всеми, а это было сложно: не хватало воздуха, но Женя боялся нарушить пульс тишины и дышал в лад.

И вдруг с мальчиком начало происходить нечто странное: вздохнув в очередной раз, он вспомнил, что раньше, когда еще не мог говорить, он постоянно слышал пульс тишины, даже если тихо и не было. Тогда он понимал грандиозную важность этого пульса, понимал, что взрослые ничего подобного не слышат, жалел их и совсем не хотел учиться разговаривать. Выдохнув и вздохнув вновь, Женя почувствовал, что его глаза, совсем недавно высохшие, мгновенно помокрели, и ему вспомнилась еще одна часть величайшей тайны, открытой младенцам. Ему вспомнилось то, что он видел раньше, когда еще не мог говорить, – то, за чем он внимательно наблюдал тогда и чего не опишешь словами.

Женя выдохнул, но вздохнуть не смог: он забился в тихой и сладостной истерике – настолько тихой, что никто не услышал и не проснулся; настолько сладостной, что хотелось рыдать вечно. Отрыдавшись, он забыл всё, о чем вспомнил, – осталось лишь ощущение гигантской потери и понимание, что так и должно быть. И еще появилось забавное желание – спуститься на пол и по-пластунски проползти под кроватями. Под всей дюжиной стоящих вплитык кроватей. Туда и обратно.

Ни воспитательницы, ни нянечки поблизости не было. Дети явно спали, и сказочная тишина пульсировала от их лег-

кого слаженного дыхания. Женя в трусиках и маечке бесшумно выскользнул из пространства между проштампованными простыней и пододеяльником, распластался по прохладному линолеуму и уполз под свою кровать.

Реликтовые кровати назывались раскладушками, но не следует путать их с привычными конструкциями из прочной материи, пружин и изогнутых алюминиевых трубок. Детсадовские раскладушки были низенькими деревянными кроватями, массивные ножки которых подгибались к брюху, как шасси самолетов, что позволяло кроватям стоять аккуратными штабелями в близлежащем чулане. В том же чулане до и после тихого часа помещались матрасы, подушки и стопочки постельного белья.

Итак, Женя оказался в темном подкроватном коридоре, окаймляемом полосами мутного сумеречного света. Конец коридора освещался столь же мутно и сумеречно, только ограды из толстых кроватных ножек там не было. Пока глаза Жени привыкали к темноте, он вспомнил, что вокруг него – светлая комната с высоким белым потолком, а еще выше – небо с сияющим солнцем, а еще выше... Женя заплакал благодарными радостными слезами и пополз, пополз, пополз!..

Он прополз свой путь и вернулся назад. Линолеум был гладок и прохладен. На освещенном его участке перед самым вылазом виднелась черная неотдираемая бляшка затоптанной жвачки. Женя выбрался из-под кровати и сразу же юркнул под одеяло, но прежде он зажмурился от света.

«И когда просыпаешься – жмуришься. И на улицу когда выходишь – жмуришься, – подумал мальчик, засыпая в теплом пододеяльном пространстве. – И после смерти будем жмуриться».

Когда Женю разбудили, кто-то из детей, увидев его распухшее от слез лицо, назвал мальчика нюней и язвительно поинтересовался, не описался ли он.

Глава вторая

Кухонный стол был густо усеян хлебными крошками, а в центре вздымалась полуторалитровая пластиковая бутылка пива, опорожненная наполовину. Хлебные крошки встречались как свежие, так и достигшие многодневной окаменелости, и Гена увлеченно топал по ним средним пальцем правой руки, гадая, какая из крошек разлепёшится по мелкокрапчатой поверхности стола, а какая вопьется в подушечку.

– Задолбал! – изрек Артурка, породив перед тем неслышанно длинную паузу – чуть ли не в полминуты. – Допивай давай.

Гена встрепенулся и одним глотком допил то, что осталось в пузатенькой чайной чашке. Разлив пиво, Артурка продолжил рассказ о приятностях и неприятностях, случавшихся между ним и его девушкой, и о последней ссоре.

«И что за манера – жить наизнанку? – чуть неприязненно подумал Гена. – Какое мне дело, что у них родинки на теле на одних и тех же местах?»

– Ну вот, я тебе всё рассказал, – заключил Артурка. – Специально держался только фактов. Теперь ответь, что мне делать. Как ты скажешь, так и будет.

– Приехали! – ухмыльнулся Гена. – Ничего я тебе не скажу – делай как знаешь. Твоя жизнь. По-моему, люди вообще не

имеют права влиять друг на друга – разве что случайно...

– Это я всё понимаю прекрасно, – живо перебил Артурка – перебил не только фразой, но и взглядом, и слишком читаемой гримасой (кстати, пластичностью лица он сильно напоминал мима). – Я всё это прекрасно понимаю. Ты уже говорил, что ты по жизни наблюдатель, а не участник. Я знал, что ты мне так ответишь, но ты ведь чище меня: ты девственник. А с позиции той первозданной чистоты о многих вещах можно судить вернее, чем когда уже коснешься их.

Пауза, молчаливое ожидание ответа или аплодисментов.

Давно смирившись с бесцеремонностью приятеля, Гена никак не отреагировал на «девственника», но усмехнулся глубокой последней фразе.

– Моя же мысль, только в другом словесном оформлении... Гнусный плагиатор!

– Ну как же!

– Гнусный, – запелляционно повторил Гена. – Мне сейчас хорошее сравнение в голову пришло по поводу той мысли. Представь себе: компьютер, монитор, мышка. Это твоя вселенная. И у каждого человека своя вселенная с теми же атрибутами. Ты родился – включился компьютер и на мониторе появился список каталогов. Задача твоя – выбирать и щелкать мышкой. Щелкнул – и перед тобой новый перечень: выбирай. Беда в том, что в нашем метафорическом компьютере нет пути назад, и с каждым новым выбором вселенная всё уменьшается, уменьшается... В конце концов люди на-

тыкаются на файл с игрушкой: умной, глупой, сложной, простой – не важно. Важно то, что выбирать больше не из чего. Это означает, что человек окончательно повзрослел.

– Любопытно. Ну а ты что делаешь?

– Я... Я стараюсь как можно реже щелкать мышкой. Я просто просматриваю перечень каталогов и пытаюсь понять, что в них. В принципе, такое понимание возможно, ведь каталоги как-то озаглавлены, а я – человек достаточно эрудированный. Но изначальный перечень всё-таки уже позади, и мне остается только предполагать, что если увидеть его, внимательно рассмотреть и подумать, то можно понять или вспомнить замысел Программиста.

– Круто! – оценил Артурка. – Только в связи с тем, что компьютер ты видел только на уроках информатики, метафора получилась с изъязцем. По изначальному перечню можно понять замысел хозяина компьютера, а о создателе программы мы ничего не узнаем. Твою метафору спасает лишь то, что Бог – Он и Компьютеровладелец, и Программист.

– О, великий Артурка! – шутливо воскликнул Гена. – О, компьютерный гений! Уел ты меня, великогрешного. Но пиво всё-таки пей.

Артурка допил, и Гена разлил пиво по пузатеньким чайным чашечкам. Не будь пива, Гена вместо произнесения пространного монолога просто пощелкал бы перстами с сумасшедшей ухмылкой и на вопрос: «Ты чего?» – не ответил

бы. Он уже давно понял, что глупо говорить то, о чем достаточно подумать, и еще глупее – говорить о том, что не стоит раздумий. В беседах же Гена участвовал следующим образом: внимательно слушал, коротко отвечал на вопросы, а иногда произносил нечто весьма афористическое. И лишь пиво было способно промыть брешь в Генином интеллектуализированном обете молчания.

– Твои метафоры – это, конечно, умно, прикольно, но что мне с Олей-то делать? – поинтересовался настырный Артурка.

– Я же тебе уже ответил, – лениво и слегка недовольно молвил Гена. – Сам решай. Ты же не ждал от меня совета, ты просто хотел, чтобы я тебя выслушал. Я тебя выслушал.

– Спасибо! – едко выплюнул Артурка.

Они выпили по паре чашечек в молчании, тяжком даже для Гены. С трудом отпилив кусок черного хлеба, он, наконец, несколько фальшиво проворчал:

– И что у тебя нож такой тупой?..

– Конечно, тупой! – слегка наигранно взорвался Артурка. – Нож тупой, а хозяин еще тупее! Само собой!

Гена улыбнулся, и через несколько минут беседа стала спокойной и абсолютно абстрактной. Один из собеседников привел красивую аналогию, другой поддержал ее и развил, и в результате разговор довольно неожиданно уперся в проблему детства.

– Дети – это совершенно отличные от взрослых суще-

ства, – медленно говорил Гена, легонько касаясь чашечки с пивом длинными пальцами так, что та урывисто проворачивалась против часовой стрелки. – В «Братьях Карамазовых» есть фраза наподобие; у Достоевского даже сильнее сказано: не от взрослых они отличаются, а от людей вообще, будто бы совсем другие создания. Это и впрямь так, ведь Адам и Ева не были детьми. А Христос говорит, чтобы мы были как дети, «ибо таковых есть Царствие Небесное». Вот и выходит, что детство – наш Эдем, и мы неминуемо изгоняемся из него за первородный грех.

– Да за тобой записывать надо! – чрезмерно восхищенно воскликнул Артурка, но Гена, достаточно хорошо изучивший его, понял, что тот не пересмешничает, а лишь маскирует излишком восхищения само его наличие.

– Спасибо, – искренне поблагодарил Гена. – Кстати, мы ведь мало что помним из раннего детства, а из младенчества – почти ничего. Мы забываем рай раньше, чем обретаем возможность сказать о нем. Что уж ты там изрек о «той перво-зданной чистоте, с позиции которой...» – как там дальше?

Артурка ответил не сразу: сперва он засмеялся, поскольку Гена очень уж потешно выделил цитату чрезмерно сурьезным окающим говорком. Просмеявшись, Артурка припомнил:

– С позиции которой о многих вещах можно судить вернее, чем когда уже коснешься их.

– Ясно. Так вот, есть у меня двоюродные брат и сестра.

Они еще в детском саду учатся, воспитываются то есть... По-наблюдать за ними, послушать, сыграть в жмурки – это такой кайф!.. А ты не ржи, у меня пока еще не маразм. Просто я тоже ищу чистоты.

– Так выпьем за чистоту, – предложил Артурка, разлив по чашечкам остаток пива.

– Выпьем за чистоту... – скептически пробормотал Гена, глядя на лопающиеся пузырьки пивной пены. – Бред какой-то!

Они выпили.

* * *

Когда Гена вернулся домой, он застал свою мать, Тамару Ивановну Валерьеву, за телефонным разговором. Судя по тому, что Тамара Ивановна еще не переделалась в домашнее, зазвонивший телефон пленил ее в первые же минуты после прихода с работы. Гена Валерьев усмехнулся, мысленно уподобив телефонный провод цепочке от ошейника, но вслушался в разговор и брезгливо поморщился: его мать обстоятельно объясняла кому-то, как проводить некий обряд, в котором, помимо пациента и мастера, участвуют «ангелы» стихий.

– ...И каждый участник произносит свою мантру... – увлеченно вещала Тамара Ивановна. – Ага...

Валерьев демонстративно взвыл – как, мол, мне это надоело – и прошел в свою комнату. Включив свет и задер-

нув штору, он медленно перекрестился и, прошептав восьмисловную Иисусову молитву, глубоко поклонился большой застекленной иконе Спасителя, стоящей на полке книжного шкафа. Юноша почувствовал внезапные слезы, но голос внутри него сказал: «Это от пива», – и стало стыдно, и слезы вмиг высохли.

С минуту Гена стоял молча и неподвижно, бессознательно воспринимая звуковой мир: шум поредевших машин за окном, матерную ругань соседей снизу, постылую танцевальную попсу с одной стороны и обрыдлый эзотерический бред с другой. Да еще сверху слышалось мерное поскрипывание, о природе которого совершенно не хотелось думать. И Валерьев почувствовал себя маленьким и жалким, он мысленно сравнил себя с человеком, замурованным в крохотной камерке, полной скелетов и крыс, и прежде чем совсем по-детски заплакать, он самодовольно ухмыльнулся, радуясь точности сравнения.

Подавляя рыдания, юноша принялся иступленно креститься и кланяться, креститься и кланяться, креститься и кланяться, и досадные звуки постепенно исчезали: смолкло снизу, поскольку пьяный дебошир повалился, причем не на пол, а прямехонько на свою кровать, и заснул без храпа; смолкла музыка, потому что меломанов навестили их соседи, у которых маленький ребенок; сверху тоже всё благополучно завершилось и смолкло; да и Тамара Ивановна явно заканчивала телефонный разговор.

– Слава Тебе, Господи! – радостно воскликнул Гена и шепотом бросился в ванную, пока мать не обнаружила его заплаканного лица.

«А вы молодец, батенька! – мысленно поздравил он себя, умываясь холодной водой. – Восемнадцать лет, а плакать не разучились...»

Пивная тяжесть бесследно выветрилась из головы.

Когда Гена крепко вытирал лицо махровым полотенцем, стало изумительно весело, так что он даже взвизгнул от восторга и побежал к маме.

Та как раз окончила разговор, устало встала со стула и принялась медленно вращать головой, разминая шею.

– Привет, котяра! – поздоровался Гена (котяра было домашнее прозвище Тамары Ивановны, на которое она обижалась, но в явно недостаточной степени).

– Это кто это здесь котяра? – строго поинтересовалась она.

А Гена тем временем обошел ее сзади и с силой схватил за мясистые бока, восторженно проговорив:

– У-у, сало!

– А-а-а!!! – трубно заорала Тамара Ивановна и резко развернулась к сыну, но, увидев, как того скорчило от смеха, сама рассмеялась.

– Это если кто меня испугает, и я заору... – в который раз весело сказала она. – Тогда он сам... Ха-ха-ха!

Через несколько минут Тамара Ивановна спрашивала:

– Ты где мотался?

– Я же записку оставил.

– И где ты ее оставил?

– На кухне.

– Делать мне больше нечего – на кухню ходить! – вздорно проговорила Тамара Ивановна, шествуя на кухню, и, взяв со стола клочок клетчатой бумаги, прочла: – Я у Артурки.

Она подозрительно приюхалась к подошедшему сыну, а тот тревожно подумал: «Миллионер или алкоголик?» Оправдание на оба обвинения было одно: «Раз в месяц-то можно», но обвинение в расточительстве всегда сопровождалось получасовым профессиональным пилением...

– И лакали с ним, – утвердительно, но не особенно грозно произнесла Тамара Ивановна.

– Пива выпили, – смиренно молвил Гена.

– Алкоголик!

– Ну, раз в месяц-то можно, – сказал он и улыбнулся взглядом.

– Конечно, раз в месяц, – проворчала Тамара Ивановна. – Только и делает, что лакает...

На том и кончилось.

За ужином, состоявшим из сосисок с подгоревшим рисом, она рассказала сыну, что Галка (ох уж эта Галка!) позвонила сразу же. Тамара Ивановна только-только пришла из садика, разулась – и звонок. А еще она отводила домой Сашку и Машку (они опять подрались, ей пришлось разнимать их).

Светка о своих детях совсем не думает, а она что – нанялась, что ли? Ладно, отвела – не трудно, но когда-нибудь она скажет этой Светке...

Гена слушал с наслаждением: он понимал красоту и естественность бессмысленных разговоров, для которых не нужно ни малейших умственных усилий. Такие разговоры подобны птичьим трелям; сам Гена не умел в них участвовать, но слушал с величайшим наслаждением.

И вдруг он вскочил с табурета, задев рукой вилку, так что ком риса взвился в воздух и упал на пол.

– Вот же оно, вот! – простонал Гена.

– Ты чего?! – вскричала Тамара Ивановна.

– Ну почему не идет? – забормотал он, словно в бреду. –

Почему, почему не пишется?..

И, вздохнув глубоко, Гена заорал так, что его услышали соседи и снизу, и сверху, и слева, и справа:

– Хочу писа-а-ать!!!

Глава третья

Сегодня умерла мама.

А. Камю

Похорон я не помню. Помню только, что мне навязывали большой мамин портрет в белой бумажной рамке и хотели, чтобы я шел впереди процессии. А я отказался. По уголку портрет перехватывала широкая коричневая лента – такие вплетали в косы девочек-первоклашек, когда я был маленьким. Я думал о первоклашках, о своей курточке с синим букварем на рукаве и ничего не видел. Потом, помню, долго болели глаза: я не моргал и не плакал, а всё куда-то таращился.

Да, и еще: я почему-то испачкал руку землей. Очень странно брать бурую землю, а потом чистить руку о снег.

На поминках не пил, потому что терпеть не могу водку. Вино – да, можно, но не на поминках же... Хорошо хоть посуду помыли – уймища! Мы с мамой всегда спорили, кому посуду мыть... Ма... Ма!..

– Ма! – заорал Миша. – Ма! Я рассказ гениальный начал! Услышав вопль сына, Софья Петровна Солева мягко

улыбнулась и привычным движением перекрестилась. Миша очутился рядом с ней в тот момент, когда она прикоснулась щепотью к левому плечу.

– Ма! – продолжал кричать он, и в тесной кухоньке голос его достиг такой нестерпимой громкости, что сперва Софья Петровна, а затем и сам крикун зажали уши ладонями. – Ма-а... – шепотом протянул Миша, а мама молча налила и подала ему стакан кипяченой воды. Жадно выглохнув содержимое стакана, тот присмирел и улыбнулся идиотически счастливой улыбкой.

– Вот и хорошо, что начал, – давно пора, – спокойно и ласково сказала Софья Петровна. – Теперь хоть дома вечерами сидеть будешь...

– Буду, ма, буду... – лихорадочной скороговоркой прочастил Миша и, не удержавшись, взвизгнул: – Буду!

– Еще, что ли, воды налить?

– Не надо, ма, спасибо... Это у меня просто состояние сейчас бешеное...

– Опять, наверное, про самоубийц? – спросила Софья Петровна, посмеиваясь.

– Что? – не понял Миша. – А, рассказ... Нет. Самое начало сейчас написал, первые полстранички. Там такой психологизм, такой... Я, знаешь, как кто писать буду?

– Не знаю, – улыбнулась она.

– Как Камю в «Постороннем». Я и эпиграф оттуда взял. Это такая, знаешь, манера – короткие фразы, психологизм и

почти никаких тропов. Какой-то критик сказал о языке «Постороннего», что там нулевой градус письма. Вот и у меня так же будет.

Софья Петровна понимала, что сыну главное – выговориться, понимала, что ему совершенно не важно, читала ли она Камю и знакома ли с тропами. Скажем прямо: Камю она не читала и с тропами знакома не была, но зато знала наизусть обедню. Читала же она Евангелие и книги святых отцов, а всё остальное считала чем-то несерьезным, блажью, подчас болезнью. И она слушала литературоведческий бред сына со спокойной, участливой улыбкой и с готовностью напоить лепечущее чадо кипяченой водой.

– Так о чем рассказ-то? – поинтересовалась через несколько минут Софья Петровна, прервав путаные и отвлеченные объяснения сына.

Прежде чем ответить обычное «прочитаешь потом», Миша слегка запнулся.

– Кстати, – встрепенулся он. – Ведь этот рассказ из вчерашнего нашего разговора произрастает. Произрастает – ну и сказанул... Произрастает... Ладно. Ты вчера говорила, что Бог посылает людям несчастья, чтобы они очищались страданием. То есть Бог заставляет страдать тех, кого любит, – это уже я развил твою мысль. И чем больше Он любит человека, тем больше заставляет его страдать, – взять хотя бы Иова...

– Немножко не так, – тихим голосом поправила Софья

Петровна. – Не Бог заставляет человека страдать. Но чем больше человек любит Бога, тем больше этот человек страдает.

Миша на мгновение примолк, проникая в слоистый смысл услышанного, а потом взорвался:

– Да как после этого можно быть христианином?!

– Бог не препятствует сатане в тех случаях, если испытание человеку по силам.

– «Испытание!» – воскликнул Миша. – «Испытание» – вот как я назову рассказ! Я вчера с тобой спорил и этим рассказом буду спорить... Всё или не так, как ты говоришь, или Бога нет. Не может Бог, Который есть любовь, как написано в Евангелии, не может Он быть таким! Такая любовь в пору маркизу де Саду с плеточкой, это натуральное извращение!

– Какой маркиз? Какое извращение? Какой рассказ? – отозвалась Софья Петровна быстрым испуганным полупшепотом, чувствуя богохульство. – Прекрати! Ты глуп еще, а этой твоей писаниной ты себе душу загубишь. Прекрати!

– Ну уж нет.

– Прекрати!

– Ма, извини, я тебя расстроил...

– Прекрати!!!

– В чем дело? – встревоженно спросил Виктор Семенович Солев, муж Софьи Петровны, бесшумно возникнув на кухне. – Вас, наверное, у соседей слышно! Мы с Женькой в шашки играем, ужина ждем, он меня почти что обыгрывает,

а вы тут... Опять Бога не поделили?

– Витя, скажи ему!

– Что сказать?

– Чтобы рассказ не писал... – измученно произнесла Софья Петровна и вдруг заплакала.

– Соня, Соня, успокойся, Соня! – он шагнул к жене, нежно обнял и, поглаживая ее по маковке, начал тихо приговаривать: – Всё хорошо, Соня. Он ничего не напишет, да и мало ли что люди пишут... Успокойся, хорошая...

Виктор Семенович гладил жену по маковке и чуть покачивался, будто убаюкивал ребенка, да и в речи его главным была интонация, а не слова – совсем как мелодия в колыбельной.

Но запахло горелым, и девочка Соня, мгновенно прервавшись в Софью Петровну, встрепенулась и с ужасом вскричала:

– Картошка!

Виктор Семенович отпустил ее и, выразительно глянув на Мишу, тихо вышел из кухни. Миша нагнал его в коридоре и виновато начал:

– Дядя Вить...

– Дурень! Ну неужели не можешь сдержаться?! Ну, начал писать – и пиши себе. Я, конечно, понимаю – нельзя молчать и так далее. Но ты же предполагал ее реакцию – так зачем рассказывать, о чем пишешь? Двадцать лет – большенький вроде! – сердито отчитывал Виктор Семенович. – Может, у

тебя и не получится ничего, а ты раскудахтался.

– У меня получится, – уверенно предрек Миша.

– Хорошо бы. Если уверен, что получится, – поздравляю.

Только мне замысла не рассказывай.

– Ладно. А поздравлять рано, не заслужил еще.

– Естественно. Ты, Михайло Николаевич, порки заслужил. У матери потом прощения попроси.

– Ладно.

– Ну, ладно так ладно.

Во время ужина Софья Петровна попросила у всех прощения за то, что по ее недосмотру подгорела картошка, а после ужина уже Миша просил прощения у матери и говорил, что постарается ничего такого в рассказе не писать. «Впрочем, как пойдет», – добавил он мысленно.

Проходя в спальню через зал, Миша на минуту задержался у шахматной доски. Виктор Семенович и Женя играли шахматными фигурами в шашки, причем положение первого было незавидным: он позволил сыну провести дамку (ведь новоиспеченные дамки так приятно ловить), но понял вдруг, что просчитался и поймать ее не удастся. Женин черногривый конь стоял возле финишной задней линии, и мальчик, сияя, поглаживал по маковке заготовленного ферзя, а Виктор Семенович, обреченно вздыхая, двигал наискось ладью.

Подмигнув Жене, Миша прошел в спальню, включил ночник, взял с полки Библию в мягкой обложке, стоявшую рядом с Бхагавад-гитой, и лег на кровать. Миша нашел книгу

Иова и принялся читать; когда он дочитывал первую главу, в комнату ворвался Женя и победно крикнул:

– Ничья!

– Погоди! – властно оборвал он и через полминуты, закрыв Библию, разрешил: – Можно.

– Ничья, – повторил Женя. – Я дамку провел. А ты сегодня рассказ начал?

– Да.

– И мама из-за этого плакала?

– Да.

– Зачем же ты его начал?

– Подрастешь – поймешь.

– А ты прощения попросил?

– Заткнись!

Мишин отец умер, когда мальчику было восемь. В шестом классе Миша стал Солевым, чем весьма удивил одноклассников. Через год у него появился маленький братик. Недавно братику исполнилось семь, и теперь он, послушно заткнувшись, пошел к своей расправленной кровати, перекрестился, поклонился на угол и юркнул под одеяло.

– Жень! – позвал Миша, внезапно умилившись. – Жень, прости меня. Ты ведь рассказать что-то хотел?

– Да.

– Расскажи.

– Я во время тихого часа под кроватями ползал.

– Зачем? – спросил Миша, смеясь.

– Не знаю. А ты свой детский сад помнишь?

– Почти не помню. Так, кусочки какие-то. А что?

Женя не ответил и вскоре заснул. Во сне он снова полз по темному подкроватному коридору, заполненному невозвратимым временем, когда Женя еще не мог говорить, но зато понимал всё-всё-всё. Он и во сне понимал всё-всё-всё, даже то, что спит, и совсем не хотел просыпаться.

А на расстоянии двух троллейбусных остановок от его дома, в узкой белой девятиэтажке заснул Гена Валерьев. Во сне он сидел на лекции об эдиповом комплексе, которую вкрадчивым голосом читал сам Зигмунд Фрейд. При ближайшем рассмотрении Фрейд оказался гигантским хот-догом, обильно политым кетчупом.

Миша не спал: сначала он лежал и внимательно смотрел на спящего брата, потом он выключил свет и внимательно слушал дыхание спящего брата, затем он тихо расправил кровать, разделся, лег... И заснул. Во сне он долго и упорно карабкался по обледенелому склону горы. На ногах Миши была тесноватая обувь с шипастыми кошками, в руке ледоруб, страховки не было.

* * *

Миша Солев проснулся глубоким утром с болью в мышцах и свежими мозолями на руках и ногах. «От ледоруба и обуви, – заключил он. – Хорошо хоть не сорвался». Затем он полежал некоторое время, глядя в белый потолок и стара-

тельно прочерчивая границу между сном и явью. Забудешь прочертить границу – сойдешь с ума.

«Мозоли от турника и кроссовок, – медленно и твердо, как при самовнушении, подумал Миша. – Вчера шел от рынка пешком. Дома подтянулся двенадцать раз. Потом одиннадцать. Потом десять. Потом начал гениальный рассказ. Всё правильно».

И кому какое дело, что турниковые мозоли, эти кругленькие жесткие пяточки у подножия дружной четверки пальцев каждой руки – неизбывные, вечные, не могут быть свежими? Кому какое дело, что нежные Мишины волдыри можно натереть лишь чем-нибудь вроде лопаты с коротким черенком? Никому никакого дела, и правильно: в такие моменты главное – не замечать мелочей.

Миша сел на кровати и, крепко помассировав лоб, огляделся: кровать брата была пуста и застелена, за окном ослепительно синело небо, из зала выползал ленивый утренний разговор. Парень успел одеться и заправить постель, прежде чем мама пришла будить его.

– Молодец. Завтрак через десять минут.

Умываясь, Миша неторопливо планировал день: «За рассказ сегодня не сяду: пусть зреет. Надо к Дрюне зайти. Если ничего не придумаем, то после обеда – к Светке. Вечером по телеку кино какое-то крутое – надо с ней поскорее...» Захватив на помазок пышной белой пены, Миша поджал губы и чуть прикусил их изнутри, затем тщательно извадюкал

нижнюю часть лица, потом высвободил губы, и они ярко расцвели среди пенной пустыни. Бритвенные дорожки всегда получались ровные и приятные – совсем как в рекламе. Срезав прыщик, Солев досадливо подумал: «Когда же они кончатся?» Кровь остановилась быстро.

Завтракали все вместе и никуда не спешили: была суббота; завтракали молча и вяло: как видно, всем в эту ночь приснились загадочные сны, которые так удобно пережевывать вместе с пищей. После завтрака Софья Петровна осенила себя крестным знамением и прошептала благодарственную молитву, Виктор Семенович слегка побледнел и перекрестился торопливым округлым движением, будто начертил на себе греческую букву альфа, Женя перекрестился старательно и правильно, а Миша коротко сказал: «Спасибо», – и вышел из кухни.

Парень прямиком прошел в спальню, вспоминая историю о том, как Бог позволил сатане уничтожить имущество и детей праведника Иова, чтобы проверить, даром ли богобоязнен Иов. А многострадальный, вмиг лишившись всего, сказал: «Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно!» А дальше... Но Миша не стал читать, что же дальше: он отдернул руку, протянутую было к Библии, и подумал возмущенно: «Нет, мой герой не Иов, он не сумасшедший!» Подумав так, Солев ушел в зал, врубил телевизор и вместе с остальными посмотрел туповатую развлекательную передачу, а затем отправился к Дрюне.

У Дрюни были большие воспаленные глаза, очень бледное лицо и влажное рукопожатие. Его бабушка, открывшая дверь, предложившая гостю тапочки и исчезнувшая на кухне, смахивала на старого верного пуделя. Миша прошел в комнату Дрюни вслед за хозяином, плотно прикрыл дверь и спросил:

– Какие планы?

– Не какие планы, а какой план, – вполголоса поправил Дрюня и ответил: – План хороший.

Он с размаху клюнул двумя пальцами клавишу маленького раздолбанного однокассетника. Тот слегка призадумался, а затем воспроизвел тоскливый и чистый скрипичный мотив, подслушанный у кого-то из классиков, потом внезапно смолк, словно набирая воздуху в металlico-пластмассовые легкие, и после паузы ужасающе завизжал. Пару минут Солев терпеливо слушал то, как некий сатанист с длинными сальными волосами и татуировкой на плече (один из изображенных на вкладыше подкассетника) визжит, орет и рычит по-латыни под безумную, безудержную, кузнечно-ритмичную музыку, от которой учащается сердцебиение и хочется убивать. Не выдержав, Миша щелкнул рычажком магнитофона, и сатанист захлебнулся в радиоволнах, а его рев сменился тягучим медляком.

Дрюня вздрогнул и с ненавистью зыркнул на Мишу, но постепенно опомнился и произнес:

– Это я вчера купил. Знаешь, как называется?

– Как? – Солев непонимающе глянул на угловатую английскую надпись.

– «Разлагающийся Христос».

– Какая гадость!

Дрюня загоготал, а затем принялся, фальшивя, но зато чисто выговаривая слова, подпевать голосистому американцу. Потом вновь расхохотался, но вдруг посерьезнел и напомнил:

– Я уже говорил, что есть план. План убийственный, а цена та же. Мы с Сереней сегодня у него на хате обкуриваемся. Ты как? Можно два костыля взять.

– Да фиг его знает... – нерешительно пробормотал гость.

– Ты сколько уже не обкуривался?

– Месяц где-то.

– Самое то, – авторитетно произнес Дрюня. – Раз в месяц можно, святое дело. Я раз в неделю обкуриваюсь – ничего, Сереня по два, по три раза в неделю хреначит – тоже ничего. А насчет денег – пива разок не попьешь, вот тебе и деньги...

– Да я знаю... Ладно, давай. Когда встречаемся?

– В пять подходи к Серене. План убийственный – давно такого не было, – заключил Дрюня и вырубил магнитофон.

Помолчали.

– А у меня новость, – сказал Миша, и его фраза прозвучала слегка фальшиво, как и все заранее заготовленные фразы. – Я рассказ начал – может получится что-то офигенное.

– Опять про самоубийц?

– Нет.

– Жаль, что не про самоубийц, – огорчился Дрюня и риторически спросил: – Как к этому отнесется господь сатана?

– Ты правда, что ли, сатанист? – с некоторой безразличностью поинтересовался Миша.

– А что?

– Да так... Можно от тебя позвонить?

– Конечно, нельзя.

Комнату они покинули вместе. Дрюнина бабушка, смотревшая телевизор, лукаво глянула на них и картаво проворковала:

– Сек'гетники! Музыку включили... О невестах небось сек'гетничали?

– Какие невесты?! – наигранно возмутился Дрюня. – Мы, бабушка, медляк танцевали.

Он загоготал, рассмеялась и бабушка, а Солев чуть было не сплюнул, но понял, что некуда, и сглотнул.

– Нужно срочно реабилитироваться, – усмешливо произнес Миша и шагнул к телефону.

Дрюня с бабушкой деликатнейшим образом уставились в телевизор.

– Добрый день. Свету можно? – сказал Миша в телефонную трубку, затем помолчал, поглаживая витой провод, улыбнулся и вторично поздоровался. – Привет, Свет. Это я... Я тебе дам – «кто я». Пошутила она... Ладно. Чем занимаешься? А еще чем? Даже?! Ну ты, Свет, даешь. Хозяй-

ственная ты моя... И что – прямо весь день так? Всё-таки нет? А то я уж испугался... Да, вроде того... А что я – я ничего. У Дрюни сажу... Дрюнь, тебе привет от Светы... Ладно... И тебе, Свет, тоже... Да. Я что звоню – у тебя какие планы на вечер? Никаких? Нет, у меня предложений нет, в том-то и дело. Сегодня ничего не получится... Да так – в тесной мужской компании будем предаваться распушенности нравов... И ничего смешного – в покер поиграем, побеседуем на литературные темы... На литературные. Так что извини. А завтра обязательно что-нибудь придумаем... Торжественно обещаю – придумаем. Сходим куда-нибудь... Ну, это завтра решим... Ладно, успехов тебе в хозяйственных делах. Я, может, сегодня еще разок позвоню. Пока.

Парень улыбнулся и бережно положил трубку. В телевизоре, словно в кубической кастрюле с прозрачной стенкой, бурлили латиноамериканские страсти. «Помои!» – едко охарактеризовал Миша, глянув на телевизор.

Солев распрощался с Дрюней и некоторое время бесцельно бродил по улицам, магазинам и глухим дворам: он любил броуновское движение. Затем вернулся домой, пообедал, посмотрел телевизор, проиграл Виктору Семеновичу партию в шахматы и ушел, оставив телефон Серени. Перед ужином Софья Петровна вызвонила Мишу, тот сказал, что задержится, и не к месту рассмеялся. «Весело у вас там», – заметила мама, а сын объясняюще выдохнул: «Анекдоты». Домой Миша пришел с рубиновым леденцом во рту и с жутким ап-

ПЕТИТОМ.

Глава четвертая

*За стенкой – веселье. За окнами – город.
А в комнате – тесно. И я здесь – один.
Представим: я в келье, и те разговоры,
И тосты, и песни – лишь прелести дым,*

*Искус, наважденье в тиши монастырской.
На деле за стенкой молчальник живет;
У Бога прощенья он просит настырно,
Стоит на коленках, просvirки жуеt.*

*И город пусть будет подальше от кельи —
Продвинем его монастырской стеной...
Всё стихло. И я восклицаю в веселье:
«Кто против меня, если Бог мой со мной?!»*

Гена Валерьев лежал в постели до тех пор, пока стихотворение окончательно не оформилось, а затем вскочил, торжественно перекрестился, резко дерганул в сторону тяжелую желтую штору так, что крайняя петля оборвалась, и ликующе поклонился ослепительному солнечному оку. И никакого язычества: солнце всходит на востоке.

– Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного! – торопливо проговорил Гена, крестясь и кланяясь на икону Спасителя, после чего сел за стол и записал стихотворение. В первые мгновения кожаное сиденье стула приятно холодило ляжки, потом нагрелось и стало неудобным, а серебряный крестик на тонкой цепочке тихонько покачивался то к чахлой безволосой груди, то от нее.

На обратной стороне крестика было написано: «Спаси и сохрани».

Перечитав стихотворение, юноша вспомнил случай, на котором оно основано, и подумал, что не зря он тогда молился и плакал. «А назовем мы тебя «Виртуальный монастырь»!» – решил он и с улыбкой написал заглавие, после чего легко поднялся, оделся и с особенным пронизывающим чувством прочел утренние молитвы. Чувство это в последнее время приходило реже, чем раньше, но в дни, когда Гене писалось, было всегда, из чего он заключал, что вдохновение и молитвенный настрой родственны.

Отмолвившись, Валерьев пошел к маме. Она лежала на разложенном диване под махровой простыней китайского производства и, увидев сына, смачно потянулась.

– Привет, – сказал Гена, ответно зевая. – Что не встаешь?

– Надо же человеку хоть в выходные отдохнуть.

– Отдыхай, отдыхай, от-ды-хай... – он чуть помедлил и нарочито небрежным тоном извещил: – А я стихотворение написал. Слушай...

Когда он закончил и вопросительно посмотрел на Тамару Ивановну, та неуверенно произнесла:

– Ну, ничего...

– Что ничего?

– Нормально, – и более убедительным тоном: – Нормально.

– Всегда бы ты была такой... немногословной, – с досадой сказал Гена и, глянув на желтые узорчатые стрелки настенных часов, вдруг заторопился прочь.

– Ты куда?

– В ванную. Еда есть?

– А ты приготовил?

– Ясно.

– Что ясно?

– Ничего.

А дело было в том, что сегодня суббота, суббота в кружочке, Гена сам этот кружочек в календаре нарисовал. Выходной, и как раз девятнадцатое, Казанская, не сходить – грех... В общем, суббота была не из тех, в которые так приятно не спеша пережевывать за завтраком загадочные ночные сны. Суббота была совсем особая, не такая, как на прошлой неделе, и в семье Солевых тоже понимали это и тоже спешили.

Умываясь, Гена с неудовольствием ощутил под ладонями жесткую редкую щетину, но бриться не стал: некогда. Ошкурив и нарезав коральками две мерзлые сосиски, он бросил их на сковородку и залил полувзбитыми яйцами. Пока

кушанье заворачивающе ворковало под крышкой сковородки, нарезался хлеб и глоталась слюна, а когда газ был выключен и ароматная яичница разделилась на четыре части, две из которых легли в тарелку Валерьева, раздался телефонный звонок.

– Алло, – приободрила Тамара Ивановна умолкший телефон. – Гена, тебя.

Гена отчаянно посмотрел на аппетитную яичницу и наручные часы, вздохнул и обреченно сказал «да» телефонной трубке.

– Да, – сказал Гена, услышал ответ и мысленно отметил на черном циферблате одно из делений. – Привет, Артурка.

– Как дела?

– Нормально. Я сегодня умудрился стихотворение написать.

– Сегодня? Ты крут.

– Ничего крутого: это ж не проза, это так... Короче, слушай...

– Любопытно, – одобрил Артурка, внимательно выслушав. – Весьма любопытно.

Польщенный Гена улыбнулся и по тону приятеля представил себе выражение его лица: изредка, в таких случаях, как этот, удобочитаемая пластилиновая мимика Артурки сменялась утонченной, полуулыбчивой, слегка загадочной и чрезвычайно интеллигентной миной.

– Спасибо за рецензию. Вообще – дико писать хочется...

Ты что, кстати, звонишь?

– Так просто. Вчера с одним парнем две бутылки бормотухи ужрали. Я ему по пьяни в шахматы партию проиграл. Три, правда, выиграл – три с половиной на полтора. До двенадцати сидели, потом я его до дома провожал – на хрена я его, спрашивается, провожал? В час где-то вернулся, спать лег. Ты слушаешь?

– Да, – ответил Гена, наблюдая, как минутная стрелка медленно ползет к отмеченному делению.

– У тебя время есть?

– Немного.

– Я быстро. Эх, мне и сон приснился!.. Давно таких не было. Короче... А вы делали в садике «секреты»?

– В каком садике?

– В детском. Теперь ты спросишь, что за «секреты», – так, что ли? Алло!

– Погоди, Артурка. Я вспоминаю...

– Не грузись, Ген. Сейчас я тебе...

– Вспомнил! – радостно воскликнул Валерьев. – Это, значит, когда в земле копают ямку и кладут туда фантик или еще какую-нибудь фигню, закрывают стеклом и засыпают землей...

– Правильно. А через денек-другой отгребаешь землю и кайфуешь... У всех, наверное, такие «секреты» были в наше время...

– И у детей, и у взрослых. Классно!

– Я только садик имел в виду... Правда, классное обобщение – используй где-нибудь.

– Постараюсь. – Валерьев глянул на часы, сглотнул и уведомил: – Извини, но мне скоро уходить, так что...

– Но ведь две-то минуты у тебя есть! – уверенно и обиженно проговорил собеседник. – Если тебе неинтересно – тогда другое дело.

– Рассказывай, сновидец. Я слушаю.

«Вот, блин, манипулятор! – неприязненно подумал Геня. – Дождешься – столкую я твои сны по Фрейду!» Но на самом деле ему было очень интересно.

– Короче, сон такой. В садике у меня был «секрет» – под здоровенным осколком оконного стекла; там еще червяк жил и фольга от конфеты лежала. Червяк там полно ходов нарыл, и один раз я его даже застукал – здоровенный такой выползок... Но это не сон, это воспоминания. А снится мне, что я, уже взрослый, иду разыскивать свой «секрет». Был день, но в садике почему-то никого не было. И еще было очень жарко – прямо чувствовал, как по коже пот течет. Короче, нашел «секрет», отгреб землю и вижу: там какой-то огонь горит. Разгребаю дальше (а руки грязные, под ногтями – земля); в конце концов расчистил огромный квадрат – метра полтора на полтора. Смотрю: там подземный ход с факелами на стенах и еще табличка: «В случае необходимости – разбить стекло». Что ты ржешь? Да, такая табличка.

Короче, я подпрыгнул и провалился в подземелье, но

стекло почему-то осталось целым. Под землей было холодно и сыро, я весь мурашками покрылся и сначала грел руки возле факела, а потом снял факел со стены и пошел. Это был лабиринт – сплошные развилки, и еще кто-то позади меня выл и хихикал. Потом я встретил тебя. Продолжать или ты торопишься?

– Продолжай, конечно! – взбудораженно попросил Гена. – Так это я выл и хихикал?

– Нет, не ты, – загадочно ответил Артурка. – Ты там крутым оказался – в доспехах и с двуручным мечом.

– Ни фига себе!

– Я тоже удивился: Генка – и с двуручным мечом. Спрашиваю: «Что ты здесь делаешь?» А ты мне: «Защищаю детей от Муравьиной Львицы». А Муравьиная Львица – это, типа того, ведьма, она как раз и выла в подземелье. Над нами же детский сад был – вот она и ждала, что кто-нибудь к ней провалится. Но никто провалиться не мог, пока ты читаешь какую-то молитву, – кажется, Иисусову. Есть такая?

– Есть. Многие святые читали ее непрерывно.

– А ты так можешь?

– Нет, конечно.

– А в моем сне ты читал ее постоянно, и поэтому дети не проваливались к ведьме. Короче, ты сказал, что ведьму надо убить, но ты, типа, этого сделать не можешь, потому что тебе есть крестик. Снять ты его не можешь, потому что без него нельзя молиться, но и Муравьиную Львицу с ним убить

нельзя, потому что вокруг тебя образуется защитное поле, и вы с ней не можете сойтись ближе, чем на три метра.

– Как всё сложно!

– Еще бы. Специально такое хрен придумаешь! Короче, ты отдал мне доспехи и меч, и мы пошли искать ведьму. По дороге базарили на философские темы – точно не помню, о чем. Кажется, я тебе комплимент сделал: типа, как атлант держит на своих плечах небесный свод, так и ты своими молитвами держишь своды подземелья... На хрена я тебе, спрашивается, комплименты говорил?

– Наверное, понравиться хотел.

– Фу, как это правдоподобно и педерастично!..

– Что есть, то есть. А чем закончился сон?

– «Хэппи эндом».

– Неужели мы поженились?! – комично полюбопытствовал Гена.

– Ну ты и маньяк! – расхохотался Артурка. – «Хэппи энд» заключался в том, что я изрубил ведьму в капусту. Она, кстати, была похожа на мою Олю, так что замочил я ее с огромным удовольствием.

– И я после этого маньяк!.. – весело воскликнул Валерьев, но мимолетно глянув на часы, ужаснулся и быстро проговорил: – Извини, Артурка: я убегаю.

– Куда, если не секрет?

– В церковь.

– А что, сегодня праздник?

– Казанская. Всё, пока.

* * *

Солнце жарило всюду и заставляло жмуриться, рубашка назойливо липла к телу. Тяжко дыша, Гена торопливо шел в гору и ритмично пришептывал:

– Красивые сивые ивы. Красивые сивые ивы. Краси...

Он любил фразы, причудливо-вычурные по звуковому оформлению.

Показались нищие, и Гена сунул ладонь в карман джинсов за припасенной мелочью. С трудом вытащив монетки, подумал: «Как индийская ловушка для обезьян. Только там узкогорлый кувшин и орех внутри».

– До-оброго здоровьчка! – благодарили нищие, перекладывая подаяние из правой руки в левую и крестясь. – Да сохрани вас Господь и не болеть вам!

– Спаси Бог, – чуть смущенно шептал Гена в ответ.

Он шел в гору по широкой дороге прицерковного кладбища, а по обочинам, возле могил, стояли редкие нищие. Нагловатые христарадствующие мальчишки, завидя Гену, крикнули ему:

– Дяденька-десятьюльник, дяденька-десятьюльник! Подай, дядя!

Получив по десятиюльнику, мальчишки стали обсуждать то, что есть дяденьки-полтинники, дяденьки-рубрики и даже один десятирублевый.

«Обидели юродивого – подали копеечку... – уязвленно подумал Гена. – Дяденька-десятьюльник!..»

Когда Гена крестился и кланялся у входа в храм, прото-диакон клейстерно-густым басом читал Апостол, а немногочисленная паства внимала, преклонив голову. Что за отрывок читался, Гена разобрать не успел. Служба была обычная, не архиерейская: владыка служил в другом храме и забрал с собой часть соборных священников и певчих. Обедня проходила спокойно и радостно; сквозь ароматный дым ладана тянулись широкие солнечные лучи.

В то время, как читались длинные заздравные и зауспокойные списки, Гена внимательно разглядывал прихожан. Особенное эстетическое наслаждение он почувствовал от наблюдения за классическим трио – «мама, папа, я – счастливая семья». Мать молилась строго, привычно, грамотно, отец – с какой-то немножко забавной неофитской экзальтацией (Гена вспомнил себя четырехлетней давности и грустно улыбнулся), их русоволосый сын лет шести или семи левой рукой держался за мамину юбку, а правой старательно крестился. «Дети до семи причащаются без исповеди, – припомнил Гена. – Они считаются безгрешными. Вот бы поговорить с таким, – может, он что-то помнит...» Юноша вдруг осознал, что отвлекся, поспешно перекрестился и стал проговаривать вместе с диаконом слова ектеньи, чтобы не отвлекаться впредь. По окончании службы и водосвятного молебна (воду в этом храме святили после каждой поздней литур-

гии) Гена помог вынести на улицу эмалированный бачок со святой водой. Выстроилась короткая очередь с пустыми пластиковыми бутылками, желающим давали напиться из кружки, напившиеся крестились и благодарили. Гена увидел любопытную сценку: две женщины с напомаженными губами выпили святой воды, затем одна из них, чуть замешкавшись, перекрестилась левой рукой, а другая ее одернула и показала, как надо: правой, но слева направо.

– А почему? – услышал Гена детский голос, обернулся и увидел вышеописанное семейное трио. – А почему они пьют святую воду? Они же креститься не умеют!

Женя вопросительно глянул на родителей. Отец задумался, а Софья Петровна тотчас ответила:

– Жарко.

– Жарко, – подтвердил Виктор Семенович и улыбнулся.

«И почему у меня нет такого братика-почемучки? – болезненно подумал Гена. – Мне бы проще было тогда, намного проще, я бы учился у него. Тоже стал бы почемучкой и спрашивал у него, спрашивал... Может, он еще помнит ответ на главное «почему»? Сашка с Машкой не помнят или не понимают, о чем я. А младенцы не умеют говорить...»

Кто-то слегка толкнул его и извинился, и он понял, что в задумчивости резко остановился, и извинился в ответ. «Задумчивая статуя... Статуи не ходят лишь оттого, что им есть, о чем подумать! Шаги Командора... Медный всадник... Статуи из Нильса с гусями... Колосс на глиняных ногах... Ста-

туя, золотую пику держащая...» – хаотически пронеслось в голове Гены, но из хаоса не возникло вселенной, рассказ не слепился. Лишь одна шизофреничная картинка осталась: каменный Ленин, мысленно написавший последний том своих сочинений и решивший, что хватит, спрыгнул с пьедестала и пошел по улице, давя прохожих и автомобили, – совсем как Кинг-Конг. Каменный гость ухмылялся и хулигански высаживал свернутой газетой окна близлежащих домов. Главы политических партий, стиснув микрофоны, пели «Интернационал» на крыше мавзолея, а над ожившей статуей кружили боевые вертолеты.

– Полный бред! – вполголоса срезюмировал Гена.

А семейство Солевых тем временем перекрестилось у церковной ограды и вышло на кладбище. Последовав за ними, Гена услышал замечательный разговор нагловатых мальчишек, обзававших юношу «дяденькой-десятьюльником», – они обсуждали, мороженое какого сорта они купят на подавание. «Мне бы сейчас такое мороженое!» – не без зависти подумал он.

– Подай, дядя!

– Подавал уже.

Женя, шедший с родителями прямо перед Геной и тоже слышавший разговор о мороженом, внезапно отпустил их руки, обернулся и сказал:

– Подай, дядя!

Юноша поспешно сунул руку в карман джинсов (ключи,

ключи, опять ключи, вот она) и, вытащив монетку, подал мальчику. Сказав «спасибо», тот с гордым видом посмотрел на родителей. После тяжелой паузы Виктор Семенович строго поинтересовался:

– Это что такое? – и выбил монетку из ладошки сына. Монетка со звоном упала на асфальт, немного прокатилась и легла на бок.

– Так нельзя, Женя, – мягко молвила Софья Петровна и, нагнувшись за монеткой, положила ее в ближайшую нищенскую плошку. – Милостыню просят, когда совсем нет денег.

– Но у меня нет денег...

– Зато у тебя есть родители, – резко сказал отец. – Если ты из-за мороженого, про которое говорили те мальчики, то мы тебе купим любое.

– Но просить милостыню весело...

– Тебе нельзя просить милостыню, – властно сказала мать.

– Но почему? – изумился сын.

– Извините, – тихо сказал Гена, стоявший всё это время рядом, и пошел дальше.

* * *

«К Куре зайти, что ли... – нерешительно подумал Гена, подходя к своему дому, и свернул в подъезд соседнего. Зачем только это надо? Не на улицу же его звать... К тому же, носок протерся... – вяло размышлял он, поднимаясь на этаж. – Дружба кончается, когда начинаешь искать причину,

чтобы зайти к другу, – надо будет записать. Да это, наверное, и не дружба была. Просто живем рядом, одноклассники, книжками обменивались, каждый день на улицу вместе ходили – воздухом дышали...»

Гена позвонил, подождал и позвонил вторично. За дверью зашаркали, визгливый старушечий голос спросил: «Кто?», юноша ответил, послышалась возня с замком, дверь приоткрылась ровно на столько, на сколько ее пустила цепочка, и в проеме возникла большая седая голова с обвислыми бульдожьими щеками. Дверь захлопнулась и тотчас же распахнулась. Бабушка Куры радостно улыбалась карими глазами, но улыбка губ ее по причине щек, тянувших вниз, казалась трагичной.

– Кто к нам п’гишë-ол! П’гоходи, Геночка, п’гоходи, давно тебя не было...

– Здравствуйте, – ласково произнес он. – А... а Андрей дома?

– Сейчас... Анд’гей! Гена п’гишел! Ну, как дела у тебя?

– Нормально.

– Ну, и слава Богу. Анд’гей!

Бабушку бывшего одноклассника Гена уже довольно давно сравнил со старым, аномально кротким бульдогом с перебитой лапой. Массивная хромоногая бабуля не выходила на улицу, а свежим воздухом дышала на балконе. Незадолго до окончания школы Кура, внезапно увлекшийся бодибилдингом и металлом, похвастался, что начал посылать бабушку

на три буквы. Еще бы – ведь в детстве она его так кутала и опекала!

– Гена, тапочки надень, они под вешалкой...

– Не надо, спасибо. Привет, Кура!

– Привет, Гена. Пойдем в комнату.

«Надо бы его по имени называть, – пристыженно подумал гость. – У меня ведь тоже прозвище было... Курин Андрей батькович... Андрей – больно официально... Наверное, лучше Дрюня».

– Вот, послушай, – сказал Курин, зарядив маленький усталый магнитофон кассетой и клюнув двумя пальцами клавишу. – Тебе понравится.

Но Гене совсем не понравилось. Одноклассник уже не раз пытался пристрастить его к металлу, однако Валерьев ни разу не выдерживал эту пытку более двух минут: от диких воплей и жестко ритмизированной какофонии становилось очень муторно на душе и возникала необходимость прервать кошмар, вырваться из него, пусть даже самым беспардонным способом. Вот и теперь Гена щелкнул рычажком магнитофона, и сатанист захлебнулся в радиоволнах, а его рев сменился попсовой песенкой.

Андрей вздрогнул и с ненавистью зыркнул на Гену, но постепенно опомнился и произнес:

– Это я дней десять назад купил. Сказать, как называется?

– Скажи.

– «Разлагающийся Христос».

Гена медленно закрыл глаза и мысленно прочитал Иисусову молитву, прочитал еще раз и еще и, лишь успокоившись, посмотрел на Дрюню.

– Ты что, медитировал?

– Вроде того. Как ты можешь это слушать?!

Курин загоготал.

– Ты, прям, как один приятель мой – он тоже металл не любит. Мы с ним в прошлые выходные... – Дрюня прибавил громкость, но поморщился, убавил и заговорил полусшепотом. – Обкуривались – два костыля на троих, да еще план убийственный... Эх мы и ржали! И такие мысли глобальные в голову лезли... Ты, кстати, как – пишешь сейчас что-нибудь?

– Да ничего я не пишу... – Гена слегка растерялся от неожиданного извива Дрюниной речи.

– Ты пока что-нибудь коммерческое напиши – с расчлененкой, про какую-нибудь маньячку-лесбиянку... У тебя же круто получается!

– Про лесбиянок круто получается?

– Нет, вообще круто. Стиль там, всё такое... К примеру, прошлый твой рассказ, про Галилейское море. Написано офигенно, только кто его читать будет? Бессюжетье, символика для яйцеголовых... Деньги надо делать! Ты обкурился, по обкурке у тебя знаешь как поперет!..

– Спасибо, не надо. Это если я уж совсем испишусь, тогда, может, и не только обкуриваться буду... Но пока – слава

Богу.

– А то давай – костыль на двоих, прям сегодня можно. Тогда вообще шедевр напишешь – про плановиков, взгляд изнутри, прославишься.

– Лучше уж я просто поспрашиваю...

– Да с чужих слов – это хренота. Ты уж сколько времени всех окрестных плановиков достаешь? Рассказывают тебе – и что? Тут чувствовать надо! Нариком ты не станешь, это вообще нереально... Подумай.

– Подумаю, подумаю... А обкуриваться не буду. Сессия у тебя как?

– Нормально, – ответил Дрюня, поскучнев. – Стипендия будет.

– А у меня повышенная, один с двойки на пятерку передал.

– Молодец.

– А вообще дела у тебя как?

– Нормально. А у тебя?

– Нормально.

О чем говорить дальше, Гена не знал. Андрей вырубил магнитофон, но стало только тоскливее, потом принялся увлеченно рассказывать несмешные анекдоты, и тоска болезненно позеленела, словно окислившаяся медь. Гена, не умеющий рассказывать анекдоты, слушал и чуть не плача разглядывал комнату, в которой с давних пор не менялось ровным счетом ничего, кроме самого хозяина. Спросив об

остальных одноклассниках и даже не дослушав ответа, гость встал и ушел.

«Такие визиты сродни некрофилии!» – раздраженно думал Гена, спускаясь по лестнице и разглядывая надписи, процарапанные на беленой в незапамятные времена стене; рядом с надписями многолетней давности соседствовали новые, которых он еще не видел.

Глава пятая

В дверь позвонили, и Софья Петровна Солева, вернувшаяся недавно вместе с Виктором Семеновичем и Женей из церкви, пошла открывать. Миша, промаявшийся до их прихода над рассказом, но так ничего и не написавший, прислушался: дверь открылась, но гость, по-видимому, входить не спешил; еле различимый голос, кажется, женский, о чем-то говорил из-за порога. «Цыгане, наверное, или беженцы», – подумал Миша, и ему стало неприятно.

– Входите, – пригласила Софья Петровна.

Дверь захлопнулась, и чужой голос, несомненно, девичий, стал более отчетливым, можно было даже расслышать некоторые слова, но общий смысл не улавливался; зато интонация была ясна: незнакомая девушка в чем-то убеждала, что-то настойчиво предлагала. «Сетевой маркетинг», – подумал Миша с еще большей неприязнью. Он услышал, как в зале поднялся с кресла отчим и, велел сыну остаться и смотреть телевизор, пошел на голос и вскоре, перебив девушку, довольно резким тоном заговорил.

«Правильно, – подумал Миша. – В таких случаях надо вмешиваться. А то купит опять дрянь какую-нибудь...»

Виктор Семенович умолк, а настырная девушка вновь принялась говорить – говорила она не просто увлеченно, а

со страстью, почти с отчаянием... «Вот до чего могут довести хождения по этажам да по жаре... Таким голосом только в постели общаться!...» – подумал Миша, но без улыбки: ему стало жаль девушку, расходовавшую столько души на духи или кремы от морщин. И вдруг по какой-то фразе, особенно громко произнесенной, он понял: незнакомка проповедует.

Миша сорвался с места, вышел из комнаты, прошел зал, где Женя сидел, повернувшись к телевизору спиной... Проповедница оказалась юной и довольно красивой, особенно хороша была толстая русая коса до пояса, явно не накладная; лицо девушки неестественно порозовело, словно она бежала и запыхалась или лгала и стыдилась. Рядом с ней стояла и молчала еще одна юница – полненькая, веснушчатая, с поддрагивающей улыбкой; иногда мужчины испытывают к подобным дурнушкам такую жалость, что дело доходит до женитьбы.

– Да ведь мы верим в Бога, девочка, верим, – объясняла Софья Петровна чуть свысока, словно знаменитая актриса, обращающаяся к статистке. – Мы православные, только что из церкви вернулись...

– Соня, ну что ты перед ней отчитываешься? – нервно спросил Виктор Семенович. – Это же свидетельница Иеговы, сектантка! Вот скажите мне, милая девушка, кто финансирует вашу секту, а? Эти вот журналы глянцевые, газеты, передачи по радио и ТВ – кто?

– Верующие жертвуют... – пролепетала гостья, глядя то на

глянцевый журнал с безмерно счастливым темнокожим стариком на обложке, то на парня, который появился в дверях и вот уже с минуту смотрит то на нее, Валю Велину, то на глянцевый журнал, лежащий на тумбочке.

«Ничего они не понимают, ничего!» – с обидой подумала Валя и покраснела еще сильнее, почти до слез.

– Извините, что побеспокоили, – сказала она так, что всем троим, смотрящим на нее, захотелось попросить прощения. – Да благословит вас Господь!

– Спаси Бог, девочка! – ответила Софья Петровна.

– Да, милая девушка, и вам того же, – подтвердил Виктор Семенович. – Только журнальчик заберите, нам не надо.

– Оставьте журнал, пожалуйста, – попросил Миша. – Я почитаю.

Девушка благодарно взглянула на него, повозилась с замком, но всё-таки справилась и вышла вон. Ее спутница, сипло пробормотав: «До свидания», – поспешила следом, словно отражение кривого зеркала.

– А я думал, она немая, – сказал парень с неловкой усмешкой.

– Зачем ты взял журнал? – сердито поинтересовался Виктор Семенович. – Это же секта, сек-та. Они теперь не отвязутся!

– Отвяжутся. А журнал я почитаю.

Миша и впрямь вернулся в свою комнату и принялся читать, но вскоре бросил. «Про негров, про ООН, про гумани-

тарные миссии... – недоуменно подумал он. – А Бог тут при чем?..»

* * *

Длиннокосая свидетельница Иеговы, успевшая расстаться со своей неразговорчивой спутницей, шла по раскаленным улицам. Ей было обидно, ей хотелось отрясти прах сего города с удобных туфельек и еще ей хотелось кваса, но деньги закончились. Девушке вдруг вспомнились слова одноклассника, хорошего тихого парня, православного, кажется. Как-то она заговорила с ним о Боге и о протестантах, а он сравнил последних с коммивояжерами, предлагающими Бога, как крем от морщин. И вот сейчас она чувствовала себя именно таким усталым неудачливым коммивояжером.

– Ва-аленька! – услышала девушка неожиданный радостный возглас.

– Ге-эночка! – пропела она с той же интонацией и, улыбнувшись, посмотрела на возгласившего. – А я только что тебя вспоминала.

– С чего бы это?

– Так, вспомнился отчего-то... Ты психологию пересдал?

– Пересдал. Пять.

– Молодец. Что попало?

– Фрейд. Я ее задавил буквально: античную литературу приплел, Софокла с Еврипидом... Второй она слушать не стала, а я его и не знал. Короче, всё было круто.

– Ну, это только Гена Валерьев так может.

Гена польщенно улыбнулся.

– Геночка, а ты случайно квасу не хочешь? – любопытствовала Валя, потупив очи долу (очи были зелеными, а дол – пыльным и растрескавшимся).

– Можно и квасу, – равнодушно сказал юноша, в житейских делах малоопытный, но пригляделся к однокласснице и догадался-таки: – А, в этом смысле!.. Извини, Валенька, это, конечно, грустно, но ни копейки нет.

Так уж получалось, что из церкви он всегда возвращался с пустыми карманами. Устыдившись нынешнего безденежья и отругав себя за съеденную просфору, он покраснел.

– И у меня ни копейки, – печально сказала девушка, посмотрела на Гену, поняла, что с ним, и, мысленно выбравив себя за бестактность, обозлясь на весь этот мир с раскаленными тротуарами и недоступными квасными бочками, горько выговорила: – Бедные студенты!

– Так и есть, – улыбнулся Гена, и смущение ушло. – Ты куда направляешься?

– Прямо.

– Ну, прямо так прямо. Прогуляюсь с тобой немножко.

«Валенька эквивалентна бутылке пива, – подумал он, не переставая улыбаться. – А то и двум». Пояснить его мысль можно было бы так: с другими девушками ему разговаривать не хотелось – незачем, да и лень. И лишь присутствие Вали или пива могло побудить его к весьма бессмысленно-

му занятию – многословному разговору. Внутренне же Гена ощущал эту «пивовалентность» как абсолютную скользкую легкость общения, которую когда-то давно, в вымышленном мире, ощутила Наташа Ростова по отношению к Анатолию Курагину. Наташа чувствовала «отсутствие преграды стыдливости» – Гена очень хорошо помнил толстовское определение, потому что учился на факультете, студенты которого обязаны были помнить литературные перлы. Юноша немного досадовал на себя за странное сопоставление, но всё-таки считал его удачным.

– Чем занимаешься на каникулах? – спросила Валя.

– Ничем. Гуляю вот и думаю о некрофилии.

– А некрофилия – это что такое?

– Правда, что ли, не знаешь?

– Правда.

– Вот что значит неиспорченный человек!.. Мы с тобой кто?

– Люди.

– А по специальности?

– Филологи.

– Филолог как переводится?

– Любящий слово.

– Хорошо. А в газетах в черной рамочке что печатается?

– Некрологи.

– Переведи теперь.

– Логос – слово... – задумчиво пробормотала Валя. – А

некро... Смерть? Слово о смерти?

– Умница. А теперь скажи мне, что такое некрофилия.

– Получается или любовь к смерти, или смертельная любовь.

– Смертельная любовь! – воскликнул Гена и расхохотался. – А можно еще – смерть от любви! Нет, это великолепно!..

– Хватит! – улыбчиво сказала Валя и толкнула его локотком в бок. – Смеяться он будет...

– Погоди, погоди! Можно ведь еще и по Фрейду – эрос и танатос, два жизненных начала...

– Ну тебя с твоим Фрейдом! Смеется он... Ну, не знаю я этого слова, не знаю.

– Да всё ты правильно сказала, молодец. Буквально так и есть – любовь к смерти, а если поконкретнее – то любовь к мертвецам, а если еще конкретнее – то не для твоих ушей.

– Фу-у! – протянула девушка и, округлив глаза, полюбопытствовала: – Слушай, а ты-то с чего об этой некрофилии думал? Тоже не для моих ушей?

Гена вновь расхохотался. «Нет, – подумал он, – три бутылки пива!»

– Как раз для твоих, – ответил он, просмеявшись. – Перед тем, как тебя встретил, был я у одноклассника. Вроде бы, друзьями считались когда-то, а посидел у него – такая тоска! Ну ничего общего! Вот я и подумал, что такие визиты сродни некрофилии. Очень грустно. Тебя вот только увидел

– развеселился более-менее.

– Одноклассники... – раздумчиво произнесла Велина. – У меня то же самое примерно. Я в город только на этой неделе приехала, а так после экзаменов у себя жила, дома. – Последние слова она, забывшись, сопровождала мудреной жестикующей. – Одноклассников видела – говорили, вспоминали, но это всё не то. – И вновь, в сопровождении энергичных жестов: – Не то.

– Валя! – воскликнул ошарашенный Гена и остановился. – Валя, а это, случайно, не язык немых?

– Проболталась, – беспомощно сказала она и сразу же показала на пальцах: проболталась.

– А откуда ты его знаешь?

– Потом как-нибудь расскажу.

– Можешь и не рассказывать, я просто удивился очень – впервые такого человека вижу... Короче, поимей в виду, Валенька: я очень заинтригован.

– Поимею, – пообещала Валя и внезапно покраснела.

«А ведь она еще девочка!» – подумал Гена, почему-то с радостью.

Они пошли дальше.

– Ты всё лето в городе? – спросила девушка, порешив странноватую паузу.

– Пока – да, а в августе в лагерь еду.

– Вожатым?

– Нет, ведомым. При нашем университете есть студенче-

ский лагерь, бывший пионерский. Там, говорят, хорошо: сосны, озеро, кормят вкусно.

«Вот бы ее туда... – мечтательно подумал он, но сразу же урезонился: – А в качестве кого, собственно?..»

– «Комета»? – поинтересовалась она напористо и весело.

– Что?

– Лагерь – «Комета» называется?

– Да, по-моему.

– Смена – с первого числа?

– Да.

– У-у, Геночка, поздравляю. Вместе едем.

– Слушай, здорово!

– Я с подругами, мне тоже этот лагерь нахваливали... Извини, я побежала, мне дальше на троллейбусе. Пока!

– Пока!

– В лагере увидимся. Пока еще раз!

– Беги – уедет!.. – крикнул Гена вдогонку, посмотрел, как Валя, пристроившаяся к куце му хвосту очереди, втиснулась в троллейбус, развернулся и бодро зашагал домой.

* * *

Мой милый мальчик!

Я затеваю это письмо не для того, чтобы скоренько написать его и отправить. Возможно даже, что оно будет отправляться тебе частями, как роман с продолжением. Вряд ли ты найдешь здесь живописание каких-то событий и

обстоятельств, приключаящихся со мной, разве что в контексте иллюстрирования более панорамных планов. Я отнюдь не претендую на объективное и целостное представление об окружающем мире, но вместе с тем я убежден, что оно куда как объективнее и целостнее, чем у провинциального студента, обремененного обширными познаниями в узкой области мировой культуры. Никак не собираюсь тебя нравочать: сам неоднократно удерживал себя от желания сказать ментору какую-нибудь гадость, но мне бы очень хотелось, чтобы, приобретая жизненный опыт (а без него в твоей профессии делать нечего), ты был бы хоть отчасти ориентирован относительно тех подводных камней, которые мне приходилось нащупывать собственным брюхом. Возможно, какие-то мысли покажут тебе предметы под неожиданным углом зрения и помогут в творчестве – не скрою, мне приятно было бы это осознать. Кроме того, и, вероятно, главное – не знаю, как тебе, а мне общения с тобой остро не хватает. Вот и всё предисловие.

Гена прерывисто вздохнул с тем нежным весенним чувством, какое возникает при чтении Евангелия или после истерики. Он был один дома – сидел, согнувшись над своим сокровищем – двойным тетрадным листом в клеточку, исписанным галопирующим корявым почерком. Юноша проморгался и продолжил читать.

Представь себе высотный дом – вроде одной из нью-йоркских «двух башен», а в нем – лифт, но не скоростной, а обычный, медленный. Если принять его за модель нашей жизни, то, рождаясь на свет, человек входит в этот лифт и начинает медленный подъем, наблюдая через стеклянную дверь за соблазнами уходящих вниз этажей. Каждый волен остановить лифт и выйти, когда иссякнет терпение ожидать более высокого этажа. Лифт – это детство, и чем дольше мы не покидаем его, тем на большей высоте оказываемся. Это не означает благосостояния: на всех этажах есть и бедные, и богатые; высота здесь – категория, скорее, духовная; по большому счету, верхние этажи ближе к Богу, даже если трактуешь это понятие по-своему. Детство – это время обучаемости, программирования – не в уничижительном, а в исходном значении этого слова, как благоприобретения алгоритма всей последующей жизни, или ее главных аксиом, или основных устоев, или придумай термин сам и называй, как хочешь. Когда человек нажимает кнопку «стоп», он тем самым признает программирование законченным и остается на достигнутом этаже до конца своих дней: лестниц в этом доме не предусмотрено, а вернуться в лифт невозможно. Это называется «стать взрослым». Диагноз неизлечимого недуга, в результате которого полет подменяется профессионализмом, желание новизны – консерватизмом, а болезненная острота ощущений плавно переходит в спокойный рационализм. Для большинства людей

подобные изменения являются, безусловно, положительными, и, более того, только они и делают человека уважаемым и полноправным членом общества. Чем выше выходишь, тем дискомфортнее такому вышедшему в добропорядочном обществе. Обречены на репутацию ненормального, пренебрежительное отношение и, в конечном счете, на одиночество те немногие, кто не покидает лифта всю жизнь. Их еще называют гениями или пророками, но только после смерти. Долгое детство – явление обоюдоострое: научишься видеть и излагать глубже, точнее и самобытнее, чем сошедшие раньше, и в результате окажешься ими не понятым, а значит невостребованным. И крепко стоящий на ногах взрослый сверстник почитет хорошим тоном оскорбить и осмеять тебя. Вспомни бесчисленные образы интеллигентов в очках и шляпе или чудаковатых и рассеянных ученых, актеров-параноиков, писателей-шизофреников, поэтов-алкоголиков etc. Все они надолго задержались в детстве, а самые яркие и не вышли оттуда вовсе.

Суть дилеммы – когда выходить?

Пронзительно и бесцеремонно зазвенел телефон, и Гена испуганно вздрогнул, словно кто-то грубый и сильный, подкравшись сзади, неожиданно положил руку ему на плечо. «Вот так и случается разрыв сердца», – подумал юноша.

Звонил Артурка.

– Что у тебя с голосом? – спросил он.

– Ничего у меня с голосом.

– Ты выпил, что ли?

– Нет. Всё в порядке. – Генин голос и впрямь выровнялся и принял интонационный нейтралитет. – Ты что звонишь?

– Просто так. Делать нечего, скучно. Ты чем сейчас занимаешься?

– Ничем.

– Понятно всё с тобой. В лагерь едешь?

– В какой? А, в «Комету», в смысле... Еду, конечно, я же неделю назад путевку взял.

– Понятно.

– Кстати, Валя тоже едет.

– С тобой?

– Нет, с подругами.

– Да ладно тебе – с подругами! Натянул девочку – так и скажи.

– Иди в задницу, Артурка.

– И как она, а?

– Что-то я тебя не понимаю сегодня.

– Скучно мне... Скучно! Слушай, а можно мне тебя отыметь?

– Нельзя, – ответил Гена и, не сдержавшись, рассмеялся.

– Ну, пожалуйста, я тебе денег дам...

– Иди в задницу, извращенец!

– Похоже, придется. Ладно, не буду тебя больше доставать своим бредом. Пока!

– Пока.

Положив трубку, Гена расхохотался и, погрозив кому-то невидимому пальчиком, с соответствующей интонацией протянул:

– У-у, шалунишка! – и снова захохотал.

Приятно освеженный телефонным разговором, он вернулся к недочитанному письму, помолился и, лишь в достаточной степени посерьезнев, возобновил чтение.

Суть дилеммы – когда выходить? Писатель с нижних этажей при хорошей работоспособности может претендовать на славу Чейза и весьма обеспеченную жизнь, но ты эти этажи проехал. Сейчас ты на средних этажах и уже познакомился с непониманием неподготовленной (читай – сошедшей ниже) публики. А когда элитарность твоих работ еще повысится, что делать будешь? Изложенное здесь похоже на закон природы, и, зная его, ты точнее сможешь определить, когда нажать кнопку «стоп». Советов не даю, но я бы еще покатался. Впрочем, это стремление – виновник многих, если не всех моих проблем. Так что поступай, как душа предрасположена.

(Продолжение следует.)

Желаю тебе творческих успехов, целую.

Твой папа.

С ласковой усталой полуулыбкой Гена вложил письмо в

конверт и, прочитав обратный адрес, странно ухмыльнулся.
– Мос-ква-а... – протянул он с горестной иронией и хмыкнул, словно всплакнул. – Москвич, блин!.. Ничего, получу стипендию за летние месяцы – и навещу... Господь милостив.

Глава шестая

На столе между общепитовской тарелкой и граненым стаканом с алым киселем лежал румяный кусочек запеканки. Очень хотелось подцепить его вилкой и съесть, ведь запеканка такая вкусная, а на белой тарелке осталась лишь волнистая сметанная клякса – белая-пребелая. Неплохо бы, конечно, спросить добавки, но ведь могут и не дать... К тому же, Женя не обжора, зачем ему, хватит и этого махонького кусочка. В самом деле, разве виноват он, что кусочек соскочил с вилки прямо на стол? Совсем не виноват.

Неприязненно посмотрев на румяный кусочек запеканки, мальчик отщелбанил его куда подальше, облизнул указательный палец и стал пить кисель.

За несколькими низкорослыми столами, сдвинутыми воедино, кроме Жени сидели только двое, да и те уже допивали вишневую вкуснятину, а хлопотливая сутулая нянечка убирала их тарелки. «Опять последний, – подумал Женя. – Как всегда». Заключительных глотков он не смог одолеть, потому что над ним нависла нянечка, и с рук ее капала мутная мыльная вода.

– Силу свою оставляешь, – укоризненно произнесла женщина. – На здоровье, на здоровье...

Отойдя от стола, Женя с каким-то внезапным печальным восторгом принялся смотреть на сутулую спину нянечки, и смотрел неотрывно, пока та не скрылась в комнатке-конурке. Оттуда донеслись шум воды и кляцанье посуды, а непонятное Женино настроение усилилось. Он внимательно поглядел на веселую кучку остальных детей, на клетку со щеглом, на беленый угол между стеной и потолком и прерывисто вздохнул. Настроение, довольно часто посещавшее мальчика в последние дни, тихо ушло.

В комнате горел свет, очень грустный в дневные часы, но за окном дождило, и он был нужен. В прошлое воскресенье лето, донельзя раскалившее город, заставляло не умеющих креститься женщин пить святую воду, а Валу Велину оно побуждало проклинать недоступные бочки с квасом – так было в прошлое воскресенье. А в понедельник лето нахмурилось, всплакнуло и уже пятый день хандрило, постепенно охладевая ко всему земному, так что в шортах ходить стало невозможно.

Иначе говоря, нынче была дождливая пятница и Женя, надевший из-за прохлады не шорты, а брючки, отполдничал и загрустил. Дождливая пятница была последней: заканчивался июль и начинался мамин отпуск, так что мальчика забирала из детского сада. Навсегда.

– Что встал? – спросил подошедший Саша. – Пошли рисовать!

– Пошли.

Для рисования использовались цветные карандаши, лежащие в специальном лотке – совсем как алюминиевые ложки и вилки, только карандашовый лоток был поменьше. Карандашей было много, но большинство – со сломанными или срисованными до дерева стержнями, а меньшую их часть быстренько расхватывали, так что рисунки получались в лучшем случае двух-, трехцветные. Рисовали на ужасной писчей бумаге – не то что серой, а даже несколько коричневатой, с вкраплениями мельчайших щепочек. Бумагу детскому саду подарил кто-то из родителей, так что отказаться было бы неудобно, да и невыгодно.

Женя радостно улыбнулся: его любимый карандаш фиолетового цвета, собственноручно помеченный мальчиком, оказался на месте. Карандаш был не длинным и не коротким, а именно таким, как надо; на деревянном теле его возле неза точенного конца ясно виднелся след человеческого укуса. «Неужели последний раз?» – недоуменно подумал Женя, печально разглядывая прикушенного знакомца, потом взял бумагу, сел и стал рисовать. Он нарисовал фиолетового снеговика, а рядом – фиолетового мальчика с фиолетовым снежком в руке (снежок можно было принять за огромный кулак). Жене стало холодно и захотелось в туалет.

Проходя мимо Саши, он заглянул в его рисунок: зеленый танк, задрав дуло кверху, стрелял тремя зелеными снарядами в зеленый самолет. Первый снаряд подлетел к самому самолету, третий только что выплюнулся из дула, а второй был

в пути; заполучив бордовый карандаш, Саша нарисовал верок огня возле пушечного жерла и, надув щеки, готовился взорвать самолет. Женя прошел мимо, завидуя Сашиним художническим способностям.

В туалете, на низеньком пьедестальчике, присыпанном хлоркой, сидела на корточках девочка, и Женя задумчиво, можно даже сказать отрешенно, посмотрел на нее в упор.

– Что уставился? – грубо спросила она.

Женя вздрогнул, растерянно улыбнулся и пожал плечами. Девочка встала, быстро подтянула трусики, покраснев почему-то, и сошла с пьедестальчика. «Чего это она?» – изумленно подумал Женя, расстегивая ширинку.

– Дурак! – тихо и зло сказала девочка у него за спиной, после чего дверь захлопнулась.

* * *

– Круто! – оценил Женя Сашин рисунок.

На месте вражеского самолета в воздухе висел бордово-зеленый, местами черный клубок, а к земле летел оторванный хвост (или крыло – не разобрать) с очень старательно выведенным значком \$.

– А этот самолет что – деньги перевозил?

– Нет, – ответил Саша. – Просто американский. А у тебя почему снеговик?

– Не знаю, – задумчиво произнес Женя и внезапно спросил: – Ты в школу хочешь?

– Хочу, ясное дело. А ты нет, что ли?

– Не знаю. Мне садик жалко.

– Жалко у пчелки!

– Пчелка на елке... – машинально продолжил Женя. – Те-ти Тамары в школе не будет, тоже жалко.

– Это конечно, – согласился Саша и, словно поняв наконец-то, воскликнул: – И горки под током не будет! И бассейн с «крысками»!

Женя кивнул и улыбнулся, подумав: «А я умнее Саши», – но вновь опечалился, поняв, что так думать нельзя, а он думает. И, посмотрев на пасмурное окно, мальчик стал вспоминать «крысок» и горку.

Там, за пасмурным окном, лежал круглый бассейнишко с темной водой, в которой водились «крыски» размером с фалангу детского пальца; когда их продолговатое хвостатое тельце лопалось и умирало, душа принималась летать в поисках человеческой крови... Там, за пасмурным окном, стояла высокая горка с неприлично длинным металлическим языком; воспитатели говорили, что сторож дядя Вася подключает к горке электричество и что трогать ее нельзя...

Женя вспоминал «крысок», принесенных домой в баночке с водой, живших у него и улетевших, оставив жалкие телесные лохмотья, и думал, что «крысок» правильнее будет называть личинками комаров, как ему говорили взрослые... Женя вспоминал, как он однажды споткнулся и упал, ладонями упершись в горку, но его не убило током, он лишь

обжегся о раскаленный металлический скат; мальчик тогда ужаснулся и возблагодарил Бога за то, что электричество забыли подключить, а теперь он вдруг понял, что взрослые просто обманывали детей насчет горки.

Жене стало невыносимо грустно, но, увидев, что и Саша загрустил, он немного повеселел. «Ничего! – подумал он с полуоптимистической безысходностью. – Ничего, и в школе жить можно. И после школы можно. И обманывать можно, если нужно. Ничего!.. Главное – в Бога верить».

И Женя разрыдался. Саша посмотрел на него, громко за сопел, не выдержал и тоже расплакался. Другие дети глядели на них, отложив в сторону карандаши и игрушки и замолчав, а воспитательница тетя Тамара уже шла к ревунам... И вдруг заплакала девочка, потом еще одна, потом мальчик, потом еще и еще... Воздух казался пропитанным небывалой, величайшей на свете скорбью, так что вдохнув его, нельзя было не заплакать, как нельзя не прослезиться, вдохнув запах лука... Тамаре Ивановне казалось, что она сходит с ума: все дети плакали навзрыд, да и самой ей хотелось плакать, рыдать, биться в истерике, проклинать эту несносную, неудавшуюся, бессмысленную жизнь... Женщина резко села на низенький расписной детский стульчик, зажала уши ладонями и зажмурилась – из-под накрашенных ресниц потекли слезы, грязные, как ручьи по весне...

Плач вскоре прекратился, и всем стало хорошо и покойно. «Надо же... – думала Тамара Ивановна, умываясь над боль-

шой жестяной раковиной в нянечкиной комнатке-конурке (нянечка ушла домой, помыв посуду, и плача не слышала). – Надо же, никогда такого не было... Ну ясли, ну младшая группа – это я понимаю, а тут-то?.. А сама я чего? Надо жить, что ж теперь поделаешь... У меня Гена есть». Тамаре Ивановне было хорошо и покойно, и холодная вода тихо текла из обрезка зеленого шланга, натянутого на кран.

Потом стали приходиться родители и забирать детей, и с некоторыми воспитанниками тетя Тамара распрощалась навсегда, почувствовав, что вот и еще на год постарела, и подумала об отпуске, в который она зачем-то уходит с завтрашнего дня, – ей было грустно и хорошо.

А Женя покидал детский сад, прижимаясь к маме поплотнее: дождало, а зонт был один на двоих. Дождь стекал струйками по тусклому скату электрической горки и покрывал рябью и пузырями грязную воду в бассейнишке с «крысками», дождь капал со шляпок металлических грибов.

– Мама! – воскликнул Женя и остановился, указывая на ржавые грибы с белыми пятнами на красных шляпках. – Мама, а почему они мухоморы?

– Не знаю, – ответила Софья Петровна, подумав.

Им навстречу торопливо шел молодой человек в серой ветровке и под зонтом. Женя с интересом посмотрел на незнакомца: не так уж часты взрослые в детском саду, да и встречных в дождь мало, – посмотрел и узнал. Молодой человек посмотрел на Софью Петровну и Женю и, судя по

взгляду, тоже узнал их, но прошел мимо.

– Мама! – Мальчик дернул ее за руку и возбужденно продолжил: – Помнишь этого дядю? Я у него в воскресенье милостыню просил.

Гена тревожно вздрогнул, услышав за спиной Женины слова, и поспешно вошел в здание детского сада. Там он нашел Тамару Ивановну и сказал ей:

– Привет, ма! Я ключи забыл.

– Молодец! Потанцевал бы ты сегодня у двери...

– А ты не домой сейчас?

– Нет, у меня клуб, я же говорила.

– Опять клуб! – недовольно проговорил Гена. – На клуб, значит, деньги есть...

– А тебе-то что?

– Ничего.

– Ну вот и всё. Держи ключи.

Гена присел на детский стульчик, улыбнулся, толкнул гремучую румяную неваляшку и, посмотрев на детей, увидел, что их лица зареваны.

– Что с ними? – спросил он. – Плакали?

– Все плакали – вообще кошмар! – ответила Тамара Ивановна, широко раскрыв глаза со свежепокрашенными ресницами, после чего рассказала сыну о странном всеобщем плаче, умолчав, естественно, о том, что и сама она плакала. – Думала, я с ума сойду вообще! – закончила она.

– Это психическим заражением называется, – заинтере-

сованно прокомментировал Гена. – Термин из психологии. Сначала один какое-то чувство испытывает, потом другой, потом все... Хотя плач – это замечательная вещь, так что тут не психическое заражение, а психическое выздоровление уместнее... А ты не плакала с ними?

– Я что, псих, что ли?

– А я бы, наверное, не удержался.

Когда Гена ушел и всех детей разобрали, Тамара Ивановна Валерьева прошла в комнату для воспитателей. Там вдоль трех лакированных столов, сдвинутых воедино, сидели люди – около дюжины. Во главе стола восседал коротко стриженный мужчина лет тридцати с небольшим, в клетчатом пи-джеке и серой водолазке.

– А-а, заблудшая душа явилась! – приветливо воскликнул он и улыбнулся губами, глаза же его остались спокойными и сосредоточенными.

Все засмеялись.

Тамара Ивановна поздоровалась, прошла и села.

– Ну, похоже, все в сборе, – сказал коротко стриженный мужчина, и остальные зашелестели тетрадами. – Тема нашего сегодняшнего семинара – заблудшие души.

* * *

В тот момент, когда жена привела сына из детского сада, Виктор Семенович Солев разгадывал кроссворд. Неразгаданными оставались лишь несколько слов, и Виктор Се-

менович прилежно изучал старенький атлас СССР, пытаясь найти название речушки, не известной никому, кроме тамошних рыбаков и автора кроссворда. Виктор Семенович вполне сознавал ущербность такого времяпрепровождения, но политико-философские кухонные разговоры с некоторых пор обесмыслились, а посему он разгадывал кроссворд и завидовал пасынку, засевшему в соседней комнате. «Пишет Мишка, – думал он с нежной завистью. – А я, похоже, скоро начну сериалы смотреть».

Миша, засевший в соседней комнате, действительно писал. Первые полстранички рассказа он вдохновенно настроил неделю назад, а потом было разное: курил план в ту же пятницу – смешное, хотя и глупое занятие; на другой день ходил с девушкой в кино: редкие головы и шумливая цветная тряпка впереди, последний ряд, клубничные поцелуи и небольшая упругая грудь под ладонью, а, впрочем, и это глупо и пошло, брачные зверюшкины игры; да и после не лучше: швейная машинка «Зингер», «любви все плоскости покорны»... В воскресенье не писалось, хотя Миша очень старался выродить что-нибудь, и он был зол, да еще жара эта, и Светка позвонила, дура, мало ей... Они поругались, сильно поругались (Миша сказал ей про брачные зверюшкины игры и кое-что еще). А потом шли дожди, Миша играл в шахматы с отчимом, смотрел телевизор и читал книгу Иова, а дочитав, подумал: «Всё равно несправедливо. Бред просто! Зачем было издеваться над человеком? Неужели Бог само-

утверждался через унижение Иова, как говнюк из школьной стаи? К тому же, Иов и так почитал Бога... Бред!»

Наконец настала пятница и свершилось чудо: Миша сел за стол, подчеркнул название рассказа и внимательно прочел уже написанное, зная точно, что продолжение последует незамедлительно.

Испытание

Сегодня умерла мама.

А. Камю

Похорон я не помню. Помню только, что мне навязывали большой мамин портрет в белой бумажной рамке и хотели, чтобы я шел впереди процессии. А я отказался. По уголку портрет перехватывала широкая коричневая лента – такие вплетали в косы девочек-первоклашек, когда я был маленьким. Я думал о первоклашках, о своей курточке с синим букварем на рукаве и ничего не видел. Потом, помню, долго болели глаза: я не моргал и не плакал, а всё куда-то таращился.

Да, и еще: я почему-то испачкал руку землей. Очень странно брать бурую землю, а потом чистить руку о снег.

На поминках не пил, потому что терпеть не могу водку. Вино – да, можно, но не на поминках же... Хорошо хоть посуду помыли – уймища! Мы с мамой всегда спорили, кому

посуду мыть... Ма... Ма!..

«Отчим будет? – мысленно спросил себя Миша, дочитав отрывок. – Или отец? Или вообще никого? Никого, пусть все обломается, вдвоем жили! Квартира тогда двухкомнатная, а то одному в трехкомнатной жирно и убирать задолбашешься... Ладно, так и сделаем. Тогда и девушки у него пусть не будет – пусть вообще девственником будет, раз уж верующий... Полный вакуум!» Мише вспомнился аппарат под названием термопак: рулон двойной пленки, раскаляющаяся струна и раструб насоса под откидной крышкой, а в результате – что-то съедобное, плотно облепленное полиэтиленом. На месте чего-то съедобного парень представил своего героя и подумал: «Назову его Мишей». Он старательно обвел последний знак препинания и продолжил писать.

Они боялись, что я повешусь или еще что-нибудь. Поэтому дед остался со мной ночевать. Было обидно, но я решил не связываться. На следующий день я сказал ему: «Не ночуй больше. Я не маленький», – и он согласился. После обеда он ушел, но потом трижды звонил – приходилось отвечать, иначе он вернулся бы.

После обеда и до самой ночи я был один. Вешаться мне не хотелось; хотелось открыть окно. Очень приятно, наверное, зимой открыть заклеенное окно. Но я открыл только форточку: боялся, что выпрыгну в открытое окно или, еще

хуже, придется его снова заклеивать.

*Дома было тихо, в форточку задувало снежинки, они та-
ляли на полу. Стало холодно, и я закрыл форточку. Есть та-
кие грабители-домушники, они в форточку лазают. У меня
в детстве случай был: я шел дворами к другу, а у одного до-
ма, у окон, стояли люди. Они позвали меня и сказали, что
забыли ключи. Я согласился помочь им, и они протолкнули
меня в форточку, а внутри я встал на кухонный стол. Мне
было жутко и интересно в чужой квартире, я гордился со-
бой. Когда я впустил их, мне сказали «спасибо». После я по-
думал, что они грабители, и стало еще приятнее.*

*Теперь я уже не маленький, в форточку не полезу. Мне
восемнадцать, и четыре дня назад у меня умерла мама.*

*Еще вчера на столе стоял гроб, а после, тоже вчера, бы-
ли поминки. На том же столе стояли водка и закуска. Это
мамина комната: в углу, на божнице, – иконы. Под иконами,
на полу, – талая вода: в форточку намело, придется подти-
рать. Мама любила молиться на коленях – сейчас ее юбка
намокла бы.*

*Я сходил за тряпкой и подтер. Затем посмотрел на ико-
ну – на Христа с книгой – и не перекрестился. Раньше я так
не делал. Но раньше у меня и мама не умирала. Раньше и я
молился Ему. Раньше.*

Мне захотелось поговорить с Ним, и я сказал:

*– Послушай, Господи. Я не Иов. Мать моя больше Иов.
Если бы Ты забрал меня, она не возроптала бы. Она пра-*

веднее. Ты хочешь, чтобы те, кто любит Тебя, страдали. Чтобы очищались страданием. Чтобы несли крест. Ты меня возлюбил и выбрал крест потяжелее, чтобы наградить потом получше. Я Тебя понимаю, только вот что: я ведь не крыса подопытная. И мама не крыса! Не нужен мне Твой крест! Это не любовь! Отрекаюсь!

Я кричал, а Он смотрел на меня и показывал книгу с надписью: «Заповедь новую даю вам: да любите друг друга».

Отложив ручку, Миша откинулся на спинку стула и посмотрел в окно, в сумерки, простегиваемые серым дождем. Парень крупно дрожал от наслаждения и ужаса.

Глава седьмая

Промозглым утром, в первый день августа, на старом шерба́том асфальте стояло полсотни студентов, одетых походному. Они намеревались провести две незабываемые недели среди корабельных сосен, жаждали купаться в знаменитом озере, наиграться в бадминтон, наплясаться на дискотеке... Небо хмуро глядело на этих мечтателей, а они, иззябшие в ожидании автобуса, уныло переговаривались о том, в каком корпусе им доведется жить – в теплом или холодном.

Студенты, едущие в «Комету» уже не в первый раз, рассуждали о «каменном корпусе», «зеленом домике», «деревяшке», а новички, в том числе и Гена Валерьев, трепетно внимали им. Были разговоры и об ассортименте и ценах лагерного продовольственного ларька, особенно на горячительные напитки, и Гена подумал, что он, пожалуй, выпьет сегодня пива и посидит у костра. Бутылка сегодня, бутылка на закрытие – денег должно хватить. Юноша изредка косо вато посматривал на будущих солагерников, прикидывая, с кем его могут поселить (все варианты были так себе), а в основном он мечтательно глядел на Валю Велину, болтающую с подружками. «Как можно говорить так долго, так складно и такие глупости?.. – мысленно возмущался он, стоя рядом, но всё-таки чуть в стороне. – Вообще-то и Артурка болтать

любит, но его хоть послушать можно, если не бред полный... И фиг ли он не поехал?»

Гена, впрочем, знал, что Артурка не поехал, поскольку так и не помирился со своей девушкой. Девушка же эта, невысокого роста, с кругленьким своенравным личиком, стояла возле Гены и Вали, поддерживала глупый женский разговор и думала об Артурке. А Артурка, проснувшись в данный момент где-то там, у деревенских родственников, с омерзением вспоминал давешний вонючий самогон и страдал от похмелья.

Наконец подошел длинный экскурсионный автобус, и повеселевший студенческий отряд под предводительством многоопытной директрисы лагеря принялся штурмовать вместительное средство передвижения. Сравнив автобус с живым существом, в ушную раковину которого вползают паразиты, Гена блаженно улыбался, но эстетическое наслаждение вскоре прервалось: всем мешала Генина бамбуковая двухколенная удочка, и это давали понять. Долго ли, коротко ли, но всё утряслось, все разместились, загромоздив баулами проход между сиденьями, многоопытная директриса лагеря произвела переключку, и автобус тронулся.

Гена сидел рядом с Валею, жизнерадостно комментировавшей заоконные виды, с интересом смотрел в окно и одновременно на нее, улыбался и изредка поддакивал. Позади них сидела Артуркина девушка, звавшаяся Олей, и беседовала вполголоса с соседкой. Насколько Гена понял, у Оли-

ной соседки тоже были проблемы с парнем, причем парень ехал в ту же «Комету», только уже отдельно, а поссорились из-за сущей глупости, ведь в принципе... Гена особенно не прислушивался, зато крепенький красивый парень, сидевший через проход от него, напряженно смотрел перед собой и до побелевших костяшек стискивал черную ручку кресла с желтой кнопкой. «Эге, братец, – по-гоголевски подумал Гена, – да это о тебе говорят!» Впрочем, он особенно и не приглядывался, потому что за окном внезапное солнце озолотило наглухо затянутые ряской полуболота-полуозера, смолистые корабельные сосны, чванливо-одинокий рыжик-переросток... А между этой дивной красотой и юношей о чем-то назойливо болтала Валя Велина, так что Гена не выдержал и довольно резко сказал:

– Помолчи. Пожалуйста, – добавил он, смягчившись.

Лучезарное солнце вновь скрылось в небесной мути, но студенты повеселели даже от этого минутного проблеска: ничего, они еще позагорают и покупаются по полной программе... Даже парень, стискивавший ручку кресла, на минуту отвлекся от подслушивания разговора, напрямую касаемого его персоны, да и тема разговора в солнечные мгновения изменилась. Солнце скрылось, словно улыбка, прикрытая ладошкой, а радость осталась.

...Миновав издыхающую деревеньку, автобус въехал в отворстые ворота студенческого лагеря «Комета». После того, как мотор заглох, автобус утонул в благодатной перво-

бытной тишине, уподобившись консервной банке, брошенной в родник. Слышно было лишь то, как смиренный ветер почти беззвучно расчесывает свои невесомые космы сосновыми игольчатыми гребнями. Да еще качели мерно поскрипывали: какая-то девушка с длинными волосами, в джинсах и мужской кожанке, накинутой на плечи, качалась, отталкиваясь от берегов небольшой глубокой лужицы широко расставленными ногами.

«Русалка», – подумал Гена, и девушка исчезла, как и подобает разоблаченной обольстительной нежити, – лишь качели слегка покачивались.

– Добро пожаловать в рай, сынок, – сказал бы американский киношный полковник, подойдя сзади и положив увесистую руку на Генино плечо (если бы не полковник, новобранец еще долго стоял бы в оцепенении, восхищенно глядя на секретную военную базу).

Но киношного американского полковника рядом не оказалось, и многоопытная директриса студенческого лагеря, поднявшись с места, возгласила:

– Приехали! Можете выходить.

«Добро пожаловать в рай», – с улыбкой подумала она, вспомнив то ли американского киношного полковника, то ли еще что-то.

* * *

Под качелями, на которых так приятно было качаться в

прошлую смену, в ямке, выбитой длинными студенческими ногами, стояла вода. Было тихо, лишь собака где-то полаивала да ветер чуть слышно шумел. «Та же красота!..» – радостно подумал Миша Солев, выходя из недавнего озлобленного оцепенения, заставлявшего всю дорогу стискивать до побелевших костяшек черную ручку кресла. После возгласа директрисы он проворно вскочил и нагнулся назад за стоящим в проходе баулом, стараясь не смотреть на Светку, но всё-таки посмотрел и чуть не сплюнул.

– Осторожнее! – воскликнул хлипкий русский паренек и скривился, словно ему наступили на ногу. – Леска!..

Посмотрев вниз, Миша увидел, что и впрямь угодил ногой между леской и удилищем бамбуковой двухколенки. Ему захотелось рвануть и ну его, этого рыбачка, свяжет, но всё-таки Миша сдержался и выпутался, сердито пробормотав:

– Не фигу под ноги класть.

«Только бы не с этим поселили», – подумал Гена Валерьев.

А Миша Солев, выбравшись из автобуса и вдохнув вольный сосновый воздух, почти забыл о Светке и о том, как она рассказывала совершенно незнакомой девчонке всю подноготную о себе и о нем, и так громко, стерва, специально громко... Но он почти забыл о Светке, вдохнув воздух «Кометы», и, поставив баул на полувытоптанную мураву, отошел на пару шагов, приподнялся на носки – выше, выше, еще выше, до предела, до дрожи в икрах – и изнеможенно упал на пятки.

«Ладно, не это главное, – подумал Миша, переведя дыхание и ощутив приятное спокойное оцепенение. Красота-то какая!»

– Слушай, а что у тебя со Светой? – участливо спросил подошедший слева белобрысый кудлатый парень с костистым продолговатым лицом.

«Сидел рядом и ничего не слышал!» – яростно подумал Солев, а затем с нежной издевкой, как распоследнему кретину, ответил:

– Со Светой у меня, Степа, ничего. Просто дура она.

– Вообще-то я и не лезу, – слегка обиженно, но вполне миролюбиво заметил Степа. – Планы не изменились, оккупируем зеленый домик?

– Да, попробуем. Нас сколько набирается?

– Давай считать. Света, как я понял, не с нами. Получается, что ты и Гриша без пары. Двое. – Он загнул два пальца и, обняв за талию рыженькую улыбчивую девушку, продолжил: – Плюс мы с Леной. Плюс Олег с Ириной. Итого – шестеро.

Упомянутые тощий прокуренный Олег и хомякообразная уютная Ирина тоже подошли и вождеденно поглядели на равноугольный деревянный домик.

– Итак, нас шестеро, – повторил Степа. – Две семейные пары и одна... гм... несемейная. Гриш, иди сюда, мы тут о тебе говорим.

К компании развинченной походкой приблизился чернявый лысеющий гражданин лет тридцати в свитере а-ля Фред-

ди Крюгер и, почесывая мощную грудь, позевывая и позырявая карими разбойничьими глазами на многочисленных солагерниц, протянул:

– Работы-ы!.. – а затем любопытствовал: – Что вы тут обо мне говорите? Типа того, не хотите жить со мной под одной крышей?

– Хотим, Гриш, очень хотим, – рассмеялся Степа. – Но только под одной крышей – не больше. Короче, все в сборе. Заканчиваю. Нас шестеро. В зеленом домике четыре двухместные комнаты. Следовательно, к нам могут подселить еще двоих.

Но на самом деле к ним подселили одного – невероятно худого русоволосого парня с бамбуковой двухколенкой, который бессловесно вторгся в пустую комнатку, положив на одну из сквозистых коек дорожную сумку, а на другую – полиэтиленовый пакет с сухарями и яблоками. Избегая распросов и участия в дележе остальных комнатенок, Гена Валерьев быстренько смылся, так что соседи даже не успели узнать его имени.

«Один! – ликовал он, таща к домику тяжелый комковатый матрас, обернутый вокруг плоской пухлявой подушки. – С этим козлом, правда, по соседству, но зато отдельная комната, крючочек есть. Лысый тоже не подарок – интересно, как он попал в наш лагерь, в его-то возрасте... Остальные вроде бы ничего, особенно альбинос этот, говорун, а девчонки некрасивые... Но надо быть любезным и приветливым:

всё-таки под одной крышей», – заключил юноша и, раскатав матрас по кровати, вышел из комнатки и соизволил представиться.

Постельное белье обитатели зеленого домика получали вместе, поскольку всё оно записывалось на одного человека, в данном случае – на Степу. Стоя в очереди за бельем, Гена узнал от Вали Вединой, что она поселилась в каменном корпусе и что их три в палате (Валерьев ухмыльнулся насчет палаты и получил локотком в бок). С Валеё жили, как оказалось, Артуркина Оля и еще Света, при выдаче белья отсутствовавшая и охарактеризованная заглазно. Во-первых, у этой Светы нелады с парнем (близстоящий Миша Солев при этих словах помрачнел), а во-вторых...

А во-вторых, все удивленно примолкли, глядя в едином направлении и глядели так с минуту, изумляясь всё более и более, некоторые согласованно загибали пальцы, словно измеряли по неведомой шкале всеобщее недоумение, затем прорезались и голоса:

– Что ж это?..

– Откуда?..

– Кто они?..

– Это дети, – ответил Гена, раздраженный идиотичностью последнего вопроса, и кто-то хихикнул.

– Обстоятельство, конечно, странное. До сих пор «Комета» была студенческим лагерем, – высказался альбинос Степа.

После этой фразы стало очень шумно, как случается, когда лектор выйдет из аудитории; кто-то побежал к микроавтобусу, как бегают к двери, чтобы узнать, не идет ли преподаватель; девушки, загибавшие ранее пальцы, спорили о количестве девочек, выскочивших из микроавтобуса. Гена ухмыльнулся, подумав, что спор девушек-счетоводов, эмоционально жестикулирующих руками с полусогнутыми пальцами, похож на «ново-русский базар с пальцовкой», а называемые числа (от восьми до двенадцати) можно отнести не к девочкам, а к «бабкам». Наконец вернулся разведчик-энтузиаст и возвестил, что девочки – гимнастки из университетского лицея, что с ними приехала общеизвестная физручка, что возраст гимнасток – от восьми до двенадцати, а количество их – десять. Выслушав объявление, спорщицы-пальцовщицы пожали друг другу руки.

Помимо их рукопожатия момент был ознаменован еще и тем, что Степа с обреченным вздохом поставил подпись на документе, подтверждающем, что обитатели зеленого домика получили причитающееся постельное белье. Добравшись до своей комнаты, Валерьев положил бельевую стопочку: два одеяла, пододеяльник, простыню и наволочку – на свободную кровать и запер скрипуче приотворившуюся дверь на крючок. Но достелить постель юноша не успел: с крыльца столовой хор из трех добровольцев громогласно позвал завтракать.

* * *

Кормили вкусно, и поданное подействовало на Гену так: запеканка (такая же, как давным-давно в детском саду) умилила его, небольшой зеленоносый банан (один из тех, которые юноша по-обезьяньи любил) восхитил его, а остальная еда (бутерброды и яйцо) насытила. Еще были йогурт и чай. Встав из-за квадратного столика на несколько минут позже соседствовавших испитого Олега и пухленькой Ирины, Гена мысленно прочитал благодарственную молитву и подумал: «Как на убой!»

С крючковатым бананом, несомым наподобие пистолета, Гена вышел из столовой и встретился с солнцем. «Здравствуй, солнце! – мысленно поздоровался юноша. – А я вот, видишь, объелся...» Проществовав мимо весьма мохнатой дворняги, просительно на него поглядевшей, он по серо-плиточной дорожке направился к зеленому домику. Дорожка пролежала мимо столовой, каменного корпуса, «деревяшки», дважды переламываясь под прямым углом, и упиралась в умывальню – продолговатое строение со множеством раковин и водопроводных кранов.

Минуя «деревяшку» (длинный одноэтажный корпус с общей верандой – шумный, людный и, естественно, деревянный), Гена Валерьев подумал: «Слава Богу, что меня не здесь поселили!» Свернув с дорожки, он пошел по живой земле, по палым растопорщенным шишкам, по травке, по вытоптанному волейбольному полю, поднырнул под крупноячеи-

стую сетку – и снова по травке, пока наконец не добрался до зеленого домика, до своей одиночной комнаты.

Пристегнув крючком к косяку фанерную комнатную дверь, так и норовившую отвориться со скрипучим гостеприимством, Гена Валерьев достелил постель, а затем достал из бокового кармана красного дорожного баула небольшую квадратную коробочку. Поначалу зеленая коробочка с соответствующим изображением на верхней части никак не хотела открываться (такое часто случается с картонными коробочками, содержащими то пузырек с желтыми витаминными горошинами, то заводного лягушонка), но юноша был настойчив, и коробочка сдалась, выпустив на свет сперва серебристую пряжку, затем черный ремешок и лишь потом – сам компас, дырчатый хвостик ремешка и инструкцию по эксплуатации. Определив восточный угол, Гена перекрестился, поклонился в нужном направлении и убрал компас в сумку.

Вскоре Валерьева уже не было в «Комете»: наведя кое-какие справки, он отправился в одинокое путешествие. Пожирая изумительно вкусный банан, он шел по широкой песчаной дороге сквозь солнечно-хвойный мир. Гену очень заинтересовало объявление, начертанное на больших фанерных щитах вдоль дороги, – оно встретилось дважды или трижды и гласило следующее: «В связи с повышенным радиоактивным фоном сбор грибов, ягод и разведение костров запрещены». Как он позже узнал, жителям окрестных деревень, на-

крытых достопамятным чернобыльским облаком, даже выплачивали «гробовые» деньги. «Ну, насчет костров – это они зря, – подумал юноша. – К вечеру просохнет – надо будет найти место».

Дорога была пустынна, лишь однажды Гена посторонился, пропустив зеленый «газик», да пара селянок, – вероятно, мать и дочь, – вышли из леса, подозрительно посмотрели на пешехода и скрылись в лесу по другую сторону дороги. Кроме того, шагов через дюжину от места, где юноша с сожалением бросил бананную кожуру, дорогу невозмутимо переполз крупный желтогалстучный уж, а немного погодя Генин путь перерезала просека, по которой тянулась высоковольтная линия, жужжавшая и звеневшая так угрожающе, что Валерьев сгорбился и ускорил шаг.

Миновав просеку с высоковольтной линией и уверившись в окружающем безлюдье, Гена запел. Было очень приятно и волнительно здесь, среди сосен, под солнышком, петь в полный голос древние слова Символа веры; впрочем, через некоторое время юноша стал задыхаться от одновременного пения и ходьбы и заканчивал почти шепотом. Когда он с придыханием протянул завершающее «аминь», дорога втекла в деревню, а там за основательной оградой с турникетом отыскивалось кирпичное здание лесничества, соседствующее с дозорной вышкой.

– Можно, – ответил лесничий на просьбу Валерьева. – Только недолго.

Пока Гена звонил домой и объявлял, что он жив-здоров, что кормят хорошо, что он один в комнате, что очень нравится здесь, что ужи по дороге ползают, что нельзя долго говорить, что он из лесничества звонит и нельзя долго говорить, что нельзя долго, всё, до свидания, всем привет, – пока Гена звонил домой, лесничий рассеянно смотрел на большой монитор. Монитор показывал неподвижную черно-белую картинку: дорога в сосновом лесу, вид сверху, но вот через весь экран проползла легковая машина и скрылась, и стало заметно, что деревья чуть покачиваются.

– Это у вас на вышке камера? – заинтересованно спросил Гена Валерьев.

– Да.

– А ей управлять можно?

– Можно. – Лесничий перещелкнул какие-то рычажки на панели управления, покрутил колесики, и камера, проделав за пару секунд недавний Генин путь, уперлась в «Комету».

– Здорово! – воскликнул юноша. – А если увидите, что кто-нибудь костер жжет?

– Приедем и надаем по ушам, – спокойно ответил лесничий.

«Проверим», – подумал Гена, поблагодарил за телефон и попрощался.

«Проверим-проверим...» – думал он, пробираясь по сумеречному лесу. – До темноты надо успеть».

Облюбованная полянка с густой сочной травой, растущей

на слегка кочковатой, но всё-таки достаточно сухой местности, оказалась там, где ей и полагалось быть. Подрагивая от радости, нетерпения и вечерней прохлады и приглаживая траву объемистым черным пакетом, Гена Валерьев пересек полянку и на кромке леса, защищенной с открытой стороны большим кустом, остановился. «Лучше и не придумаешь», – решил он и с трудом извлек из пакета бело-красный шерстяной рулет, расстелил одеяло на траве, после чего ушел за хворостом.

Юноша гордился умением разжигать костер с одной спички – научился у деда-сибиряка. Получилось и в этот раз: огонек охотно ухватился за беленький язычок бересты, выглядывавший из ловко сконструированного шалашика, проник внутрь, жадно накинулся на нежнейшую древесную снесь, разросся, вырвался за стены недавнего обиталища, воспламенив их, и, юный, прекрасный, ласковый, заплясал перед своим повелителем.

Вечерело, на небе проявлялись звезды, мир становился всё серьезнее и торжественнее; горел, чуть потрескивая, костер, и Гена Валерьев зачарованно смотрел на вековечный ручной огонь, пополающий зеленую траву, отгоняющий комаров и не видимый ниоткуда, даже с дозорной вышки лесничества. Но цепенящие чары рухнули вместе с огненным шалашиком, и юноша встрепенулся, подбросил дров, подтянул к себе черный пакет с пивом, хлебом и фонариком, нашупал на одеяле длинный свежесрезанный пруттик и энер-

гично потер руки. Ему было хорошо, ему было несказанно хорошо, ему было так хорошо, как бывает в детстве, когда ночью тайком унесешь к себе в постель какую-нибудь вкуснятину или просто хлеб с солью и, с головой забравшись под одеяло, замирая от счастья, жуешь добычу, а наутро нужно сметать крошки с простыни, тоже тайно, и это – продолжение игры, новый виток счастья...

Гена сидел у костра, жарил хлеб, нанизанный на прутик, пил пиво из стеклянной бутылки и с удовольствием вспоминал ушедший день: промозглое утро под хмурым небом, поездку в автобусе, русалку на качелях, комнатку в зеленом домике, вкусный завтрак, солнечный поход в лесничество и обратно. Затем была игра в бадминтон через волейбольную сетку – с Вале́й Велиной, с Артуркиной Олей, еще с кем-то, без счета, на счет, навывлет, он вылетел наконец, а ракетки с воланчиком вернули лишь к ужину. Но ужину предшествовал обед, состоявший из первого, второго и третьего, так что Валерьев изумился себе, поскольку съел всё подчистую и попросил добавки. Потом было много важного и интересного: юноша бродил по лесам и долам, дружески похлопывал высокие муравейники и с наслаждением нюхал слезоточивую ладонь, гонялся за серыми и зелеными ящерками и крохотными древесными лягушками, совершал географические открытия, как то: болото, полянка для разведения костра, село с запертой деревянной церковью. Еще Гена успел поиграть с Вале́й и Олей в студенческую балду (словесную игру, при-

ятно освежающую мозги), понаблюдать за физкультурными занятиями девочек-гимнасток, поужинать, почитать на русалочьих качелях, лужица под которыми пересохла, и купить в киоске любимое пиво.

Положив опустевшую бутылку в пакет и доев хрустящий хлеб, юноша посмотрел на часы, на голодные, укоризненно помаргивающие углы, на бесконечное звездное небо и стал собираться. Когда костер, затушенный по-пионерски, возмущенно отшипел и умер, Гена зажег фонарик и пошел через полянку, но вдруг остановился и щелкнул переключателем. Электрический свет исчез, остался лишь природный, в том числе и заставивший Валерьева замереть на месте: вся полянка была испещрена белыми точками, светящими то ярче, то тусклее, то угасающими, то зажигающимися вновь. Казалось, что небо стряхнуло с себя лишние звезды и они лежали здесь, под ногами, но были такими же недосыгаемыми, холодными и гордыми, как их небесные собратья. Гена так и не узнал, как же выглядят светлячки: при его приближении они гасили светильники.

Вскоре он оказался в лагере: полянка таилась неподалеку. В клубе, пристроенном к столовой, цветомузыкально пульсировала дискотека, кто-то брел расплывчатой походкой меж ночными соснами, светили редкие фонари, окна зеленого домика были желтыми.

Глава восьмая

«Зачем вез – непонятно...» – уныло подумал Миша Солев, глядя на скромные два листка с началом рассказа «Испытание» и на самонадеянно-толстую пачку чистых листов. Тяжко вздохнув, парень убрал с глаз долой ненавистную бумагу и вышел в коридорчик. Там он постоял, размышляя, «куда пойти, куда податься», но ничего не мог придумать; он сравнил себя с витязем на распутье, и четыре закрытые двери, ведущие в одинаковые пустые комнатенки, казались символическими и лишали витязя выбора. И Солев пошел к пятой двери, двери наружу, и вышел на вольный воздух, подумав тоскливо, что для витязя на распутье эта пятая дверь – не что иное, как попросту разможжить свою буйную головушку о бел горяч камень на былинном перекрестке.

А снаружи подкрадывался вечер, но его приближение можно было определить лишь по часам и по тому, что совсем недавно отужинали. Обычно бывает так: сначала в воздухе мы видим нежнейшую вуаль сумерек, потом вуаль густеет, а затем сквозь нее начинает проглядывать негритянское лицо вечера, и лишь после, поняв, что замечен, вечер срывает вуаль и одноглазо взирает на нас, блистая лунным белком. Когда Миша вышел на вольный воздух, не было видно даже вуали, но в студенческом лагере чувствовали неотвратимое

приближение завуалированного эфиопа, который непременно отнимет и книжки, читаемые на качелях, и теннисные и бадминтонные ракетки, и карты. Именно поэтому студенты так жадно читали, играли в бадминтон и пинг-понг, картежничали на травке, застеленной одеялом...

Солев глотнул сытного предвечернего воздуха, оглядел лагерь, живущий торопливо и самозабвенно, будто перед потопом, и стало обидно, что всплывают же красивые сравнения, образы, а применить их не к чему. Но обида расточилась, словно ледышка в кипятке, и Миша, захлестнутый всеобщим настроением, успокоился и повеселел. Оглядевшись, он направился к зеленому столу, по поверхности которого звонко скакал легковесный теннисный шарик, и спросил, подошедши:

– Кто последний?

– Я, – отозвался со скамейки запасных альбинос Степа и по-двинулся.

– Короткие или длинные играют? – поинтересовался Миша, присаживаясь.

– Короткие, но пока до нас очередь дойдет, можно вздремнуть или любовью позаниматься...

Пара девушек, сидевшие на той же скамейке, хихикнули и чуть отодвинулись, отодвинулся и Миша, поперхнувшись воздухом.

– Да я не в том смысле, я общо... – попытался оправдаться Степа и сам рассмеялся. – Да уж, ляпнул...

– Лен, ты не слышала, что нам тут твой Степа предложил? – спросил Миша сквозь смех.

– Не слышала, – выкрикнула жизнерадостная рыжая Лена, отбивая теннисный шарик. – А что он вам такое предложил?

Миша не ответил, внезапно посерьезнев и задумавшись о Лене, которая со взвизгиваниями и прискоками преследует теннисный шарик и сама чем-то походит на такой шарик. Парень вдруг подумал, что она, возможно, совсем не веселая, а лишь улыбчивая, что она, вероятно, только камуфлирует улыбкой некрасивое одутловатое лицо, что ей, быть может, даже противно постоянно улыбаться, говорить скороговоркой и взвизгивать, но без этого она не могла бы нравиться тому же Степе... Развивая образ, возможно, и не имеющий никакого отношения к попрыгунье Лене, Миша представлял, как та, оставшись одна, со слезами сдирает с себя маску Коломбины и нежно смотрит в зеркало на спокойное, умное и такое некрасивое лицо...

– Миша!

– Что?.. – встрепенулся он.

– Так что же Степа... – Лена примолкла, отбивая легонький шарик, – ...вам предложил?

– А-а, – протянул Миша, припоминая и улыбаясь. – Хорошо, что ты этого не слышала. Ни за что не скажу.

– Вот, значит, как! Ладно-ладно... Гриш, а ты не слышал?

– Никак нет, – доложил лысеющий мохноногий гражданин в борцовке, шортах и сланцах, без труда отбивая высо-

кую Ленину подачу.

– Сама у него потом спрошу.

– Лен, я всё тебе открою, – комически заверил Степа и вполголоса обратился к Мише: – Как ты, кстати, уживаешься с этим сексуальным гигантом?

– Нормально, – ответил Миша, коротко взглянув на мощно-грудого кареглазого Гришу. – Ко мне он, по крайней мере, не пристаёт.

Девушки на скамейке вновь хихикнули, затем спросили о счете и перебрались на качели, объяснив, что, во-первых, не хотят мешать мужскому разговору, а во-вторых, мало ли...

– Видишь – нас уже боятся, – прокомментировал Степа не без удовольствия.

– Приятно, – согласился собеседник, помолчал, наблюдая за игрой, и изрек: – А ведь завтра экватор.

– В смысле?

– Середина срока. Завтра понедельник, мы приехали на этой неделе в понедельник, а уедем в понедельник через неделю.

– Это сегодня, значит, воскресенье... – пробормотал Степа, загибая пальцы. – Точно, завтра уже экватор. Быстро как!

– А мне уже почти надоело.

– Ну, без девушки – само собой, скучновато.

– Может, и из-за этого, – согласился Миша, – но, по-моему, прошлые две смены лучше были. Да и дети еще эти – всё равно что-то не то...

– Насчет детей – согласен: дискотека из-за них строго до одиннадцати и директриса поглядывает. Но всё-таки смена неплохая, ты зря. Если с девушкой – то просто замечательно.

Раздался визг и хлопанье ладонью о ракетку: это Лена радовалась победе, а Гриша, сложив оружие, спросил:

– Кто следующий?

Одна из девушек сорвалась с качелей и подбежала к зеленому столу, а Гриша занял ее место и заговорил с другой девушкой.

– Да он стратег и тактик! – восхитился Степа.

– Ему бы звездочки на себе рисовать, как на истребителе за подбитые самолеты! – раздраженно произнес Миша.

– А скольких он примерно «подбил» за неделю?

– Не знаю. Но раза два мне приходилось гулять.

– Да, Гриша монстр. Гена вон тоже времени зря не теряет.

– Какой Гена?

– Здравсьте! Живем под одной крышей.

– А, рыбачок в смысле... И что он?

– Да вон он, посмотри – с тремя сразу... Одна из них, кстати, – твоя Света.

– Мне это, знаешь ли, глубоко по хрену. Она уже не моя Света, да и вообще, ей же тоже нужна компания.

– Кто ж спорит?.. – молвил Степа, лукаво улыбаясь.

– Какая, кстати, из тех двух его девушка? – небрежно осведомился Миша.

– Я и сам, честно говоря, думал об этом. Есть три вариан-

та: либо одна из них, либо обе, либо никакая. Первый вариант наиболее вероятен, однако и он не дает ясного ответа на поставленный вопрос. Между тем...

– Слушай, заткнись, что ли...

– Между тем, – продолжал Степа, внимательно выслушав пожелание собеседника, – есть один человек, который может знать весьма точный и обстоятельный ответ. Человек этот живет с ними в одной палате и в данный момент направляется к нам.

– Вижу, – мрачновато сказал Миша. – Лучше бы она мимо прошла...

– Вы как дети, честное слово, – усмехнулся Степа.

– Кто последний? – спросила подошедшая Света.

– Гриша, но ему, похоже, не до тенниса. Если так оно и есть, то последний у нас Миша. Садись, Светик, рядом... Логичнее было бы рядом с Мишей, но дело твое. – Красноречивый Степа сделал паузу и продолжил: – У нас тут возник спор насчет Гены. На кону – бутылка пива, и только ты можешь этот спор разрешить.

– Я?

Миша поморщился, но смолчал.

– Конечно, ты, – ответил оратор, обрадованный Мишиным молчанием. – Суть вот в чем: один из нас утверждает, что девушкой Гены является эта, коротенькая, Оля, кажется, а другой, соответственно, уверен, что девушкой Гены является высокая и длинноволосая Валя. Ты живешь с ними в

одной палате и должна знать.

– Оба вы проиграли, – сказала Света. – С Олей у него точно ничего нет, это девушка его друга, а с Валеё – тоже ничего, по крайней мере, пока. Они просто в одной группе в университете учатся, друзья, хотя кто их знает... Но то, что пока между ними ничего нет, – точно.

– Получается, что пиво выиграл Гена, – срезюмировал Степа. – Но мы ведь ему не скажем, правда?

И заговорщицки подмигнул.

– А о чем же он с ними тогда говорит всё время? – спросил Миша сипловатым голосом и кашлянул, подумав при этом: «Ну и вопросец!»

– А он и не говорит, – очень живо ответила Света. – Он с ними в студенческую балду играет.

– С этого места попрошу подробнее, – встрял Степа.

– Студенческая балда – это очень умная игра, я долго не выдержала. А они филологи, для них это самое то.

– Ну а правила там какие? – спросил Миша уже свободнее, действительно заинтересовавшись.

– В общем, так. Загадывай слово.

– Загадал.

– Говори первую букву.

– «Эс».

– Теперь я спрашиваю: это, случайно, не хирургический инструмент?

– Нет, не хирургический инструмент.

– Не так! Ты должен отвечать: нет, это не... и говорить то слово на «эс», которое я имела в виду. А если ты его назвать не можешь, то говоришь следующую букву.

– Круто! – оценил Миша. – Нет, это не скальпель.

– А это, случайно, не хлебобулочное изделие? – спросил Степа.

– На «эс»?!

– Да. Если не знаешь – букву.

– погоди... И что это за изделие?

– Сайка.

– Согласен. «У».

– Су...? – спросил альбинос весьма удивленно, словно желая удивленностью подсказать что-то...

– Су, – подтвердил Миша и подумал, что Степа догадлив и что слово лучше заменить на более длинное и нейтральное, например, на «сударыню», подумал, что игру портить не стоит, что игра хорошая и Света молодец, что принесла ее, да и вообще не такая уж она...

– А это, случайно, не устаревшее обращение к женщине? – спросила Света.

– Да, – изумленно согласился Миша. – Это «сударыня». Как ты догадалась?

– Случайно, – сказала обрадованная девушка. – Обычно играют дольше. Теперь я загадываю.

Играли до дискотеки, и вечер, темноликий луноглазый эфиоп под сумеречной вуалью, пришедший-таки и отобрав-

ший книжки, ракетки и карты, не был властен над их игрой, к которой чуть позже присоединилась и Степина Лена. Когда загрохотала дискотека, объявились и тощий Олег с толстощекой Ириной, сначала игравшие в бадминтон, а затем где-то уединенно пропадавшие. Все отправились танцевать.

Словно загипнотизированные ритмом ударников, студенты стягивались к длинному одноэтажному зданию, над одной из дверей которого было начертано «Столовая», а над другой – «Клуб». В клубе, где вспыхивала и гасла цветовомузыка, где надрывались две большие колонки, стоявшие на сцене, и где сидел за пультом ди-джей в наушниках, снисходительно взиравший на танцующих, – было интересно. Самым интересным для постороннего наблюдателя могло показаться то, что студенты отнюдь не танцевали, а сидели вдоль стен, улыбаясь, печально или озлобленно глядя на юных танцовщиц. Дети плясали с явным наслаждением, умилительно и не без изящества – всё-таки гимнастки, однако взрослые дяди и тети были вынуждены страдать, сидя под музыку.

Наконец несколько девушек (четыре, кажется, – нет, уже пять, шесть, семь...) не вытерпели, поднялись с мест, встали в кружок и принялись танцевать. Табу было нарушено, и вскоре гимнасток затерли и вытеснили – началась взрослая дискотека с прерывистым, вспыхивающе-подмигивающим и таким понятным телесным разговором. Времени на дискотеку оставалось мало, совсем мало, и студенты танцевали с тем же предпотопным торопливым весельем, с каким они игра-

ли до прихода вечера.

Медленных танцев, кратко называемых медляками, было всего два, но во время первого из них Света, так гибко и откровенно танцевавшая быстрые композиции, куда-то исчезла, и Мише пришлось сидеть на лавочке, как сидел этот рыбак. Зато на второй танец, завершавший дискотеку (Гена, услышав об этом, пошел домой), – на второй медленный танец Миша Свету пригласил. Во время медляка Миша размышлял о словах Шарля Бодлера, сказавшего, что «соитие – поэзия простолюдинов», и соглашался, что настоящая поэзия, творчество – неизмеримо выше, выше, еще выше... А Света танцевала старательно, используя маленькие женские хитрости, способные заставить любого мужчину возжелать продолжения танца, и если о чем-то и думала, то явно не о Бодлере.

После медляка Миша на минутку оставил Свету, поспешно подошел к Грише, что-то сказал ему, дождался ответа, кивнул и торопливо вернулся к девушке. По заверению диджея, танец был последним, но студенты просили, требовали, возмущались, указывая на часы, и польщенный распорядитель бала сдался.

– По многочисленным просьбам трудящихся, – благодушно произнес он, – нашу дискотеку завершает зажигательная...

Но Миша и Света уже не слушали: счастливый девичий визг и последующий быстрый хит рвали сосновую ночную

тишь где-то за их спинами и всё удалялись, удалялись, становились тише пульса...

– Ну, ты погоди, ты послушай, бежать-то зачем? Не успеем, что ли?

– Я и так неделю потерял...

– Ой, а у вас окно светится.

– Светится... Это у рыбачка – принесло его...

– Слушай...

– Да ладно тебе – пусть крючки привязывает... Потихе тут... Вот здесь я и живу.

– А с ке-эм?

– С Гришей.

– А если он...

– Ничего, погуляет, я предупредил. Вот и на крючок закрыл... Светка...

– А кровати – с сеткой, на весь лагерь будет... Твоя какая?

– Нам сюда, я свихнусь с тобой...

– А он ведь прямо за стенкой?.. погоди... Да погоди же...

– Что?

– Ему же всё слышно...

– Ну и хрен с ним! Пусть...

Следующее слово Миша шепнул Свете на ухо, и она расхохоталась, а Гена, до этого невидяще смотревший в книгу, положил томик вверх переплетом и заткнул уши пальцами.

* * *

Утро понедельника было обычным: зеленая стена со знакомыми пупырышками краски и несколькими вставшими волосками от малярной кисти; затем – белый потолок (если смотреть долго, то потекут слезы); потом – скрипкий хруст кроватной сетки и законные долгие рыже-зеленые сосны на фоне пронзительно-синего неба. После было поспешное облачение в холодную одежду, радостные утренние молитвы, прихорашивание постели, поход к умывальне, восхищенный взгляд на лужок, с которого еще не сошла роса: чуть ближе – сияюще-бриллиантовая, а чуть дальше – матово-снежная. К зуболомно-ледяной воде, вяло льющейся из крана, Гена Валерьев успел притерпеться, теперь она только бодрила, и вот – юноша уже возвращается в зеленый домик, помахивая пакетиком с умывальными принадлежностями.

– Доброе утро, Гена!

– Доброе утро, Степа.

– Как водичка?

– Бр-р!

– Понятно. На рыбалку идешь сегодня?

– Да, надо еще червей накопать.

«Надо накопать, – мысленно повторил Гена, снимая с пожарного щита красночеренковую штыковую лопату, – а до завтрака полчаса». И он пошел на зады лагеря, обращенные к деревне: там, за крапивными зарослями и кучами мусора,

было грязное русло высохшей речушки. Добравшись до места и стараясь не ступить в грязь, юноша стал копать жирную черную землю, разламывать земляные комья, издырявленные червячьими ходами, выбирать крупных и средних, ленивых и юрких червей и складывать их в белую баночку из-под зубного порошка. Кровожадные комариные эскадрильи с отчаянным жужжанием атаковали копаря, а тот стряхивал, сдувал и давил вампирок, но силы были явно неравными, и Валерьев воскликнул: «Хватит!» – подразумевая то ли оптимальное количество червей, то ли предел человеческого терпения, после чего сыпанул в коробочку немного земли, закрыл крышкой и с лопатой наперевес спешно ретировался. В тот момент, когда он с наслаждением мыл грязные искусанные руки, позвали завтракать.

Молчаливые и неизменные, словно этот сушеный цветочный веник в центре стола, Олег и Ирина уже приступили к еде. Гена пожелал им доброго утра и приятного аппетита, на что получил не менее вежливые ответы. Завтрак был, как всегда, вкусен, и Валерьев, предварительно мысленно помолвившись, оголодало расправился с ним. Юноша ел торопливо не только из-за голода: он поминутно смотрел на часы и чувствовал себя стрелой, упершейся в натянутую тетиву лука и готовой ринуться к цели, а пока лишь предвкушающей сладостный пронзительный полет. Еще Гена представлял себя рыбой, голодной рыбой, на которую на утренней зорьке напал жор и которая жадно хватает всё, что ни попадя – при-

кормку, наживку на крючке, крючок без наживки... А утренняя зорька уже отцветала, а цель всё удалялась, так что стрела могла и не долететь до нее... Гена вскочил со стула, отнес к мойке опустевшую тарелку и стакан, попутно читая благодарственную молитву, и рванул на рыбалку.

По правую руку тянулся веселый сосняк, по левую стлалось поле с буренками, над головой висели бисквитные облака, солнце глядело в лицо и ослепительно улыбалось, а ветер затаил дыхание. Гена тоже улыбался, щурясь на солнышко, слушая сбивчивую шепелявую скороговорку кузнечиков, вдыхая дивный воздух, – улыбался и был абсолютно, беспредельно счастлив. Не в силах нести далее это счастье в одиночку, юноша положил удочку на тропинку, огляделся и, никого не заметив, встал на колени рядом с обочиной, перекрестился и поклонился, коснувшись лбом сочной прохладной травы.

– Слава Тебе, Господи! – благодарно прошептал Валерьев и внезапно почувствовал на себе чей-то взгляд. Мгновенно вскочив и быстро посмотрев окрест, он так никого и не увидел, но в наличии соглядатая не усомнился, подхватил удочку с пакетом и торопливо зашагал дальше.

«Только бы не из лагеря!» – стыдливо подумал Гена и чуть успокоился, лишь когда тропинка под острым углом проколола кромку леса, будто игла шприца кожу, и вместе с пешеходом скрылась от любопытных глаз. А Миша Солев, совершавший небольшую пробежку по параллельной лесной

тропинке, да так и застывший от изумления, очнулся, развернулся и потрусил к лагерю, взволнованно размышляя: «А ведь это прототип! Это для моего рассказа, для моего героя прототип! Православный, нет девушки – надо понаблюдать за ним...»

Но в данный момент Миша и Гена шли в противоположные стороны, никто ни за кем не крался и не подсматривал, никто ни о ком не писал. Через некоторое время Солев думал уже не о прототипе, а о том, что киоск, наверное, открылся и надо непременно поставить примирителю Степе полторашку пива и переселить Свету в зеленый домик, а Валерьев, успокоенный окружающей благодатной красотой, почти забыл о межлопаточном уколе нескромного взгляда. Вскоре Миша достиг железной ограды «Кометы», глянул по сторонам и довольно ловко перелез, а Гена восклонился от муравейника, поспешно стряхивая с ладони насекомых, прижал ее к носу и вдохнул обжигающий запах. Юноша издал тот смачный гортанный звук, который незатейливые романисты почему-то называют кряканьем, проморгался, поднял с тропинки рыболовецкие атрибуты и продолжил путь к чудесному озеру.

Валерьев спешил, подумывая о том, что рыбалка, наверное, будет удачной из-за безветрия и облаков, что встать надо на том же месте, где и позавчера, или правее: там прикормлено и дяденька с телескопической удочкой таскал неплохих карасей. Но тропинка с курганчиками кротовин, с оби-

лием ужей и крохотных древесных лягушек, ведущая к знаменитому озеру через лес, пронизанный птичьими трелями и дятловым долбежом, – эта тропинка могла быть пройдена не менее чем за полчаса. А поскольку нельзя столько времени думать лишь о предстоящей рыбалке, мысли Гены, карабкавшиеся в будущее по временной оси, расслабились и стали съезжать в прошлое.

Так на Масленицу полуголые мужчины карабкаются по обледенелому столбу, желая достать до вершины и получить за этот подвиг живого петуха, но добираются лишь немногие, а большинство досрочно съезжают на снег под улюлюканье зевак. Спустившись, лазуны поспешно одеваются и жадно пьют водку, если не выпили до того, но мысли Валерьева, тихо скользящие вниз по временной оси, были, в отличие от масленичных мужчин, абсолютно трезвыми.

Сначала ему вспомнилась вчерашняя литургия в деревянной деревенской церкви с молодым священником, неспевшимся клиросом и десятком прихожан. Покупая восковую, настоящую восковую свечку, Гена увидел замечательную подборку богословских книг и пожалел, что нет денег. После службы, поцеловав крест и взяв благословение, он вернулся в лагерь, и воскресный день стал неотличимым от предыдущих.

Обычно юноша приходил с рыбалки незадолго перед обедом или во время обеда, заносил домой удочку и улов, мыл руки, ел, занимался засолкой (глубокая тарелка – слой соли

– слой рыбы – слой соли – мелкая тарелка – сверху кирпич), а затем отправлялся развлекать Олю и Валю. Программа развлечений была довольно скудной: бадминтон, студенческая балда и немногословные запинчатые разговоры, оканчивающиеся всё той же студенческой балдой.

Однако предпринималось несколько попыток разнообразить программу: однажды Валерьев предложил сделать для кого-нибудь удочку, поскольку снасти наличествовали, но оказалось, что Валя Велина боится червей, а Артуркина Оля предпочитает идти купаться вместе со Светой и приглашает Гену. Он же идти на пляж отказался, поскольку рыбалка, конечно же, лучше, поскольку плавать он не шибко хорошо и поскольку при его худощавом телосложении раздеваться прилюдно было бы просто стыдно. Между тем до озера шли все вместе, и юноша с маниакальной настойчивостью пытался пристрастить трех спутниц к такому приятному и полезному занятию, как нюхание муравьиного спирта. В пылу проповеднического азарта он даже поднес проспиртованную ладонь к носу Великой, и Валя осторожно понюхала и закашлялась, чем вызвала у Валерьева необоснованный восторг, сопряженный с некоей внутренней дрожью от того, что Гена мимолетно коснулся мизинцем ее губ.

Иных поползновений в сторону Вали юноша не совершал, а если и совершал, то теперь, шагая в одиночестве к изумительному озеру, он не мог их припомнить. Разумеется, ему хотелось по меньшей мере пригласить ее на медляк, но она

не ходила на дискотеки, да если бы и ходила, он навряд ли решился бы. Хотя танцует она, наверное, хорошо: это видно по тому, как она в бадминтон играет, – гибкая, весьма гибкая... А вот с Олей Гена пару раз танцевал, и неплохо – не зря он в танцевальную школу ходил, так что на ногу не наступил бы. С Олей танцевать безопасно: она Артуркина, – и всё-таки не по росту, вот Валя по росту подошла бы идеально...

Валерьев едва успел отскочить в сторону.

– Глаз, что ли, нету? – возмутился велосипедист, столь же резко сруливший с узкой лесной тропинки.

К продольной велосипедной раме были примотаны изолентой бамбуковые удочки, и человек в штормовке, видимо, из чувства профессиональной солидарности, не стал развивать тему, а вскочил в седло и покатил далее.

«Нормальные рыбаки уже с озера едут», – подумал юноша, и его мысли, подобно ручью, потекли к обширному водоему, в котором плавают еще не пойманные рыбы.

Вскоре явился и сам водоем с несколькими пляжами, лодочной станцией и великим множеством рыбачащих и купающихся. Через несколько часов Гена уже сматывал удочку, выливал воду из полиэтиленового пакета с уловом (зеркальный карпенок и несколько карасиков еще трепыхались) и, рискуя свалиться в озеро, смывал с ладоней черную коросту, образованную червячной землей и рыбьей слизью. Когда он вернулся в лагерь, Олег и Ирина выходили из столовой.

– Моя порция осталась? – запыханно спросил Валерьев.

– Да, – ответили сытые соседи по столику. – Иди скорей.

Отобедав, Гена первым делом разобрался с рыбой. В его комнате висел довольно крепкий соленый запах, так что юноша поморщился и открыл форточку, после чего извлек из тарелочно-кирпичной конструкции (рядом стояло еще две такие) улов трехдневной давности и нанизал его на кордовую нить, где висело уже около десятка рыбок. Прокалывая иглой глаза новых рыб и продвигая каждую по заскорузлой нити, рыбак вспоминал, как они клевали, как он подсекал и тащил, как они бились в пакете, – теперь они казались гораздо меньше, чем тогда. Нынешний улов юноша вымыл, засолил между теми же тарелками, поставил под кирпичный гнет и, облегченно шумно выдохнув, пошел читать на качели.

Читать интересную книгу после обеда очень приятно, особенно на качелях, вокруг которых ходит на цыпочках ветер и, заглядывая через плечо, тоже читает, читает быстро и иногда пытается перевернуть страницу, но тут уж воли ему давать нельзя – подождет. Гена читал с наслаждением, но всё-таки заметил, что на соседние качели села бледненькая девочка лет восьми, с косичками и в розовеньких тапочках. Он улыбнулся и продолжил чтение, но вскоре услышал, что девочка что-то очень тихо напевает. «Интересно, что за песенка?» – подумал Валерьев и вскоре расслышал несколько слов, настолько поразительных, что пришлось смотреть ми-

мо книги. Слова эти были «смоковница», «лоза» и «маслина». Постепенно девочка стала петь громче, еще громче, во весь голос, и юноша не только услышал, но и поневоле запомнил многократно повторявшуюся песенку. Вот она:

*Если б смоковница не расцвела,
И плода не дала лоза,
И маслина изменила,
И нива пищи не дала,
Если б не стало овец
И опустел мой загон... —*

здесь детский протяжно-грустный голосок, исчисляющий условные беды, делал паузу и продолжал быстро и радостно, хотя и с явным нарушением в области синтаксиса:

*И тогда – пам, пам! —
И тогда я буду ликовать,
Петь о моем Боге,
И тогда я буду ликовать
О Боге спасенья моего...*

– после этого мелодия вновь менялась, и двукратно пелись завершающие строки:

Господь мой, сила моя,

Крепкими сделает ноги мои

И на высоты мои

Он возведет меня! —

мелодия последних строк напомнила Гене пасхальное «Христос воскрес из мертвых...», еще большее сходство чувствовалось в настроении, однако юноша поспешно осекся, подумав: «Но это не «Христос воскрес...», это не Православие». А между тем девочка вновь пела про смоковницу, даже не переводя дыхания после окончания песенки.

«А ведь она для меня поет! – понял вдруг Валерьев и положил книгу на колени обложкой вверх. – Она проповедует!»

Он расплывчато улыбался и ему хотелось плакать от странной помеси умиления, жалости и страха. «Младенец – и уже искренне верит в Бога, младенец – и уже в секте, младенец – и уже использует вполне сектантские методы: я ведь уже запомнил эту песенку, против воли запомнил, она мне ее попросту вдолбила... А от негативной реакции она защищена своим же младенчеством...»

Девочка вдруг встала с качелей и ушла, не глядя на Гену. «Господи, помоги ей дорасти до Православия! – попросил он, и мысли его перекинулись на Валю Велину: – Может, эта девочка тоже свидетельница Иеговы: песенка вполне ветхозаветная. Интересно, чем они занимаются, эти свидетели, надо будет почитать про них. Но Христа они Богом не при-

знают, это точно, и через такой забор не перелезешь...»

– Гена!

– Что? – встрепенулся он.

– В зеленом домике, – продолжил Степа, – произошло чрезвычайно важное событие, которое касается и тебя.

Событие заключалось в том, что Света с сегодняшнего дня переселялась к Мише, а Гену, тихого и одинокого, никого не трогавшего Гену, это событие коснулось самым неприятным образом: к нему в комнату подселился женолюбивый, да к тому же еще и курящий Гриша, живший ранее с Солевым. Войдя в Генину комнату, Гриша с неудовольствием понюхал тяжеловатый рыбный запах, но промолчал, а Валерьев тоскливо подумал: «Как же теперь молиться?..»

Глава девятая

Хлопотен и неблагодарен труд организатора, но Степа, прирожденный массовик-затейник, находил его приятным. Вот и теперь, в воскресный день накануне отъезда, этот долговязый белобрысый парень с большим угловатым лицом бегал по лагерю и организовывал массы. Лицо Степы было полной противоположностью пластилинового лица Артурки: оно состояло из углов, но не острых или прямых, а исключительно тупых. Есть в столярном ремесле такое понятие – «снять фаску», что означает провести пару раз рубанком по острому или прямому углу деревяшки, и в результате угол видимо закругляется, а на деле распадается на два тупых. Глядя на Степино лицо взором поэта-столяра, можно было подумать, что раньше оно состояло исключительно из прямых и острых углов, а потом с него сняли фаску. Но несмотря на тупость углов, составлявших физиономию Степы, ум его был весьма остр.

Остроумец планировал в последний вечер посидеть у костра, как это дельвали ископаемые пионеры, и для осуществления данного плана были первостепенно необходимы костер и компания, а второстепенно – выпивка и закуска. Степина идея воспринялась народными массами положительно, и компания постепенно набиралась. Тощий Олег и

толстенькая Ирина согласилась с радостью, причем Олег уже успел разведать избушку с недорогим горючим самогоном, а Ирина принесла из столовой, в которой недавно завершился обед, огромное количество съестного. Гриша тоже обещался быть, и не один, а с дамой сердца (с какой именно, он пока не решил), сожалел же Гриша о том, что поздно ему сообщили, уж он бы организовал шашлычок, а теперь мяса не достать (при этих словах он так плотоядно зыркнул на Степу, что тот вздрогнул). Миша со Светой тоже собирались идти, а уж о Степиной рыженькой Лене и говорить нечего – она визжала (буквально) от восторга и прыгала (буквально) от радости.

В данный момент альбинос направлялся к Мише и Свете, идиллически покачивающимся на качелях. Качели эти были весьма широкими, так что на них вполне можно было улечься, они скорее напоминали садовую скамейку, которую за какие-то прегрешения подвергли страшной казни: сначала отпилили ножки, а потом повесили. Впереди и немножко наискосок от этих качелей располагалась пара других, одноместных, и, как успел заметить Степа, Солев несколько раз внимательно поглядывал туда, прямехонько в затылок читающего Гены Валерьева.

– Послеобеденный отдых? – полюбопытствовал Степа, усаживаясь рядом с Мишей и Светой.

– Да, – небрежно ответил Солев. – Сидим вот, перевариваем. А что с планами на вечер?

– По-моему, свою продовольственную лепту вы внесли, а

впереди еще ужин. С закуской, я думаю, проблем не будет. Что касается напитков...

– Именно.

– Гриша и Олег будут пить самогон – это точно. Насчет остальных вопрос пока открыт.

– Ну, дамы явно самогон не будут...

– Почему, мне без разницы, – подала голос Света. – Можно и сэм.

– Светик, что за речи?! – воскликнул Степа, почти не играя. – Мало того, что «можно», так еще и «сэм»!

Миша покраснел и что-то сердито шепнул подруге, она попыталась возразить, а он решил пресечь возражения посредством шлепка по мягкому месту. Но шлепка не получилось: карающая длань, вслепую размахнувшаяся в проеме между спинкой и сиденьем качелей, ударила не по мягкому, а по весьма жесткому месту – по железной окантовке сиденья. Солев взвыл.

– Больно? – всполошилась Света.

– Заткнись!

– Ми-иша!.. – укоризненно протянул Степа. – Разве так можно...

– Пардон. Я думаю, дамы будут пить пиво.

– Пиво так пиво, – смиренно молвила девушка.

– Я тоже пиво, – сообщил Миша, потирая ушибленную руку. – Из дам у нас только Света, Оля и Ирина?

– Гипотетически существует еще девушка Гриши, – до-

полнил Степа, – а кроме того, по-моему, надо пригласить Валу и Олю из Светиной палаты.

– Надо, – согласилась Света. – Пойду скажу им.

– И еще, – добавил Степа, когда она скрылась, – необходимо позвать Гену.

Миша смолчал.

– Сделать это надо по двум причинам, – принялся доказывать Степа, сочтя молчание выражением недовольствия. – Во-первых, он из зеленого домика, хотя и не очень-то с нами контактил, а во-вторых, он умеет разводить костры. Ты умеешь разводить костры?

– Сумею, наверное...

– А он точно сумеет.

– Да я не против, пожалуйста...

Миша был не то что не против – он был рад, что не пришлось самому предлагать позвать Гену и каким-то правдоподобным образом это предложение объяснять.

Всю неделю он отдаленно, ни в коей мере не желая сблизиться, наблюдал за Валерьевым, как за прототипом для героя своего рассказа. Солев пытался выявить, что еще, помимо коленопреклоненных молитв на обочине, отличает православных христиан от нормальных людей. И если бы наблюдатель, презрев все приличия, вздумал бы подойти к наблюдаемому и поделиться с ним некоторыми умозаключениями, последний наверняка удивился бы. А пока Миша, посматривая на читающего Гену, обсуждал со Степой денежно-пив-

ной аспект предстоящего вечера.

– Так и сделаем, – срезюмировал белобрысый организатор. – Осталось уломать Гену.

А Гена, кстати говоря, и сам был весьма искусным организатором, но оргработа его была направлена не наружу, как у Степы, а вовнутрь, на самого себя. В данный момент он неторопливо размышлял над планом прощального вечера. Пристрастие к логике и эстетике побуждало юношу провести последний вечер так же, как и первый, – наедине с костром, с бутылкой любимого пива в руке, на светлячковой поляне, рифмующейся со звездным небом... Но его внутренняя оргработа была прервана внезапным приветствием и вопросом:

– Добрый день, Гена. Всё читаешь?

– Уже дочитал, просто сижую.

– Ясно. Я, с твоего позволения, тоже присяду. – Степа опустился на соседние одноместные качели и продолжил. – Ты вот по утрам на рыбалке пропадаешь, а по утрам иногда происходит кое-что интересное. Сегодня, кстати, ты что-то без удочки был...

– Да, – согласился Гена, смутившись, – сегодня просто гулял.

– И правильно делал. А то завтра – понедельник, день тяжелый: постельное белье сдавать, вещи складывать, а после обеда – сразу в автобус, уже не погуляешь... Но – ближе к делу. Мы тут с самого утра обсуждали планы прощального

вечера, и в результате было принято интересное решение. – Альбинос сделал паузу и, не дождавшись вопроса, объявил: – Решено вечером всей компанией пойти жечь костер. Идут все из зеленого домика плюс Оля с Валей. Загвоздка в том, что никто из нас не обладает древним искусством разжигания костров, так что все надежды на тебя.

«А почему бы не сделать им подарок?» – подумал польщенный Валерьев. Но сперва он спросил:

– А какова программа вечера?

– Это я беру на себя. Во-первых, будем играть в различные, очень умные и приличные игры. Спасибо тебе, кстати, за «студенческую балду», она пользуется популярностью. Есть еще такая игра, называется «ассоциация».

– А как в нее играть?

– Увидишь. Или лучше вон, посмотри на детей.

– Уж давно смотрю, – молвил Гена и почувствовал, что Степа весьма приятный и полезный собеседник. – Девочки играют в «тепло – холодно», прячут какой-то предмет, а кто-то ищет, и ему кричат, тепло или холодно. Это никакая не «ассоциация».

– Так оно и есть, но они по принципу очень схожи, эти игры. В «ассоциации» тоже идет поиск, только никуда ходить не надо. Еще ее можно с прятками сравнить или жмурками. Короче, увидишь на месте.

– Заинтриговал ты меня, – заметил Гена, весьма довольный. – Ради только этой «ассоциации» стоит пойти.

– Рад, что ты согласился.

– А место вы уже выбрали?

– Нет еще.

– Здесь, совсем рядом, есть замечательная полянка, я там уже жег костер.

– Просто супер.

– Да, там хорошо. И еще вопрос: выпивка будет?

– Естественно. Но в очень умеренных дозах.

– Только я водку не пью.

– Ее и не предусмотрено. Я и Миша, например, будем пить пиво, можешь присоединиться. По деньгам это недорого.

– Я, к сожалению, уже купил...

– Значит, тебе и тратиться не надо.

– Хорошо. Сразу после ужина надо будет сходить за хворостом.

– Сходим. А я пока дойду до остальных, обрадую насчет кострового.

«Похоже, будет еще лучше, чем я планировал!..» – радостно подумал Гена Валерьев, оттолкнулся от земли и полетел, а в действительности лишь со скрипом закачался на качелях, подобно большому маятнику.

* * *

– НЛО! – закричал кто-то из девушек. – Гриша, еще раз! Древесные кроны смыкались над узенькой тропкой, и мощный луч фонаря, вновь направленный вверх, преобразо-

вался в светящийся диск, зависший над процессией.

– Похоже, – вполголоса согласился Гена, шедший вслед за Гришей и остановившийся, как и все, чтобы поглядеть на поднебесное видение.

Вообще-то именно Валерьеву полагалось возглавлять шествие как первооткрывателю полянки, но около часа назад он уже шел впереди мужской хворостосборочной бригады и уж так неприятно было, что перед ним никого нет, а позади кто-то шелестит, устраниая с пути зеленые ветви, похрустывает подножным сушняком, переговаривается, – так неприятно, что Гена сутулился и ускорял шаг. А теперь в смешанной компании юноша был спокоен, занимая почетное контрольно-направляющее место.

Когда НЛЮ исчез, вновь возник узкий призрачно-белесый туннель, проложенный в обратной перспективе, и вереница вечерних путешественников продолжила спотычливо пробираться вслед за удаляющимся лучом. Шли они, груженные одеялами, пакетами с выпивкой и закуской, думали о предстоящем пиршестве, – частично соблюдая парность, частично беспарные.

Второе место в строю, место проверяющего правильность курса, было приятно Гене еще и тем, что позволяло вклиниться между Гришей и новоявленной девушкой кареглазого женолюбца. Девушка эта немного дичилась в новой компании и заслуживала всяческой поддержки, но она была одной из виновниц нескольких незапланированных прогулок

Валерьева, а потому не вызывала у него симпатии. За ней следовали Оля и Валя, от ежедневного общения с которыми Гена успел порядком устать, а на фоне трескуче-искристой речи костра всё, что они способны были сказать, обесмысливалось, и ни одна из них не смогла бы повторить ало-переливчатого взгляда тлеющих угольев, – приняв это в расчет, юноша решил сесть где-нибудь с краешку, подальше от них и поближе к огню. За описанной пятеркой чинно чередовались представители трех полусемейных пар, причем замыкал шествие альбинос Степа, следя, как ему и полагалось, за численным составом и боевым духом отряда.

Пришли. Гена с одной спички подпалил заранее приготовленный шалашик. Вокруг костерка выстлали одеяльный полумесяц. Сели. Железные и пластмассовые кружки и белые пластиковые стаканчики нашли владельцев. Владельцы наполнили их наиболее сообразной жидкостью и потянулись за лакомой закуской. Прозвучал обычный тост.

«Сел с краю, – отметил Миша, – и пиво сосет в одиночку. Хотя то, что с краю, логично: ему за костром следить».

– О чем думаешь? – спросила Света.

– Так, – неопределенно отозвался Солев и привычно обнял ее, а она боком плотно прильнула к нему, как льнет наэлектризованная одежда.

– Хорошо у костра...

– Да.

Рыбачок сноровисто ломал хворост и складывал обломки

в кучку, потом угомонился и сел, так что потрескивало лишь в костре, изредка рыгающем недолговечными искрами-летуньями. Рядом с Геной сидели Степа и Лена, Степа о чем-то разговорился с ним – о чем, интересно... Но было далеко, и Миша не слышал.

– Ну, кто еще не допил? – обиженно воскликнул Олег, и несколько человек пристыженно глотнули пиво, освобождая тару.

Валерьев со своей единоличной стеклянной бутылкой не торопился, и Степа ему немножко позавидовал. Когда пивная полторашка достигла их края (надо было открыть сразу две, не всё ли равно, что разного сорта), Степа налил Лене и себе, завернул крышку и положил бутылку рядом. «Вечер, кажется, удастся», – гордо подумал он, улегшись на животе и локтях, по-пляжному, и глядя в огонь. Справа в той же позе лежала Лена, и он принялся тихонько переговариваться с девушкой, подперев кудлатую голову одной рукой, а в другой держа эмалированную кружку с пивом. «Невежливо, – подумал он вдруг. – Получается, что отвернулся от Гены». Полагая, что краугольным камнем разговора может стать любой тематический булжник, соотносимый по весу с интеллектуальным уровнем собеседника, Степа поставил пиво на одеяло, посмотрел на Валерьева, замороженно вглядывающегося в огонь, и спросил:

– Гена, а что ты думаешь о фатуме?

– С чего это ты вдруг? – удивился он, вздрогнув и взглянув

на вопрошающего.

От его взгляда Степе стало горячо, будто взгляд был железным и от недавнего пребывания в костре раскалился.

– Правда, с чего? – полюбопытствовала и Лена, смазав всегдашней веселостью недавний ожог, и альбинос с легкостью заговорил.

– Ну, с того хотя бы, что вот сидим мы здесь, у костра, одиннадцать человек, все разные – и нам хорошо. Вопрос в том, предопределена ли эта встреча у костра или могло быть что-то другое.

– Вообще-то вопрос о фатуме и предопределении – это вопрос о человеческой свободе, – сказал Гена, и, поскольку он уже сделал несколько глотков пива, для мыслей теперь не унизительно было становиться словами. – Если есть предопределение, то нет свободы. Я свободен, следовательно, фатума, этой неумолимой судьбы, нет.

– А откуда же тогда берутся сбывающиеся пророчества?

– Это уже сложнее. Но если признать взгляд из той области, где нет времени, то всё объяснимо. Представь себе, что наше будущее оттуда видится так же, как настоящее или прошлое, потому что нет понятия времени. Мы знаем о прошлом, но лишает ли это людей, действовавших в прошлом, нас самих в прошлом, свободы действий? Нет, очевидно. Это никакой не фатум. Да и пророчества становятся понятны лишь тогда, когда сбываются, так что вневременной взгляд, если мы о нем и узнаем, остается непонятым и свободы нас,

опять же, не лишает.

Гена улыбнулся и подумал: «Концовка эффектная. Возможно, конечно, сказать и о промысле Божиим, но Степа навряд ли поймет, сам-то не совсем понимаю... Это можно только почувствовать, только в прошлом и только на собственной жизни. Чувствовать и радоваться... Нет, об этом не расскажешь!..»

– Слышала, Лена? С вневременной точки зрения мы уже сидели здесь, уже поженились, может быть, родили детей, умерли уже, и при этом в каждом действии были свободны, – разъяснял Степа весьма ему понравившуюся концепцию, а Лена восхищенно кивала и твердила: «Здорово!»

– Свободны во всяком действии, кроме смерти, – если вы, конечно, не самоубийцы, – послал Гена вдогонку, думая уже о другом, и, уставившись в костер, не заметил, что Степа вдруг помрачнел, а Лена глянула укоризненно.

Гена же думал о том, что всегда можно оставаться христианином, хотя бы и тайным, и с удовольствием вспоминал, как и где творил утренние и вечерние молитвы после подселения Гриши. И еще он думал о том, что даже при такой затаенно-восторженной молитвенной жизни не удастся избавиться от главного своего греха – от брезгливой гордыни, доходящей иногда до человеконенавистничества. Он очень хорошо знал за собой эту сатанинскую черточку и на исповеди начинал именно с нее. А сейчас он сокрушенно размышлял, что это, вероятно, порок большинства умных людей, но внезап-

но схватил сокрушенную мысль об умных людях, как вороватую руку, и подумал с улыбкой: «Да уж, фиг избавишься!»

Дальнейший извив Гениного самоанализа имел всеобщие последствия. Осознав, что рассуждения о христианских добродетелях и пороках возникли по ассоциации с мыслями о Божьем промысле, юноша пригубил пиво, пожевал хлеб с солью, вновь глотнул из бутылки и радостно повторил вслух:

– По ассоциации.

– Что? – переспросил Степа.

– Ты говорил, что будем играть в какую-то интеллектуальную игру под названием «ассоциация».

– Слушай, молодец, что напомнил.

Гена чуть кивнул, одновременно прикрыв глаза.

– Люди! – призывно воскликнул углоликий альбинос. – Поступило замечательное предложение. – Пауза, соответственно заполненная. – Давайте играть в «ассоциацию».

Получив согласие большинства и кратко разъяснив правила, он зажмурился, отвернулся даже, опасаясь собственной нечестности, а остальные принялись молча указывать друг на друга, мотать головами и переуказывать, пока все пальцы не уткнулись предполагаемыми пунктирами в Мишу Солева, и тот, сдавшись, ткнул в себя же.

– Всё, Степа, можно! – сообщила толстощекая Ирина, и Степа прозрел.

Он попросил Гену подбросить дров и внимательно осмотрел игроков – все знали тайну и оттого лица их были само-

углубленно-лукавыми, изменяемыми лишь отблесками повеселевшего пламени. Нет, так не угадаешь.

– С каким временем года ассоциируется этот человек? – спросил Степа.

Большинство ответили, что с летом.

– С каким животным ассоциируется этот человек?

– С гориллой, – сказал Гриша, хмыкая.

– С пантерой, – возразил Миша, подумав: «На себя-то посмотри!»

– С капибарой, – произнес Гена, облизываясь.

– Это грызун такой, кажется? – уточнил Степа.

– Да. Вроде морской свинки, только здоровенный и черный, – объяснил Валерьев.

Еще Мишу сочли похожим на крота, белку-летягу и медведя гризли, а у Светы он вызвал ассоциацию с кабаном, что особой радости ему не доставило.

– С каким видом транспорта ассоциируется этот человек?

– С мотоциклом.

– Да, с мотоциклом.

– Нет, с гоночным автомобилем.

– С броневиком, по-моему.

– А с каким цветом?

– С красным.

– С лиловым.

– С алым.

– С бежевым.

– Это Миша?

– Да, ты как догадался?

– По капибаре, лиловому цветку, лету и мотоциклу. Еще на Гришу было похоже, но там наверняка был бы автобус, половина здесь знает, что Гриша водитель.

– Ладно, умник, – пробормотал Солев, зажмуриваясь. – Меня угадали, я ва́жу.

Поскучав немножко перед темно-бордовым занавесом, сквозь который иногда ало просвечивал костер, он услышал, что можно, и поднял веки. На сцене были всё те же дяденьки и тетеньки с лицами напакостивших школьников, только на сей раз Миша не знал, кого они, связанные круговой порукой, собираются не то скрывать, не то обрисовывать своими темными намеками. Припомнив блестящую игру Степы, он решил спрашивать о другом, а самую ясную, «звериную», ассоциацию использовать лишь в крайнем случае.

– С каким видом спорта ассоциируется этот человек?

– Прыжки с шестом, – сказал Степа.

– Шашки, – сказал Гена.

– Поддавки, – хмыкнул Гриша.

– Бадминтон, – сказала Валя.

– Ага, – подытожил Миша и продолжил: – А с каким водоемом?

– Тихое озеро, – сказала Света.

– С омутами, – добавил Гена.

«Кого это он так не любит?» – удивился Миша, а между

тем Степа сравнил этого человека с родником, возникла и речка, кем-то поддержанная...

– Ясно, – изрек Солев, разумея, что пол этого человека прояснился. – А с каким вкусом ассоциируется этот человек?

– Пресный, – быстро произнесла Света.

– Соленый вкус, – сказал Гриша.

– Соленый, – подтвердили Гена, Оля и Степа почти хором.

«Надо же! – подумал Миша. – Точно, девчонка-плакса. У нас таких вроде и нет. Хотя...»

– Это Валя?

– Нет. Еще две попытки.

«Плохо, – подумал он. – Вроде бы и тихое озеро, и речка, и родник, и в бадминтон играет, Света ее пресной назвала, парня у нее нет, тут и до слезок рукой подать... Ладно, проехали. – И тут его осенило. – Загадать-то могут любого присутствующего! Ай да Солев, ай да сукин сын!»

– Это я?

– Нет. Одна попытка. Ты лучше спрашивай.

– Хорошо. – Миша начинал злиться: «Как же это так?! И соль, и прыжки с шестом, и этот рыбачок с омутами (он меня не любит)... Что же это? Одна попытка на девять человек!...»

И он принялся спрашивать.

На вопрос о том, с каким зданием ассоциируется этот человек, наиболее частотны были ответы: однокомнатная квартира, избушка, Гриша (задолбал своими приколами!) сказал

про землянку, а Валя, которая была уже вне подозрений, высказала девически-романтическую мысль о замке.

На вопрос, обычно всё проясняющий (о животном), было отвечено несуразное: суслик, енот-полоскун, нерпа и все та же белка-лентяга. Что, спрашивается, общего у суслика с нерпой?..

Загаданное существо ассоциировалось с белым, серым, зеленым и светло-бурмалиновым в крапинку (Гриша, естественно) цветами. «Похоже, – подумал Миша. – Но пока погодим».

На птичий вопрос мучители ответили, что похож, мол, этот человек и на чайку, и на ворона, и на воробья, и на гуся лапчатого. «Хорошо хоть не на дятла похож, – подумал Солев. – Сорока, правда, была бы поближе... Ладно, погодим немного».

Судя по большинству высказываний, загаданный(-ая) ассоциировался(-ась) с осенью; по поводу осенней погоды, правда, мнения разделились: дождь, пасмурно, ясно, без существенных осадков... «Хватит! – решил отгадчик. – Последний вопрос».

– А с какой профессией ассоциируется этот человек?

– Писатель, – сказала Валя Велина.

– Писатель, – сказала Оля.

– Рыбак, – сказал Гриша.

– Это Степа, – уверенно сказал Миша, подумав попутно:

«Дурацкие у него ассоциации. При чем тут рыбак?..»

– Не угадал. Это Гена.

– Как это... – опешил Солев. – Ну, рыбак, ну, бадминтон... Ну а вкус почему соленый, ну а писатель здесь при чем?

– Ты бы зашел в нашу комнату, где рыба солится, и понюхал, – посоветовал Гриша. – Проиграл ты.

– Но у нас, кроме меня, грешного, только Степа пишет эти свои записки лагерные...

– Гена тоже пишет, – сказала Валя тихо.

– И публикуется даже, – добавил Гена с самодовольной застенчивостью.

– Ни фиги себе! – восхитился Степа. – В городе дашь почитать.

– С удовольствием... – Валерьеву казалось, что он захлебывается в сиропе – и вязко, и сладко, и выбраться хочется, и он из последних сил рванулся, спросив: – А кто же теперь отгадывает?

– Опять Миша: он не угадал.

– Хренушки! – возмутился Солев. – Надоело уже играть, детский сад какой-то... Давайте танцевать.

– А под что?

– Приемник есть. – И Миша выудил из пакета спасительную техновину.

– Ура! Что ж ты раньше-то?..

– Танцуют все!..

– Степа, а почему я у тебя ассоциировался с прыжками с

шестом? – спросил Гена, проглатывая остатки сиропа и запивая их остатками пива.

– Потому что ты с этим бамбуковым шестом на рыбалку ходишь.

– Ясно...

Рыболов находился в таком душевном состоянии, что только вздрогнул и совсем не возмутился, когда глупая, городская, синтетическая, абсолютно не уместная здесь музыка заглушила первобытный разговор костра. Слизнув с губ воспоминание о приторном сиропе всеобщей заинтересованности, юноша поднялся, и его сердце стало подлаживаться под ритм быстрой мелодии, и захотелось танцевать, и он первым из парней встал в девичий кружок, а потом и остальные подтянулись. Было очень приятно дать телу волю и отстраненно наблюдать, как безошибочно и творчески оно преследует мелодию, скачет на ней верхом, дожидается ее, чуть подрыгиваясь в такт ударникам, и оцепенело замирает в паузах между песнями...

После того, как радиодиджей выдал в эфир очередную порцию бреда, произнесенного маслянисто-веселым, изумительно поставленным голосом, зазвучала мелодия медленного танца. Все разбились по парам, и Гена со спокойной уверенностью пригласил Валу, одиноко сидевшую у костра, и бережно повел. Приемник простуженно похрипывал, костер обиженно угасал, Оля, оказавшаяся одиннадцатой лишней, смотрела в него и не догадывалась подкинуть хворосту. Зем-

ля под ногами была кочковатой, и молчаливые Гена и Валя осторожно прокручивались на месте, почти так же, как делали это остальные, переговаривающиеся.

– Ты видела светлячков? – спросил Валерьев после танца. – Пойдем.

Через дюжину шагов они обошли огромный куст, отгораживавший полянку с костром от поляны со светлячками, и остановились, глядя на подножные звезды.

– Красиво, – сказала Велина.

Гена молчал, пронзительно, почти до слез жалея, что с собой в вечность он сможет взять лишь воспоминание об этой дивной красоте, гибель которой ему суждено когда-нибудь увидеть. Бессмертный человек грустно посмотрел в небо, на обреченные созвездия, и сказал:

– Пойдем к костру.

Когда печальный юноша и озадаченная девушка вернулись к огню, а точнее – к тлеющим углям, приемник внезапно онемел, и Гена улыбнулся, поблагодарив мысленно: «Слава Тебе, Господи!» Валерьев сел на свое место, с краешку, а Велина – на свое; после безуспешных попыток вытрясти из приемника хоть звук расселись и остальные. Возле костра было хорошо и дремотно: кто-то с кем-то целовался, кто-то с кем-то тихо переговаривался, кто-то глядел на алоокие угли, кто-то с кровожадным жужжанием пикировал на ленивую человечину и, проколов хоботком кожу добычи, лакомился...

А на следующий день, сидя у окна тряского автобуса, едущего прочь, прочь, прочь от лагеря, Гена почесал белую бляшку, вспухшую на ладони, и, украдкой поднеся руку к губам, поцеловал вчерашний комариный укус.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. КЛАССИКИ

*Добраться до небес, перепрыгивая
с квадрата на квадрат, со своим
камеишком (или неся свой крест?).*

Х. Кортасар, «Игра в классики»

Глава десятая

На асфальте синим мелом была начертана продолговатая фигура, составленная из крупных квадратов. Одиночные и вдвоенные квадраты последовательно чередовались, внутри каждого был вписан порядковый номер. Заканчивалась фигура полукругом, заключающим в себе слово «рай». Женя Солев не умел играть в классики, но он не раз видел, как дети прыгают по квадратам то на одной, то на двух ногах, нагибаются, чтобы подобрать камешек, и вновь прыгают. Мальчик подметил, что иногда в полукруге над квадратами пишется слово «огонь», и вот теперь, бесцельно и одиноко прыгая по синим квадратам, обнаруженным на асфальте, Женя подумал: «Рай или огонь... Что же это за игра такая?» Можно было бы, конечно, спросить у мамы – вон она сидит, на лавочке, – и тогда всё стало бы ясно, однако мальчик отчетливо почувствовал, что совсем не хочет ясности. «А то получится, как с «крысками» и горкой!» – подумал он.

Утром этого дня Женя Солев, одетый совсем по-взрослому – в черный костюмчик с белой рубашкой и галстуком-бабочкой, – пошел первый раз в первый класс. По пути в школу солнце пристально смотрело в его лицо, а тень, крепко пришитая к подошвам новых ботиночек, волочилась позади, явно не желая учиться: тень была очень длинной и, навер-

ное, думала, что таким длинным не место в школе, что такие длинные должны служить в гвардии или играть в баскетбол. Мальчик, в общем-то, был согласен с тенью и даже немножко жалел ее, но отпустить эту темную дылду на все четыре стороны ну никак не мог. А теперь, когда он в один прыжок преодолевал границу между классами (вот бы и в школе так!), тень тоже была длинной, но направление ее изменилось по сравнению с утренним, и выглядела она веселее, и прыгала с удовольствием. «Так-то, – подумал Женя. – Не хуже, чем в баскетболе!» Перескакивая из класса в класс, он вспоминал утренние события.

На линейке было очень празднично: много букетов, бантов, кружев и оборочек, галстуков-бабочек... Оглядывая нарядных сверстников, Женя вдруг понял, что цветы в букетах мертвы, а банты и галстуки-бабочки никогда не взлетят, взмахнув крылышками: они насмерть пришпилены, как в коллекции, а кружева и оборочки очень похожи на растительные венки и гирлянды, но они даже мертвее, чем цветы в букетах: они не могут увянуть... Однако это царство смерти, внезапно открывшееся мальчику, не испугало его, а заставило призадуматься. «Жизнь и смерть – подружки, – понял Женя. – Они ходят, взявшись за руки». Он рассудил, что подружки помогают одна другой: на фоне мертвого жизнь выглядит живее – как сейчас, а если кто-нибудь умирает не понарошку – это уже жизнь помогает смерти, это грустно... Так или почти так думал Женя Солев, стоя на линейке в ря-

ду первоклашек.

Между тем директор, седой и щекастый, говорил что-то длинное и ободряющее, потом дети, постарше, чем Женя, танцевали под очень громкую музыку, затем совсем большие одиннадцатиклассники пели грустную песню про школу и читали стихи... Учителя – взрослые дяди и тети – стихотворно клялись, что будут хорошо относиться к ученикам. «Клянусь транспортиром, указкой и мелом, – мысленно повторил Женя вслед за учительницей математики. – Транспортир – это, наверное, машина. Мы ездим на общественном транспорте, а у нее есть собственный транспортир...» После учителей клялись родители, причем одна чья-то мама полностью произносила клятву, а остальные только соглашались. Например, она клялась, «детей баловать иногда» или «готовить вкусные блюда» и спрашивала: «Да?» – «Да!» – отвечали родители хором, а Женя загибал очередной пальчик. «Двенадцать, – подумал он, когда клятва окончилась. – Как в Символе веры».

Но до конца торжества Женина серьезная сосредоточенность всё-таки не продержалась: она бесследно расточилась при виде финального акробатического номера, и мальчик засмеялся, и захлопал в ладоши. Да и разве можно было удержаться от смеха, если маленькая девочка оседлала большого дядю, да еще и звонит при этом в красивый медный колокольчик... А дядя – укрощенный, не взбрыкивает, лишь отклоняет голову в сторону от шумной наездницы и так и

рысит по внутренней границе школьного каре, с головой набок...

С линейки первоклашки шли парами, а взрослые, сопровождавшие их, держались неподалеку. Женя опять был в паре с Сашей, совсем как в детском саду, только теперь маленький отряд возглавляла не тетя Тамара, а учительница Лидия Михайловна. Глянув на нее, Миша Солев оценил: «Молодая, некрасивая, добрая», – и вспомнил свою первую учительницу – кругленькую строгую старушку, поставившую ему «кол» за непростительную ошибку в слове «жизнь».

Миша с матерью и отчимом шли в потоке родителей, параллельном потоку первоклашек. Софья Петровна спокойно улыбалась, а Виктор Семенович был серьезен и досадовал, что его рука с видеокамерой подрагивает. «Жалко, что Соня снимать не умеет, – думал он. – И чего я психую?.. Школа – хорошая, учительница – хорошая, сын – хороший... Первенец – вот и психую!..»

Рядом с Солевыми шли родители Саши – шапочные знакомые по детсадовским мероприятиям. «Хорошо, – думали родители обоих мальчиков, так что родительские мысли образовывали слаженный квартет. – Хорошо, что у нашего уже друг есть в классе. Попроще ему будет...» А если прибавить к родительским мыслям мысли самих Жени и Саши, вполне довольных тем, что будут одноклассниками, то получится уже не квартет, а секстет, что ли... «Наверное, секстет», – решил Миша Солев, придумавший эту музыкальную мета-

фору.

Еще Миша думал о букетах: директор был попросту погребен под ними, да и Женина учительница едва волокла цветочную охапку. Куда их девать, спрашивается?.. Священники, например, солили пасхальные яйца в бочках, так что добро не пропадало, ну а тут-то не засолишь... К тому же, когда много цветов, от запаха задохнуться можно – какая-то классическая героиня так с собой покончила...

Между тем маленький отряд под предводительством Лидии Михайловны и в сопровождении почетного родительского эскорта достиг дверей класса, вошел в него, и учительница свалила букеты на свой стол, произнесши при этом что-то вроде «Уф!». «Еще бы не «уф»!» – мысленно усмехнулся Миша, наблюдая за происходящим через дверной проем. Почетный эскорт превратился в почетный караул: взрослых в класс не пригласили.

Перепрыгивая с квадрата на квадрат, по направлению к слову «рай» и в обратном направлении, Женя вспоминал длинную клумбу с рыжими бархатцами и кистястыми рябинами, протянувшуюся вдоль школы. В детском саду тоже росли бархатцы, и на них очень любили садиться оранжево-черные «жужи», отличавшиеся от всяких разных пчел, ос и шмелей отсутствием талии и добродушием. Если подкрасться к «жуже» так, чтобы тень от твоих ладошек не упала на нее, а потом схватить цветок, осторожно высвободить пленницу и держать ее пальчиками за спинку и брюшко,

то «жужа» будет громко и обиженно жужжать, щекотно обнимать пальчик лапками, но никогда не укусит. Школьная клумба оказалась намного длиннее детсадовской, и непуганые «жужи» сидели на ней в огромном количестве: видимо, здесь их никто не ловил.

Потом было школьное крыльцо с огромными, по колено, ступенями, и Жене вспомнился праздник Введения во храм и история о том, как трехлетняя девочка Мария легко взбежала по огромным ступеням Иерусалимского храма... «Хорошо было Маше! – позавидовал мальчик, с пыхтением преодолевая ступени. – Ей Бог помог, а тут приходится ножками...» Когда детей ввели в класс, а родители остались вовне, мальчик подумал: «Как в святая святых!» – и с большим уважением посмотрел на Лидию Михайловну.

Они расселись: кто с кем хочет, но очкариков посадили на первые парты. Женя и Саша сели на третью парту первого ряда – как раз возле окошка. Точнее, сели не сразу: нужно было садиться тихо-тихо, а тишины никак не получалось, и дети стояли вдоль парт, пока наконец не умолкли и не успокоились самые шумные и егозливые, – и тогда ряды, один за другим, сели. Лидия Михайловна сказала и показала, как нужно сидеть за партой: спинка ровно, ручки перед собой, одна на другой, правая сверху («Про правую сверху знаю», – подумал Женя), если хотим что-то спросить – поднимаем руку...

А затем было награждение. Учительница зачитывала имя

и фамилию из списка и вручала счастливцу или счастливнице красивую карточку с прищепкой и «Свидетельство о присвоении почетного звания первоклассника». К счастью, награждены были все. Карточку с именем, фамилией и классом Лидия Михайловна попросила в следующий раз прикрепить к одежде и так и носить и поинтересовалась, кто хочет прочесть вслух текст «Свидетельства...». Проигнорировав многочисленных «якалок», учительница доверила эту почетную миссию Жене, скромно и тихо поднявшему правую руку...

– Будь смелее, первоклассник!

Посмотри: вокруг друзья.

Этот день – великий праздник

Для родных и для тебя! – приговаривал мальчик запомнившееся четверостишие в такт прыжкам по синим пронумерованным квадратам.

Когда в конце урока-знакомства Лидия Михайловна спросила, хотят ли первоклашки обратно в детский сад, ответом ей было хоровое: «Нет!» – и Женин голос, пусть и не очень уверенный, тоже вплелся в этот хор. А узнав, что назавтра, в воскресенье, уроков не будет, многие дети искренне огорчились.

– Женя! – послышался мамин голос, и мальчик замер посередине лестницы на небо. – Женя, домой пора!

Было действительно пора домой, раз об этом сказала мама, и первоклассник послушно подошел к ней, и взял за руку, и подумал: «Интересная игра – классики. Особенно если

правил не знаешь».

* * *

«А почему бы и нет? – подумал Миша Солев, проснувшись воскресным утром. – Никто меня там не съест, а материал нужен позарез. Может, и прототипа родимого увижу: в городе этих заведений не так уж и много... Мама обрадуется и Женька с дядей Витей тоже – единственное, что плохо. Получается, что я их обманываю или, говоря помягче, зря обнадеживаю... Ладно, к чертям собачьим! – Парень энергично вскочил с постели и принялся одеваться. – Нужен материал – так пойди и возьми, безо всяких сантиментов. В конце концов, не черт, чтобы от ладана бегать!...»

Но на душе у Миши было всё-таки муторно, и о своем решении пойти в церковь он сообщил домашним с какой-то жалковато-ироничной ухмылкой и поспешно добавил, что он только посмотреть, удовлетворить, так сказать, любопытство...

– Удовлетворяй, чего уж там... – отозвался Виктор Семенович с одобрительной усмешкой. – Владимир Святой тоже поначалу всё любопытствовал, а потом Русь крестил.

Миша покраснел и, почувствовав это, мысленно охарактеризовал себя трехэтажным матерным эпитетом, а Виктор Семенович подумал, что пасынок похож на чистого юношу перед походом в бордель.

«Пять минут позора – и видишь будду Амида... Сорок

минут позора – и ты на работе... – вспоминал Миша фразы из романов Виктора Пелевина. – Далась ему эти минуты позора!...» Воспоминания о пелевинских минутах позора посетили парня по пути в церковь – по горе, сквозь строй нищих, в потоке православных, по кладбищу этому долбаному... «Скорей бы уж! – нервничал он. – Придти, увидеть, победить – и всё, отмучаюсь и пойду пить пиво, а потом засяду за рассказ...» И еще Миша решил, что разведчик из него никудышный: наверняка всем вокруг понятно, что он здесь чужой.

«Но фишка не в том, что им всё понятно про меня, – думал он, стоя столбом во время службы и холодно наблюдая, как остальные крестятся и кланяются, поют хором что-то длинное. – Фишка в том, что я сам не могу их понять, то есть миссию разведывательную выполнить не способен. Механика службы, тексты молитв – это фигня, их и разведывать не надо: купил богослужебную книжку да прочитал. Можно даже вызубрить всё, благо память хорошая, и знать службу покруче, чем большинство из них. Но смысл-то моей разведки в том, чтобы понять православных: что они чувствуют во время службы, что после, как вообще мир видят... И они, главное, не против: разведывай, типа того, дознавайся. Стань одним из нас – и сразу всё поймешь!»

Мишу передернуло от этой простой и, казалось бы, на поверхности лежащей мысли, и в тот же момент смолкло всеобщее пение, завершившееся словами: «Чаю воскресения

мертвых и жизни будущего века. Аминь». Солев заметил, что длинное, единообразное по музыкальному рисунку хоровое повествование об основах христианства велось от первого лица. «Значит, каждый поет о себе, о своей вере, и фишка тут совсем не в первом лице... Мало ли песен поется хором от первого лица – во время застолий, например, – подумал он и почувствовал, что мысль его неудержимо проваливается в какие-то нежелательные глубины. – Фишка в том, что прихожане верят в то, о чем поют. И если я тоже поверю в это и стану идти по жизни в соответствии с верой, то тогда, само собой, превращусь в православного и смогу понять православных. Но! – Мишу вновь передернуло. – Но если такое случится, то я не смогу понять никого, кроме православных! Чтобы петь хором, нужно знать слова и смотреть на дирижера! Чтобы не отвлекаться от пути, надо исключить окрестности из поля видимости, надо шоры на глазки надеть! Это же смерть для писателя!..»

– Что с тобой? – тревожно шепнула ему Софья Петровна. – На тебе лица нет!

– А что есть? – невесело пошутил Миша, безуспешно пытаясь унять крупную неврастеническую дрожь. – Я выйду ненадолго, проветрюсь.

– Тебе плохо? – спросил Виктор Семенович.

– Не волнуйтесь и не отвлекайтесь. Я вернусь.

По пути к выходу Солев вплотную столкнулся с Геней Валерьевым, кивнул ему и вырвался на свободу.

«Плохо, что заметил...» – обеспокоенно подумал Гена, кивая в ответ. Ведь так приятно было посматривать на этот соляной столб и гадать он или не он, и зачем, в любом случае, на службу пришел, и как ему, невоцерковленному, эта служба видится... И ведь думает он о чем-то, размышляет: в церкви либо молятся, либо размышляют, иначе как здесь два часа простоять?.. Внезапно Валерьев понял, что последнее рассуждение направлено против него же и постарался впредь не отвлекаться от молитвы. Но почти сразу после Символа веры, когда еще не исчезло пощипывание в области солнечного сплетения и окружающее оставалось радужно-переливчатым, соляной столб конвульсивно вздрогнул, кратко переговорил с рядом стоящими (ничего себе!) и направился к выходу, попутно узнав Гену и кивнув ему. «И впрямь Солев, – подумал Гена. – А «мама, папа, я – счастливая семья» – это, скорее всего, его родители и брат. Как всё приятно переплелось... Стоп! Не отвлекаться!»

Сидя на лавочке возле прицерковной клумбы с бархатцами, Миша слегка успокоился, и дрожь прекратилась. На безоблачном небе всюду светило солнце и половинчато сиял купол: верхняя его часть и крест были вызолочены, а нижняя была черна, и парень подумал, что купол похож на шапку Мономаха, и, усмехнувшись, молвил:

– Тяжела ты, шапка Мономаха!

На бархатцах сидели пчеловидки – насекомые безобидные, которых он не раз лавливал в детстве, привязывал к лап-

ке нитку и, держа на таком поводке, выгуливал некоторое время. Поначалу привязанные пчеловидки с мощным жужжанием тянули вперед, но потом уставали и садились на руку, и тогда их нужно было отпускать – либо вместе с ниткой, либо без нитки и без лапки. «Поймать, что ли? – подумал Миша с улыбкой. – Всё равно никто не видит...»

А Гена, хотя и следил за собой, проговаривая вслед за дьяконом слова ектеньи и вовремя кланяясь, всё-таки отвлекся. Да оно и простительно, тут бы любой отвлекся, и отвлеклись уже – вон, поглядывают искоса в их сторону, удивляются. Как же он их раньше-то не заметил? За Мишей наблюдал – вот и не заметил. Удивительно, конечно, но ведь у Бога всего много... И все-таки как же они могут службу понять? Ну, «Верую...» и «Отче наш...» могут по губам у дьякона прочитать, но остальное-то как? «Опять отвлекся! – раздосадованно подумал Валерьев. – Вот были бы у меня шоры, как у лошадок, чтобы глазками по сторонам не стрелять... Хотя с шорами я бы просто башкой бы вертел, шоры тут не спасут!...» Подумав так, он принялся творить Иисусову молитву и вскоре сосредоточился на службе.

«Короче, на чем я остановился? – строго спросил себя Миша, приструнивая мысли, расплзшиеся по воспоминаниям о детстве, и слушая укоризненное жужжание плененной пчеловидки. – А остановился я на том, что православных мне не понять до тех пор, пока сам я не стану православным. А если я превращусь в православного, то не смогу

и не захочу объективно писать об иноверцах. И так, кстати, с любой религией. И если я куда-нибудь вживусь до такой степени, что надену на глаза шоры этой религии, то как писателю мне придет писец, причем пятилапый. И что же выходит? Выходит, что писатель должен быть оборотнем-притворяшкой-имитатором, а иначе он будет дудеть в одну дуду и этой своей дудой довольно быстро заколебает читателя. Писатель должен быть свободным!» – решил он и, разжав пальцы, отпустил пчеловидку, после чего поднялся с лавочки и вернулся в церковь. Солев не стал проходить вглубь храма, а остановился в притворе, в месте, удобном для наблюдения, и мысленно скаламбурил: «Притвор – для притвор!»

Гена почувствовал, что в его затылок уперся чей-то взгляд, но оборачиваться не стал. Ему были не в новинку подобного рода искушения во время молитвы: или почесаться захочется нестерпимо, и если поддашься, то всё молитвенное правило прочешешься, как шелудивый, или слух вдруг обострится, так что через пять стенок всё слышно, и если станешь вникать в этот звуковой винегрет, то молитва в нем утонет... А теперь вот взгляд в затылок... Фигушки, не поддамся! И действительно, неприятное ощущение вскоре исчезло.

«А ведь многие чувствуют, когда на них смотрят, – подумал Миша. – Хорошо, что мой прототип не из таковских. Что же мы имеем, при взгляде со стороны? Крестится, кланяется – всё вовремя, даже с опережением небольшим... Де-

тальянка! Хочет показать, что знает службу, – выпендривается влегкую... «Отче наш...» запели – он поет громче нужного, та же хрень... Кажется, это гордыней называется».

А Валерьев во время всеобщего пения нет-нет да и по-сматривал направо от себя и радостно отмечал, что они тоже открывают рот, неотрывно глядя в лицо голосистого дьякона, поющего и дирижирующего на солее. И еще Гена заметил у них в руках книжечки, а значит, можно и без чтения по губам обойтись. «Молодцы какие! – подумал он. – Подойти бы к ним и спросить, как они дошли до жизни такой. И Валю бы Велину сюда, чтобы переводила... Опять отвлекся!..» Впрочем, уже можно было и отвлечься: Царские врата затворились и задернулись занавесью и где-то на клиросе невидимая псаломщица принялась четко вычитывать молитвы перед причащением – сколько успеет, пока врата не раскроются. «О чем они, интересно, говорят сейчас? – пытался понять Гена, наблюдая за оживленной жестикуляцией. – Эх, Валю бы сюда!»

«Я фигею!» – мысленно воскликнул Миша Солев, глянув чуть правее своего прототипа. Там стояли парень с девушкой и разговаривали на языке глухих. И ведь они всю службу, похоже, простояли, надо же!.. Но вот вынесли Чашу, все попадали на колени, даже глухая парочка, и Миша слегка склонил голову в знак уважения к чужой вере. «Сейчас причастие будет», – догадался он.

Гена не причащался в этот раз. Стоя в сторонке, он ува-

жительно наблюдал за вереницей людей со скрещенными на груди руками и пел «Тело Христово...». «Много сегодня, – подумал он. – Надо было в три Чаши». Среди причастников он заметил и глухих и всё гадал, как же они поступят, там же имена называть надо... Ничего, справились: подали на бумажке, и даже не подали, а всё время, пока шли к Чаше, держали меж пальцев... Ах, умницы! Гена возликовал, будто сам в этот момент причастился.

Ко кресту Миша подходить не стал, и, пока дожидался остальных Солевых у выхода, размышлял о том, что что-то во всем этом есть, а что именно – ему не понять, и было обидно. «Ну, обида – ладно, переживу, – думал он. – Но ведь рассказ-то я пишу от имени православного вьюноши! Не взгляд на этого вьюношу со стороны, а от имени. То есть православные шоры для моего героя органичны, они ему в височные кости вросли. А на мне этих шор нет, я запросто могу лажануться, и тогда какой-нибудь православный читатель скажет мне: «А ты, дружок, врешь». И будет уже не обидно, а стыдно!.. Что же делать?» Мимо прошел прототип с непонятной легкой улыбкой на губах – сделал вид, что не заметил, а может, и вправду не заметил, у дверей трижды перекрестился, обернувшись к иконостасу, и испарился. Сфинкс, блин, джакондообразный!

На церковном дворе задумчивый Гена чуть не столкнулся лоб в лоб с задумчивым священником – едва разминулись.

– Извините, – пробормотал юноша и вдруг воскликнул,

складывая ладошки крестиком: – Отец Димитрий! Благословите, отец Димитрий!

Приняв благословение и восклонившись, он улыбчиво посмотрел в лицо батюшки и спросил:

– Вы меня не узнаете?

– Простите великодушно... – замялся тот и вдруг лучезарно улыбнулся. – Гена, кажется? Ведь это вас я причащал зимой в больнице?

– Да. Простите, что так и не побывал у вас в церкви, – привык в собор ходить. Вы ведь в Крестовоздвиженской служите?

– Служил. Теперь сюда перевели.

– Замечательно! Значит, вас можно поздравить с повышением?

– Да как сказать... – молвил отец Димитрий, заметно погрузнев. – Архиерей перевел к себе поближе, да от греха подальше... Впрочем, юноша, вам в наши поповские проблемы вникать не обязательно, – спохватился он.

– А Павел, – спросил Гена, – тот, что со мной в одной палате лежал, – вы его видели после больницы?

– Видел, и не раз, – ответил священник и вновь улыбнулся. – Сегодня он был здесь, я исповедовал его перед поздней обедней.

– Ничего себе! – воскликнул юноша. – Сплошные неожиданности: то знакомый мой пришел непонятно зачем в храм, ни разу не перекрестился, то глухонемые появились, впол-

не воцерковленные, теперь еще вы с Павлом – и всё в один день...

– Да уж, густо! – согласился батюшка. – А глухонемые – это мои прихожане, из Крестовоздвиженской. Я их и венчал. Замечательные ребята! Простите, Гена, мне сейчас младенца крестить...

– Конечно-конечно, до свидания!

– С Богом! – произнес отец Димитрий и пошел своей дорогой.

– Ну как, удовлетворил любопытство? – иронично поинтересовался Виктор Семенович, подходя к пасынку.

– Удовлетворил, – мрачновато ответил Миша. – Пойдемте, а то я вас уже заждался.

Когда семейство Солевых вышло из собора, отчим продолжил расспросы:

– Ну а зачем ты всё-таки пошел, если не секрет?

– Витя... – укоризненно протянула Софья Петровна.

– Не секрет. Пишу рассказ о православном вьюноше – вот и решил подсобрать материала.

Насладившись жесткостью ответа и одновременно отметив, что в таком наслаждении есть нечто извращенное, Миша улыбнулся.

– А я-то думала... – грустно пробормотала мать и умолкла.

– Не переживай, Соня, – сказал отчим и, глянув на Мишу, который неотрывно смотрел куда-то в сторону (кажется, на

тонкого русоволосого юношу, беседующего с молодым священником), – глянув на Мишу, отчим спросил: – И что, думаешь, получится?

– Что? – встрепенулся тот.

– Ну, получится у тебя написать рассказ о православном вьюноше?

– Получится, если постараться, – рассеянно ответил Миша.

– Но ведь ты не сможешь правдиво изобразить его внутренний мир! Как бы ты ни ухищрялся, всё равно проколешься на какой-нибудь ерунде. Разумеется, и православные вьюноши бывают разные, но кое-что общее у них есть, а ты этого общего не знаешь. Не знаешь, к примеру, что мы чувствуем на службе; хотя ты и был сегодня с нами, но в качестве зрителя, а не участника. Зритель и участник чувствуют по-разному...

– Да знаю я! – раздраженно воскликнул парень. – Сам сегодня об этом думал.

– И что же следует сделать, чтобы избежать ошибок?

– Чтобы избежать ошибок, следует перейти в категорию участников, то есть стать православным. Полный ответ, пять баллов, возьми с полки пирожок...

– А ерничать к чему? Ответ, что ли, не нравится?

– Не нравится! А если мне через год захочется о буддисте написать – что ж мне, буддистом становиться?

– Придется писать о буддисте с позиции православного

выноши, – улыбнулся Виктор Семенович. – По-другому у тебя и не получится, если станешь православным.

– Но ведь любой буддист скажет, что это вранье.

– Скажет, и со своей точки зрения будет прав. Поэтому позицию нужно заявлять сразу, а еще лучше – не писать о буддистах, раз уж так дорожишь их мнением.

– Логика у тебя, дядя Витя, железная. Я и сам додумался до того же. Поэтому решил не становиться никем, чтобы сохранить свободу в выборе темы. Не хочу надоедать читателю.

– Ну, Михайло Николаевич, тут ты не прав. Никем быть нельзя. Если ты не буддист и не православный, то всё равно какое-то мирозерцание у тебя имеется – то ли светское, то ли стихийно-мистическое, то ли еще какое (я к тебе внутрь не заглядывал). Поэтому, если ты попытаешься описать внутренний мир православного или буддиста, то соврешь, а если напишешь о себе или себе подобных, то будешь правдив. Нет у тебя такой душевной пластичности, чтобы полностью перевоплотиться, да и ни у кого нет. Например, Акунин. Писатель талантливейший, изумительный стилист: как он делает свои романы под девятнадцатый век – это же просто блеск! Но вот взялся писать о православных, а у самого мирозерцание светское, с легким восточным уклоном. И что же получилось? Архиепископ у него, Митрофаній, – такой вроде бы, что православнее и некуда, изумляется, что монашка верит в сатанинскую одержимость. И поучает ее,

что нет, мол, никакого беса, а есть зло, бесформенное и вездесущее. Бесы – это, мол, суеверие. И ведь Акунин на полном серьезе считает, что если уж архиепископ умный, то в бесов верить не должен! Есть такая поговорка: Бог шельму метит. Вот и с тобой что-нибудь в этом же роде приключится, если не за свое возьмешься.

Виктор Семенович замолчал и вопросительно взглянул на пасынка. Тот задумчиво смотрел под ноги. Подошли к кладбищенским воротам. Трое Солевых перекрестились на маковки храма, а Миша не стал. Когда ворота остались за спиной, парень сказал:

– Но ведь тогда писатель обречен либо на однообразную правду, либо на разнообразное вранье! Однообразие быстро надоест читателю, а во вранье могут уличить. Что же делать?

– Лучше не врать и писать о том, что знаешь, – ответил отчим. – Даже если у писателя ярко проявляется его религиозная принадлежность, это не значит, что он будет интересен только единоверцам. Например, Достоевский за рубежом – самый популярный русский писатель, а много ли там православных? Да и мне, если хочешь знать, очень интересно читать Пелевина, хотя он явный буддист. Правда, когда он со своей позиции пытается охарактеризовать христианство, то получается глупо: ну, помнишь, его сопоставление христианского мироустройства с тюрьмой или зоной и образ Бога с мигалками... А разве наш Бог с мигалками? С мигалками, спрашиваю, наш Бог? – весело повторил он, взъерошив Же-

не волосы.

– Не с мигалками, а с Евангелием, – ответил мальчик.

– Вот и я о том, – подтвердил Виктор Семенович. – А вообще, Миша, поступай, как знаешь. Походи в церковь, с нами поговори, – может, и поймешь что-нибудь, тогда и рассказ получится.

Глава одиннадцатая

Студенческий лагерь – довольно приятная штука. Уж можете мне поверить: я был там совсем недавно, с месяца назад, в августе. За этот месяц я не раз и не два мысленно возвращался туда, вот и теперь привычно пропускаю меж пальцев липкое комковатое тесто воспоминаний. «Что за дикие метафоры? – спросите вы. – Какое еще комковатое тесто?» А я отвечу: «Да вот же оно, вот и комок застрял меж безмянным и мизинцем... Не угодно ли полюбопытствовать?»

Комок скрутился на воспоминании о девочке по имени Вали. Она была тихонькая и смиренная – такая коровенка-буренушка, а впрочем, довольно красивая (особенно на лагерном фоне). Смеялась она мелодично и с детской простодушностью, а когда мы играли в бадминтон, воланчик иногда застревал в пышных волосах Вали...

Что, читатель, разлакомился? Ты уже, наверное, предвкушаешь исповедь о лагерном романе и, возможно, исповедь весьма откровенную – со страстными сценами в лесу, на травке, где можно напороться на колючую сухую ишишку и где светотеневой камуфляж скользит по разгоряченным телам... А обломись, голубчик! Не было никакого романа, даже узаконенного объятия в медленном танце не было. Лишь

игра в бадминтон, где я виртуозно поддавался, втерлась в память.

И еще глаза – серые, водянистые, слеповатые. Валины глаза напоминали рыбы – такие же угловатые и приплюснутые. И сразу же, вслед за глазами девочки, безо всякого перехода, вспоминалась деревня, рыбалка, щука, откусившая мормышку уже на берегу, – щука с глазами Вали. Рыбина крепко схлопнула пасть, а мой брательник, чтобы добраться до мормышки, беспощадно надавил на щучьи зенки, кроваво вбуравил их глубоко в глазницы. Из молчаливой рыбьей пасти, медленно приоткрывшейся, выплеснулся тихий склизкий вопль.

Вопль ослепленной щуки как-то странно переродился в сыпучий смех солагерника, жившего со мной в одной комнате. Смеялся парнишка над собственным анекдотом такого содержания:

«– Рыбонька, передайте на билетик!

Женская логика: «Рыбонька – значит, щука; щука – значит, с зубами; с зубами – значит, собака; собака – значит, сука...».

– Гражданин! Он меня сукой обозвал!»

И бесчисленное крупинчатое «ха-ха-ха!»...

Такой вот комок попался мне в липком тесте воспоминаний, пропускаемом меж пальцев. Я шел, и мне вспоминались корабельные сосны, хвоя и растопорщенные шишки под ногами. Вспомнился фанерный щит перед мужским туалетом.

том и единственное граффити на нем – крупная омега женских грудей. Вспомнилась и неровно пульсирующая дискотека с диджеем-неумехой; до полуночи десятки молодых тел дергались в длительной агонии, а затем утихомиривались, и дискотека умирала. Многого вспоминалось, многое...

В последнее время – время будничное, университетское – мне частенько представлялось, как я возвращаюсь в лагерь. А там ничегошеньки не изменилось с моего отъезда – зачем чему-то меняться, если я этого не вижу?

Как в знаменитой сказке, застыли люди, не завершив движения, застыл ветер, перестав быть ветром, застыло полуденное солнце. Жизнь и смерть, взявшись за руки и насвистывая детскую песенку, покинули лагерь и отправились ловить бабочек.

И тут, как мне блазило иной раз, я вернусь в лагерь, прогуляюсь по нему, летаргически спящему, и увижу беспомощную хвоинку, стиснутую в алмазном воздухе. И я потянусь к ней, и сорву с места горемыку, не долетевшую до земли, и лагерь оживет. А я вновь прогуляюсь по нему, живущему как ни в чем не бывало, и встречу повариху. Она наорет на меня, потом скажет, что все только что уехали, потом объяснит, как добраться до дачного автобуса, потом, жадостливо глянув, предложит бутерброд с сыром. Но я откажусь, хотя очень люблю бутерброды.

Пожевывая хвоинку, сдернутую с воздуха, я пройду мимо железного мухомора, торчащего из земли под тем же углом,

что и Пизанская башня. Загляну в свой корпус, в свою комнату, посмотрю на бесстыдно голые сквозные тела коек и пойму, что это не мой корпус, не моя комната и нет здесь ничего моего, кроме гвоздя в стене. По дорожке, мощеной грязно-белой плиткой, я доберусь до умывальни, похожей на железнодорожный туннель или очень чистую конюшню. Поверну один вентиль, другой, поглажу хилую струйку из крана и, сплюнув хвоинку в рыжевеватую ржавую раковину, прополощу рот зуболомно-студеной водой.

А затем можно подойти к жизни и смерти и, вежливо поклонившись обеим дамам, поинтересоваться, сколько бабочек они поймали в мое отсутствие.

Напившись кофе и прочитав написанное пару дней назад, Гена Валерьев принялся задумчиво грызть шариковую ручку. «И что же дальше? – размышлял он. – Из лагеря много не выжать: не писать же, в самом деле, рассказ о студенческой жизни... Я эту жизнь, к тому же, и не знаю толком: о лекциях и экзаменах рассказать могу, но ведь главные-то компоненты студенческой жизни – это пьянки-гулянки да любовь-морковь... С эротическим компонентом – полный аут: классическая литература плюс учебник по анатомии и физиологии – этого, конечно, маловато... И скучно всё это, обыденно, бессмыслица какая-то!»

Валерьев выдернул ручку изо рта и шваркнул ею о стол, а потом с минуту сидел с закрытыми глазами, успокаиваясь

и сосредотачиваясь. «Жили-были студенты Раскольников и Разумихин, – подумал он с усмешкой. – Случались у них и пьянки-гулянки, и любовь-морковь. И в результате получилось «Преступление и наказание», а не молодежная комедия. Отсюда вывод: дело не в материале, а в умении с ним обращаться. – Гена взял со стола ручку, повертел ее меж пальцами и привычно сунул в рот, потом вынул и сжал в ладони, обиженно подумав: – Сволочь вы, господин Фрейд!»

Затем он вытянул из пачки чистый лист, изобразил в центре горизонтальную восьмерку и принялся зеркально пририсовывать к обеим ее частям округлые и угловатые наросты. Рисунок замысловато усложнялся, сохраняя прежнюю симметричность, а юноша вспоминал студенческий лагерь и текст, сконструированный на материале воспоминаний. Ему было приятно, что Валю он не тупо списал с Велиной, а поселил ее в тело одной пышноволосяй девчонки с рыбьими глазами (пару раз играли в бадминтон и однажды – в карты, там-то и глаза приметил). Гена решил, что и образ рассказчика не должен быть стопроцентно автобиографичным: поселим-ка его в «деревяшку», в шестиместную комнату – каково ему будет молиться?.. Может, он тогда уж и Валю эту отымеет? Засандалим нашим любимым читателям крутую эротику – пусть кушают, – а сами будем посмеиваться в сторонке! Хватило ведь один раз в лес с книжкой сходить, чтобы перенести светотеневые пятна с книжных страниц на разгоряченные тела. А в сортире, бывало, комары за задницу кусали –

и больно, и согнать хочется, а затруднительно. Эту бы комариную пытку – туда же, в эротическую сцену: ситуация-то сходная! «Нет уж, – думал развеселившийся Валерьев, – не стоит. А то проколешься на какой-нибудь мелочи – краснеть придется».

Поразмыслив, он решил и вовсе не писать о любви, а если уж писать – то о мощнейшей и глубочайшей из возможных – о любви Бога к человеку. Решив так, Гена вдруг увидел очертания рассказа и поспешно перевернул лист с причудливым двукрылым рисунком чистой стороной вверх. Набрасывая план рассказа, юноша напряженно думал: «Две сферы, две противоположные симметричные сферы... Параллелизм, сплошной параллелизм и симметрия, чем больше параллелей – тем лучше. Самая очевидная параллель – сцена забивания костыля и сцена облачения архиепископа. Так и запишем... А лагерь будет прологом, звуком камертона; ключевое слово – «оскотинился». И девочка Валя тут ни при чем: хватит и того, что он молиться перестал».

Гена с улыбкой вспомнил, на какие ухищрения ему приходилось идти, чтобы продолжать жить молитвенной жизнью после того, как в его комнату подселился Гриша. «Ни разу не пропустил и сохранил в тайне, – горделиво отметил юноша и после продолжительного внутреннего молчания попросил: – Господи, благослови!» Приподнявшись со стула, он перекрестился, вновь сел, взял чистый лист и принялся за рассказ.

*Даждь ми, Господи, слезы, да
плачуся дел моих горько.*

Канон покаянный

Я основательно продрог, прежде чем пожилой грязно-голубой троллейбус подполз к остановке. Потирая иззябшие руки, я вбуравился в многолюдные внутренности троллейбуса и встопорился, достигнув поручня. На следующей остановке вошли старушки – все как на подбор такие, каким уступают место. Неподалеку зазвенело: «Садитесь, пожалуйста!» – а несколько бабулек стали возле меня.

«Похоже, из церкви, – решил я, глянув на умиротворенные старушечьи лица. – Значит, праздник сегодня какой-то: нет по понедельникам ранних обеден».

– Сегодня архиепископ служить будет, – мягко молвила одна из старушек. – Можно было встретить...

– И полтора часа ждать? – ответила другая.

– Не полтора, а час всего...

Бабулька, сказавшая о полуторачасовом ожидании, вздорно подернула плечиком, и обе собеседницы разом принялись подводить одинаково крохотные наручные часики. С каким эталоном они сверялись – Бог весть.

Троллейбус мягко подвалил к остановке. «Слишком уж часто здесь остановок понатыкали! – недовольно отметил

я, качнувшись к поручню. – Архиепископ служить будет...
Что ж за праздник сегодня?»

Я мимовольно скосорыллся: в расплзшиися двери вишат-
нулся пьянехонький мужик – смрадный, грязный и щетини-
стый. «Бывают же такие...» – неприязненно подумал я, от-
ворачиваясь, а мужик возьми да и ляпни:

– С праздничком вас всех! С Воздвижением!.. Я вот вче-
ра службу вечером отстоял, свечку поставил... Ща вот на-
бухался, опять скотом стал... Якоже бо свинья лежит в
калу, тако и аз греху служу... – Он помолчал, сосредото-
чиваясь, и вдруг изрек, тыча во все стороны указательным
пальцем с грязным ногтем: – А вы всё одно хуже меня: я-то
хоть в церкви человеком был, а вы так и живете скотами!

– Да уймись, Петруша! – урезонила старушка, говорив-
шая об архиепископе.

– Кто там? – встрепенулся Петруша. – А, тебя я видел
в церкви, не про тебя я... Но они, они, они!.. – Указующий
перст угодил мне в солнечное сплетение. – Они разве люди?!
Звери – вон как скалятся, так бы и растерзали...

Троллейбус колыхнулся и стал, дверной прогал со скреже-
том оголился, и я полубессознательно сиганул вон. Отшагав
немного от остановки, я оглянулся и увидел, что многору-
кое троллейбусово нутро исторгло Петрушу и тот теперь
стоял, пошатываясь, шарил глазами окрест, ища опоры, и
всё грозил кому-то пальцем.

Я отвернулся и перебежал шоссе, а перебежав, пошел

дрызгливым нервическим шагом, а пройдя так сколько-то, совершенно бездумно, вдруг спохватился: «Да куда ж это я? Зачем выскочил, зачем обратно иду?» – «Да как же, родимый? В церковь вы идете, в церковь! – ответил я самому себе мягким и поношенным, как дачная одежда, голосом, мною же изобретенным. – Праздник ведь сегодня великий, двенадцатый – Воздвижение Креста Господня. Как же не сходить?» Я тряхнул головой: вот ведь взял манеру говорить с самим собой – бред ведь, шиза натуральная! Зачем было придумывать этого странного собеседника – просторечного и степенного? Скучно мне, что ли, было мыслить обычным образом, лень ли?.. Трудно ответить: я уже забыл, а может, и не знал вовсе, когда и почему впервые появился тот голос.

Я проходил мимо большого сруба, – точнее, не сруба, а лишь коробочки, стоящей углами на двух длинных бетонных блоках. Вокруг было натёрхано много стружек и щепы. «Избушка на лыжах, – подумалось мне. – Почему на лыжах? А потому что крыши нет, съехала крыша – совсем как у меня... Ну, теперь всё, теперь хватит, теперь никаких незримых собеседников – наигрался».

Глянув на часы, я вспомнил о махоньких старушечьих часиках, о пьянехоньком троллейбусном проповеднике и вздрогнул. До службы оставалось чуть больше часа.

«А прав он, тот Петруша, – самоистязательно мыслил я. – Ведь я даже о двенадцатом празднике забыл, даже пе-

ред едой иной раз не молюсь – и нет страха, нет ощущения греха, нетушки!!! А в лагере-то, в лагере – совсем оскотинился!.. Вспоминать тошно...»

Но я вспоминал. Вспоминая, я свильнул в сторону, на широкую неасфальтированную дорогу между частными домами, в основном деревянными, и пошел в гору. Свороток, нужный мне, был дальше, но я почему-то пошел здесь, – возможно, возникло детское желание заблудиться, а потом отыскивать путь; или же я предчувствовал вероятность как-то изничтожить тот оставшийся час... Не могу сказать точно, поскольку желание это было подспудным, а я лишь шагал в гору и вспоминал.

* * *

Гена Валерьев поставил после написанного три звездочки и изможденно откинулся на спинку стула. «Вот и начало появилось, – вяло подумал он. – Дальше пойдет про лагерь, всё состыковалось... Пора обедать». Слегка пошатываясь, он отправился к маме – узнать меню; Тамара Ивановна, столь же голодная, как и ее сын, смотрела телевизор; была суббота, конец первой учебной недели.

- Давай обедать, – предложил Гена. – Что у нас там?
- Лапша из пакетов и риса немного осталось.
- Лапша так лапша.

Юноша пообедал на кухне, чтобы не видеть идиотичного телешоу. Во время трапезы он думал о Петруше – точнее, о

его прототипе. Троллейбусный проповедник ассоциировался с неким прицерковным нищим – хромоногим и придурковатым. Гена уже более года не видел того нищего, и было непонятно, почему при написании вымышленной сценки с тыканьем перстом возник образ хромоногого. Весьма загадочным было и то обстоятельство, что параллельно с нищим вспоминалась больница, где Валерьев прошлой зимой лежал с воспалением легких. Болел тяжело, едва выкарабкался – случай, достойный описания, – но в контексте нового рассказа о нем говорить незачем, а пьянехонький Петруша тут и вовсе ни при чем. Странно, одним словом.

Ближе к вечеру юноша вновь засел за рассказ: хотел добить воспоминания о лагере, чтобы потом, не отвлекаясь, разрабатывать основную симметричную антитезу (именно так он и подумал, усаживаясь писать, – «добить воспоминания о лагере»). Сперва Валерьев перечитал написанное утром и кое-что выправил, потом проделал то же самое с куском, который начинался с утверждения, что «студенческий лагерь – довольно приятная штука» и заканчивался воображаемым возвращением в летаргически спящий лагерь.

– А затем можно подойти к жизни и смерти и, вежливо поклонившись обеим дамам, поинтересоваться, сколько бабочек они поймали в мое отсутствие, – с удовольствием прочитал Гена и застрочил дальше.

Так, по крайней мере, мне грезилось несколько раз, и гре-

зы эти становились почти навязчивыми. Но сейчас, шагая в гору и пропуская меж пальцев липкое тесто воспоминаний, я понял, что никогда уже не вернется та романтическая блажь. Ее навсегда вышиб мясистый палец Петруши, угловатый мне в солнечное сплетение. Прав, прав был троллейбусный прозорливец, причислив и меня к зверям!

И я вновь затеплил мысль, притушенную скопищем воспоминаний: «А в лагере-то, в лагере – совсем оскотинился!»

Студенческий лагерь уже не казался «довольно приятной штукой», он ассоциировался со свинарником – свинарником, правда, чистым, благоустроенным, приятным даже в своем роде, но – свинарником. И обитали в том свинарнике здоровенькие жизнерадостные поросятки: в урочный час они вприпрыжку бежали к кормушке, а в перерывах между кормежками занимались разным: кто-то гулко стучал картишками по гнутой юбочке железного мухомора, кто-то сладострастно глядел на миниатюрную шашечную доску, где наклеывалась такая комбинация, что лучше посмотреть в сторону. А там, в стороне, кто-то, почесывая бычью шею, глядел на голубую дверь, потом гулко стучался и сладострастно слушал мягкие шаги девочки в облегающей юбочке...

Впрочем, я был ничуть не меньшим свинтусом: я тоже только тем и занимался, что играл в бадминтон и картишки; частенько я заглядывался на двери женских палат с тем же чувством, что и на оборожительную шашечную рос-

сыть, и прикидывал возможные комбинации, но тут, к счастью, дело дальше помыслов не пошло. А как я молитвенные правила соблюдал – зашибись! Куда уж там до меня старцам-аскетам... По приезде в лагерь я чуть ли не мучился: да как же быть, ведь нельзя же лечь спать без молитвы... Можно, оказывается! В первую ночь я на коротенькую культу времени остался один в палате на шестерых: трое зарулили к своим пассиям, двое отлучились по делу более прозаическому... Вот тут-то я как вскочу с постели, как приостановлюсь на мгновение, вычисляя восточный угол, и – к нему, родимому.

Но я еще не успел дочитать «Отче наш», когда послышались шаги, и я примолк на полуслове, и забыл горнее, и зыркнув на дверь, пугливо юркнул в постель. Застыдился! А может, и правильно сделал, что не молился при других, – ведь смеялись бы надо мной, юродивым считали... Нет уж, вру, отмазки леплю – просто струсил, и всё тут.

Потом я пробовал молиться тайком, лежа в постели, но как вам понравится, если в Символ веры, мысленно читаемый вами, внезапно вклинивается чей-то скабресный анекдот, хотя бы про ту же рыбоньку, и вы вынуждены смеяться? Грех один, да и только. Утренние молитвы я еще кое-как читал, пока одевался и шагал зябкой ранью к нуужику. Но на четвертый день я и вовсе прекратил молиться, даже перед едой, и стал точно таким же поросенком, как и остальные солагерники. И ни разу ведь не вспомнил, что

был человеком!

«Да, оскотинился я в лагере, оскотинился! – устало как-то и почти машинально подытожил я. – Вот только с чего я взял, что другие солагерники не молились, – следил, что ли? Так что я был грешником, а кто остальные – не мне решать».

Внезапно что-то крепенько ударило меня по маковке, отскочило, и я, вывалившись из мысленного мира, уставился на румяное райское яблочко, прытко покотившееся по дороге. «Вовремя оно, это яблочко, – со странноватой веселостью решил я. – А то уж и думать не о чем... Откуда вот только?»

– Эй, Ген! – окликнул некто.

«Узнают на улице и закидывают райкой. Популярность!» Я обернулся на голос, саркастически прихихикивая, и беззлобно полюбопытствовал:

– Совсем, что ли, мозги не шурупят?

Валерьев поставил под текстом три снежинкообразные звездочки, подумав не без удивления: «И в рассказе меня, оказывается, Геной зовут. Ну-ну...»

** * **

– Можно было Гену позвать, рыбачка, – сказал Миша, прикрепляя крючки внутреннего купола палатки к алюминиевым дугам. – Всё-таки он нам эту полянку показал.

– По-моему, он был бы здесь пятым лишним: я – с Леной, ты – со Светой, – ответил белобрысый Степа, тоже пощелкивая крючочками.

– Ну, и он бы с собой кого-нибудь взял – здесь можно и вшестером уместиться.

– Звал бы. У меня, например, его телефона нет... Заррраза! – Петелька, прихватывающая перекрестье дуг, никак не хотела застегиваться.

– У меня тоже нет. По ходу, он никому телефона не оставил... Давай помогу.

– Подтяни ткань к дугам, а я застегнуть попробую... Наконец-то! Если телефона не оставил, значит, видеться не хочет. Чего ж ты тогда к нему лезешь?

– Нужен он мне больно – лезть к нему... Просто он прототип...

– Чей прототип? – удивился Степа, разворачивая верхний покров палатки. – Берись за другой край и накидывай сверху... Вот так. Чей, спрашиваю, прототип?

– Черт! Чуть глаз не выколол поперечиной!

– Осторожнее надо. Нашупал на ткани хреновину такую, вроде колпачка? Вот туда поперечину и вставляй. Вставил?

– Вставил. Я рассказ сейчас пишу про выюношу, который очень похож на Гену. Получается, что прототип.

– И чем же похож? Внешностью, поведением, внутренним миром?

– Ну да.

– Зачем же тогда тебе Гена? Ведь смотри. Внешность его тебе известна. Его внутренний мир – terra incognita, он, насколько я успел его понять, никого туда не пускает. О внутреннем мире можно отчасти судить по поведению, но поведение различно в различных ситуациях, а ситуаций великое множество. Кстати, Гену у костра ты уже видел. А вообще, главное тебе всё равно придется придумывать. Тебе, наверное, даже лучше будет, если ты и вовсе этого Гену больше не увидишь. Тогда прототип не будет давить на героя.

– Теоретик, блин! – усмехнулся Миша. – Ты бы статью написал о природе творчества. А перед ней пустил бы утку, что вот, мол: я – великий писатель, но скрываюсь под псевдонимом. Сейчас, ребятки, я научу вас, как писать надо.

– Да уж, без громкого имени такую статью писать сложно, – согласился альбинос Степа. – Но с другой стороны, Белинский был бездарным писателем и гениальным литературоведом.

– Ладно, Белинский, давай палатку ставить, – примирительно сказал Солев. – Чего там дальше?

– Натягивай петельки по краям и втыкай в них колышки. Бери половину.

– Давай. – Миша взял пучок алюминиевых колышков с крючкообразным верхом и, легко вдавливая их в почву, произнес: – С тобой вообще-то приятно поговорить на отвлеченные темы: сразу чувствуешь, что и сам не дурак. Но теория – одно, а практика – другое, и Гена мне нужен.

– Ну, найдем тебе Гену, раз так. Филфак, второй курс – делов-то... Потом организуем что-нибудь совместное, попробую его разговорить.

– Спасибо, Степ.

– А что, рассказ не пишется?

– Не пишется, чтоб его... Ладно, не буду портить себе настроение. Готово, что ли?

– Вроде бы. Девчонки, оцените!

Лена и Света, занимавшиеся организацией ужина, подошли к палатке и оценили ее положительно, причем Света была более сдержанна, а Лена, по своему обыкновению, попрыгивала и повизгивала от восторга.

– Напоминаю, что палатка Гришина, – сказал Степа. – Так что если мы ее прожжем или порежем, то придется покупать новую. Короче, будьте внимательны.

– Люди, а почему Гриша всё-таки не поехал? – спросила рыженькая Лена.

– Дела амурного свойства, как всегда, – ответил ее любимый альбинос, знающий всё на свете – даже то, как ставить палатку.

– И хорошо: ночью места будет побольше и храпеть никто не будет, – высказался Миша и обратился к Степе: – Пойдем-ка, друг, за дровами, а то стемнеет скоро.

– Пойдем. А вы, девочки, ведите себя прилично в наше отсутствие.

– Это уж как получится, – откликнулась Света. – Идите,

мальчики.

Разводя костер, Миша вторично пожалел, что рядом нет Гены. И как это у него получалось с одной спички? Тут уже полрулона туалетной бумаги извел, скоро подтираться будет нечем, а толку нет. Кажется, он кору какую-то использовал вместо бумаги – березовую, что ли, а если берез нет поблизости, тогда есть другой способ разжигания, тоже верный... Вот только какой – забыл... Ну, наконец-то! Разгорелось! Отмучился.

– Предлагаю выпить за старую добрую «Комету», наш лагерь, – произнес Миша, когда все присутствующие были готовы к этому.

Пластмассовые бокалы, всклень наполненные пивом, соприкоснулись, породив тихий, несерьезный, пустоватый, дешевой звук. «А стаканчиками было бы и вовсе беззвучно», – подумал Солев, отпивая первые несколько глотков.

– И как вам показалась «Комета»? Давайте выскажемся по очереди, как – помните? – в ночь перед отъездом, когда в «ассоциацию» играли, – предложил Степа. – Итак, с чем у вас ассоциируется увиденный сегодня лагерь?

– С собакой, которую оставили дачники, – сказала Лена. – Раньше с этой собакой играли, кормили ее, а потом оставили, уехали в город – и она одичала. Мы же видели сегодня такую собаку, Белку, она еще зарычала на нас...

– Грустные у тебя ассоциации, – отметил Степа, внимательно глянув в лицо подруги, которое без привычной улыбки

ки стало совсем другим, – пожалуй, даже некрасивым, но в этой некрасивости было что-то драгоценное, как в барбóчной жемчужине. «А она, дурочка, считает, что я ее за веселость люблю!» – подумал он и нежно обнял рыженькую, а та, встрепенувшись и интенсивно заулыбавшись, затараторила:

– А еще лагерь похож на грибной питомник. Вы заметили, сколько там грибов выросло?

– Да, грибов много, – согласился Степа с неприятной лаконичностью. – Кто следующий?

– Давайте я, – отозвалась Света. – У меня всё просто: детский сад, из которого забрали детей. Там же и качели есть, и горка, и грибки...

– Похоже, молодец, – похвалил Миша. – А у меня ассоциация с будильником, у которого кончился завод.

– Он только не звонит или и не ходит тоже? – уточнил приятель.

– Не звонит, и не ходит, и ржавеет потихоньку. Но стоит его завести – и всё возобновится.

– Ну, это и ежу понятно, – сказал Степа. – Отличное сравнение. Сложно говорить после всех: у меня почти такие же ассоциации. Как ни странно, первая ассоциация была с покинутой собакой, даже вспомнился рассказ то ли Чехова, то ли Куприна, то ли Андреева о такой собаке. А может, у всех троих был рассказ о покинутой собаке. От покинутой собаки я перешел к покинутой женщине – не в том плане, что «все бабы суки», а немножко поглубже. Ну, представьте себе: ста-

реющая женщина, последний шанс, вот она и делает с собой всё возможное, чтобы продолжать нравиться, да и влюблена, а это красит, и вот ее всё-таки бросают, и она в течение какого-то месяца опускается: молодильные крема заброшены, макияж стерт, блеска в глазах нет – старуха старухой.

– Супер! – воскликнул Миша.

– И как я тебе без макияжа? – тихо спросила Лена.

– Лучше, чем с макияжем, – тихо ответил Степа и в полный голос продолжил: – Но потом я подумал, что покинутая женщина в моей интерпретации – нечто необратимое, а лагерь оживет на следующий год, и тогда возникло сравнение с паровозом, у которого закончился уголь. Иными словами, это то же самое, что Мишин будильник, но будильник, по моему, всё-таки лучше.

– Да ладно тебе, – заспорил Миша. – Ты нас всех переплюнул с покинутой женщиной. «Комета», кстати, женского рода.

– Пусть так, – скромно согласился Степа. – Но сегодня все были на высоте. А почему? – риторически спросил он и отчетливо ответил: – А потому что мы...

– Натюрморды! – хором рявкнули все четверо.

– Так выпьем за театр «Натюрморды», который помог нам встретиться, – логично завершил белобрысый оратор, поднимая пластмассовый бокал с пивом.

– Кстати, все в курсе, что в понедельник, то бишь послезавтра, юбилей «Натюрмод», в шесть, в актовом? – спросил

Миша.

Все были в курсе.

– А сколько нам стукнуло? – поинтересовалась Света.

– Четвертачок, – ответил ей парень. – Владимир Красно Солнышко организовал театр, когда учился на втором курсе, двадцать пять лет назад.

– Красно Солнышко – это ведь псевдоним, а настоящая фамилия у него какая? И на каком факультете он учился? И где он сейчас? Давай-ка, Миш, рубрика ЖЗЛ.

– Лен, я ведь не энциклопедия. Фамилия, например, мне совсем не интересна. Ты, Степ, знаешь? Даже Степа не знает. А где он сейчас, это мы в понедельник выясним. Может быть, и его самого увидим. А насчет факультета, по-моему, даже глупо спрашивать. ЕГФ, конечно. Все нормальные натурморды на нашем факультете учатся.

– Девчонки, давайте ему «темную» устроим, – предложил Степа. – Я, правда, тоже с естественно-географического, но поучаствую на вашей стороне.

– Кто это тут на историков наехал? – грозно спросила Лена, поднимаясь с одеяла, на котором они со Степой сидели, и двинулась на провинившегося, а ее спутник, подхватив одеяло, стал заходить с другой стороны.

– Вы психи, что ли?! – вскричал Миша, вскакивая и планируя незамедлительное отступление, но коварная Света крепко обхватила его ноги и проворковала:

– Конечно, психи. На начфаке сплошные психи учатся.

Короче, пришлось повиниться, и до экзекуции дело не дошло.

– А вообще, Миша отчасти прав, – сказал Степа после того, как все успокоились, посмеялись и выпили мировую. – Ведь на первых порах «Натюрморды» был исключительно егээфовским театром, да и до сих пор ЕГФ побеждает на студвеснах благодаря театральному костяку.

– Ты, театральный костяк! – внушительно воскликнула Лена, ощутило ткнув парня кулачком в бок. – Тоже «темную» хочешь?

– Боже упаси! – засмеялся он. – Сейчас дров подброшу... А пока я занимаюсь общественно-полезным делом... – Он с хрустом сломал хорошо просохшую березовую слегу. – Пока я им занимаюсь... – Хрусть!.. – Расскажите-ка, что у вас было прикольного в универе в первую неделю... – Хрусть!.. – Про себя с Мишей я всё знаю... – Хрусть!.. – Всё-таки одногруппники... – Хрусть!.. – А у вас, девчонки, что? – Хрусть!..

– Лекции по временному расписанию, стипендию задерживают – ничего интересного, – ответила Лена.

– Стипуху обещали дать послезавтра. – Хрусть!.. – Доживем до понедельника...

– А у нас педпрактика в первом классе, – сказала Света. – Детишки прикольные.

– В какой школе? – Хрусть!..

– В семнадцатой.

– Ну ни хрена себе! – выразился Миша. – У тебя там есть

Солев?

– Есть. Спокойный такой, светловолосый, давно не стриженный. А что – родственник?

– Брат.

– Да уж, городок у нас маленький, – высказал Степа общую мысль, укладывая дрова решеткой на затухающий костер. – Меня в таких пересечениях всегда интересовал один момент: predeterminedены они или нет.

– Помнишь, вы с Геной о том же самом говорили в прошлый раз, ну, у костра – помнишь? – скороговоркой протараторила Лена, почему-то взволновавшись.

– Точно, – согласился он, усаживаясь рядом с девушкой. – Еще один виток спиральки: разговор о фатуме у костра, но уже без Гены. Вопрос всё тот же: то ли мы сами ходим по этой спирали, как в лесу кружатся, потому что одна нога короче другой; то ли кто-то нас по ней водит с непонятной целью. А спираль – вот она, налицо. Миш, ты что думаешь по этому поводу?

– Не знаю. Спираль налицо, согласен. Но неприятно думать, что нами манипулируют. А Гена что говорил?

– Говорил, что predeterminedения нет, но в той области, где время отсутствует, наши будущие поступки уже известны.

– Умно, – произнес Миша, подумав. – И пророчества сбываются, и свобода сохраняется. Но спираль-то откуда берется?

– О спирали мы не говорили. Но если спираль накруче-

на на временную ось, то при исчезновении времени она превратится в круг. Наши два костра превратятся в один, мимо которого мы прошли дважды.

– Прошли, потому что одна нога короче другой или потому что так захотелось поводомрю?

– В том-то и дело, Миша, – усмехнулся Степа. – Вот и мысль совершила круг и так ни к чему и не пришла. Я, к примеру, уже три раза миновал верстовой столбик под названием «суицид» и до сих пор жив.

– Степа, не надо!.. – жалобно попросила Лена.

– Да все знают, чего уж там, – нервно отмахнулся тот. – Наглотаюсь таблеток – и звоню в «скорую». И сижу, жду, кто быстрее – таблетки или «скорая». Вены резал – и дверь в ванную не запираю, ждал, что вытащат. Точнее, проверял, вытащат или нет. А то, что крючок отломился, – штука странная, тут уж я не страховался. В следующий раз, наверное, стреляться придется. Никто не знает, у теперешних пистолетов осечки случаются?

– Дурак ты, Степа, – сказал Миша. – Ленку вон до слез довел. Кому ты что докажешь, если у тебя всё-таки получится?

– Да если б я знал, какую теорему доказываю! – с болью воскликнул экспериментатор и, вскочив, стремительно пошел от костра, но, пройдя десяток шагов в ночь, вернулся обратно. – Помните стихотворение Владимира Красно Солнышко о крысах? Ну, его стихи самиздатовские у нас по рукам ходили... Читали?

– Я читала, – проговорила Лена, шмыгнув носом. – Зачем ты, Степа?

– И что там за крысы? – спросил Солев.

– Только Ленка читала? – уточнил суицидник. – Тогда перескажу, всего не помню наизусть. В общем, стихотворение посвящено подопытным крысам, но оно как раз таки о фатуме. Смысл в том, что каждому – свое. Как уж там...

Всё фатально и просто:

Для влюбленных – поэты,

А на столике кто-то —

Для того, кто с ланцетом.

Но на парне, быть может,

Что над столиком гнется,

Ставят опыты тоже —

И ему отольется.

– Красно Солнышко умен, – пробормотал Солев. – Кстати, у меня рассказ как раз об этом. Называется «Испытание», сразу в двух значениях: и тягота, и эксперимент. Некто высший, скажем, Бог (мой герой верит в Бога), посылает ему тяжкое испытание с целью посмотреть на его реакцию. Ну, как мы кололи лягушкам мозги иголочками, а они лапками дрыгали. А герой дрыгать лапками отказывается. Что будет дальше – пока не знаю.

– Тогда зачем тебе Гена? – спросил Степа. – Какой же он прототип?

– Кое в чем – прототип, – задумчиво пробормотал Миша. – Но в целом – ты прав. Ну его к черту, придумаю! А ты, друг, пиши статью о природе творчества. У тебя получится, серьезно.

– Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось, – молвил альбинос, тускло улыбнувшись. – Напишу, уговорил.

– И вообще ты мне очень помог сегодня. Это даже лучше, чем если бы Гена здесь был. Спасибо.

– Чего уж там, – рассмеялся Степа. – В следующий раз, если решу повеситься, тебя позову. Авось тоже в творчестве поможет.

– Я не в том смысле, – смутился Миша.

– Не парься! А вы, девчонки, что раскисли? Никто не умер, все в добром здравии и умеренном подпитии. Ну-ка, пойдемте друженько светлячков смотреть! Помните, как в тот раз? Вы «Винни Пуха» видели – нашего, про день рождения ослика Иа? Помните, был там грустный-прегрустный ослик, и Пятачок решил подарить ему воздушный шарик, и Пух сказал, что воздушным шариком можно кого угодно утешить. Вот и со светлячками то же самое... Леночка, поднимайся, пойдем, прости дурака! Миш, бери Светку под уздцы и пошли. Шагом – арш!

Светлячков не было, лишь равнодушные звезды сияли – какие-то ненастоящие, будто в планетарии. Степа вспомнил

эпизод из далекого детства, связанный с посещением планетария, и подумал, что вот и еще один виток спирали завершился. Но почему именно сейчас, ведь сотни раз с тех пор смотрел на звезды?.. «Нечего голову ломать, – решил он. – Придет время – сама сломается».

Глава двенадцатая

Во время воскресной поздней обедни Гена приглядывался, не увидит ли Павла, – но нет, не увидел. «Наверное, он на раннюю ходит, я к этому времени не проснусь, – подумал юноша, идучи из церкви. – Да и что я ему скажу? Что поминую его в утренних молитвах? Что не забыл тот сон про лодку, крылья и Галилейское море? Об этом говорить неудобно: слишком уж сокровенное; а об остальном – незачем». Подумав так, он решил, что не станет искать встречи с Павлом, – хватит и того, что они ходят одной дорогой. После того, как решение было принято, Гена вдруг увидел Павла, улыбнулся и, не отвлекаясь более, возобновил молитву.

Миновав кладбищенскую ограду и дойдя до первого попутного ларька, Гена присмотрелся к товару, достал деньги, слегка покраснел, но достаточно твердо произнес:

– Пачку «Герцеговины Флор», пожалуйста.

Взяв покупку тремя пальцами, он воровато сунул ее во внутренний карман ветровки. Из другого кармана юноша вытащил мелко исписанный листочек в клеточку, поискал взглядом нужное место, улыбнулся и пробормотал:

– «Герцеговина Флор» или «Беломор». Всё верно.

Проехав на троллейбусе необходимое количество остановок, Гена Валерьев вышел, миновал свой дом и скрылся в

подъезде соседнего. Целеустремленно поднимаясь на этаж, он вдруг замер на полушаге и задумался: «А ведь это уже было! Летом я тоже заходил к Куре после церкви, он тогда поставил кассету с богохульным названием и предложил обкуриться... Сейчас чуть-чуть по-другому, но в принципе то же самое!» Гена знал, что такие совпадения не случайны, он неоднократно замечал их в своей жизни и по прошествии некоторого времени они очевидным образом вписывались в одну из категорий: либо бесовское искушение, либо промысел Божий. Но на первых порах всегда было неясно, куда отнести неслучайные, на что-то намекающие события, и они тревожили – совсем как сейчас, когда стоишь на лестнице и не знаешь, подниматься ли выше или вернуться.

Прочитав Иисусову молитву, Гена стремительно преодолел оставшиеся ступени и позвонил в дверь школьного приятеля.

Открыла, как всегда, бабушка Куры, то есть Андрея Курина, Андрея, не забыть бы... Обрадовалась гостю, предложила ему тапочки, позвала внука и удалилась на кухню. Потихоньку переместив папиросы из кармана ветровки, оставленной на вешалке, в карман рубашки, где лежал мелко исписанный листок, Гена поздоровался с подошедшим Андреем (не забыл!), и одноклассники прошли в комнату Курина.

– Я по делу, – уведомил Валерьев, и фраза эта породила в нем сложный, отчасти болезненный мысленный отклик: «Да, по делу. Остались только деловые отношения. По крайней

мере, это честно, хоть и жестко».

– Слушаю. – Андрей внимательно глянул на визитера.

– Я пишу, и мне нужен материал. За ним и пришел. Тему ты знаешь. В общем-то материал уже есть, я ведь не первый раз к тебе пристаю... Но нужна некоторая наглядность, чтобы он ожил.

– Долго же до тебя доходило насчет наглядности! – усмехнулся Курин. – Я ведь сразу сказал: надо обкуриться, чтобы изнутри прочувствовать.

– Да не собираюсь я обкуриваться! – возмущенно воскликнул Гена.

– Потихе. Бабушка на кухне, борщ готовит. А ты всё равно потихе.

– Хорошо, буду тихо. Но мне нужно увидеть. Просто увидеть – и всё.

– Ну, увидеть так увидеть, – примирительно согласился Андрей. – Сначала – увидеть, а потом – кто его знает... Короче, тебе повезло: послезавтра вечером будет грандиозная обкурка, человек десять. В основном – из нашего класса. Типа встреча выпускников. Приглашаю тебя в качестве зрителя.

«На ловца и зверь бежит, – подумал гость. – Вот только кто здесь ловец, а кто зверь?..» Вслух же он сказал:

– Ты не понял. Вот тебе папиросы. Ты сам говорил, что нужна «Герцеговина».

– Ну, говорил, – пробормотал Курин, озадаченно прово-

рачивая узкую непечатую пачку меж пальцев. – И что там у тебя еще в кармане? Пакет плана, что ли? И ты предлагаешь обкуриться на двоих у меня в комнате? Или бабушку тоже позовем?

– Не надо бабушку. Плана там нет – это просто листок с интервью о планокурении... То есть получается, что план в этом листке есть, это слово там неоднократно встречается, но искурить его нельзя.

– А папиросы зачем?

– Мне нужно увидеть, как забивают костыль. Покажи, пожалуйста. Вместо плана можно использовать тот же табак.

– Да зачем же тебе этот туфтовый костыль, если ты послезавтра настоящий увидишь? Мы и забьем при тебе, и обкуримся при тебе. Хрен ли учения проводить?

– Ты опять не понял. Послезавтра я с вами никуда не пойду. Надышишься еще... Так что тренируйся.

– Каких только глупостей не сделаешь ради литературы... – ухмылисто спостулировал Андрей. – А мы, как обкуримся, всё равно к тебе придем, к подъезду. Спустишься?

– Спустишь, конечно. Посмотрю на вас, дураков. Вы вечером собираетесь обкуриться?

– Вечером. Так что будь дома.

– Буду. Получается, во вторник, одиннадцатого.

– Одиннадцатого, – подтвердил Курин, распечатывая пачку, и скомандовал: – Стой у двери. Если бабушка будет ломиться, не пускай. Смотри сюда. Запоминай. Второй раз по-

казывать не буду.

«Всё-таки это был промысел Божий, – подумал Валерьев, выходя из подъезда на свежий воздух. – И волки сыты, и овцы целы... Только получается, что и волки, и овцы внутри меня живут. Чудесным образом уживаются. Просто рай какой-то!»

Ему было хорошо.

* * *

«Значит, брат... – подумала Света, внимательно глядя на Женю Солева, но тот вдруг обернулся и посмотрел на нее в упор, так что пришлось пристыженно уткнуться в конспект. – Ух ты какой, братец! С рецепторами на затылке!»

– Не вертись, Женя, – властно сказала Лидия Михайловна, и мальчик отвернулся от тети, которая зачем-то разглядывала его с самого начала урока.

– Чего там? – шепнул Сашка.

– Да так, – неопределенно ответил Женя и продолжил рисовать косые палочки, закругляющиеся книзу на манер рыболовных крючков.

Лидия Михайловна, медленно прохаживавшаяся меж рядами, своевременно заглянула в тетрадку Солева, улыбнулась и отметила, что почерк у мальчика будет ужасный. Учительница втайне гордилась своей удивительной способностью по первым неумелым закорючкам первоклашек представлять в общих чертах их будущий почерк и даже впала

в связи с этим в методическую ересь – своеобразный фатализм. Если есть среди учеников природный каллиграф, – рассуждала она, – то его почерк совпадет с буквами из прописей и без ее стараний, а навязывать остальным детям чуждый для них почерк – занятие бестолковое. Поэтому Лидия Михайловна лишь улыбнулась, увидев сквозь крючки Жени Солева крупные, сцепленные внахлест буквы, подпрыгивающие вверх-вниз, словно от нетерпения...

Следующим уроком было природоведение, и учительница, построив детей парами, вывела их из школы и остановилась возле клумбы с бархатцами. Света с подружкой-однорукпницей замыкали шествие и тихо переговаривались, обсуждая возможные цели этого похода, и ни та, ни другая не угадали. Погода была солнечная, теплая, над цветами жужжали пчелы и пчеловидки, пахло приторно и печально, мелкие черные муравьи деловито ползли по серобетонному бордюру, на той же клумбе произрастали низенькие красногроздые рябины, и в их кронах поблескивали, подобно седым волоскам, невесомые летучие паутинки, которые, если верить Кортасару, в Аргентине назывались то слезами Ангела, то слюнями дьявола. «Были бы они постарше, – подумала Лидия Михайловна, – рассказала бы им о кортасаровских паутинках», – а вслух произнесла:

– Дети, посмотрите на небо. Что вы там видите?

Дети посмотрели на небо и увидели солнце, кучевые облака, птиц, след от самолета, паучка на паутинке...

– Молодцы. Всё рассмотрели. А теперь найдите себе облако, какое больше понравится, и подумайте, на что оно похоже... Не хором! Не хором! Рот на замочек! Сначала поднимаете руку, как я учила...

Света с удовольствием наблюдала, как первоклашки, подывая от нетерпения, тянут руки, глядя то на облака, то на учительницу и, наконец, выговаривают пришедшее на ум. Очень хороший ход! Обязательно надо использовать, если случится работать в школе... Вон то облако на бегемота похоже – неужели никто не заметит?

– А это на Ангела похоже, – сказал Женя, и Света навострила ушки.

– На Ангела? – удивилась Лидия Михайловна. – А разве ты видел Ангелов?

– Когда-то, наверное, видел. А сейчас забыл, – ответил мальчик и добавил, поясняя: – Оно на Архистратига Михаила похоже, который на иконах. Смотрите: вон голова, вон тело, вон крылья, вон меч огненный.

– Где меч? – поинтересовался Сашка, стоявший рядом и внимательно следивший за направлением Жениного пальца.

– Вон там был меч, ветром сдуло.

– Нет, он его просто в ножны спрятал, – предположила какая-то девочка, Женя не помнил ее имени, но посмотрел на карточку, приколотую к платицу девочки и прочитал: «Сафронова Маша», а она между тем продолжила объяснять: – Он увидел, что мы на него смотрим, поэтому и меч

убрал. Пугать не хотел.

– Да, Ангелы добрые, – согласились первоклашки, разглядывая Женино облако.

«Вот тебе и Кортасар! – мысленно воскликнула Лидия Михайловна. – Наверное, «слезы Ангела» придумали дети, а «слюни дьявола» – взрослые!» Вслух же она сказала, что ребята умницы и что пора возвращаться в класс, чтобы зарисовать увиденное. Разглядывая на перемене рисунки, она изумилась: на каждом третьем был изображен Ангел.

После уроков дети ринулись к учительнице, чтобы обняться на прощание, и она подумала, что так было и так будет всегда, если только она не станет мымрой и гримзой, и ради этого стоит работать, хотя и платят копейки. Последним к ней подошел Женя Солев и, серьезно глянув в глаза, задал настолько неожиданный вопрос, что она озадаченно переспросила:

– Как ты сказал?

– Почему вы ничего не говорили о Боге? – послушно повторил мальчик. – Показали небо, солнце, облака, птиц... Всем очень понравилось, честное слово! Но ведь нужно было и о Боге сказать, ведь Он всё это создал...

– Как бы тебе объяснить... – пробормотала учительница, задумчиво глядя на малолетнего теолога и пытаясь подобрать соответствующие его возрасту слова. – Это хорошо, что ты верующий, я рада за тебя. Наверное, ты ходишь с мамой в церковь, и там все говорят о Боге и говорят с Богом –

молятся. Это тоже хорошо, в церкви так и должно быть. Но здесь школа, а не церковь. Здесь изучают природу, ее законы, а о том, что Бог создал этот мир и установил его законы, здесь не говорят. Ты меня понимаешь?

– Понимаю. Но ведь так нечестно!

– Пойми, Женя, ведь не все верят в Бога...

– Но вы же верите! Значит, должны рассказывать о Нем!

– Верю. Странно, что ты догадался... Но рассказывать о Нем я не имею права – это называется «светское образование». Я могу лишь показывать на небо и надеяться, что кто-нибудь увидит там Ангела.

– Но я же могу говорить им о Боге, мне это не запрещено?

– Ты – можешь. Даже знаешь что... – Лидия Михайловна улыбнулась. – Давай заключим с тобой тайное соглашение. Никому об этом не рассказывай! Так вот, я буду давать тебе секретные домашние задания, а ты станешь их выполнять. Завтра у нас будет пересказ любой истории – а ты перескажи что-нибудь из Евангелия, например про изгнание легиона бесов. Сможешь?

– Вот здорово! – воскликнул мальчик. – Конечно, расскажу. И про то, как они даже в свиней не могли без разрешения...

– Значит, договорились. Давай руку. Вот так. Скрепили рукопожатием. А теперь беги к маме, она ждет.

Женя порывисто обнял учительницу и выбежал из класса.

– О чем это вы говорили? – спросила его Софья Петровна.

– Секрет, – честно ответил заговорщик.

А практикантки, дождавшись, когда Лидия Михайловна отпустит последнего ученика, покинули заднюю парту и нерешительно подошли.

– Понимаю, Лидия Михайловна, что это звучит глупо, – пробормотала Света, чуть не краснея, – но мы должны провести в вашем классе антинаркотическую профилактику.

– Как вы сказали?.. – ошеломленно переспросила учительница.

– Антинаркотическую профилактику, – послушно повторила Света. – Нет, вы не подумайте, что мы будем им про героин рассказывать! Слова «наркотики» вообще не будет, просто есть такая игровая методика – «Таинственные незнакомцы», она направлена на то, чтобы дети не совали в рот всякую неизвестную бяку.

– Активная практика у вас начнется со следующей недели, время еще есть, – произнесла Лидия Михайловна усталым голосом. – Завтра принесите подробный конспект урока, я посмотрю.

– Хорошо прошло, – заметила Света, когда практикантки вышли из класса. – Валю училка чуть ли не обматерила, когда услышала про антинаркотическую профилактику.

– Что, серьезно?! – изумилась одноклассница.

– Серьезно. Так что Лидка у нас молодец. Сколько ей лет, интересно?

– Лет на пять нас постарше... Но без кольца.

– Может, просто не носит... А как тебе мальчик с Ангелом?

– Прикольный... Сейчас, наверное, сразу за стипухой, а то провороним...

– Поехали. Это, оказывается, родной брат моего Мишки.

– Мальчишка, что ли? Серьезно?!

– Нет, шучу. Заманала своим «серьезно».

* * *

– Юлька-староста за стипухой пошла, – сообщил Артурка, и Гена с удовольствием посмотрел, как Юлька и две старосты других групп тихой сапой покидают лекционную аудиторию.

– На перемене получим, – отозвался Гена, подумал, улыбнулся, вписал очередную букву в игровой квадрат и поставил напротив своих инициалов семерку.

– Что за слово? – недовольно спросил приятель.

– «Зерцало».

– «Зерцало премудрости», типа того? Ты бы еще «снурок» какой-нибудь написал или «галстух»!

– Это элемент рыцарских доспехов.

– Точно, есть такое. Вот зараза!

– Эй, галерка! – возвысил голос лектор. – Я вам не слишком мешаю?

– Ничего, потерпим... – пробормотал Гена, и Артурка очень серьезно уставился в тетрадку, но не выдержал и всхрюкнул, скинул на пол ручку и поспешно полез за ней,

пытаясь успокоиться.

– Мерзавец! – шипел он из-под парты. – Сколько можно?!

– По фигу... – сдавленно проговорил Валерьев, борясь со смеховыми спазмами. – Он привык. Вылезай доигрывать.

– А чем это вы там занимаетесь? – полюбопытствовал парень-кавээнщик, сидевший по соседству, и Гена, трясаясь от беззвучного хохота, уронил голову на тетрадку, как на плаху, а Артурка еще долго не появлялся из-под парты, лишь кулаком грозил.

Следующая перемена была большая, и Юлька-староста, ставшая на некоторое время эпицентром всеобщего внимания, сварливо покрикивала на одноклассников:

– Не толкайтесь! В очередь! Всем хватит!

Студенты расписывались в ведомости, получали деньги и, ошастливленные, отходили в сторонку. Денег было много: стипендия за июль, август и сентябрь.

– Сегодня бухнем, я надеюсь? – осведомился Артурка, обращаясь, разумеется, к Гене: иных парней в их группе не было, а девчонкам он бы высказал это предложение в более изысканной форме.

– Вдвоем?

– Конечно. На фигу нам еще кто-то? Поговорим на вечные темы...

– Как «русские мальчики» у Достоевского, – усмехнулся Гена. – Разговоры о Боге за пивом да винцом...

– Большая редкость по нынешним временам, – заметил

Артурка. – Обычно о бабах и «бабках» говорят.

– Да уж... Какие-то мы с тобой анахроничные.

– Несовременные.

– Нетипичные.

– Нестандартные.

– Ненормальные, и хватит об этом, – оборвал Валерьев, ибо знал, что такие словесные поединки могли длиться и длиться, а большая перемена уже подходила к концу.

– Ну так что – бухнем?

– Бухнем, конечно. Только не сразу после пар. Мне сначала надо кое-куда заехать по делу, потом пообедаю, а то у тебя сроду есть нечего, а после уже к тебе. Скажем, часам к шести или к семи.

– А мне что делать всё это время? – возмутился Артурка.

– Поешь. Кино посмотри. В игрушку поиграй. Или домашку по русскому сделай.

– Мерзкая перспектива... Говорю сразу: если я до шести захлебнусь слюной, моя смерть будет на твоей совести.

– Лучше не захлебывайся, а то придется тебе искусственное дыхание рот в рот делать. Тоже, знаешь ли, мерзкая перспектива...

– Козел! – воскликнул Артурка и расхохотался.

– От козла слышу, – стандартно парировал Гена.

После пар Валерьев повел себя достаточно странно: попрощался с приятелем на крыльце корпуса и отправился в сторону, далекую от автобусной остановки, туда, где да-

же шум транспорта почти не был слышен. В той тихой малолюдной стороне на слепой торцовой стене какого-то здания висел таксофон, давненько запримеченный Геной. Юноша остановился, достал листочек, ручку, новехонькую таксофонную карточку, еще не освобожденную от целлофановой упаковки, и тревожно глянул по сторонам. Набирая длинный номер, он после каждой цифры сверялся с листочком. Разговор был коротким, но результативным: на листочке появились новые торопливые записи.

– Ничего себе! – пробормотал Гена, увидев на табло таксофона количество оставшихся на карточке единиц.

До вокзала он ехал на маршрутке, очередь в кассу была короткой, так что довольно скоро после загадочного телефонного разговора он уже покупал билет до Москвы и обратно, тщательно сверившись с листочком и календариком.

– Да, плацкарт... Нет, страховку не надо...

Дома Гена пообедал, потом пришла мать, и он имел с ней крупный разговор. На все ее тяжкие обвинения, язвительные доводы и ругательные восклицания Валерьев терпеливо и твердо отвечал:

– Он мой отец.

Когда юноше наскучила материнская ругань, он обулся, накинул ветровку и ушел к Артурке, чтобы пить пиво и беседовать о вечном.

Глава тринадцатая

– Вроде бы не слажали, – возбужденно проговорил Миша, поспешно переодеваясь за кулисами. – А, Степ?

– Нормально, – прорычал тот, безуспешно пытаясь стянуть с себя сарафан. – Слушай, может, мне так и остаться? Как я выгляжу?

– Как гомик.

– Тогда лучше снять.

– Скоро вы там? – поторопил подошедший Дрюня Курин. – Видели, какой стол накрыли?

– Еще бы, – ответил Миша. Я чуть слюной не захлебнулся, пока работал.

– Есть, кстати, такой способ сделать подлянку духовому оркестру, – заметил Степа, освободившись-таки от принадлежности женского гардероба. – Разрезаешь на глазах у оркестра лимон, и музыканты реально захлебываются слюной. Оркестр, естественно, замолкает.

– Круто, – усмехнулся Солев. – Надо будет в филармонию с лимоном сходить.

– Типа того, часто бываешь в филармонии? – удивился Курин.

– Был раза два или три, давно. Ну что, Степ, готов?

– Пойдем, – ответил Степа, на ходу застегивая пуговицы

рубашки.

– Не, вы гляньте на этот стриптиз! – тихо произнес Дрюня, легонько кивнув на противоположный конец кулис, где переодевались девчонки.

– Молодой ты еще! – хмыкнул Миша, покровительственно похлопав приятеля по плечу.

– А мы, старые натюрморды, уже привыкли, – подхватил Степа.

– И что же, у вас теперь хрен на баб не встает? – раздраженно воскликнул Курин. – Типа того, признак профессионализма?

– Во-первых, не ори, – ровно молвил Миша. – Во-вторых, фильтруй базар.

– Так можно и по роже схлопотать, – заметил Степа. – Другое дело, что «Натюрморды» – театр интеллигентный, и по роже здесь не бьют. Ты у нас недавно, с мая, кажется. Поэтому, наверное, и не обратил внимания, что грубые выражения здесь тоже стараются не употреблять. Однако тебя уже считают своим, потому-то и пригласили на юбилей.

– А если что-то не нравится, – вали, – добавил Миша. – Никто тебя здесь не держит.

– Я понял, парни, – сказал Дрюня, явно стушевавшись. – Извините.

– Проехали, – подытожил Солев. – Пойдемте к столу, а то жрать охота.

Стол был накрыт в оконечности актового зала, противо-

положной сцене, – сразу за последними рядами. Был он достаточно длинным: под клеенчатой скатертью угадывались несколько составленных воедино парт. Миша вспомнил надпись на одной из них, многократно прочитанную, пока тащил парту из ближайшей аудитории, и усмехнулся горькому пессимизму той надписи: «Мелки в наш век / Пошли людишки: / Хренов уж нет – / Одни хренишки». Впервые прочитав эту стихотворную жалобу и представив себе девочку, разочарованную в лучших ожиданиях, парень согнулся от хохота. «Правильно сделали, что положили скатерть», – подумал он, подходя к столу.

Когда все были в сборе и у всех было налито, поднялся седоватый грузный мужчина и сказал, глядя на молодежь:

– Здравствуй, племя младое, незнакомое! Точнее, не то чтобы уж совсем незнакомое: мы, старички, вас видели, и не раз. Можем подтвердить, что традиции наши живут и развиваются. Правда ведь? Говорят, что правда. Вот. А двадцать пять лет назад мы были такими же, как вы, кое-кто и помладше. И никакой базы у нас не было: ни финансовой, ни опыта сценического, ни бренда, как сейчас говорят. Ведь вы, когда идете в «Натюрморды», знаете, куда идете. А тогда и этого не было. Был только Володя Красно Солнышко, умненький веселый мальчик с ЕГФа, худющий-расхудющий, песни пел под гитару, рисовал замечательно, стихи писал. Ну вот, например, отрывок из чисто егээфовского: «Тепло-липкие руки / Словно вплавлены в скальпель. / Кроем белые

шкурки / Красной крапиной капель...» Это про подопытных крыс, и обратите внимание, какая звукопись! Когда-то этот стишок весь ЕГФ знал.

– И сейчас кое-кто знает, – заметил Степа.

– Правда? – восторженно воскликнул оратор. – Ай, замечательно! Но мы отвлеклись. Двадцать пять лет назад Володя собрал меня, еще троих или четверых одноклассников и сказал, что куратор поручила ему поднатаскать первокурсников, помочь им подготовиться к посвящению в студенты. А это свободный доступ в актовый зал, реквизит кое-какой. Короче, он предложил параллельно с этим делом организовать что-то свое – вроде театра, а потом уже поставить начальство перед фактом. Все загорелись – сделали чудную миниатюру, девчонок подключили с танцами-шманцами и выступили на том же посвящении в студенты. Зрителям понравилось, по решению декана нам на вахте стали давать ключи от семнадцатой аудитории, там и репетировали. Так, собственно, и возник театр «Натюрморды». Простите меня за столь длинный монолог, – молвил он с виноватой улыбкой и поднял пластиковый стаканчик с водкой. – А тост будет прост: за театр «Натюрморды» и его основателя!

– Скажите, пожалуйста, – обратился Миша к недавнему оратору, активно закусывающему бутербродом с ветчиной. – Скажите, а где сейчас Владимир Красно Солнышко?

– В Москве. Три года назад уехал, занимается какими-то компьютерно-графическими работами. Я с ним полгода не

общался: у него домашнего телефона нет, только трубка. Звоню – мне отвечают, что номер абонента заблокирован. Даже не смогли сообщить ему, что юбилей, – у него плохая память на даты. Если бы сообщили – приехал бы, конечно.

Старички-натюрморды ушли раньше, пожелав молодым повеселиться от души. Повеселившись, молодые натюрморды тоже стали собираться. Девчонки убрали со стола, а Дрюня негромко предлагал Мише и Степе обкуриться завтра вечером.

– Правда, будут в основном мои одноклассники, вы их не знаете, но зато план убийственный, – убеждал он. – Надо же сегодняшнюю стипуху как-то повеселей отметить...

– А что, разве не весело было? – удивился Миша.

– Как на похоронах. Еще старички эти... Я про «Натюрморды» плохого сказать не хочу, но они-то свое давно уже отыграли, у них, по ходу, внуки есть... Нет, веселиться надо по-другому.

– Я план не курю, – сказал Степа. – Принципиально.

– Правильный, блин, какой! – усмехнулся Курин. – Ну а ты, Миш?

– Давай, – решительно ответил тот. – Веселиться так веселиться.

* * *

Артурка открыл дверь только после третьего звонка, и Гена, усмехнувшись, подумал: «Как занавес в театре».

– Чем это ты занимался? – спросил гость.

– Спал, – ответил хозяин, глянув на Валерьева мутными глазами.

– С чего бы это?

– Не пил, не волнуйся. Просто спать захотелось. Разувайся, проходи на кухню, пиво в холодильнике.

– Погоди, руки помою.

– Мой. Я потом тоже кое-что помою.

– Знаете ли, милейший, мне по фигу, чистая ли у вас задница, можете не стараться, – заметил Гена, выходя из ванной.

– У кого чего болит... – пробормотал Артурка. – Иди пиво доставай, я сейчас.

После того, как друзья отпили первые глотки из пузатеньких чайных чашек, Артурка сказал:

– Я ведь не просто спал, но и сон видел. Такое, знаешь, хорошее, стильное фэнтэзи. И всё так продумано, срежиссировано... Только вот плющит меня от этого сна до сих пор.

– Не тяни, рассказывай, – попросил Гена, отпив пару глотков. – Тебе ведь сроду такое приснится, что впору записывать.

– Записывай. Может, используешь где-нибудь, – сказал сновидец, пригубил пиво, поставил чашку на стол и, внимательно глядя на пивные пузырьки, начал: – Короче, композиция у этого сна трехчастная.

Первая часть: я, Клещ и еще два парня с моей школы идем по лесу. Лес дремучий, сумерки, впереди – замок. Ну, вхо-

дим, а мы в плащах, с мечами... И еще мы знаем, что с миром что-то случилось и, чтобы вернуть всё на место, нам надо найти ведьмино зеркало. Что за ведьмино зеркало, пока не ясно. Входим, значит, и тут на нас нападают вампиры, оборотни – мы их мочим, мочим – и, знаешь, у меня меч был – чувствуешь, как он ребра разрубает: в руку отдается. Вампиров было до хренища, они нас окружили, но убивать, типа того, не хотели, а я ведь еще летать умел – ну, я стекло разбил и улетел – испугался, наверное.

Часть вторая: показана история ведьминого зеркала. Посмотри на эту картинку, – предложил Артурка, мотнув головой в сторону пленочного пейзажа с водопадом, наклеенного на белокафельную стену. – Это, оказывается, и есть ведьмино зеркало, и через него можно изменять мир. А я не знал. Сижу дома, телевизор смотрю; вдруг звонок, приходят Оля Гренкова и Валя Велина. А они, типа того, были ведьмы и знали о зеркале... Ну, дальше порнуха, трахнул я их, а они зеркало сперли. Прикинь, из-за меня весь мир хрен знает во что превратился!

Часть третья: я возвращаюсь в замок – сознание вины, всё такое. Вхожу, иду по коридору, а мне навстречу – нечисть эта вся, а впереди Клещ – в черном таком мундире, с эполетами и с палицей. Клещ говорит: «Всё, типа того, кроме тебя, воинов больше нет, сдавайся». Ну, я вижу – делать нечего, всё. Я уже просто так спрашиваю: «А кроме меня на земле хоть один человек остался?» Он говорит: «Да, но ему семь

лет». И по телевизору показывают этого пацана: он играет в классики, прыгает, и всё вокруг трясется. И тут я прямо горд собой – я понял, что если хоть один человек еще остался, то всё нормально. Клещу я срубил голову, потом еще кого-то замочил, а потом проснулся, – может, меня убили, не знаю, а может, просто твой звонок разбудил... Как тебе сон?

– Круто. Только, по-моему, таких снов не бывает, – усомнился Гена, погрузив ладонь во вспоротый пакет с чипсами и извлекши оттуда хрусткую добычу.

– Но мне же они снятся! – возмутился Артурка и двумя крупными глотками осушил чашку. – Если остальные такие ущербные, что нормальных снов не видят, я-то тут при чем?

– Ни при чем, успокойся, – примирительно молвил Валерьев. – Может быть, это и правда ущербность – не видеть таких снов... А может быть, наоборот, твои сны-кинофильмы компенсируют ущербность в какой-то другой области.

– Вот это наехал! – подивился Артурка, разливая пиво, но не обиделся и разлил поровну.

– Я имел в виду область творчества, – поспешно уточнил Гена. – Ты видишь сны, запоминаешь их и не пишешь, а я крайне редко вижу сны, не запоминаю их, но зато иногда пишу. А когда мне не писалось, я несколько раз видел текстовые сны.

– Как это?

– Ну, вижу книжную страницу и читаю, дочитал – перевернулась, снова читаю, и так всю ночь.

– И после этого мои сны кажутся тебе странными, – хмыкнул Артурка. – Давай выпьем за то, чтобы не было бессонницы, и продолжим тему.

– Давай, – улыбнулся Гена и после паузы, обусловленной питейными обстоятельствами, добавил: – А вообще, сон тебе приснился интересный.

– Я и говорю: до сих пор плющит. Можете истолковать?

– Я же не Даниил и не Фрейд, – резонно заметил Валерьев. – Хотя психоаналитика к твоему сну и близко подпускать нельзя, а то выяснится, что ты садомазохист-некрофил, склонный к педофилии.

– Вы правы, доктор, – сказал Артурка, просмеявшись.

– Неужели диагноз точен?

– Нет, я про психоаналитика, которому незачем знать о таких снах. Читал у Пелевина «Зигмунда в кафе»?

– Читал, классный рассказ. А вы, многоуважаемый пациент, прочли его в моей книжке, так что не фигу было и спрашивать.

– Позвольте, профессор, но разве у вас уже вышла книжка? И разве... – Артурка всхрюкнул и стукнул по столу кулаком с оттопыренным вверх большим пальцем. – И разве «Зигмунд в кафе» не господина Пелевина сочинение?

– Хорошо! – воскликнул Гена и расхохотался, произнеся сквозь смех: – Разве «Юрий Милославский» не господина Загоскина сочинение? Только вы, мой друг, женскую реплику взяли, что в сочетании со свежесмытой задницей наво-

дит на некоторые размышления...

– Вот ведь козел! – возмутился Артурка. – Я над ним прикалываюсь тонко и литературно, а он надо мной – толсто и нелитературно!

– Извини, что-то со мной сегодня не то, – повiniлся Гена. – Обычно всё наоборот бывает.

– В смысле?

– Ну, я обычно прикалываюсь тонко и литературно, а ты...

– Скотина! – взревел Артурка. – И как это мы с тобой до сих пор не подрались?

– Так ведь мы же не обидеть хотим друг друга, а просто смеемся. Час смеха – стакан сметаны, следовательно, мы и на еде экономим.

– Да, про сметану я как-то не подумал... Помнишь, я тебе говорил, что от пива со сметаной мышцы охренительно растут?

– Помню, ментовский рецепт. Ты пробовал?

– Нет. Сметану покупать лень.

– А знаешь, Артурка, – сказал Гена, вдруг посерьезнев, – ведь у Федора Михайловича в «Братьях Карамазовых» есть кое-что совсем про нас.

– Кабацкие разговоры русских мальчиков? Так ведь мы уже сто раз об этом говорили.

– Нет, не то. Русские мальчики в кабаках говорят о Боге, а мы с тобой иронизируем по поводу половых извращений. У нас эти темы странным образом перемежаются.

– Ну, и что же Достоевский?

– Он писал, что чистые умом и сердцем мальчишки иногда любят говорить о таких вещах, о которых не заговорят и солдаты.

– Интересно. Только я на чистого умом и сердцем мальчишка явно не тяну.

– Тянешь, Артурка, тянешь. Иначе ты был бы серьезным и скучным, обижался бы на мои наезды и сам бы не наезжал. А пока мы играем. И как только кто-нибудь из нас повзрослеет и сочтет такую игру неприличной, она прекратится.

– А со своей православной точки зрения как ты эти разговоры оцениваешь? Они греховны?

– Отчасти да, – задумчиво ответил Гена. – Но это грех пустословия, и не более того. Ведь мы же всё это понарошку, не всерьез. А если бы кто-нибудь всерьез такие разговоры повел, то есть совершил бы грех в помыслах, то тут бы, наверное, возникли уже недоумение, обида, гадливость, и дружба прекратилась бы. По-моему, так. А пока мы ржем, как сивые мерины, грязь к нам не пристает... Но, с другой стороны, – добавил он, помолчав, – не обязательно милиционеров из дерьма лепить: можно играть и по-другому. Замки из песка, например.

– Вы умны, друг мой, – сказал Артурка, тонко улыбнувшись. – Только замки замками, а милиционеры милиционерами. Поиграем пока, а надоест – скажу. Из песка милиционера не вылепишь – я анекдот помню. Поиграем. А вообще,

Ген, ты сегодня многословен. Что-то случилось?

– Стипендию дали, – лаконично ответил вопрошаемый.

– Так просто?

– Так просто. О сложном я даже с тобой не говорю, ты же знаешь. И всё – закрыли тему.

– Как хочешь. Неси один.

– Несу, – отозвался Гена, несколько удивленно. – Но тебя я всё-таки не понимаю: ты же веришь в Бога, читаешь Библию, знаешь о крестоношении. Почему же ты в таком случае крестика не носишь и в церковь не ходишь?

– Старый разговор, – заметил Артурка, печально улыбнувшись. – На таком разговоре мы и сошлись в прошлом году – помнишь?

– Склерозом не страдаю. А всё-таки?

– Ну, не верю я им. В секту тоже не хочу. Богу – верю. Себе – верю. Тебе – тоже верю, но праведники есть в любой конфессии и деноминации, так же, как и грешники. Короче, Бог у меня в душе. И всё – закрыли тему, как ты говоришь.

– Хорошо, закроем пока, – согласился Гена, печально улыбнувшись. – Но только не забывай, что хула на Духа Святого не прощается. А у тебя в душе (как и у меня, впрочем) столько вещества для лепки милиционеров находится, что неразумно разглагольствовать о Боге в душе. После причастия, кстати, картина меняется, но ты же не причащаешься, а пиво пьешь... Хорошо, закрыли так закрыли. Наливай давай.

* * *

На следующий день, около пяти вечера, как и договаривались, Миша Солев зашел к Дрюне Курину.

– Не разувайся, я сейчас, – коротко сказал хозяин, пожав гостю руку. – Предупрежу домашних – и пойдем.

Идти было недалеко, к Серене, Миша уже дважды был у него и оба раза с Дрюней. Сам бы не пошел – чего ради? – хотя дорогу более или менее запомнил. Общего у него с этим Сереней ничего нет, видок у парня какой-то скиновский, единственный плюс – свободная хата. «А может, он просто выглядит скином, – подумал Солев по пути к месту собрания. – Я же с ним толком и не разговаривал... Может, он буддист и через курение трав стремится уйти от условностей внешнего мира? Буддийские монахи тоже ведь бритые...» Миша усмехнулся.

Компания у Серени собралась многочисленная – человек десять и, как выяснилось, большинство из них были одноклассниками. План оказался, действительно, убийственным – и кто его только завозит в нашу дыру?

Когда весь план превратился в пепел, Курин громогласно предложил:

– А теперь пошли к писателю, он про нас роман напишет!

Хохот, хохот, но все собираются, торопятся даже: все хотят, чтобы писатель написал про них роман. Все хотят, все хо-хотят... Нет, я не могу!..

– Дрюнь, а что за писатель? – спросил Миша, содрогаясь от хохота.

– Генка, наш одноклассник, ты его не знаешь... Круто тебя накрыло! По ходу, пэрики лучше всех принимал...

– Чего ж не принять, раз дают... Дыхалка хорошая... – сказал Солев, немножко успокоившись, и принялся разыскивать свои кроссовки. Вы не поняли, свои кроссовки, а не чьи-то. Разве эти кроссовки свои? Нет, я не могу!..

Писатель жил близко, даже очень близко – в том же доме, что и Сереня, через несколько подъездов. Ему позвонили домой по сотовому. Писатель спустился, и вид у него был какой-то торжественно-мрачный, азартно-встревоженный, а сам писатель оказался не просто писателем, а очень даже знакомым писателем... Миша почти протрезвился, узнав Гену Валерьева, и даже подумал: «На ловца и зверь бежит», – но при мысли о ловце и звере хихикнул: очень смешная мысль.

– Вот, пришли, – сообщил Дрюня. – Спрашивай, пока мы тепленькие и пока «свин» не пришел. «Свин» придет – жрать пойдем.

– Вы слышали, что творится в Америке? – спросил Гена всё с тем же торжественно-мрачным и азартно-встревоженным видом.

Ответом ему был всеобщий хохот.

А в Америке творилось невообразимое: по словам Гены, пару часов назад в знаменитые нью-йоркские небоскре-

бы-близнецы врезались пассажирские самолеты: сначала в один, а через полчаса во второй, а еще через полчаса самолет таким же манером расхреначил Пентагон. Небоскребы горят и рушатся, один уже упал. Доллар тоже падает. Захвачены еще одиннадцать самолетов, ищут, где упасть. Огромные жертвы, паника, из Белого дома всех эвакуировали, президент американский где-то прячется – боится, как бы и его не накрыло...

Мише показалось, что в речах Гены слышится не скорбь, а злорадство, и он подумал с недоумением: «Ничего себе христианин». Хотя, быть может, это он, Миша, спроецировал свои чувства на Гену, ведь это ему, Мише, сейчас радостно. И не легковесной обкурочной радостью захлестнуло Мишу, нет, – его радость тяжеловесно-злая, глубинно-нутряная, такая радость, которую жалкая обкурка ни породить, ни заглушить не способна. «Не думал, что так ненавижу американцев!» – мысленно удивился он. А потом он вспомнил американские самолеты над несчастной Сербией, и кассетные бомбы, и людей с мишенями на груди, смеющихся в злое небо, и студенческую пирушку по поводу сбитого сербами самолета-невидимки. И Миша понял свои чувства, и ему показалось, что и Генины чувства он понял.

«Наверное, это им за Сербию, – думал Гена в полном согласии с Мишиным предположением, – Божья кара. А если так, то, может, не совсем потеряна Америка в очах Господа? Раз Он ее вразумляет, значит, надеется на покаяние. И

теперь всё будет зависеть от того, как американцы поведут себя». Гена был рад за Америку: наконец-то у нее появился шанс оторваться от пожирания гамбургеров и задуматься о вечном.

– Хрен ли ты ржешь, придурок? – услышали Гена и Миша возмущенную реплику, обращенную к кому-то четвертому. – Прикинь, если бы в твой дом самолет врезался!

«Правда, нельзя так, – урезонил себя Миша и с осуждением глянул на Гену. – Люди всё-таки, хоть и америкашки!..» И вдруг ему стало страшно.

«Ты прав, парень... – смущенно подумал Гена, – Америка не грешнее России. И вообще, если по Федору Михайловичу, то все за всех виноваты. Ведь не вступилась же Россия за Сербию – погрозила, да и отошла в сторонку, предала. Так что могли бы и в наши дома самолеты врезаться за ту же Сербию...»

– Послушайте! – произнес Солев вздыбленным от ужаса голосом. – А вдруг они уже к нам летят?!

– Хрен ли ты всех на измену сажаешь?! – воскликнул Сереня, а Валерьев припомнил, что идиома «сесть на измену» означает «испугаться» и что обкуренного человека очень легко испугать.

«Что уж это за сказка? – подумал вдруг Гена. – В ней кто-то кого-то пугал и смешил: «Вот, ты меня насмешил – а теперь напугай!» Что же за сказка? И вообще зачем я про самолеты начал, мне же интервью брать...»

– Нет, не полетят они к нам, у нас небоскребов нет.

– И топлива им не хватит, если из Америки лететь.

– Хватит, летают же самолеты в Америку, значит, топлива хватает.

– Они в Москву полетят, если полетят.

– А вдруг полетят в Москву, а топлива не хватит, и придется на нас падать?

– Всё равно не на нас: у нас пятиэтажка, в пятиэтажку им запахло будет врезаться – надо в девятиэтажку хотя бы.

– А я в девятиэтажке живу, – сказал Миша, и все посмотрели на него с сочувствием.

– Ничего, – утешил кто-то. – Может, и не в твою попадут.

У нас же много девятиэтажек!

«А интервью идет! – с удовольствием отметил про себя Гена, в этот момент начисто забыв о нью-йоркских событиях. – Типичный обкурочный гон. В рассказе главное – сам тон бредовый воспроизвести, а содержание можно вставить любое».

– Ген, а что ты про доллар говорил? – полюбопытствовал Курин. – Падает?

– Еще как! В некоторых обменниках чуть ли не в два раза упал.

– Ни хрена себе! Это же можно кучу бабок сделать!

– Делай, – сказал Валерьев с легкой брезгливостью, но вспомнил, что и у него первой мыслью при известии о грандиозном падении доллара была мысль о валютной спекуля-

ции. «Та же фигня, что с Россией и Америкой, только в микромасштабе, – пристыженно подумал он. – Мы можем в других видеть только те грехи, которые в нас самих есть. Россия грешна американскими грехами, а я – куринским сребролюбием и лихоимством. Так что работает святоотеческая формула, еще как работает...»

– Денег нет, – сокрушенно признался Дрюня, – а то бы всё в доллар вложил. Он ведь через пару недель выправится – прикиньте, навар какой...

– А может, на них через две недели опять самолеты посыплутся.

– Исключено, – авторитетно заявил Курин. – Такая жопа раз в сто лет бывает. Чаще просто не выгодно.

– А при чем тут выгода?

– Ну, прикиньте, – принялся фантазировать Дрюня. – Америке нужна нефть, а эти взрывы – замечательный предлог, чтобы завладеть нефтью. Списать всё на каких-нибудь арабов, которые в нефти купаются, разбомбить их в качестве ответных действий и взять нефть. Проще пареной репы.

– Вот это, блин, голова! – восхищенно воскликнул кто-то. – Сроду бы не додумался!

– Похоже на правду, – пробормотал Миша.

«Неужели всё так просто?! – ошарашенно подумал Гена. – Нечего сказать, блестящий геополитический ход... А вообще, он-то что здесь делает?» Последняя мысль относилась к Мише, которого Гена заметил только в этот момент. Об-

куренный Миша задумчиво смотрит на обкуренного Дрюню – вот он что здесь делает. А что делает в обкуренной компании сам Гена Валерьев – определить гораздо сложнее. По идее, он должен брать интервью – но где оно, это интервью? Только про Америку и спросил и сам же на вопрос ответил. Ничего себе интервью...

Похоже, что те же мысли посетили и Курина, поскольку он, словно опомнившись, вдруг обратился к Валерьеву:

– Ты спрашивай, Ген, спрашивай, писатель, спрашивай. Просто так мы, что ли, к тебе пришли? А то ко мне уже «свин» подбирается – не до тебя скоро будет. Спрашивай – ну?

Валерьев слегка опешил от такого напора, но всё-таки спросил о каких-нибудь прикольных ситуациях, приключавшихся по обкурке; на самом деле у него уже была записана довольно богатая коллекция таких ситуаций, собранных в предыдущих интервью, но вопроса поумнее он придумать не успел.

– Ну, к примеру, однажды зимой мы в троллейбусе по обкурке катались – помнишь, Леш? – произнес Дрюня. – Там еще кондукторша потная была, и Сереня сказал, что она из бани, – помнишь, Серень?

– Да! – всхотнул Сереня. – Года три назад дело было. Эх, мы и ржали! А еще, помните, у меня на хате телевизор смотрели по обкурке и там в рекламе какие-то уроды бошками с разноцветными хайрами мотали?

– Помним, – оживились многие, – помним! Кто уж там сказал: «Такими же будем!»?

– По ходу, Кура сказал: «Такими же будем!»

– «Такими же будем» – это ж надо такое сказать! Эх, и ржачка была!

– А помните, мы к Генке на день рождения ходили? Не по обкурке, а так просто, когда маленькими были? Он тогда еще фокусы показывал – шарики спицей прокалывал... Помнишь, Ген?

Гена растерялся. Да, что-то такое было... Точно, было! Но как же давно это было, Господи! Лет десять, наверное, назад! Бабушка была еще жива, и морская свинка была жива – нет, свинку тогда еще не купили... И папка что-то паял, и раскаленное жало паяльника несказанно мягко входило в янтарную канифоль, и пахла канифоль непередаваемо – счастьем она пахла. А на том дне рождения, действительно, был фокус: на воздушный шарик по двум сторонам наклеивались кусочки скотча, и через эти кусочки можно было с легкостью пронзить шарик острой вязальной спицей, и он не лопался. Но после извлечения спицы из шарика необходимо было всё-таки с ним разделаться, иначе он сдулся бы и обман бы раскрылся. Поэтому Гена подбрасывал мнимоцелый шарик вверх и насмерть поражал его всё той же спицей.

– Ты что, Ген?

– Ничего, – ответил Гена нетвердым голосом, стараясь не моргнуть, ни в коем случае не моргнуть. – Вспомнил. А еще

что-нибудь из детства вы помните?

– Ну, как Ираида Семеновна писать нас учила. С наклоном надо, типа того. И пока не получится, тетрадки как своих ушей не видать – будешь писать в прописях. Помнишь?

Гена не помнил. Он глотал и глотал горловой спазм и никак не мог проглотить. А обкуренные одноклассники с волшебной легкостью вспоминали их далекое общее детство, основательно подзабытое Валерьевым. «Вот она, черточка для рассказа! – думал он, стараясь дышать глубоко и размеренно, но упражнение мало помогало. – Дети! Дети! Для того и обкуриваются, чтобы из детства не уходить! Смешинка в рот попала – это ведь из детства ситуация! Нет, хватит, не выдержу больше!...»

Гена торопливо пожал всем руки, пробормотав, что ему пора, и шмыгнул в подъезд. Лишь на площадке второго этажа он прекратил сдерживаться и тихо расплакался.

Глава четырнадцатая

Мгновенно опознанный русоволосый дылда стоял чуть сзади, по левую сторону дороги. Стоял он за частично разгороженным деревянным заборчиком, покровительственно возложив на него руку. Дылда этот, по имени Костя, одноклассничек, позапрошлым летом на выпускном вечере пьяно просил прощения за то, что частенько доставал меня прежде... Тогда я выпил с ним и пожал липкую винно-водочную ладонь. После мы раза три-четыре случайно встречались, мило беседовали и расходились довольные.

Подходя к Косте, я бессознательно считал шаги и, поздоровкавшись через штакетник, постарался припомнить, стрелялись ли с десяти шагов. «Конечно, стрелялись: Печорин с Грушницким аж с шести стрелялись... Но к чему это вдруг?..» – спохватился я.

– Ты, Ген, вмазался, что ли? В смысле укололся. Зову – не откликаешься, и мотает тебя...

– Задумался, – ответил я, хотя вопроса, по сути, и не было. – А ты, вроде того, яблочки тыришь... Да еще и прохожих обкидываешь.

Сдержанно усмехнувшись, дылда молвил:

– Вроде того. Откуда здесь?

– Дела.

– Откровенный ты наш... А вообще как?

– Да неплохо.

– И у меня всё путем. Денег вот только нет: позавчера последние баксы на героин потратил...

«Про героин врет», – подумал я, но тем не менее расположил на лице любопытствующе-уважительное выражение. Я собирался написать что-нибудь про наркоманов, а тут как раз...

– Ты вроде собирался рассказ написать про нариков? – послушно поинтересовался он. – Мы тут как раз обкуриваться сейчас будем – можешь посмотреть.

Я глянул на часы: до службы осталось три четверти часа.

– Да как-то это... Не знаю даже... – неуверенно произнес я.

– Времени займет мало: за полчаса всё самое интересное увидишь. Да какое там полчаса – минут двадцать от силы, а остальное – бред! – искусительно увещевал Костя. – Когда еще такой случай представится?

– Когда еще представится...

Вяло потрогав хвост последней его фразы, я вновь глянул на часы и понял, что соглашусь. Но Костя, не осознав, что уже уговорил, продолжил:

– Курить будем план. Это, честно говоря, и не наркотик – так, баловство. И тебя обкурить можем – тогда точно рассказ напишешь.

– Спасибо, конечно, за предложение... – поспешно начал я, но был прерван.

– Да ладно тебе! – чуть ли не брезгливо сказал Костя, слегка запрокидывая голову и морщась. – Не хочешь – не надо. Это уж я по доброте душевной предложил. Просто посмотришь.

«В самом деле, – подумалось, – не заставит же он меня обкуриться, если я отказался». Мысль была вроде бы самой естественной, самой логичной, но я понял, что храбрюсь и успокаиваю себя, и оттого разозлился и помрачнел. И вновь чудовищным ростком проклюнулся в памяти мясистый палец бражника, выщелбанивший меня на дорогу в церковь, и вспомнились мысли о лагере и вердикт «оскотинился!..».

«Что же это?.. Ради какого-то никому не нужного рассказа я готов окунуться в еще большую мерзость! Как же это совмещается во мне?!» – с возмущением воскликнул я мысленно и, чтобы не отвечать, хмуро спросил вслух:

– Ты с кем обкуриваешься?

После моего вопроса Костя, такой обстоятельный и солидный прежде, по-мальчишески оживился. Он даже телом отреагировал на вопрос: облокотясь на штакетник, быстро потянулся, как собака, отведя назад напряженную ногу, потом сладко прикрыл озорно блеснувшие глаза, хотел, верно, выдержать театральную паузу, но не утерпел и сразу посмотрел на меня.

– С кем обкуриваюсь – просто прикол, – сформулировал он

наконец. – Если бы умел, рассказ бы написал – назидательный, для младшего и среднего школьного возраста... Прикол. Короче, вон в том сарайчике сидят, дожидаются. Три пацана, восьмиклассники – прикинь?! Лет по тринадцать им, мелюзге... Ты, кстати, без дела зря стоишь. Обойди заборчик и помогай райку собирать. С другой стороны иди, там разгорожено... Пакет вот висит... Мелюзга, значит. Вчера ко мне подвалили, попросили, чтобы я им план пробил. Знаешь, чувство такое возникло, когда их увидел, какое-то кисельное, вроде отцовского, наверное. Тринадцать лет... – мечтательно протянул он. – Помнишь этот возраст?

– Помню, – уныло отозвался я.

Я и впрямь помнил: в тринадцать лет или около того некий дюжий одноклассник схватил меня за ноги и, держа вниз головой, побегал со мной по футбольному полю – как не помнить ужаса от вида такого низкого, такого пыльного прыгающего неба с островками жухлой травы?..

– И я помню... – размягченно поддакнул Костя, вероятно, решивший, что моя интонация вызвана тоской по детству. – Я ведь тогда таким паинькой был – ужас! По бабам не ходил, даже водки не пробовал, с горки катался на этих самых, на кассетах от молока... А тут – пробей нам, дядя, костыль плана, а мы отсыплем, не обидим. Они ж в этом возрасте круче ящ!

Костя аж запыхался от внезапно нахлынувшего и сразу же посмеялся над собой, признавшись, что по пьяни он все-

гда сентиментален и хочет писать стихи, а сегодня с чего – непонятно.

– Ясный хрен, я напросился к ним, приму один-два пáрика – и хватит. Мне главное на них посмотреть, а обкурка – фиг с ней...

– А мне и вовсе только посмотреть, – примолвил я, казалось бы, вовремя, но Костя вдруг зло скривился.

– Пошли – ты вроде торопился. Яблок хватит. – Он сдернул пакет с кольшика забора так, что оторвалась ручка.

– А зачем яблоки? – поинтересовался я, почувствовав интуитивно, что могу таким вопросом прогнать странное Костино озлобление.

И действительно, он оттаял.

– Ну как же, после обкурки-то... Но это ладно. Самое смешное, что мы спички тянули, кому идти. Вот тебе образчик демократизма. Я мог бы любого послать (нашли молоденького!), а пошел. То-то, студент! – И, прихлобучив к рассказу ненужный покровительственный довесок, он неожиданно предложил: – Ты яблоки ешь, нечего облизываться. Любишь райку?

– Да, – ответил я и надкусил райское яблочко – то, что покрупней да порумяней. В самом деле, кто не любит райку? Это потом, когда набьешь оскомину, райские яблочки кажутся не больно хорошими, а в первые-то мгновения... Четыре укуса – и огрызок отлетел в сторону. – Ну, и где твои наркоманчики?

Впрочем, мы уже шли к ветхому сарайчику и вопрос был излишен.

О рассказе про наркоманов вообще и про курителей плана в частности я крепенько подумывал в летние месяцы. Нежданно на меня свалился преотличный материал, и я крутил-вертел его так и сяк, но в рассказ оформить не мог. Что касается обстоятельств получения материала, то они банальны: шел с давнишним приятелем, говорить было нечего, он спросил, о чем бы таком поведать, и я почему-то ответил, что о наркоманах. «Пожалуйста!» – согласился он и поведал.

Речь в основном шла о плане – мол, своя рубашка ближе к телу. Хотя рассказывал приятель в подробностях и о гашише, и о «молочке», и о «каше». Затем разговор перекинулся в область неизведанного, но виденного многократно, то есть в область «настоящих» нариков, тех, кто вмазывается (колется). Странное чувство я испытывал, помнится, когда выспрашивал, – дикую помесь недоверия, любопытства и гадливости. Да еще и буйная радость приплеталась, я чуть не прыгал и вовсе забыл, что интервью дает мой приятель, а не какой-то там удачно подвернувшийся посторонний...

Разумеется, придя домой, я всё записал по памяти.

Идею рассказа о нариках дворовые знакомые восприняли восторженно. Однажды они даже такую смешную штуку спроворили: обкурились компанией чуть ли не в десяток че-

ловек и, заботливо позвонив мне, облепили лавочку у подъезда. Я спустился к ним с блокнотом и ручкой, чем вызвал неудержимое ржание...

Но рассказа не получилось. Я лишь набросал что-то вроде сухого интервью, только чтобы не забыть, и отложил до лучших времен. И вот теперь, когда лучшие времена наступили, я представил то интервью худосочным мертвецом в гробу на колесиках, и я без труда, чуть подергивая за веревочку, катил этот гроб за собой. Я уже предвкушал, как пинком втолкну его в узкую дверь сарайчика, как заговорю с теми мальчишками, а интервью оживет, выскочит из гроба, острозубо вопьется в разговор и высосет всё, чего мне недоставало для рассказа...

Да-с, читатель, – такие вот гадкие ассоциации.

Мы шли мимо грядки с крупной краснозадой морковью – сидит девица в темнице, а коса на улице. Воображаемый гробик, внезапно накатывая при ходьбе, сильно бил по икрам.

– Стой! – приглушенно сказал Костя, немного не доходя сарайчика.

Я послушно остановился, надоевший гробик провалился сквозь землю, жадно вырвав веревочку из пальцев. Надо было спросить, в чем дело, но я взамен только молча подумал, что морковка явно уродилась.

– Дело вот в чем: те пацаны сейчас все на измене – ну, мало ли. Меня, к тому же, давно нет. Можно приколоться.

Вломись к ним, рывкни что-нибудь вроде «запалились, говнюки»... А там я войду, так что рожу они тебе набить не успеют. Хорошая идея?

– Неплохая, если ты меня не подставишь, – сказал я и с сомнением продолжил: – А что, правда, могут рожу набить?

– Тебе-то? Да за милую душу! Не, ты не обижайся, я просто на вопрос ответил.

Странно, но идея вторжения понравилась мне настолько, что даже ненадежность прикрытия почти не смущала. Прикол был таким детским... «Вот бы проделать то же самое без подстраховки! – размечтался я, но вмиг урезонился: – Нет, всё-таки давненько меня не били...» Я подошел к двери сарайчика, толкнул ее – не поддалась, толкнул сильней – внутри глухо стукнуло по полу, и дверь отпахнулась. А я так и гаркнул с порога – громко, чеканно, почти весело: – Здравствуйте, мальчики-наркоманчики!

* * *

– Здравствуйте, мальчики-наркоманчики! – так и гаркнул я с порога – громко, чеканно, почти весело.

Костина информация оказалась верной: их было трое, и шуганулись они порядочно. Один отпрянул, соскочив со старого перевернутого ведра, а оно повалилось и звякнуло дешевым варварским звяканьем. Другой, согбенно сидевший у стены, распрямил спину и хорошо приложился затылком.

Третий лишь вздрогнул, перемялся на корточках и, щурясь от солнечного света, хлынувшего в дверной проем, тьякнул:

– Тише, сука!

– У-тю-тю! – злоеце протянул я и, погрозив пальчиком тьякнувшему, привалился к косяку.

Бугаистого вида пацанчик, которому, наверное, последний раз уютюкали в ползучном возрасте, явно опешил и к тишине больше не призывал. Вскочивший с ведра нервный чернявенький симпатяжка теперь стоял и смотрел мне в лицо – завороженно, не мигая, будто в жерло пушки. Щуплый очкарик, приложившийся затылком, теперь потирал его и разглядывал меня с обыкновенным любопытством.

«Немая сцена на полминуты, не больше, – прикинул я. – А через минуту меня попросту будут бить. Вот этим обломком черенка, похоже, подпирали дверь. Им еще можно очень ловко звездануть по коленке, неделю хромать придется. Кости нет: прилип, наверное, к какой-нибудь удобной щелочке и выручать не собирается. Н-да...»

Чтобы отвлечься от тошнотворных мыслей о солоноватой вспухшей губе, прохудившемся носе или оке в трауре, я стал пристально смотреть на очкарика. Тот вдруг побледнел и боязливо спрятал взгляд в самый укромный уголок сарая, в декоративную гуцу паутины. Знаю вас, очкариков, – сам такой! В абстрактных измышлениях вы хоть куда, а случись что конкретное – жирафы жирафами. А и тебя, милоч, пробрало: застучали, запалили!

Полминуты просыпались и замерли внизу крохотным песочным холмиком. Бугайчик посмотрел на меня, потом сунулся взглядом в дверной проем и, видимо, поняв, что дополнительных гостей не ожидается, пружинисто встал на ноги. Он медлительно подошел ко мне вплотную и, чуть задрав голову, чтобы видеть лицо, угрожающе поинтересовался:

– Ты кого наркоманами назвал? – и после молчания с моей стороны прошипел: – Не слышу!

«Ого! – подумал я и ничего кроме подумать не успел – не оттого, что меня ударили, не было такого. Мысль прервалась потому, что в дверном проеме возник Костя – в лучших традициях приключенческого жанра, в распоследний момент.

– Как всегда, вовремя! – произнес я, стараясь выглядеть ироничным, а не благодарным. И, склонившись к недоумевающему бугайчику, шепнул: – А обо мне спроси у дяди Кости.

Костя представил меня как приятеля-одноклассника и писателя (при последнем титуле меня передернуло), рассказал, что то, что здесь было, – прикол, и похвалил бугайчика: мол, молоток, Леша, не законил. Все успокоились, посмеялись, и долговязый миротворец затворил скрипучую занозистую дверь, подперев ее тем самым обломком лопатного черенка, о котором я думал.

Лишь после этого я увидел сарайчик во всей красе: пред-рассветный сарайный сумрак местами был прошипигован солнечными лучами из щелей. Один из них косо перечерк-

нул щуплого очкарика, другой – написанную на стене анатомическую пошлость. Добавочным источником света, помимо щелей, служило махонькое квадратное оконце под косой крышей, но оно было так запылено и заляпано грязью, что свет почти не просачивался сквозь него.

Заперев дверь, Костя прошел в уголок и царственно воссел на одноколесную тачку. По пути он наступил на узловатый, мокро хрустнувший корень хрена. Бугайчик Леша и чернявенький мальчонка тоже сели – так же, как и до моего вторжения: один – раскорякой, а другой – на ведро. Кстати, забыл упомянуть, ведь Костя нас познакомил, и теперь я знал, что на ведре – Толя, а у стены – Сергей (всё еще потирает затылок, вот задел за ухом за дужку очков, и они подпрыгнули). Я же стоял, привалившись к косяку, как прежде: дверью меня не стронуло.

– Проходи, Ген, присаживайся, чувствуй себя, как дома... – радушно предложил Костя.

– Но не забывай, что ты в гостях, – шаблонно закончил Леша, ухмыльнувшись заезженной остроте.

– Не забуду, – пообещал я, присматривая, куда бы пригнаться.

Обстановочка в сарае была вполне деревенской: ведра и лейки, лопаты и вилы, промасленная рвань, разошедшиеся доски... Трое пареньков не портили картинку – сельские ребяташки, курящие махорку тайком от взрослых. А четвертый, переросток, – сельский дурень, который всё с пацана-

ми да с пацанами... Банально, как лужок с пастушками! Но это всего лишь видимость, ведь вокруг – город, и курить ребяташки будут отнюдь не махорку.

– Сюда можно? – небрежно поинтересовался я, подходя к перевернутому ведру рядом с бугайчиком и, не дождавшись ответа, сел.

Ведро сильно выбивалось из окружающего, поскольку было покрыто клетчатым листом бумаги, явно выданным из школьной тетради. «Не к моему же приходу его так застелили», – заинтригованно подумал я и вдруг понял. Полчаса прошлого двухмесячной давности проявились в памяти, и вот я уже вижу точно такой же выданный тетрадный лист, только не на ведре, а на табурете, только не в сарае, а в уютной комнате...

...В комнате Стаса (так звали приятеля, впервые рассказавшего мне о нариках) было уютно. В чем уют состоял, лучше не говорить, иначе комнату сразу опознают, а так – абстрактный уют, не подкопаешься. Я навестил Стаса с намерением разузнать побольше о планокурении, в частности о том, как забивают костыли. Чем не повод зайти к приятелю? Со временем поводов становится всё меньше, а те, что есть, начинают казаться такими незначительными... Но прочь лирику! Я протянул Стасу узенькую простецкую пачку папирос «Герцеговина Флор» с издевательской надписью «Элитные» на каждой штучке и, мило улыбувшись, молвил: «Ну-с...»

Если бы я писал рассказ только о планокурах, я бы, несомненно, очень художественно и метафорично, очень развернуто и понятно показал, как забивают костыль, то есть как изготавливают специальную планокурскую папиросу. Что греха таить, я прежде так и сделал, но подумал и по линейке зачеркнул написанное. А вот дам-ка я вам лучшие схему забивания костыля, по пунктикам, а пунктиков не расшифрую: по-моему, получится забавно. Итак, вначале папиросу потрошат, затем папиросную бумагу почти полностью стягивают зубами с картонной трубочки, потом делают «пятку», а после осуществляют процесс под названием «пылесос»... Ну как? Уверен, к технологии вы уже относитесь уважительно – еще бы, такая тарабарица терминов! «Да, – скажете вы, – но это сухо и неинтересно». Погодите! Сейчас всё будет.

Вернемся у чистому листу на табурете в уютной комнате. На листе теперь курганился табак, выпотрошенный из трех папирос, а Стас сидел рядом на корточках и готовился продемонстрировать, что такое «пылесос». Всё было готово, и приятель взял порожний костыль в губы, придерживая его пальцами, поклонился табурету, ткнулся в кучку бутфорского плана и стал сноровисто всасывать ее. Я лишь посмеивался: на долгом вдохе он осторожно клевал рыжую горку и чрезвычайно смахивал на курицу, а табак струился вверх по белесой трубочке. Постучав нижним концом костыля о табурет, он вновь наклонился и вновь... Когда ко-

स्थ्य был забит, Стас скрутил фунтиком бумажку на его конце, поплотнее натянул гильзу на мундштук и поспешино вручил поделку мне: «На, сувенирчик, смотреть на него не могу!» Понятное дело: на обкурку денег нет...

И вот сейчас я сидел на ведре, покрытом таким же чистым листом, и ясно представлял, как бугайчик Леша, сидючи раскорякой, сутулясь, клюет с ведра измельченную травку. А он тем временем уже достал откуда-то костьль – точную копию Стасова, только настоящий, – и бережно огладил толстыми пальцами с обкусанными ногтями.

– Ты забивал? – спросил я, заранее зная ответ.

Леша кивнул и уважительно передал костьль Косте. Тот, ухмыльнувшись, принял.

– Парни, давайте подождем немного с обкуркой, – предложил Костя. – Пусть Гена вас спрашивает. Прикиньте, рассказ о вас напишет, прославитесь. Ну что, писатель, – ухмылисто обратился он ко мне, – действуй!

Хотелось бы, конечно, написать, что я, получив желанную возможность, коршуном набросился на ребят, поразив их десятками метких продуманных вопросов, и пацаны и опомниться не успели, как уже рассказали мне всё и даже больше в очередности, удобной для рассказа. Но было не так. Перед аудиторией, даже самой малочисленной, я сначала теряюсь, и потому сперва я с глубокомысленным молчанием, чуть наклонясь, наматывал на палец кроссовочный шнурок. Привело это к тому, что шнурки развязались, и я

с особой тщательностью вновь стянул их в бантик. Затем я поёкал-помекал и наконец разрешился фразой:

– А что, ребята, небось, с уроков сбежали?

Все, включая Костю, а потом и меня, заржали. Чернявый Толя предложил плана не курить: и так весело. Меня спас очкарик.

– Скажите, а вы действительно писатель? – спросил он, без связки, грубо, но всё-таки свернув разговор на ту тему, которая могла бы меня реабилитировать.

– Да кто его знает... – кокетливо замялся я и благодарно глянул в очки Сергея. – Пишу кое-что, публиковался кое-где, но, конечно, не Достоевский.

– И мы, типа того, прославимся... – произнес бугаистый Леша со странноватой интонацией.

Я ответил телом: ни утвердительно, ни отрицательно, ни вопросительно, ни удивленно, а как-то средне – совершил извивистое полувращательное движение, словно, сидя на кровати, потянулся со сна. Даже не предполагаю, как понял мой ответ Леша, но сказал он следующее:

– А из школы нас из-за этого твоего рассказа не... выпрут? – прежде чем подобрать последнее слово (а он, несомненно, подбирал его, из цензурных соображений отсеивая более подходящие), бугайчик успел в коротенькую паузу уместить разбойничий посвист и изумительно неприличный жест, ясно показав возможную судьбу сарайного трио.

– Не выпрут, – успокоил я слегка уязвлено. – Я ж у вас

фамилии и номер школы не спрашиваю. Не коните, пацаны!

– А никто и не конит – вот еще... – досадливо пробормотал Леша. – Если бы не Костя...

– Знаю, – коротко отозвался я и, отвернувшись от него, продолжил: – А из школы вас скорее выпрут за то, что на уроки не ходите.

– Отмажемся, – чуть улыбаясь моей наивности, изрек Толя.

– Толя отмажется, у него отмазки крутые, – весело сказал Леша, как видно, сразу забыв наше небольшое препирательство. – Он в том году раза два ездил к бабке в деревню – свинью резать.

– А я патологический отличник, – похвалился Сергей, – меня выгонять нельзя.

Разумеется, всё было мило, смешно, но разговор потек немножко не туда. Скованность уже исчезла, инурки я оставил в покое, появилось оживление, так что самое время... Стоп! Я внимательно посмотрел на костыль плана, осторожно проворачиваемый Костей меж пальцами. Скрылась и вновь появилась на новом обороте тонкая надпись «Элитные». И вновь скрылась. А Костя сидит на двухметровом расстоянии от меня – как прикажете понимать?! «И ведь когда я вошел в сарай, из светлого в темное, дверь когда закрыли, – я ведь совсем не присматривался! – лихорадочно припомнил я. – Да и теперь-то... Нет, невозможно, дичь просто!» Подумав так, я внезапно ослеп; лишь через

некоторое время вновь увидел окружающее, но уже намного хуже, чем раньше. «Чудеса стыдливы! – афористически сформулировал я. – Надо будет записать».

Немного обождав и удостоверившись, что светлые пятна, появившиеся вдруг вместо лиц планокуров, всё-таки лица, я решил не затягивать больше с интервью. Я вспомнил вопросы, заданные обкуренным дворовым парням и Стасу, вспомнил ответы, промытые, подчищенные и убористо записанные на паре листов, – их-то я и представил худосочным мертвецом в гробу на колесиках. Вспомнил – и неожиданно-негаданно вместо лихорадочного любопытства, вместо легкой дрожи, вместо азарта – чувства сродни охотничьему, – я ощутил только унылую гадливость.

«Кому всё это надо? О себе бы подумал. Подумал бы о себе. О себе...» – толклось в голове несусветное, но смысл в нем был. Я прочитал мысленно коротенькую молитву Иисусову, и мне полегчало. Такое душевное сальто заняло несколько секунд, крохотная пауза, почти незаметная, только вот глаза помокрели, и я старался не моргнуть.

Костя нетерпеливо напомнил о чем-то, и я не сразу сообразил, о чем. Сообразив, я стал быстро и обреченно задавать те же вопросы, что и раньше, и получать почти те же ответы, что и раньше. Странно, но вместо того, чтобы увязнуть в еще большем унынии, я совершенно успокоился, даже развеселился. Я и не пытался понять, почему: внутри каждого из нас – дебри; там легко заблудиться.

– А план-то как – хороший? – весело интересовался я.

– А как же... – отвечал Костя, посмеиваясь. – Есть план из листьев конопли, а этот – из бошек, с цветками и семечками.

– Бошки – это, вроде того, верхушки? – улыбчиво уточнял я.

– Ну да.

– Убийственный должен быть план, – авторитетно подтвердил Леша, преданно глядя на Костю.

– И что же надо сделать, чтобы пробить убийственный план?

– Тут существует целая система... – с высокоумным видом произнес Толя, воздев палец к запаутиненному потолку, но не сдержался и прыснул.

– Короче, начинается всё с суеты, – эстафетно продолжил бугайчик. – Собираются парни, решают взять план, ну и базарят, ищут деньги, вспоминают, кто кому должен, занимают. Это вот суета. Потом едут пробивать план к барыге. А у барыг всё есть: план там, гашиш, ханка. Только тебе ни хрена не продадут, если не знают. Ошибся квартирой, вали – и всё. Поэтому надо ехать с кем-то, а с ним, понятно, делиться приходится или обкуривать бесплатно... Правда, блин, система!

Разумеется, я слышал об этой системе. Исходя из нее, политико-экономическое положение в сарайчике было таково: у Кости имеется выход на барыгу, он пробил план для

пацанов, но вместо того, чтобы отсыпаться себе коммиссионные и удалиться, поступил странно. Если странности его продолжатся, то есть надежда, что он сведет юных планокуров с барыгой напрямую, – отсюда и трепетное уважение к моему долговязому однокласснику.

Я спросил про ощущения при обкурке.

– Ощущения классные: всё смешным кажется, ржешь, как слон! – вдохновенно затараторил Толя ломким мутирующим голосом. – С месяц назад на хате обкурились, хотели мультфильмы посмотреть по обкурке, а кто-то говорит: на хрена мультфильмы, вы на ТВгляньте. А телевизор прикольный такой: зад у него ну круглый совсем... Эх, мы и ржали!..

– По ходу, план – очень удобная штука, – прервал бугайчик восторженную болтовню Толи. – Привыкания к нему нет, и курится легко. Просто вот сигаретой затянешься в первый раз – кашляешь, а тут ни фига. С водки часто злой, башка потом болит, а тут добрый, никому рожу набить не хочется. «Свин» вот только начинается, когда тебя отпустит уже.

– «Свин»? – я попытался выглядеть удивленным – не знаю, насколько естественно получилось.

– Ну да, состояние такое. Жрать хочется по-страшному, особенно леденцы на палочке грызнуть круто. А когда на хате, жрешь всё подряд и остановиться не можешь. Я один раз до того напорлся – не лезет в горло, а остановиться не

могу; потом – блевать... Но это раз всего.

– А кроме плана что пробовали? – поинтересовался я и узнал, что пробовали ребятки практически всё, производимое из конопли, и что колоться они не будут по причине дороговизны и неохоты. Впрочем, говорили только Толя и Леша, а Костя и Сергей молчали: один снисходительно, другой – восхищенно.

– А Нострадамус делал свои предсказания после курения трав, – встрял очкарик в разговор. Реплика понравилась, но, похоже, этим его познания в области планокурения и ограничивались.

– Еще два дополнения, и закругляемся с интервью, – деловито проговорил Костя, и молчалников в сарайчике не осталось. – Дополнение первое: план иногда бодяжат, то есть добавляют в него всякую дрянь вроде табака. Получается больше, но хуже. Дополнение второе: есть такие извращенцы – с жиру бесятся – так они вымачивают план в ханке, высушивают и курят. Я не пробовал, но эффект, говорят, офигенный: будто и вмазался, и обкурился. На этом пресс-конференцию считаю завершённой, с тебя бутылка. Пива бутылка, пива – не разоришься...

* * *

Ребятки оживились, как оживляются, заслышав долгожданный звонок с урока. Все возделенно глядели на костыль плана, нежно лелеемый пальцами Кости, и возделе-

ние то казалось почти безгреховным. Пацаны походили на новогодних детишек в магический момент маскарадной мистерии, когда разногласо кричат: «Раз, два, три – елочка, гори!» – и просительно смотрят на ватнобородого чародея.

«А ведь и впрямь мистерия! – мысленно изумился я, выводя из сравнения теорему. – Детишки в масках, да и артисты – и обязательно черти среди них есть!.. Детишки в звериных масках, детишки-оборотни, хороводятся вокруг электрического костра, еще и увенчанного до кучи звездой Соломона... Ну чем не шабаш?!» Подобные поиски символов были для меня делом житейским, повседневным. Сейчас я был шокирован, как и всегда в этих случаях, и так капитально засел в собственном мозгу, что наружу и выглядывать расхотел...

Но пришлось, и, выглянув, я понял, что что-то изменилось. Костя всё так же медленно проворачивал меж пальцами костыль. Вообще, костыль представлял собой довольно любопытную конструкцию: с картонной трубочки была почти полностью стянута папиросная бумага, а небольшой зазор, где она еще оставалась, был тщательно смят (так называемая «пятка»). За «пяткой» следовало длинное белесое тельце, набитое планом, как чучело опилками, причем на самом кончике костыля невострбованную бумагу аккуратно скрутили на манер конфетного фантика. Костя медленно проворачивал костыль, и надпись «Элитные», то скрывавшаяся, то появлявшаяся на новом обороте, читалась отчетливо.

«Опять оно, пугливое чудо... – подумал я с мягкой нежностью и, воодушевившись, продолжил: – Выходит, надо, чтобы я видел всё, чтобы описал потом...»

Прошпаренный этой мыслью, я упоенно рассматривал самодовольный прыщ на носу Леши. И ведь всё нужно было заметить, запомнить: и дряхлое бурое ведро под Толей, и Сергееву ветровку с молнией, коварно расплзшейся посерединке, и гнусовато-довольное выражение, вдруг наплывшее на лицо Кости, – что-то задумал... Костя чуть отстранил костыль и окунул его в солнечный луч, протянувшийся из щели. Костыль стал невыносимо белым, луч прилип к нему, и что-то сладострастное было в такой прилипчивости. Казалось, луч хотел закурить, но не мог без линзы.

– Костыль хороший, – медлительно произнес Костя, любуясь. – Но это, конечно, не «монастырь».

– Какой монастырь? – опешил я.

– Самые длинные костыли «монастырями» называются. Я быстро глянул на часы – плоского механического змееныша, прикусившего хвост и окольцевавшего мое запястье.

– Сколько время? – спросил кто-то.

Машинально отметив ошибку и отклассифицировав ее, я брякнул, столь же бессознательно:

– До службы еще полчаса.

– Чего?

Только тут до меня и дошло, о чем я ляпнул. Чувствуя, что краснею, я пробормотал, что есть такой анекдот,

старый, не важно... Ребятки не догадались. Да и не до загадок им было: они вождеденно глядели на костыль плана, обласканный солнечным лучом. А Костя, если и понял, то ничего по этому поводу не сказал.

– Костя, не тяни, взрывавай! – нетерпеливо воскликнул бугайчик.

– Пускай лучшие Сергей взорвет, – возразил тот.

– Пускай взорвет, – тихо, явно сдерживаясь, согласился Леша и сплюнул.

– Ты что?! – взъерепенился Толя. – Ведь он же не обкуривался ни разу, он не умеет ни хрена!

– Заткнись! – коротко урезонил бугайчик. – Пусть...

Теперь я понимал, откуда взялось гнусовато-довольное выражение, наплывшее на лицо Кости. Ясно, что он хотел почувствовать свою власть, произвел эксперимент и остался доволен результатом. По справедливости, взрывать, то есть раскуривать костыль, должен был Леша: ведь забивал-то он... А тут такое издевательство! Мне захотелось как-то отвлечь его от мыслей об отмщении – понятно, отыграться он намеревался на очкарике.

– Леш, это ведь твой сарайчик? – спросил я.

– Ну, мой, – хмуро ответил он. – Не в тему ты что-то спрашиваешь.

– Да не, я к тому, что не боишься около дома обкуриваться? Запалить ведь могут.

– Я что, дурак, что ли? Дома нету никого. – Цель бы-

ла достигнута: бугайчик отвлекся. – Тут и сад у меня, яблоньки. Знаешь, как по кайфу, когда «свин», тыблочек похавать...

– Ты-бло-чки... – распевно произнес я, смакуя. – Совсем как у меня в детском саду. Я уж думал, вымерло это слово, а тут... тыблочки. Ну дети, дети же совсем, так какого рожна?! – вырвалось у меня, будто птичка из равнодушного фотоаппарата, но птичка улетела, и я устало отмахнулся: – А-а, фиг с вами! Я только зритель...

– Ах, какая патетика! Ах, как красиво мы склоняемся перед обстоятельствами! – бешено вскричал Костя. – Зритель он... В Колизее тоже зрители сидели!

«Он прав, – униженно подумал я. – Я лицемерная мразь. Но ведь я не лгал, когда говорил, а получилось гадко, гадко!.. И уйти нельзя – не для того приходил. Гадко... Но ведь тут не Колизей, тут клуб самоубийц!»

– Но здесь, Геночка, не Колизей. Зря я таким высоким штилем заговорил, – вымолвил Костя более спокойно и уже ухмыляясь. – Здесь как раз наоборот: собрались парни оттянуться, посмеяться. К плану нет привыкания, от него даже жизнь не сокращается и Юостаётся прежним – я в статье читал. Так что всё просто превосходно: примем по два парика в душу, посмеемся и разойдемся.

«В душу... – повторил я мысленно. – В душу!»

– Не берите, парни, в голову! – обратился он к озадаченным пацанам чуть ли не с отеческой интонацией.

Царственно поднявшись с одноколесной тачки и сделав пару шагов, Костя протянул Сергею костыль и спички. Тот недоверчиво посмотрел на протянутое и виновато дрыгнул плечом.

– Держи костыль и варежку закрой! – злобно произнес бугайчик.

Очкарик взял костыль в одну руку, а другой потряс за чем-то спичечный коробок-погремушку, достал спичку, застыл и просидел бы так, наверное, неизвестно сколько еще, но его растормошили.

– Не тормози! Сперва залечи костыль, ну, конец ему, то есть послунявь, чтобы мокрым был. Что ты неврубчивый такой?! Пальцы в рот – и протри его слегка. Во-во...

– Зачем? – машинально поинтересовался я.

– Еще один неврубчивый!.. Чтобы тлел медленнее, а то он, может, в один пых его высосет.

На меня более не отвлекались, инструктаж продолжался.

– Теперь взрывай и дым в тебя тяни, сколько влезет и не выдыхай подольше... Ну!..

Ребятки, а с ними и Костя, вновь стали новогодними детишками, вновь ожидали чуда и исступленно, с упованием смотрели на «деда Мороза», хотя тот оказался всего лишь хлипкой очкастой бестолочью. Даже мне почудился новогодний мандаринный запах, даже я захотел крикнуть: «Елочка, гори!» – и крикнул бы, но меня опередили.

– Взрывавай! – раздалось трехголосое, и Сергей, не пряча зажженной спички в сгорбленную ладонь, а держа на виду, раскурил костыль.

Сперва истлела скрученная бумажка на конце, потом огонь добрался до плана и красным жуком медленно пополз, пополз... Очкарик не закашлялся, но дым изрыгнул сразу же. Путь тоненького солнечного луча оконтурился дымом, который не пах мандаринами, и луч, помутневший, слегка опьяненный, казался радостным оттого, что замечен.

– Лечи давай! – сердито окрикнул Костя, сидевший от Сергея пососедству. Кстати, все стянулись в довольно тесный кружок. – Эй, не висни! Дай-ка сюда, учишь...

– Париками теперь? – полюбопытствовал Леша.

– Да. Подставляй пасть, а потом сам меня обкуришь.

Костя неторопливо окаймил бумагу перед углем слюнявым пальцем и, будто фокусник, спровадил костыль глубоко в рот, так что снаружи осталась лишь картонная трубочка с «пяткой». Предварительно нахватавшись воздуха, он стал медленно вдвигать дым в Лешу, а тот, едва не касаясь трубочки жадно округлившимися губами, вдыхал. Лешин грудак уже расширился донельзя, когда он хлопнул вдвигавшего по плечу – хватит, мол.

– Парик сдал! – шутейно отрапортовал Костя.

Леша молчал, мужественно стиснув губы и залечивая костыль. Когда он отозвался, из его рта не улетучилось почти ничего, кроме реплики:

– Парик принял. Теперь ты подставляй, а то обломил тебя Серый...

Повторилось то же самое, но теперь уже Костя принимал парик. Они были так близко лицом к лицу, что чуть не терлись носами, и с моей точки обзора могло показаться, что они целуются. Я скривился от гадкого сравнения, а в уши прыгнул смачный шлепок по кожанке. Леша вновь лечил костыль и, восстанавливая очередность, обкуривал Толю, а я, технологией более не интересуясь, спрашивал очкарика об ощущениях.

– Не разобрался еще... – раздумчиво отвечивал Сергей.

– А вообще, зачем решил попробовать?

– В жизни всё надо попробовать, – философически молвил он измордованную фразу.

На меня недобро зыркнули, и я умолк.

Но вот и его, философа, обкуривают, и он хапает частично увиливающий побоку парик, и тюкает костяшками пальцев по Толиному плечу, как стучатся в дверь. Вот и он, философ, сует костыль в рот и перхает, обжегшись угольком, отведав пепла, однако ж продолжает дуть и наконец крестится от поощряющего шлепка.

– Молоток! – похвалил Костя, освободив дымок из легких.

– Научился! – заорал Толя. – Здра-авствуй, племя младое, незнакомое!..

И заржал.

– Нам костыль еще докурить надо, долбик! – зарычал Леша, формируя кулак. – Хрен ли?..

И заржал.

– Пле-емя! – проблеял очкарик овечьим смехом.

Костя, намертво стиснув пятерней нижнюю часть лица, смазал другой рукой поочередно Сергея и Лешу по хребтине, а до Толи не дотянулся. Тот, впрочем, смолк самостоятельно.

– Не ржите, а то парик не сможете принять, – поучительно сказал Костя, но тут же вновь схватил себя за челюсть, поймав подкативший смех на полпути, а когда отнял руку, добавил: – Убийственный план!

Покуда он обкуривал Лешу, я ухмылялся от интересной мысли: «Вот он, натуральнейший коммунизм, вот она, утопия! Каждому по потребностям. Парик не иссякнет, пока принимающий по плечу не стукнет...»

Прежде чем начать обкуривать Толю, Костя и Леша неприметно перемигнулись.

– Я лучше вижу! – офонарело произнес Сергей, классически раззявив рот.

Толя заржал.

– Все очкарики от плана лучше видят, – доходчиво объяснил Леша и, подморгнув Косте, начал успокаивать неудержимого ржателя: – Хрен ли ты другим кайф ломаешь? Со всем, что ли, сдурел – тебе сейчас парик принимать.

Толя убаяканно смолк и приготовился добросовестно вы-

зрять причитающуюся дымовую пайку, а успокоитель всё повторял:

– Только не ржи. Только не ржи. Только не ржи.

Но когда скрепившийся соучастник начал вдыхать концентрированный смех, добренький Леша подмигнул Косте, и тот, сладострастная, отчетливо прошептал:

– А теперь – ржи!

И Толя, пуча покрасневшие зенки, заржал. Рот его дернулся в буйном тике, так что чуть не покусал дымящий костыль, и изрыгнул истерический смех навзрыд. Пацан попытался вздохнуть, изловить парик, какой-то уж больно верткий, но не смог и откинулся назад – всё, дескать. Вот тут-то расхохотался и смехостойкий Костя, а за ним и все остальные. Гоготал и я, глядя, как корчится на земляном полу Толя и скребет скрюченной пятерней, будто в агонии.

– Это тебе, чтоб не ржал не в тему! – просмеял Леша, залечивая костыль. Он внимательно посмотрел на жалкого коротышку, зажатого меж пальцами, и сказал: – Тут где-то на полпарика осталось. Пусть Толя докурит, а то обломился он крупно...

Бугайчик сунул карлика чуть успокоившемуся Толе и заржал. Тот с горем пополам докурил костыль, как обычную папиросу, отщелбанил в сторону его бранные останки, и в сарайчик проскользнула восхитительная, долгожданная вседозволенность. Можно было ржать, не сдерживаясь, и они ржали; можно было говорить о чем ни попадя, и они го-

ворили. Пацаны тараторили, не слушая друг друга и не заботясь, чтобы их выслушали, словно знали наперед, о чем скажет тот или иной. Такое взаимопредвидение случается между друзьями и братьями.

«Близнецы! – мысленно хмыкнул я. – До обкурки они были разными, а сейчас на лице каждого выдавилась общая черточка, как тавро. Сиамские близнецы, чудо-юдо о четырех головах!»

И тут мне показалось, что тело у них и впрямь общее, что его ящерохвостый контур прочертился в сарайном сумраке, точно в книжке-раскраске. Огромное брюхо, всё более проитриховываемое, от наслаждения хохотом билось оземь, как огромный мяч, хвост судорожно трепыхался, а головы ржали и пороли чушь.

– Посмотрите на него! – сказала одна из голов. – Он такой большой, а не обкуренный!

– А я знаю, почему сигареты трудно потрошить, – заявила другая. – В правительстве лобби состряпали, которое только за ширяльщиков. Вот они и издали такой закон, чтобы сигареты специальные делали, чтобы мы обламывались!

– Гляньте, какой корень – хреновый! – призывала третья, мимовольно дрыгая всеми мускулами лица. – Ну совсем хреновый!

И какая была ржачка между репликами! И какие были реплики во время ржачки! А нематериальное брюхо, снаб-

жавшее головы дурью, клокотало... А бесплотный динозаврий хвост хлобыстал в экстазе...

Но чу! Кто-то скребется в дверь, и дрожит подпорка, и трясутся пацаны. Но ах! Кто-то рычит по-звериному, и рассасывается контур родимого чудища, и ребятки, получив маленькие, но свои тела, вскакивают. Но тс-с! Кто-то тявкает за дверью (а если тявкает, то уже не кто-то), и бугайчик материт Полкана, и все ржут, прирастая к телу толстобрюхого.

– Я ему хвост отрублю!

– Нельзя, нас тогда киллеры убьют! Полкана лобби из правительства наняло!

– А башляют ему косточками!

– В натуре!

– Посмотрите на него, – сказали они, указывая на меня. – Он тоже их агент!

– Такими же будем!.. – напороочила одна из голов, четвероглазая.

А я, глянув на часы, поднялся: до службы оставалось меньше десяти минут. Я медленно пробрался к двери, тяжко гребя ногами в кипящем от бешеного смеха воздухе, и едва не запнулся о худющий солнечный лучик.

– Это он Полкану пошел докладывать, – предположили они.

– Ничего я ему не скажу, – пообещал я и, вышибив подпорку, отворил дверь.

– Дверь закрой! – рявкнул Костя.

Прежде чем послушаться, я обернулся напоследок и увидел, что плеснувший в дверной проем свет задавил сарайного отщепенца, о которого я едва не заппнулся. На просторе я сощурился, привыкая к обилию солнечных лучей. «Как вас много! – подумал я. – И поэтому вы неразличимы, вас никто не видит, вы – свет. Может, из желания быть замеченным тот лучик сиганул в сарай, а вы его всем скопом...»

Привыкнув к свету, я спешно зашагал к низкому заборчику, обошел его и вскоре оказался на узнаваемой дороге в храм.

«Но лучи – это лучи, а люди – это люди! – продлил я думу. – Для восьмиклассников курить план – скорее норма, чем патология, так что тут не желание отличиться, тут другое... Вероятно, они ценят то толстобрюхое чудо-юдо, делающее их братьями, да и посмеяться охота. Но главное – братство! Ведь к очкарику после этой обкурки будет совсем другое отношение, это уж как пить дать... И что же, хочешь побрататься – кури план?! Но есть же еще братство во Христе, есть оно, только те мальчишки-наркоманчики о нем не слышали.

И тут я развернул внимание на погоду, как делают в разговоре, готовом умереть. И впрямь – чудесное выдалось бабье лето, затяжное. Даже на исходе сентября, хотя и слегка похолодало, небо было цвета глаз старика, впавшего в детство.

Глава пятнадцатая

Лидия Михайловна волновалась. Вчера эта Света хорошо себя показала: первый день активной педпрактики, а держалась уверенно и, чувствуется, детей любит, а это главное. Светлана Алексеевна, пятый курс педфака, не замужем, красивая, но слишком много косметики... Она тоже волнуется, и очень заметно. Антинаркотическая профилактика в первом классе кого угодно заставит поволноваться... Неглупый человек эту методику разработал, но если ее не тем концом повернуть, можно дров наломать... «Ничего, – успокаивала себя Лидия Михайловна, наблюдая с задней парты за приготовлениями практикантки. – Я рядом. Если что – вмешаюсь».

– Светлана Алексеевна, – не выдержала учительница, – может быть, вам помочь? Пять минут до урока.

– Я успею, – резковато (волнуется!) ответила Света и извиняющимся тоном добавила: – Я даже Машу не подпускаю, а то всё перепутаю, где и что... Маш, иди-ка сюда!

Вторая практикантка поднялась с задней парты другого ряда и подошла к однокласснице. Та сунула ей тонкую тетрадку с конспектом урока и попросила:

– Читай, а я проверять буду.

– Вещества, знакомые детям: сахар, соль, пакет молока,

конфеты, фрукты, пачка сигарет...

– Нет сигарет! – в ужасе воскликнула Света. – Есть сигареты?

– Есть, успокойся, – сказала Маша чуть смущенно и направилась к своей сумочке.

«Если есть в кармане пачка сигарет, значит, всё не так уж плохо на сегодняшний день», – с улыбкой припомнила Лидия Михайловна цоевские слова и почему-то совсем перестала волноваться.

«Ничего себе!» – подумал Женя, войдя в класс. Остальные дети тоже удивились, многие – вслух.

– Тише! – сказала Светлана Алексеевна. – Тише! Проходим к своим партам и рот на замочек. Рот на замочек! Сначала сядет самый тихий ряд... Это второй ряд, садитесь тихо-тихо. Так. Послушаем теперь, какой ряд тише – первый или третий...

– Зачем это всё – как думаешь? – шепотом спросил Саша у Жени, когда все расселись.

– Не знаю, – ответил тот. – Сейчас объяснят.

– Сейчас у нас будет необычный урок, – объявила Светлана Алексеевна с некоторым напряжением в голосе. – Сначала я прочитаю вам одну сказку, а потом мы сыграем в игру. Игра называется «Таинственные незнакомцы».

– На столе – это всё для игры? – спросил Саша вслух.

– Да, но сначала будет сказка. И если хотите что-нибудь спросить, поднимайте руку, вас же учили... Короче, слуша-

ем сказку, а все вопросы – потом.

Сказка была о том, как дети – Таня, Ваня и Верочка, – оставшись дома без взрослых, решили исследовать, что находится в заманчивых баночках и коробочках на мамином столике: попробовали на вкус пудру, крем, добрались до таблеток, похожих на витамины, и тут их остановил гномик Здоровячок. «Ну да, всё правильно, – размышляла Лидия Михайловна. – Дети много чего могут попробовать из любопытства». А гномик между тем втолковывал несмышленишкам, что встреча с «Таинственными незнакомцами – веществами, назначение которых вам не известно», могла закончиться плохо; что следует различать любопытство и любознательность, ибо «любознательный человек любит открывать новое, не причиняя себе и окружающим вреда, а любопытный сразу стремится узнать свойства нового, не задумываясь о последствиях».

«Слишком много канцелярщины и сложных конструкций! – мысленно попеняла учительница автору. – Проще надо!» А когда вслед за тем сказочные Ванечка и Танечка припомнили любопытную Варвару с оторванным носом и Маленького Мука с выросшими рогами, Лидия Михайловна поощрительно улыбнулась. Подытоживающие правила, сформулированные Здоровячком, она восприняла как методическую необходимость. «Не трогайте неизвестные вещества, даже если они очень похожи на хорошо знакомые вам. Не пробуйте неизвестные вещества, даже если они имеют «вкус-

ный» запах, цвет, красиво упакованы. Если вы хотите познакомиться с Таинственными Незнакомцами, попросите об этом у родителей или старших, они объяснят вам, для чего нужно это вещество и как с ним обращаться. Если встреча с Таинственным Незнакомцем произошла в тот момент, когда рядом нет никого из старших, отложите знакомство».

«Нудно, но воспринять можно, – подумала учительница, дослушивая окончание сказки. – Очень логично, особенно правила. И заканчивается всё совместным поеданием праздничного торта и конфет – верх логики! Если с игрой проблем не возникнет, можно будет и самой пользоваться...»

«Дно закончилось, – подумала Света, откладывая в сторону распечатку сказки и поднимаясь из-за учительского стола. – Дно закончилось, теперь только плыть. Про дно – это вроде бы метафорой называется, Мишке бы понравилось... Ну, метафора, и что с того? – подхлестнула она себя, с усилием улыбнувшись классу. – Плыви, дура!»

– Ну что, понравилась сказка? – поинтересовалась Света. Дети закивали, задакали, кое-кто пожал плечами, и практикантка взяла таковых на заметку, а Женя Солев поднял руку и, разумеется, был спрошен.

– Мне кажется, это глупая сказка, – заявил он.

– Почему?! – опешила Света.

– Она написана, чтобы мы не ели пудру. Больше она ни для чего не нужна. А мы и так пудру не будем есть.

Девушка на удивление стойко перенесла всеобщий взрыв

хохота, улыбнулась почти яростно и сказала:

– Раз уж ты у нас такой умный, пойдем к доске; будешь мне помогать.

Сразу же в воздух взметнулись около десятка рук: другим тоже хотелось к доске, а кто-то не выдержал и возопил:

– Можно и мне? Ну, пожалуйста! Мне тоже не понравилось!

– Рот на замочек! – рывкнула Светлана Алексеевна так, что Лидия Михайловна вздрогнула, а дети разом притихли. – Женя и один справится, – добавила она потише, но тоном весьма строгим.

Женя подумал, что Светлане Алексеевне сказка очень нравится, раз она так рассердилась. «Может быть, – догадался мальчик, – она сама эту сказку сочинила! Тогда понятно. Миша тоже сердится, если про его рассказы плохо говорят. Надо постараться сделать всё, что она скажет. Тогда она, может быть, и сердиться перестанет». Так рассуждал он, идучи к доске, возле которой на двух соединенных партах были разложены самые разные вещи: и пудра, и сигареты, и какая-то водица в пузырьке, и яблоко, и белое что-то – соль, кажется... Много, в общем, всего.

– Задание такое, – сказала Светлана Алексеевна. – Вот тебе фломастер, вот тебе картонки. Нарисуй, пожалуйста, на трех картонках улыбку, слезы и вопросительный знак. На первой картонке – улыбку. Так... На второй – слезы...

Нарисовав улыбающиеся губы и отложив картонную кар-

точку, Женя задумался.

– Ну, что же ты? Рисуй слезы!

– А как?

– Нарисовал две капли – вот тебе и слезы.

– Но это может быть дождь, – возразил мальчик и вопросительно глянул на практикантку.

Та озадаченно улыбнулась, помолчала и предложила:

– Тогда глаз и каплю нарисуй.

– Думал, – отозвался Женя. – Глазные капли получатся.

– Слушай, умник, рисуй две капли – и всё. Будем считать, что это слезы. Всё равно ведь понарошку.

– Ну, если понарошку, то ладно, – согласился умник и, нарисовав слезы и вопросительный знак, замер в ожидании.

– Объясняю правила игры. Нужно будет рассортировать предметы и вещества, которые вы видите на столе. Если полезное, то ставите карточку с улыбкой, если вредное для здоровья, то слезы ставите, если это Таинственный Незнакомец, как в сказке, то знак вопроса. Не галдите! Все смогут участвовать. Подходим по двое, начиная с первой парты первого ряда, смотрим на предмет или вещество, по порядку, начиная слева, и определяем, какую карточку ставить... Женя рисует карточку – и молчит! Понял, Женя? Когда твой сосед по парте подойдет, тогда и ты говорить будешь.

«По двое подходить – это она хорошо придумала, – отметила Лидия Михайловна. – И совещательность будет, и рассмотрят как следует. Ни толкотни, ни базара. Молодец, де-

вочка!»

Но в процессе игры всё пошло не очень-то гладко: между однопартийцами, то бишь сидящими за одной партией, зачастую разгорались нешуточные споры о том, какую карточку ставить. После того, как на примере флакона с прозрачной жидкостью детям было показано, что там может быть всё что угодно, хоть яд, первоклашки стали с опаской смотреть на самые обычные вещества. О сахаре-рафинаде, например, было высказано предположение, что это динамит, а на коробке написали «Сахар» для маскировки; а уж о соли и говорить нечего: мало ли что туда могли насыпать – вдруг мышьяк какой-нибудь.

– Мышьяк в солонке! – воскликнула Светлана Алексеевна с негодованием. – Да вы лизните, если сомневаетесь!

– Лизнешь – а потом ноги протянешь, – рассудительно молвил Саша.

– А мне мама говорила, что соль вредно есть, – добавил Женя, ибо была его очередь.

– А если вы так хотите улыбку поставить... – лукаво присовокупил Саша, доканывая несчастную практикантку, – съешьте хоть ложечку соли. И попробуйте улыбнуться.

Когда возле всех веществ и предметов были расставлены карточки, измученная Светлана Алексеевна высказалась:

– Что ж, Таинственных Незнакомцев на столе оказалось гораздо больше, чем я думала. Это неплохо: осторожность никогда не бывает лишней. Только у взрослых не забудьте

спросить, что это за Незнакомцы, а когда вам объяснят – верьте взрослым. Я – взрослая. Я говорю, что это – рафинад, сахар такой, а не динамит. Поняли? Всё, урок окончен.

– Не переживайте, – утешала ее на перемене Лидия Михайловна. – Они не со зла, просто у них свежий взгляд. Такое бывает, что дети оказываются умнее методистов. Значит, надо усовершенствовать методику...

– Но как он меня с ложечкой соли – а?! – воскликнула Света и рассмеялась. – Вот ведь гад!

А гад по имени Саша беседовал тем временем с Женей, и разговор у них был не из простых.

* * *

– Так почти обо всем на свете можно сказать, – продолжал Саша. – Кругом Таинственные Незнакомцы! Что же нам, стоять и дрожать, пока взрослых нет?

– Стоять и думать, – ответил Женя. – Надо попытаться разгадать этих Незнакомцев. Трогать или в рот совать не надо – надо просто думать. А потом спросить у взрослых – угадал или нет. Это мозги развивает.

– Тогда всю жизнь простоишь. Станешь очень умным, а ходить разучишься. Как тот взрослый дядя на коляске, помнишь?

– Помню. Ну, тогда ходить надо и смотреть. Ходишь, смотришь, думаешь, потом спрашиваешь, если взрослый встретится.

Они сидели на высоком белом подоконнике, не без труда взобравшись туда по батарее парового отопления. Мимо с визгом и криками бегали другие первоклашки: то от одной стены рекреации до другой, наперегонки, то просто друг за другом. Две белобантые девочки, с обожанием взглядывая одна на другую и держась за ручки, молча прогуливались в средоточии всеобщей беготни, а бегуны старательно огибали их и, судя по всему, включили эту тихоходную помеху в свою суматошную игру.

– Ну и что, что взрослый встретится? – произнес Саша с вызовом. – Ты ведь сам говорил, что они обманули про горку под током, они наврали! Значит, и про Незнакомцев наврать могут! Ты слышал, какие они бывают? Они же друг друга убивают, детей убивают! А ты говоришь – спрашивать у них и верить...

– Взрослые разные, – согласился Женя. – Возле них тоже карточки ставить можно, как сегодня.

– А с кем советоваться, какую ставить? Скажи, если умный.

– Ставь везде улыбку, – сказал Женя, подумав. – Если ты к ним с улыбкой, они постесняются быть плохими. А если не постесняются – ставь слезы. А если они прощения попросят – снова улыбку ставь.

– Получается, возле одного человека можно три карточки ставить.

– Получается, – мальчик улыбнулся. – Сахар и динамит,

всё вместе.

– То сахар, то динамит! – засмеялся Саша. – Со мной так бывает!

– И со взрослыми бывает. Они ведь тоже маленькими были.

– И так всю жизнь? Ведь сам в себе запутаешься!

– Точно! – воскликнул Женя. – Точно! Я уже путаюсь! И в жизни запутаешься, она ведь живая! Перед ней тоже одну карточку не поставишь – только три.

– Как собака: может руку лизнуть, а может укусить!

– Точно! – он почти с испугом взглянул на Сашу. – Ты сегодня как Страшила.

– Как это?

– Ну, он получил у Гудвина мозги с иголками и сразу поумнел.

– А что, иголки торчат?

– Поумнел ты. Мысли торчат. Я раньше думал, что я умнее. А теперь – не знаю.

– Есть таблетки такие, витамины, от них умнеют, – очень авторитетно заявил Саша.

– И давно пьешь? – любопытствовал Женя.

– Не пробовал еще.

Мальчики рассмеялись и долго не могли успокоиться.

– А дети из сказки, – сквозь смех проговорил Женя, – они, наверное, до этих таблеток добрались!

– А гномик их остановил, чтобы не умнели! – добавил

сквозь смех Саша. – Пудру когда ели – не останавливал!

– А то поумнеют и пудру есть перестанут!

– И в гномиков верить перестанут! – Женя вдруг резко посерьезнел и спросил: – А ты в гномиков веришь?

– Только в гномиков или вообще? Ну, во всё такое?

– Кажется, ты съел те таблетки.

– Просто мы сейчас не в детском саду. Надо уметь, – сказал Саша, тоже посерьезнев.

Женя посмотрел на друга очень внимательно и проговорил:

– На чтении я расскажу одну историю.

– Как в прошлый раз, из Библии?

– Да.

– А зачем ты их рассказываешь? Это же не сказки.

– Не сказки, – рассеянно согласился Женя и прибавил, чему-то изумляясь: – Как совпало!..

У доски на уроке чтения он стоял с тем же изумленным выражением на лице, это заметила даже Света, сидевшая на задней парте; и Лидия Михайловна, сидевшая рядом со Светой, тоже заметила это и смотрела на мальчика с тревогой; и все это заметили. Он стоял и молчал, и говорить начал, будто очнувшись, лишь после того, как его окликнула Маша, или Мария Ивановна (как с таким именем-отчеством не быть учительницей, – шутили все), – именно она вела в тот день урок чтения.

– Женя! – окликнула она негромко, но мальчик сильно

вздрыгнул, посмотрел в класс, улыбнулся Лидии Михайловне и начал говорить.

– Сегодня будет опять не сказка, – сказал Женя.

И, как и на прошлых уроках чтения, когда он рассказывал библейские истории, выполняя секретные задания Лидии Михайловны, – как и тогда, он почувствовал, что говорит вроде бы даже и не совсем он, хотя он, конечно, он, кому же еще говорить, все видят, что он... Вот только говорить ему было очень легко, как будто по бордюру идешь и не свернуть ни вправо, ни влево, и даже не думаешь об этом, ведь так приятно идти по бордюру – идти и быть выше своего роста; на бордюре не побегаешь, не попрыгаешь, но даже самые непоседливые дети очень любят тихонько прогуливаться по бордюрам.

– Это было, но было очень давно, – продолжил он, шествуя по незримому бордюру и встречая по пути нужные слова и мысли. – Однажды Бог сочинил прекрасный мир. В нем не было ядовитых растений, а все животные и птицы были добрыми. В том мире где угодно можно было ставить карточки с улыбкой. Потом Бог сотворил людей – Адама и Еву – и подарил им этот мир. Адам гулял по этому миру и давал названия всему, что видел. И всё, что видел Адам, повиновалось Адаму и любило Адама.

По всему райскому саду стояли карточки с улыбками, но возле одного дерева сам Бог поставил карточку со слезами. И Он запретил людям есть плоды с того дерева – сказал, что ес-

ли они съедят плоды, то будут много плакать, а потом умрут. А на ветвях этого дерева жил змей, он был очень обижен на Бога. Змею хотелось кусаться, а Бог сотворил его без жала. Тогда змей подумал: «Я всё равно укушу их!» И он сказал Адаму и Еве, что Бог поставил возле дерева не ту карточку. «Есть еще карточка со знаком вопроса, – сказал змей. – Если вы попробуете плоды с этого дерева, то станете очень умными и всё-всё узнаете. Вы узнаете, что такое добро и зло».

Люди послушались змея и нарушили запрет Бога. И когда они съели запретный плод, появилось зло. Злом было нарушение запрета, и с тех пор оно распространилось по миру. Люди стали видеть зло и поняли, что раньше вокруг было только добро. Бог изгнал Адама и Еву из сада, а мир вокруг них изменился. В новом мире было и доброе, и злое, и люди много плакали, потому что зло им не понравилось. А потом они состарились и умерли, но после них осталось много детей, внуков и правнуков. И мы с вами – тоже их потомки.

Женя замолчал, остальные в классе тоже молчали, и первым тишину нарушил Саша.

– А змей? – спросил он хриловато, не поднимая руки и не поднимаясь с места.

– Мечта змея сбылась, – ответил Женя. – Он получил жало. Но Бог наказал его: змей стал ползать, а раньше не ползал. Раньше он, может быть, по воздуху летал.

– Как летучий змей, – заулыбались в классе. – Так ему и надо!

Очнулась и Мария Ивановна, замороженная рассказом ученика.

– Вот видите, дети, как плохо бывает, когда нарушаешь запреты! – воскликнула она с каким-то лихорадочным оживлением. – На прошлом уроке мы говорили о Таинственных Незнакомцах, что с ними не надо знакомиться без старших. Если бы Адам и Ева из этой сказки сначала бы посоветовались со Старшим, с Богом, с ними бы не случилась такая неприятность... У тебя всё, Женя?

– Всё. Только это не сказка была.

– Конечно, не сказка, прости. Можешь идти на свое место... А теперь, дети, все встанем на физкультминутку. Помните стишок про Хомку? Помните, что делать? Смотрите на меня и повторяйте...

*Хомка, Хомка, хомячок,
Полосатенький бочок.
Хомка раненько встает,
Шейку моет, щечки трет.
Подметает Хомка хатку
И выходит на зарядку.
Раз-два-три-четыре-пять!
Хомка хочет сильным стать!*

* * *

– Ты представляешь? Так всё и было, я нисколечко не пре-

увеличиваю! – закончила Света.

– Вот это мой братец дает! – удивленно произнес Миша. – А чего ты мне раньше не говорила, что он проповеди перед классом читает?

– Раньше было всё-таки не так, он просто пересказывал – и всё. Раза два или три рассказывал – о бесноватом и свиньях, еще о чем-то, но там был просто пересказ. Я, правда, Библию не читала, но ясно, что пересказ. А сегодня он так круто связал всё с моим уроком – я просто офигела. Я бы неделю думала и не придумала бы так, а он за перемену умудрился. И говорил он, как взрослый, как совсем взрослый... Мне даже, знаешь, что показалось... Ну, как будто он намного сложнее мог говорить, но специально простые слова подбирал, чтобы дети поняли.

– Оказывается, я под одной крышей с пророком живу! – улыбнулся Миша. – Впечатлительная ты моя...

– А ты не смейся! – серьезно произнесла Света. – Я понимаю, что не особо умная, но сегодня было чудо. Дети так не говорят, он не от себя говорил!

– Просто он чуть-чуть вундеркинд, с хорошей памятью, фантазией и речевым развитием. Читает, думает, молится – вот тебе и компоненты чуда. Судя по твоему рассказу, в нем и творческие способности есть. Развитой ребенок, ничего не скажешь. Но чудеса здесь при чем?

– Ты просто его не слышал, – упрямо констатировала Света.

– И не видел, и вообще знать не знаю, – раздраженно продолжил Миша. – И вообще он не мой брат, а инопланетянин. Пришелец, блин, из космоса!

– Ты чего, Миш?

– Может, ты и ко мне согласилась прийти, только чтобы на Женьку посмотреть?

– Не только...

– Не только!

– Ты чего, ревнуешь, что ли?! – изумленно воскликнула девушка и рассмеялась. – К брату! К мальчику! Вот дура-ак!..

– Да иди ты!.. – сердито отмахнулся парень, подумал несколько секунд, усмехнулся и сказал: – А ведь похоже на ревность! Или на зависть, что ли... В общем, чувство какой-то обделенности.

– Я и говорю – дурак.

– Станешь дураком, если рядом гений, – проворчал Солев. – Ради него, значит, пришла, да?! – прорычал он с наигранным бешенством и схватил подругу пятерней за горло, что было совсем несложно сделать, поскольку они сидели на кровати в обнимку.

– Отстань, дурак! – взвизгнула она, отдирая от себя руку душителя.

– Тише! – шепнул Миша с улыбкой. – А то дядя Витя услышит.

– Ты его всегда дядей Витей называешь?

– А как же его еще называть?.. Отца я помню.

Помолчали, а потом Света сказала:

– Если серьезно, я не из-за Женьки пришла. Только дура не пойдет, когда парень зовет ее с родителями знакомиться.

– Не с родителями знакомиться, а обиталище посмотреть, – уточнил Миша. – Я помню, что говорил.

– Зачем же мы тогда твою маму ждем? – спросила девушка с улыбкой. – Обиталище я уже посмотрела.

– Она с Женой гуляет, скоро придет, – сказал парень, поживаясь. – Чаю попьем, ты еще разок на пророка посмотришь... Ну и да, черт возьми, пусть и на тебя посмотрят! Мало ли кто на кого смотрит...

– Дурачок ты, Мишка, – сказала Света ласково, а через минуту, переведя дыхание, спросила: – А где они обычно гуляют?

– Во дворе. Ты разве не заметила? Мы мимо прошли.

– Не видела.

– Женька в классики играл. Наверное, в этой игре великий мистический смысл, раз в нее пророки играют, – иронично заметил Солев и, прислушавшись, добавил: – Дверь открыли вроде бы... Да, пришли. Сейчас чай пить будем.

Чай пили в зале (в маленькой кухне впятером было не уместиться, да и гость всё-таки), что придавало чаепитию некую торжественность. Торжественными были и чашки (из сервиза, с блюдечками), а розеточки для варенья самим своим наличием намекали на случай неординарный. Началась

чайная церемония тем, что Виктор Семенович, Софья Петровна и Женя перекрестились и тихонько прочитали «Отче наш». Света тоже поспешно и почти испуганно перекрестилась, и даже в правильную сторону, но Миша, покраснев, сердито шепнул ей, что это не обязательно.

– Не стесняйтесь, Светочка, – весело хлопотала Софья Петровна. – Вот печенье, вот халва, вот варенье вишневое, вот из крыжовника...

– Вот икра заморская, баклажанная, – дополнил Миша.

– Где? – удивилась Софья Петровна, и все рассмеялись.

Поблагодарив, Света положила себе варенья из крыжовника, поскольку оно было без косточек. Некоторое время спустя, когда наладился разговор, а смущение ушло, девушка добралась и до любимого вишневого.

Женя очень удивился, увидев Светлану Алексеевну, но потом подумал, что учителя, наверное, ходят по очереди ко всем ученикам. «Наверное, и Лидия Михайловна скоро придет», – решил он. А когда Светлана Алексеевна стала рассказывать его родителям о сегодняшних уроках: и о Таинственных Незнакомцах, и о ложечке соли, и о райской истории, – Жене стало очень неловко. «Ну, чего ей надо?..» – думал он, чуть не плача, и ни на какие вопросы не отвечал. В конце концов, от него отстали и заговорили о другом.

– А вообще, Света, – сказал Виктор Семенович, – из этой метафоры Таинственных Незнакомцев можно выжать очень многое. Посудите сами, подавляющее большинство челове-

чества для нас – Таинственные Незнакомцы. А если призадуматься, то досконально мы не знаем никого, даже самих себя. О мире я не говорю: мир познаваем, иначе просто примитивный солипсизм получился бы...

– Не такой уж примитивный, раз я этого слова не знаю, – улыбнулась девушка.

– Простите, Света! Я хотел сказать, что наш мир реально существует, что он настоящий и для всех людей одинаковый, а потому можно познавать его свойства. Свойства эти либо неизменны, либо закономерно изменчивы, то есть, как в вашей игре, можно спросить о чем-то неизвестном у специалиста, которому оно известно, и он вам всё объяснит.

– У синоптиков часто о погоде спрашивают, – заметил Миша не без ехидства.

– Не так уж часто они ошибаются. И в любом случае прогноз погоды сродни пророчеству, его область – будущее. А про погоду в настоящем любой синоптик скажет очень точно.

– А с чудесами как быть? – поинтересовалась Софья Петровна. – Для них тоже формулы и этикетки подбирать будешь?

– Чудеса – как раз нарушение правил, не исключение из правил, а нарушение их. Исключения можно как-то классифицировать, то есть ввести в систему, а потом спросить у специалиста. Чудеса ни в какую систему не впишешь, тем-то они и замечательны. Например, по молитве святого всплыл

утонувший в воде топор. Нельзя же в инструкции по эксплуатации топора написать: «Топор тяжелее воды, но в случае такой-то молитвы он непременно всплывет».

– Но ведь есть и систематические чудеса, – возразил Миша. – На Пасху в иерусалимском храме небесный огонь сходит очень даже систематически. Может, это и не чудеса, если система есть?

– А что же это, по-твоему? – спросила Софья Петровна.

– Ну, уникальное природное явление.

– И на месте этого явления выстроили храм, вычислили все закономерности этого явления и уже столько веков ежегодно и на много лет вперед угадывают день и час, когда это явление произойдет, – продолжил Виктор Семенович мысль пасынка. – Крутые у православных синоптики, ничего не скажешь!

– А как же тогда объяснить?

– Иногда ты, Михайло Николаевич, очень умен, а иной раз – дурак дураком! – раздраженно проговорил отчим. – Ну, чудо же! Какие объяснения? А происходит оно на Пасху, поскольку оно происходит на Пасху. Ну, дает Господь понять, что мы всё еще христиане, что Он от нас пока не отвернулся. А то, что Он от нас, засранцев, до сих пор не отвернулся – вот это уж подлинное чудо!

– Не ругайся, Витя, – сделала замечание Софья Петровна.

– Да я не ругаюсь! Просто не понимает человек простых вещей, и хоть кол ему на голове теши...

– Вы ведь про людей начали, – вмешалась и Света, – о том, что они Таинственные Незнакомцы. А про мир просто сказали, что он познаваем, и потом съехали на чудеса. Про людей-то что?

– Да, простите, я несколько в сторону ушел. А на вопрос я не отвечу: как это «про людей что?»? Вопрос в том, у кого спрашивать про людей, если мы и самих себя толком не знаем. Если логически мыслить, то про людей нужно спрашивать у Бога – ведь Он их сотворил. Но, во-первых, люди сейчас не такие, какими их сотворил Бог: они впустили в мир грех и мутировали под его воздействием. Во-вторых, даже если и спросить у Бога (ведь Он всё равно всеведущ), как понять, Его ли это ответ или твои мысли? Наконец, даже если и поймешь, что это божественное откровение, нельзя же каждый раз на откровение надеяться: люди ведь очень часто встречаются, их миллиарды – и все разные.

– И как же к ним относиться, если все они Незнакомцы и спросить не у кого? – полюбопытствовала Света, вспоминая инструкцию из игры.

– Ну, во-первых... – задумчиво молвил Виктор Семенович.

– И он еще думает! – не выдержала Софья Петровна. – А Евангелие на что? В Евангелии и все ответы, и полная инструкция. Как хочешь, чтобы люди с тобой поступали, так и ты... И с Христа пример бери... И святых отцов читай, если уж православный... А то умничает он!

– Да уж... – смущенно усмехнулся умник. – Прости, Миша, на тебя ругался, а сам туда же... Ведь просто же!

– Просто для православных, – уточнил Миша. – Вошел в колею – и катись.

– Не колея, а Путь. Христос говорил, что Он – Путь и Истина. И Путь этот пролегает по бездорожью и в горку; особо не покатишься, разве что обратно...

– Слова всё это! – сказал парень, ощущая нарастающее раздражение. – Если «как к вам хотите, так и вы», что ж вы тех девочек чуть ли не выгнали?.. Ну, свидетельниц Иеговы. В первый раз еще ладно, впустили, а второй раз я с ними на площадке беседовал. Это как?

– Что за девочки? – заинтересованно спросила Света.

– Да повадились тут сектантки, – проворчал Виктор Семенович. – Волчицы в овечьих шкурах. Одна, между прочим, красивая, с толстенной такой русой косой, так что имейте в виду, Света...

– Да ладно тебе, – смутился Миша. – При чем тут коса? Просто в дом не пустить – это не по-христиански.

– Таких не в дом пускать, а с лестницы спускать надо! Это ведь уже не Таинственные Незнакомцы, они себя уже проявили! Христос – абсолютно безгрешный – а и Он сделал бич и бичом всякую шваль из храма выгонял! Вот и этих надо так же, ведь ясно же, кто такие!

– Ну, тихо, тихо, разбушевался, – усмехнулась Софья Петровна. – Ты не Христос, а Он их как-нибудь по-другому вра-

зумит. А ты, сынок, будь осторожен. Это ведь как смерть – оттуда не возвращаются!

– Да знаю, ма, чего уж... Тоталитарная секта, крыша в пути. И журнал у них тупой – об общих достижениях, гуманитарных миссиях, новых структурах организации и ее численности... Короче, какие-то материалы для внутрикорпоративного использования – видно, что в своем соку варятся. Как-то даже непонятно, при чем тут Бог: организация и без Него жизнеспособна...

– Как ты их! – воскликнул Виктор Семенович со смехом. – Ради таких открытий можно и журнал почитать!

– Почитай, а то тоже как в секте – ничего внешнего, – сказал Миша с интонацией легкой назидательности.

– Я про них и так знаю, незачем, – отрезал отчим и после паузы спросил: – Ну, а о чем ты тогда с ними на лестнице болтал полчаса?

– Об этом и болтал – мозги пытался вправить. Ведь я же знаю эту девчонку с косой, со второго раза узнал. Знаешь, Свет, кто она?

– Кто?

– Валя, ты с ней в «Комете» в одной комнате жила.

– Серьезно?!

– Да. Она до лагеря сюда разок приходила, но я там не узнал, а теперь смотрю: ничего себе! Ты знала, что она из секты?

– Нет. Она, конечно, странноватая была, на дискотеку не

ходила и тэ пэ, но чтобы до такой степени... А про Гену, ну, рыбачка, не спрашивал? Они же друзья. Может, и он оттуда?

– Не оттуда, – сказал Миша и залпом допил остывший чай. – Его я уже два раза видел в церкви.

– Что ж ты мне не говорил, что ходишь? – изумилась Света. – Я бы тоже...

– Не надо «тоже»! – сказал Миша почти яростно. – Стадное чувство, блин! А если бы я к сатанистам пошел – ты бы тоже «тоже»? Прикинь, вся в черном, ногти черненькие, волосики черненькие, цепочки да заклепочки, вся морда в пирсинге... Тебе бы пошло, блин! А в церкви я просто собирал материал для рассказа, два воскресенья подряд. Позавчера я там последний раз был: всё, хватит, нового не увижу. Все там молятся: и мои, и Гена, и глухонемые даже. Прикинь, глухонемые! Обязательно и про них напишу...

– А как вообще – пишется? – спросил Виктор Семенович, внимательно глядя на пасынка.

– Не пишется, дядь Вить, – ответил Миша и как-то жалко улыбнулся. – Не пишется – поэтому, наверное, и психую.

Глава шестнадцатая

– Небо было цвета глаз старика, впавшего в детство, – с удовольствием повторил Гена Валерьев, прочитав сделанное за неделю. Объем написанного был вполне приличным, да и текст ему нравился.

«Продолжу после поездки, – подумал он. – Там уже церковная часть пойдет, совсем другое... Только про параллелизм и зеркальность не забывать: забивание костыля – облачение архиепископа, дым от плана – дым от ладана, и через этот дым и там, и там солнечный луч...»

– Да! – воскликнул юноша, схватил первый лист рассказа и гусиным пером, начиненным стержнем от шариковой ручки, написал заглавие: «Зигзаги солнечного луча».

«И символично, и красиво, и не длинно, – размышлял он, весьма собой довольный. – Только не прокололся ли в чем? Ведь не видел обкурки, чистая фантазия... Надо показать специалисту – к Куре надо завтра после универа зайти. Хотя какое завтра? Завтра вещи складывать и вечером ехать, не до Куры. Значит, прямо сейчас, пока не поздно».

Гена поднялся из-за письменного стола, переоделся в уличное и положил рукопись в тонкий нотный сборник (когда-то ходил в музыкальную школу, но бросил). «Всегда был упертый!» – с улыбкой отметил он, опуская ноты в непро-

зрачный пакет и вспоминая, как были огорошены родители его решением насчет музыкальной школы.

– Я к Куре, часа на полтора, – сказал он, уходя.

Мать не ответила: она, по ее собственным словам, с ним больше не разговаривала и держалась уже второй день.

– Ты бы лучше голодовку объявила, – юмористически предложил он, хотя и было досадно, – а то в дверь скоро не пролезешь.

«Ничего, – мысленно выговаривал Валерьев, спускаясь по лестнице, – всю жизнь молчать не будешь. А я съезжу и вернусь». Этот простой логический ход вполне успокоил его, и, выходя из подъезда, юноша думал уже не о молчаливой Тамаре Ивановне, а о рассказе.

«С параллелями ясно, – думал он. – Но как с глухонемыми быть? Ведь какой материал – сказка! Но там проколоться гораздо проще, чем с планом. И не поговоришь с ними – разве что Вальку Велину позвать в качестве переводчицы...»

Гена улыбнулся не без мечтательности, и мысли его несколько уклонились от «Зигзагов солнечного луча».

«Не о том думаю! – спохватился он возле подъезда Дрюни Курина. – Если просто так, то не по-христиански будет, а женишься – всю жизнь промучаешься. Как на ней жениться, если она иеговистка? И как вообще жениться в невесомости? Нужно сперва доучиться, от армии откосить, на нормальную работу устроиться. А если даже допустить, что просто так... Ну, перевесит, допустим, головка голову... И что?»

Деньги нужны, время нужно, здоровенный кусок души нужен. Неэкономно! А так эротическая энергия перерабатывается в творческую, сублимация по Фрейдю, очень продуктивно... Ну ее на фиг! Разве что в качестве переводчицы...»

Гена успокоенно улыбнулся и мотнул головой, вытряхивая оттуда сорные мысли, после чего позвонил в дверь Курянина.

Вскоре Валерьев уже сидел у него и вслух читал свой рассказ. Из соседней комнаты сквозь закрытую дверь раздражительно проникали телезвуки, которые, впрочем, гарантировали, что чтение и последующее обсуждение не будут подслушаны. Прочитав, он испытующе посмотрел на Дрюню.

– Это еще не всё? – спросил тот.

– Примерно половина. Но дальше уже не про планокуров.

– А почему планокуры? Плановые, плановики. Выдумал слово не в тему...

– Может, заменю. Хотя в диалогах его, по-моему, нет, только от автора. Так что можно оставить. Но это мелочь, в целом-то как?

– Сойдет. В деталях ты почти не лажанулся, не парься. Я, правда, в сараях не обкуривался. Мы всегда или в садике детском, или на хате... Помнишь, как мы с алгебры в садик свалили, а потом вернулись и ржали? Нет, это мы на алгебре ржали, а свалили с другого урока, все пацаны свалили...

– Не все, – возразил Гена, припомнив. – Я остался и Локтев с Овчинниковым. Вы тогда с биологии свалили.

Хозяин и гость улыбнулись одинаковыми улыбками: и тому, и другому воспоминание доставило удовольствие. «Странно, – подумал Гена. – Ведь это грех, и даже не мой, – почему же так приятно вспоминать? Только потому, что не повторится? Ни алгебра, ни биология, ни класс наш раздолбайский? Похоже на то...»

– У Пелевина где-то есть интересная мысль, – сказал Валерьев. – О том, что если дерьмо, которое нас окружало вчера, сегодня кажется нам чем-то приятным, то в какое же дерьмо мы превратимся завтра, если завтра будем хорошо оценивать сегодняшнее дерьмо.

– Дерьмовая мысль, – отозвался Курин. – А тогда было и правда классно... Теперь про рассказ твой...

Гена напрягся, а Дрюня ухмыльнулся.

– ...Не бойсь, не дерьмовый. Просто схема просвечивает иногда. И еще христианство свое ты всем в нос суешь... Про Колизей – полная туфта, в жизни такой пурги никто бы не гнал, тем более до обкурки. Чтобы четверых с одного костыля так накрыло – маловероятно, я такого плана не курил. Гон обкурочный получился, поздравляю. Насчет братства тоже угадал. Что такое «братство во Христе», не знаю – «Белое братство», типа того?

– Нет. Церковь – Тело Христово, а христиане – его члены...

– А кто самый главный член? Ну, член, который член? Пardon. Ты в этом бреде разбираешься, но читатель его знает

не обязан.

– Значит, узнает. В следующей части объясню.

– Объясняй. Только никто читать не будет.

– Посмотрим. Тебе я вторую часть точно дочитаю, раз уж начал.

– Валяй, послушаю, если уши не завянут.

– Если уж от этого не завяли... – Гена указал на полку с кассетами. – Может, ты из-за музыки этой богохульной на Христа ополчился? Там ведь сплошь сатанисты!

– Так ведь и я сатанист, – сообщил Дрюня с улыбкой. – Вот, послушай, какие я стихи пишу для господ сатаны...

Стихи были из разряда черного юмора, вроде тех, что про маленького мальчика, и тоже дактилем написаны, а рефреном была строка: «Долго смеялся господь сатана».

– Правда, что ли, сатанист? – изумленно спросил Валерьев.

– Сам ты сатанист, – ответил Курин. – Ведь тебя колбасит от вдохновения, когда пишешь, сам рассказывал. А это, типа того, сатанинская одержимость. Меня вот не колбасило – сел и написал. А у тебя случай запущенный, экзерцист нужен. – Он посмотрел на озадаченного собеседника и рассмеялся. – Ты хоть что-нибудь про сатанистов знаешь? Это же отморозки, они человеческие жертвы приносят и прикид у них дурацкий – всё черное, цепи и крест перевернутый на шее. А я не сатанист, я только музыку их слушаю и стишки про сатану сочиняю.

– А зачем тебе такая музыка? Зачем стишки сочинять? – спросил Гена с душевной болью.

– Музыка нравится. От нее в организме эндорфины вырабатываются, как у шаманов. Наркота на халяву – кто ж откажется? А про стишки вопрос глупый: что сочинилось, то и сочинилось. Я, Генчик, в Бога не верю и в сатану тоже не верю, так что мне проще. Свобода творчества, ёлы-палы! А как мифологический персонаж сатана интереснее, чем Бог. Крутой такой перец – чего ж мне его господом не назвать? – усмехнулся Дрюня.

– «Господь» означает «господин», – заметил Гена. – Значит, ты заявляешь о своем рабском подчинении сатане. И жертвы ему, кстати, приносишь – свое время, свое творчество, свое сочувствие певцам-сатанистам... Ты ведь самого себя в жертву приносишь, это человеческая жертва!

– Ой, как страшно! Сейчас побегу грехи замаливать! – он комически схватился за голову, потом отпустил ее и с каким-то мертвенным спокойствием посмотрел на Валерьева, поинтересовавшись: – А если нет их? Ни Того, ни другого. Ради кого весь балаган затевать?

– А ты ради кого затеваешь? Тоже ведь делаешь что-то. В моей системе координат это «что-то» на сатану работает, а в твоей на кого?

– На меня. Мне интересно – я и делаю.

– А когда неинтересно станет – повесишься?

– Найду другое интересное. А вешаться мне заранее неин-

тересно.

– А если всё станет неинтересно и будет дилемма: верить или вешаться – что выберешь?

– Смешной ты, Генчик! – сказал Курин серьезно. – Помнишь, в школе вопросы были типа этого? Ну, типа, «в жопу дашь или мать продашь?», из двух зол, короче. И вот паришься: и пидором быть неохота, и мать – не посторонняя. Детский сад!

– Ну а всё-таки? Поверишь или повесишься?

– Поверю. Но поверю в то, что мне ближе. Если я сейчас сатанистов слушаю, а не девочек из церковного хора, то и веру выберу соответствующую. Ты к этому вел?

– Да.

– Молодец, довел. Можешь, короче, считать меня потенциальным сатанистом. А ты у нас кто? Как ты тогда ответил на вопрос про жопу и мать?

– Никак.

– Ну как же, никак! Если не отвечали, под дых били.

– Три раза били, потом отстали.

* * *

На практической по физиологии человека резали лягушек. Степа прозвал такие занятия «курсами молодого Базарова»; некоторые одноклассники со смехом переняли это название, другие переняли без смеха, поскольку не поняли, но так или иначе оно закрепилось и даже было в ходу у про-

фессорско-преподавательского состава. На этот раз случилось ЧП: одну очаровательную натюрмордочку, чудесно державшуюся на сцене, да и вообще девушку с железными нервами – вдруг вырвало на отрезанную лягушачью голову.

«От кого, интересно?..» – подумал Степа, а на перемене задал этот вопрос Мише.

– Точно не от меня, – ответил Солев. – А может, она просто так? Гадость ведь эти лягушки, сам чуть не сблевал!

– Не знаю-не знаю, – скептически произнес Степа. – По моему, после четырех лет театральной жизни можно и человеку голову отрезать без особых эмоций. Да и факультет у нас не такой, чтобы лягушек бояться.

– Факультет – ладно, а насчет театра ты загнул. Я бы, например, никому голову не отрезал, и ты бы не отрезал, и никто из наших, разве что Гриша...

– Я же фигурально выразился, иносказательно! Грубеют, мол, нравы человеческие в театральной среде, цинизм в ней вырабатывается, а самообладание для артиста – вещь перво-степенная, без нее никуда. Что же касается головореза Гриши... может быть, это он так расстроил нервы у Катеньки?

– Вроде бы не было у них ничего, я не видел, – пробормотал Миша и добавил раздраженно: – Охота тебе, Степ, всюду нос совать! Когда станет заметно, то есть если станет заметно, тогда и спросим.

– Конечно, спросим, не чужая ведь! – иронично проговорил Степа. – Наша натюрмордочка. И со мной была, и с то-

бой была...

– Сначала со мной!

– Какая разница, давно было...

– Большая разница: я ее девочкой взял... – на Мишином лице появилось светлое, грустноватое, немножко виноватое выражение. – Я и не предполагал – такая оторвашка!

– Не знал... – удивился Степа. – Силен, брат! А у меня целок ни разу не было. Помнишь, как мы из-за нее морду друг другу били, а потом водку пили?

– Помню, – рассмеялся Солев. – А на следующий день в универ приперлись: ты с фингалом, я с губой разбитой и от обоих перегаром за версту прет...

– Славное было время! Сейчас такое и представить дико, а всего три года прошло. Вот это я и имел в виду, когда про отрезание голов говорил...

– Понял, понял, не тупой. Значит, думаешь, что Катька залетела?

– Симптоматика налицо. Я даже допускаю, что скоро будем на свадьбе гулять.

– Хорошо бы. Она классная.

– Но Светка лучше, да? Я слышал, ты ее уже с родителями познакомил...

– Вот трепло! – помрачнел Миша. – И она трепло, и ты трепло. Подходите, блин, друг другу! Уведи ее, что ли, – морду бить не буду.

– Сам пошли, если надоела, – посоветовал Степа. – У меня

Ленка есть.

– Пока подожду: не надоела вроде. Но иногда так достает!

– Все мы иногда достаем друг друга, – философично заметил Степа. – Терпи – не маленький, тогда и тебя стерпят.

– Пойдем, философ, сейчас звонок будет, – сказал Миша и направился в аудиторию.

Звонок, действительно, прозвенел, и на филфаке началась лекция по русской литературе.

Лекция была не совсем обычной: в большую аудиторию-амфитеатр собрали студентов второго и третьего курсов, а выступал перед ними заезжий профессор. Чтение лекций не планировалось: москвич приехал на конференцию, посвященную творчеству знаменитого писателя, здешнего уроженца, – но профессора успешно упростили, так что поутру он приналег на минералку, да и во время лекции то и дело подливал себе кавказской водицы.

Читал он хорошо и вполне сознавал это, никаких бумажек перед ним не было, студенты его слушали. Но сам себя профессор почти не слышал: лекция была читана десятки раз, знакома, как собственная квартира, а студенческая масса вела себя как ей и полагается: вот сейчас начнут отвлекаться – нужна шутка, прошло, посмеялись, слушают дальше; опять спад – здесь анекдот из жизни гения, прошло, улыбаются, слушают; на этих словах звонок бывает, когда пара с перерывом, – здесь пары сплошные, звонка нет, продолжаем... Профессору было грустно: два года назад он защитился, уже

получил и степень, и должность, и звание; доктор в сорок лет – мечта!.. Но дальше-то куда?.. Дорожка из желтого кирпича, по которой он победно шествовал всю жизнь, привела его к цели и кончилась. А жизнь продолжается, и в этой жизни столько тропинок и шоссейных дорог, столько перекрестков и развилок... «Наверное, военные то же самое чувствуют, когда в сорок лет на пенсию», – подумал профессор и пошутил вслух, поскольку пришло время для шутки.

– Классный профессор! – сказал Артурка на перемене. – У нас такого уровня никого, наверно, нет.

– По литературе – точно никого, – согласился Гена и задумчиво продолжил: – Когда он, интересно, в Москву возвращается?..

– Сегодня, наверно. Конференция сегодня закрывается: на доске программа висит. В два пленарное заседание, в пять – банкет, а ночным отбудут господин профессор, в умеренном подпитии-с.

– Тоже ночным, – пробормотал Валерьев и улыбнулся.

– В смысле – «тоже»?

– Не важно.

– Вот и поговори с тобой! Стоит и бредит, – рассердился Артурка. – Пойду с Гренковой лучше поболтаю.

– Вы помирились, что ли? – услышал он вопрос вдогонку и, обернувшись, ответил:

– Уже неделя, как помирились. Я же говорил.

– Забыл, извини.

«Странный он сегодня, – подумал Артурка, удаляясь. – Грузный какой-то».

А Гена от нечего делать пошел посмотреть на доску объявлений. На ней висели программа конференции, устаревшая афиша посвящения в первокурсники, просьба вернуть утерянные ключи на брелке с песиком, объявление о продолжающемся кастинге потенциальных артистов театра-студии «Натюрморды»...

– Весомый был камешек, – проговорил Валерьев негромко, – раз круги до сих пор идут.

– Какие круги? – удивленно спросила Валя Велина, стоявшая неподалеку и глядевшая, не изменилось ли расписание.

– От камушка, – ответил он, посмотрев в ее сторону, но будто бы мимо, – который бросили в воду.

– Ты о чем говоришь? Артурка сейчас к нам с Олей подошел, сказал, что ты стоишь и бредишь. Я думала, врет, как всегда...

– Как всегда, – повторил юноша с улыбкой и посмотрел на девушку. – Говорю я про театр «Натюрморды». Основан давно, а до сих пор не развалился. Значит, в основании – крепкий камушек. Вот объявление: новых артистов набирают.

– А кому ты это говорил?

– Мысли вслух.

«Артурка прав, – подумала Валя. – Что-то с ним не то сегодня».

– Ну, и сколько этому театру лет? – спросила она.

– Двадцать пять, недавно отмечали.

– Надо же! Нас еще на свете не было.

– Не было.

– Генка! – не выдержала Велина. – Да что с тобой сегодня?!

– Ничего, Валенька... – ответил он ласково и устало. – Просто мыслей сегодня много, на внешний мир силы не остается.

– Ты так под машину попадешь! – воскликнула Валя, всерьез встревоженная.

– Бог милостив.

Ей захотелось взять его за плечи и потрясти изо всех сил, чтобы всё ненужное вылетело из его умной головы... Но пока нельзя. Остается только молить Иегову, чтобы под машину не попал. Такой несклёпистый!..

* * *

Идучи домой, Гена Валерьев был настолько самоуглублен, что мог бы запросто попасть не только под машину, но даже и под асфальтоукладочный каток. Одним из предметов самокопания был прощальный разговор с Артуркой, во время которого Гена сказал, что завтра и послезавтра его в университете не будет, что у него дела; дела и всё – не важно, какие; пиши, амиго, лекции поразборчивее в эти два дня, в субботу увидимся. «Зачем сказал «амиго»? – думал Гена со стыдом. – Никогда его так не называл...» Были и другие

темы для самозабвенных и вследствие этого жизненно опасных размышлений, однако юноша добрался до дому вполне благополучно.

Там его ждал сюрприз в лице Тамары Ивановны, пришедшей с работы много раньше обычного и нарушившей обет молчания.

– Ты вещи думаешь собирать? – спросила она грозно. – Скоро поезд, а ты и не начинал!

– Не скоро, а ночью, – ответил Гена с внутренней радостью и внешним спокойствием. – Да и вещей не надо никаких. Ну, носки, трусы, платков парочку, рубашку, джемпер на всякий случай, зонт. Ветровку я сразу на себя надену. Всё вроде.

– Всё вроде! – передразнила мать. – А зубы ты чистить собираешься? А задницу подтирать собираешься?

– Собираюсь, собираюсь. Всё возьму. И еще лекарства возьму, и бумагу с ручкой возьму, и паспорт с билетами возьму. Ты не волнуйся.

– Не волнуйся! Видела в окно, как ты по улице идешь. Тебя за ручку водить надо! Не волнуйся! И в кого ты только такой уродился?.. Понятно в кого – давай, дорожка уже протоптана! Не волнуйся! Такой же придурок!..

– Ну, хватит, хватит... – миролюбиво пробормотал сын, поморщившись.

– Чего еще хватит? Ты мне рот не затыкай! Хватывает он! Расхваткался! А жрать ты что будешь – подумал?

– Поужинаю здесь, позавтракаю у Рудаковых. С собой

возьму минералку и печенье, в поезде чай куплю. Интересно, там сейчас сахар-рафинад в упаковке с вагончиками, в синенькой такой, как раньше, или по-другому теперь?

– Не знаю, – сказала Тамара Ивановна и улыбнулась, вероятно, вспомнив синенькую упаковку с вагончиками. – Лет восемь никуда не ездили – кто его знает, как там сейчас. Подстаканники были узорчатые такие – сразу понятно, что в поезде... Может, там теперь пластиковые стаканчики, как в буфете, а подстаканники разворовали – кто его знает...

– Не может быть, чтобы разворовали, – предположил Геня. – Это ведь железнодорожная романтика, элемент имиджа.

– Ты, элемент имиджа! – опомнилась замечтавшаяся мать и продолжила грозно: – А ты уверен, что позавтракаешь у Рудаковых? Больно ты им нужен – кормить тебя! Свалился им, как снег на голову: «Кормите меня, поите, спать укладывайте!» Вот ведь нахал!

– Не нахал, а гость. И не как снег на голову, а по телефону позвонил, спросил, можно ли у них остановиться. Они, по моему, даже рады были. Мы ведь у них уже останавливались и они к нам заезжали. Родственники всё-таки.

– Родственники! Нужны им такие родственники! Как бы они тебе, дураку, отказали, если ты уже билет взял? Родственничек нашелся! Сто лет не виделись. А теперь корми тебя, постель тебе стели непонятно где, потом белье постельное стирать – нужен такой родственничек! Ты им к столу

что-нибудь купи обязательно – колбасы, сыра, – чтобы не с наглыми глазами сидеть. Деньги я тебе дам – заняла сегодня у дяди Гриши. Сам тоже ешь, не голодай там смотри, пирожков купи и этих – когда мясо с вертела большим ножом стругают. Днем ведь будешь ходить, захочется...

– Спасибо, ма.

– «Ма»! Только и знаешь, что «ма»! Теленок! Ну куда ты едешь?! Это же ужас, куда ты едешь!

– В Москву, столицу нашей Родины.

– Не придуривайся! Как будто не понимаешь... Деятелю там своему привет передавай. И от меня, и от всех наших.

– Передам.

– Не забудь передать, а то знаю я тебя... Сейчас будем обедать, пошла суп греть, а ты начинай собираться. Времени мало осталось.

– Да полно времени, успокойся. И вообще не волнуйся – нормально всё будет. Я в воскресенье причастился, благословение взял, так что всё нормально.

– И я с ангелами поработаю.

– Не смей! – испуганно воскликнул юноша. – Обойдемся без бесов! Ты меня поняла? Ты мне своей «работой» только навредить можешь. Работница, блин! Ты поняла меня, я спрашиваю? Я могу быть спокоен, что ты ко мне со своей чертовщиной соваться не будешь? Отвечай внятно! Ну?!

– Хорошо, не буду, – согласилась Тамара Ивановна, тяжело вздохнув, и пошла разогревать суп.

А Гена Валерьев прошел в свою комнату и из ящика письменного стола достал картонную папку с пожелтевшими машинописными листами. Листов было немного, и Гена подумал: «Не может быть, чтобы он ничего больше не написал. Где же остальное?» Подумав так, он уже в который раз принялся перечитывать недавно найденные отцовы стихи. Сверху лежало стихотворение

Моим подопытным крысам

*В блеске лезвий железных
Покоряем мы выси,
В тайны тайные лезем
Через трупики крысы.*

*Мы в котле озаренья
Из подопытных тварей
На гипотез поленьях
Факты новые варим.*

*Тепло-липкие руки
Словно вплавлены в скальпель.
Кроем белые шкурки
Красной крапиной капель.*

Много тысяч хвостатых,

*Осужденных на муку,
Под эфиром распяты,
Чтобы двигать науку.*

*Дышат тихо и ровно,
Принимая закланье,
Лишь на мордочках словно
Вдруг мелькнуло сознание,*

*Будто поняли: тесно
Всякой твари на свете
И на лучшее место
Не достанешь билетик;*

*Всё фатально и просто:
Для влюбленных – поэты,
А на столике кто-то —
Для того, кто с ланцетом.*

*Но на парне, быть может,
Что над столиком гнется,
Ставят опыты тоже —
И ему отольется.*

«Может быть, его из-за крыс так припечатало? – подумал Валерьев, откладывая лист в сторону. – Хотя какие крысы?..»

Крысы тут ни при чем».

Глава семнадцатая

Проснувшись утром, Гена Валерьев не сразу сообразил, где он: лежит в одежде, на спине, прикрытый простыней до подбородка, а сверху – невысокая преграда, до которой можно рукой достать... «Можно испугаться, – подумал он с улыбкой, – если бы потемнее было и если бы поезд стоял».

Молился он, как и накануне вечером, перед полуоткрытым сквозящим окном туалета, ограничившись двухминутным правилом Серафима Саровского.

Стакан с чаем был облачен в замечательный узорчатый подстаканник – совсем как раньше, а вместо синеоберточного рафинада оказался сахар-песок в бумажной трубочке.

Москву Гена представлял довольно смутно: он был там лишь единожды, с родителями, в восьмилетнем возрасте. Рудаковых он помнил более отчетливо: последний раз они заезжали в гости года четыре назад, – а потому он легко узнал их в толпе встречающих. «Валентин Иванович, Варвара Семеновна, Юля, Толя. Ст. м. «Сходненская». Адрес...», – прочитал Гена по бумажке и подумал, что адрес сейчас не актуален – имена бы не забыть...

Валентин Иванович был двоюродным братом Гениного отца, а Гене, соответственно, приходился кем-то вроде дяди, только с поправкой на двоюродность. Может быть, так оно

и называется – двоюродный дядя? Родственник, одним словом. На вокзал он пришел с супругой Варварой Семеновной, а их детей видно не было, так что семья Рудаковых предстала в половинчатом составе. «Могли бы и вообще не встретить, – подумал Валерьев с благодарностью. – День-то рабочий».

– Вырос, – констатировал Валентин Иванович, пожимая приезжему руку.

– А на Володьку как похож! – добавила Варвара Семеновна и вздохнула.

– Хорошо доехал? – спросил Рудаков несколько суетливо, при этом внушительно глянув на жену. – Пойдемте к метро, по дороге расскажешь.

– Нормально доехал. Спасибо, что встретили.

– Не за что, мы же родственники.

Гена заметил, что Валентин Иванович, по сравнению с прошлым разом, ощутимо округлился и начал сесть, а Варвара Семеновна подурнела: что-то в ней появилось от перезревшего редиса, пошедшего в стебель. «Интересно, какие стали Юля и Толя, – подумал юноша. – С Толей мы ровесники, Юля на пару лет постарше... Родственники, однако!»

В метро Гена старался не вертеть головой, дабы не выдать свою провинциальность, но по тому, как он стискивал поручень эскалатора при спуске, как сходил с него, как пытался разглядеть номер подходящего поезда, – внимательный москвич с легкостью понял бы, что этот юноша в столице недавно.

– Ну, и как тебе метро? – полюбопытствовала Юля, разглядывая братца, сидящего напротив. «Наверное, троюродные, – подумала она. – А он ничего, симпатичный. За троюродных даже замуж можно...»

– Обычный вид транспорта, – ответил Гена с достоинством, подумав: «Неужели они всегда так завтракают? Или уже позавтракали и просто компанию поддерживают?»

Он имел достаточно такта, чтобы не спросить об этом напрямую, однако вопрос всерьез интересовал его: неужели они наедаются бутербродами? Неужели так каждое утро – чай, кофе, бутерброды? С чего же потолстел Валентин Иванович? Может, они хотя бы ужинают по-человечески?

«Намажь на халу масла, – вспомнил Валерьев пример, приведенный толстым пожилым лингвистом на недавней лекции. – Хала – это такая длинная московская булка. Намажь нахалу масла – представляете?»

– Чего улыбаешься? – спросила Юля.

– Да так.

– Обычно приезжие восхищаются метро, – продолжила она свою недавнюю мысль, – а на самом деле – такая гадость! Подземелья эти... На автобусе в сто раз лучше, хоть и медленнее.

– Тебе виднее, – заметил Гена и взял очередной бутерброд.

Кухня была светлая и просторная, за окном виднелись малозастроенные городские окраины, за кухонной дверью раз-

давалось рычание и поскребывание: доберман Тэдди желал съесть гостя или просто чего-нибудь съесть; на холодильнике мирно сидел здоровенный сиамский кот, а на трех табуретках разместились четыре человека. Такая арифметическая нестыковка объяснялась тем, что Юля держала на коленях Дашу – свою двухлетнюю дочь – и кормила ее какими-то хлопьями, залитыми молоком.

После того, как Валентин Иванович сделал пересадку на кольцевой линии и отправился на работу, Варвара Семеновна сразу же начала говорить. Гена расслышал не всё, что она говорила, хоть они и сидели рядом, – поскольку поезд гудел и скрежетал, – но еще в метро гость узнал, что у Юли ребенок, а Толю забрали в армию. Так что Даша не стала для Валерьева неожиданностью – неожиданностью стал Тэдди, облаявший его столь свирепо, что лучше бы уж укусил разочек и заткнулся.

«Красивая девочка, – подумал Гена, поглядывая на Дашу. – Может быть, она еще Ангелов видит».

Когда зашел разговор об отце, юноша слушал очень внимательно, а на вопросы отвечал неохотно и лаконично.

– Пока не известно, – говорил он. – Выясню – сообщу.

Допив чай, Гена поглядел на часы и засобирался: дел было много.

Прежде чем шагнуть в троллейбус, он еще раз сверился с заветной бумажкой и подумал: «У нас таких номеров сроду не будет. Неужели столько троллейбусных маршрутов есть?»

Наверное, есть: Москва – город большой». Некоторое время параллельно с троллейбусом шел трамвай и Гена с интересом следил за тем, кто кого обгонит: в его родном городе трамваи не водились. Но троллейбус свернул в сторону, а трамвай погромыхал по прямой, так что ничем определенным гонка не окончилась.

– Скажите, а кинотеатр «Метеор» скоро? – спросил Валерьев у кондуктора.

– Не скоро.

– Скажете, когда будет?

– Скажу.

«"Метеор", – подумал Гена, пряча бумажку в карман, и улыбнулся. – Почти "Комета"». Но нырнуть в воспоминания о студенческом лагере ему не удалось: всё-таки по стеклам троллейбуса текла Москва – столица нашей Родины, блин, которая, блин, не резиновая, блин! Гена нервничал, а приближающийся «Метеор» был для него куда актуальнее далекой «Кометы».

«Ориентир хороший, – отметил он, глянув на вывеску кинотеатра, а потом – в бумажку. – Но дальше-то куда? Где она – эта улица Свободы? Улица Свободы, блин! На улице Свободы расположились – с юмором ребята...»

Улица нашлась быстро, а вот дом отыскался не сразу, но всё-таки отыскался, и номер у него был не простой, а с дробью, и вход в него был не просто так, а со двора, и курили на его крыльце не абы кто, а ребята в форме – курили и рас-

сказывали анекдоты.

«Ментяры!» – мысленно ругнулся Гена, проходя мимо, и вновь заглянул в свою замечательную бумажку, чтобы узнать кабинет нужного человека.

В унылом коридоре перед кабинетом на унылых откидных сидениях, обитых коричневым дерматином, сидела унылая очередь. Обстановка была как в поликлинике, но в кабинете, куда Гена попал после полуторачасового ожидания, оказался, конечно же, не врач, а лицо, указанное в бумажке, – судья Каплина Н.Н.

– Сын? – удивилась судья, разглядывая паспорт Валерьева, а заодно и его самого.

– Сын, – подтвердил он, разглядывая Каплину Н.Н. и недоумевающая, как это она, молодая и красивая женщина, решает судьбы людей; такая работа – решать судьбы; это ведь свихнуться можно, если призадуматься...

– Вам на какое число свиданку выписывать?

– На завтра. Завтра вечером у меня поезд.

– Тогда идите с самого утра, к восьми, а то можете не успеть. Вы знаете адрес и как добраться? – спросила судья, протягивая посетителю паспорт и разрешение на свидание.

Гена нащупал в кармане заветную бумажку и ответил:

– Знаю. Спасибо.

* * *

Когда троллейбус подъехал к очередной остановке, при-

ятный женский голос из динамика, никак не сочетающийся с обликом волосаторукого водителя, объявил:

– Остановка «Сходненская». Станция метро «Сходненская».

«Сойдем, раз уж такая станция», – подумал Гена и неожиданно для самого себя вышел из троллейбуса. Шагая к метро и анализируя свой поступок, он рассудил, что всё правильно: главное на сегодняшний день уже сделано, время до вечера еще есть, так что не прогуляться по Арбату и Красной площади было бы просто глупо.

Купив карту города, картонную поллитровку яблочного сока и три пирожка с капустой, Гена отправился осуществлять свой дерзновенный замысел.

Принцип перемещения в метро он постиг еще утром и уже не пытался высмотреть номера поездов, а мудро перескакивал с ветки на ветку, выискивая путь покороче. Он даже попробовал ехать в вагоне, не держась за поручень, как делали некоторые, и у него получалось в течение целой минуты, а потом так мотнуло, что юноша решил более не выпендриваться. Поднимаясь на эскалаторе, он заметил презабавную штуку: все люди, спускавшиеся по параллельной ленте, вне зависимости от пола и возраста, казались беременными. Просто стояли они на эскалаторе под таким углом, что, ну, беременные – и всё тут!.. Продолжая улыбаться своему оптически-гинекологическому открытию, Гена вышел из метро.

В центре Москвы было, конечно, не так, как на окраине, – поплотнее, полюднее, потуристичнее. Больше всего Гену удивило обилие церквей, которые обнаруживались чуть ли не за каждым поворотом. На Красной площади, помимо собора Василия Блаженного, оказалась церковь, которой Валерьев не помнил, – тоже древняя и красивая, – и он там хорошо помолился. Еще на Красной площади было лобное место, куда туристы кидали монетки, «мечтая попасть на плаху», – мысленно скаламбурил Гена. А что – они, действительно, радовались, когда попадали...

На Арбате Валерьеву особенно понравилась испещренная надписями-подписями стена, ну и картин было несколько неплохих. А поразил его йог – не столько своим выступлением, то бишь хождением по битому стеклу, эффектной игрой с факелами и т. д., сколько фразой, произнесенной при сборе денег со зрителей. Сказал же он следующее:

– Ну, я-то, понятно, йог – мне деньги нужны. А вам они зачем?

Посмотрев на часы, Гена понял, что самое время решать второй сегодняшний вопрос. Вот только откуда бы позвонить?

– Не знаешь? – добавил он.

– Знаю, конечно, – ответил встречный парень. – Таксофоны вон. Карточка есть?

– Нет.

– Тогда геморрой: ее поблизости хрен купишь. Тебе куда

звонить?

– В Москву.

– Короче, есть предложение: я тебе даю трубку минуты на три, а ты мне ставишь пиво. Пол-литра, какое хочешь. Идет?

– Договорились.

– Если поговоришь раньше, чем я допью, оставлю тебе, – пообещал парень и, хихикнув, жадно присосался к бутылке с дешевым пивом.

– Здравствуйте, Наташа. Это Гена Валерьев. Я в Москве.

Он впервые держал в руке сотовый телефон, и это усиливало волнение. Он всегда волновался, разговаривая с Наташей. Было в этих разговорах что-то неэтичное, что ли, и он облегченно вздыхал, когда разговор заканчивался. Вынужденная необходимость, чего уж теперь...

– Я завтра иду к отцу. Передать ему что-нибудь?.. Ну, на Арбате. А зачем вам?.. Зачем нам встречаться?.. Письма? Хорошо... У меня есть схема метро, найду... Внизу, никуда не ходить, у стены... Понял, понял: с одной стороны – выход, с другой – стена. Во сколько?.. Хорошо. До свидания.

– Не успел, – констатировал телефоновладелец, с довольной ухмылкой забирая трубку.

– Разве я больше трех минут говорил? – удивился Гена.

– Может, и меньше. Но пива уже не осталось.

Гена приехал на место встречи на пять минут раньше. Там с выжидающим видом стояла красноволосая голопупая девушка с каким-то шурупом, вмонтированным в левую бровь.

«Навряд ли», – подумал юноша и встал рядом. «Слава Богу!» – воскликнул он мысленно, когда к девушке развинченной походкой подошел мачо с черной розой. Наташа опоздала на пять минут.

– Здравствуй, Гена, – сказала она.

– Здравствуйте, – ответил он. – А как вы меня узнали?

– Фотографию видела. Поднимемся наверх, а то поезда шумят.

Она была невысокая, полноватая, с правильными чертами лица и явно моложе отца. Выйдя из метро, Наташа закурила длинную тонкую сигарету и, пуская дым в сторону, отметила:

– Ты очень похож на Володьку. Не напрягайся, – добавила она, пристально глянув на Гену. – Я не твоя вторая мама. Мы друг другу ничего не должны. Просто мы у него единственные близкие люди, больше нет никого – понимаешь?

– Понимаю.

– Сейчас главная проблема – деньги на нормального адвоката.

– Ничем помочь не могу.

– Может, у него друзья остались, родственники?

– Только кредиторы. Один уже года четыре ходит и спрашивает, когда папка долг отдаст. Я писал про него. Друзья – если только институтские, из «Натюрмод».

– Каких «Натюрмод»?

– Из театра, который папка основал. Но там сейчас из того

поколения никого не осталось, это молодежный театр.

– Тоже глушняк, – заключила она и глубоко затаилась. – Придется в Москве рыть.

– А как у него вообще? – спросил Гена расплывчато.

– Вообще – лучше всех! – ответила женщина резко. – Сидит в «пятерочке», светит лет восемь. А если докажут группу и особо крупный размер, то может и больше получиться.

– Он мне писал, что года четыре...

– Четыре – это если шесть дадут и если выйдет по УДО. Такое может быть. Только адвокат нужен очень хороший. И начальнику колонии надо будет дать, тоже в особо крупном.

– А оправдать его не могут?

– С личным взяли. Подослали провокатора, а когда заказ передавал, его и взяли. Суки! – прошипела Наташа и, бросив окурок на асфальт, шаркнула по нему, после чего отвернулась от Гены, сглотнула и произнесла с болью и нежностью: – Конечно, он гений... Если бы не провокатор... Какая разница, сколько этих пятисоток по стране ходит...

– А вы не знали?

– На день раньше тебя узнала. В себя пришла – тебе позвонила. И ведь ничего с этого не поимел, кроме срока. Он даже мне ничего ни разу не подарил, я правду говорю!

– Да я верю, – сказал Гена с невеселой улыбкой. – Маме он тоже ничего не дарил. Сам подарок.

– Мне пора. Вот твои письма и два рассказа.

– Читали?

– Письма?

– Рассказы.

– Не до рассказов как-то.

– Ясно. Ему передать что-нибудь?

– Не надо. У него сотовый, мы на связи. Только на свиданке про сотовый не говори: разговоры прослушиваются.

– Учту. Спасибо за всё.

– На здоровье. Как добраться – знаешь?

– Вы говорили, у меня записано. «Водный стадион» и так далее.

– Правильно. Иди к восьми или пораньше и сразу пишешь в список.

– Хорошо. До свидания, Наташа.

– Пока. Удачи. Так и быть, привет передай – не тяжело нести будет?

– Справлюсь.

* * *

После встречи с Наташей Гена отправился к Рудаковым и поспел как раз к ужину. Ужин был много сытнее завтрак и состоял из макарон с гуляшом, причем для приготовления макарон использовалась микроволновка. «Макароны из микроволновки! – иронично думал Гена и старался не морщиться, проглатывая склизкие комки разварившегося теста. – Стоило ради такого микроволновку придумывать!» А вот гуляш был классный.

– Ген, а может, ты супчику хочешь? – предложила Варвара Семеновна. – С обеда супчик остался.

– Нет, спасибо.

– Ты ведь не обедал, – настаивала она. – А супчик хороший...

– Не уха случайно? – уточнил Гена.

Валентин Иванович рассмеялся и посмотрел на жену и дочь, но те не поняли.

После ужина пили чай и за чаем разговаривали о Владимире Валерьеве, Володе Красном Солнышке, Генином отце.

– Его, наверное, просто подставили, – говорил Валентин Иванович смущенно. – Он открытки разные шуточные делал, у него реклама была – виртуальный фотохудожник, в метро даже висела. Всё в оргтехнику и рекламу вкладывал... Может быть, он просто пошутил с этими деньгами, а его подставили. Он ведь очень доверчивый...

Валерьев вспомнил, какую открытку папка прислал ему на прошлый день рождения: на основе черно-белой паспортной фотографии Гены было сотворено нечто чудесное – фокусник, достающий белого кролика из черной шляпы, вот только румянец на лице фокусника был какой-то нездоровый, вроде чахоточного.

– А твоя профессия как-то называется? – спрашивал юноша в тот день рождения в телефонном разговоре.

– Файкер, – отвечал отец. – В переводе означает что-то вроде обманщика.

– Похоже на факира, – заметил сын.

– И на факера, – дополнил Володя Красно Солнышко.

– Он к нам часто заходил: они с Наташей рядом жили, – сообщила Варвара Семеновна.

– Мама! – укоризненно произнесла Юля.

– Я знаю про Наташу, не волнуйтесь, – сказал Гена, краснея.

– Дядя Володя по жизни с Толькой тусовался, книжки ему советовал, фильмы, – проговорила Юля с некоторой поспешностью и задумчиво продолжила: – А теперь обоих забрали. Почти одновременно забрали – и Толю в весенний призыв, и дядю Володю. А как на Новый год они с Толькой с балкона ракеты пускали – помните? – продолжила она весело.

– Забудешь такое! – проворчал Валентин Иванович. – Целую ракетную установку притащил, фауст-патрон какой-то, и додумался – с балкона!

– А потом утку в духовке жарил целых два часа. Такой дым стоял – дышать было невозможно, – пожаловалась Варвара Семеновна.

– Но утка получилась вкусная, – отметил Валентин Иванович.

А Гена вспомнил, как папка нахимичил пакетик белого порошка, называвшегося «пероксикетоном», что ли. Это была чудесная взрывчатка: если на ладонь насыпать махонькую кучку этого вещества и поднести спичку, то на секунду из ладони произрастет красный огненный куст и мгновенно про-

падет, не оставив после себя ожога – только кисловатый запах. А если забить чудесную взрывчатку в бумажный патрон – один из тех, которые были наделаны Володей и сыном путем оборачивания бумажки вокруг фломастера и склеивания того, что топорщится, – если забить взрывчатку в такой патрон, вставить самодельный бикфордов шнур из чем-то пропитанной кордовой нити, сверху поместить заглушку из смеси взрывчатки и клея, потом прийти в лес, поджечь шнур и отбежать подальше, – то можно было с восторгом наблюдать, как разлетается в щепу трухлявый пенек, а на его месте остается внушительная воронка... Готовить Володя Красно Солнышко тоже умел, да и вообще мог сделать всё, за что брался. «За бизнес вот только зря взялся, – подумал Гена грустно. – Не его это».

– Ген, а тебя в суде про нас не спрашивали? – любопытствовала Варвара Семеновна.

– Про вас?

– Ну, мало ли. Родственники, заходил он к нам. Может быть, думают, что мы знаем чего-нибудь. Могли ведь спросить...

– Варя, иногда ты такую чушь порешь! – раздраженно заметил Валентин Иванович. – Извини, Гена. Передавай завтра отцу привет от всех нас.

– Передам. Мне завтра в шесть встать надо.

– Ляжешь пораньше, мы тебе будильник дадим – не беспокойся, встанешь.

Гена постелили в Толиной комнате. Стол с компьютером, кровать, шкаф, плакаты на стенах, впечатляющий вид из окна. «Высоко!» – подумал Гена и, переместив взгляд из законных просторов вглубь комнаты, стал размышлять, что за человек Толя. Применяя методу Шерлока Холмса, Гена сделал значительное количество умозаключений, но к главному эти умозаключения почти не имели отношения, главным же было то, что он завидовал Толе. Толя виделся с Гениным отцом в течение последних трех лет, о чем-то говорил с ним, чему-то учился у него, а Гена в течение последних трех лет отца не видел: лишь письма, лишь открытки, лишь недолговременные телефонные разговоры.

«Так бы, наверное, и не увидел, – подумал Валерьев с невеселой улыбкой. – Сплошная конспирация: письма до востребования, звонки на сотовый... Москва – город большой. А тут всё просто: ИЗ-77/5, это вам не абонентский ящик, это место вполне конкретное».

После вечернего правила Гена помолился, чтобы завтра всё прошло благополучно, а затем выключил свет, лег и уснул.

Глава восемнадцатая

Гена проснулся на несколько минут раньше, чем зазвонил будильник, и подумал: «Ангел разбудил».

Когда юноша заканчивал утреннее правило и молился о духовном отце, родителях, сродниках, наставниках и благодетелях, в дверь постучали и он, прервавшись, сообщил, что уже встал, после чего, улыбнувшись, включил в заздравный список и обитателей дома сего.

Доберман Тэдди уже не рычал и не лаял – то ли признал гостя безопасным и невкусным, то ли не хотел будить маленькую Дашу.

Завтрак по-московски вполне удовлетворил Гену: сладкий чай и бутерброд с сыром, вполне достаточно, мне бежать надо.

– Спасибо, что приютили. Передам от вас привет. Я оттуда сразу на вокзал, а то неизвестно, на сколько затянется. Сумка у меня маленькая. Если интересно, приезжайте на вокзал, я вам всё расскажу, поезд и вагон знаете.

– Повзрослел, – пробормотал Валентин Иванович, закрывая дверь за Геной, и, зевнув, отправился досыпать.

Валерьев вышел из метро на нужной станции и некоторое время следовал в ту сторону, куда направилось большинство пассажиров, но довольно быстро большинство разбре-

лось кто куда и Гена в растерянности остановился. Посмотрев на карту, а затем оглядевшись, он понял, что окружающие его дворы не очень-то похожи на широкую прямую улицу, по которой надлежит идти вплоть до «Санэпидемстанции», а потом налево. Вернувшись к метро и направившись в другую сторону, он обрел искомое.

«Направо теперь или налево?» – размышлял Гена, стоя на тротуаре широкой и прямой улицы и поджидая прохожих.

– Санэпидемстанция? – задумывались прохожие.

– Или тюрьма, – добавлял Гена.

– Тебе всё равно, что ль, куда? – шутили прохожие.

Наконец выяснилось, что идти нужно налево, причем довольно далеко. Когда Гена добрался до эпидемиологического ориентира, пришлось задавать вопрос о тюрьме прямо. Дворник кавказского вида ничего на этот вопрос не ответил – лишь покрепче стиснул черенок когтистых грабель. Дедок в пластмассовооправных очках при упоминании слова «тюрьма» чуть ли не отскочил в сторону и испуганно засеменял прочь. «Буду спрашивать про адрес, – решил Гена, – а то тут все зашуганные какие-то». Так он и поступил, обратившись к женщине строгого вида, но та в ответ поинтересовалась учительским тоном, что же по этому адресу находится, а потом очень четко объяснила, как добраться. Задние дворы, пустырь, гаражи, автостоянка...

– Скажите, а как попасть в тюрьму?

– А что, тебе уже пора? – спросил охранник автостоянки

и загоготал, после чего соизволил-таки ответить: – Вон она, смотри. Иди мимо гаражей и сразу уткнешься.

– Вам на свидание? – вежливо полюбопытствовал человек с автоматом. – Идите вон к тому крылечку с козырьком. На нем еще две женщины стоят – видите?

– Вижу, спасибо, – отозвался Гена и, преодолев последние метры, поднявшись по ступеням крылечка, миновав курящих женщин, пригнув голову в низковатом дверном проеме, – шагнул в тюрьму.

Тесное помещение, куда попал Гена, было похоже на сельпо в день завоза товаров: советская решетка в форме восходящего солнца на единственном грязном окошке, большой стол с базарными весами, заваленный продуктами, людская толчея и говорильня. Из общей картины несколько выбивался рядок коричневодерматиновых больничных сидений, да и стены, сплошь увешанные объявлениями, в сельпо были бы маловероятны.

Гена посмотрел на часы: десять минут девятого, почти в срок.

– Скажите, а где списки на свидание? – спросил он.

Ему указали на стол. Там, действительно, лежали три листка с пронумерованными фамилиями. Листки были озаглавлены по-разному: «к начальнику», «на свидание», «на передачу». В листке «на свидание» Валерьев оказался восемнадцатым. «Когда же они успели?» – удивленно подумал он о предыдущих семнадцати и спросил, по сколько человек

пускают.

– По восемь, – ответили ему. – Пойдешь третьим эшелоном.

«Третьим эшелоном, – мысленно повторил он и нашел, что фраза вызывает военные ассоциации: теплушка, эвакуация, раненые... – На поезд бы не опоздать... Не опоздаю – хоть пятым эшелоном, но пришел бы на десять минут пораньше и успел бы во второй». Было досадно, но Гена успокоил себя тем, что времени свободного полно, вещи с собой, а здесь есть на что посмотреть в целях пополнения копилочки житейского опыта. Рассудив так, он неторопливо и внимательно огляделся.

Помещение было узкое и довольно длинное – почти коридор. В наружной стене этого коридора были дверь и окно, вдоль стены располагались стол с весами и больничные откидные сиденья. Во внутренней стене коридора были проделаны четыре окошечка с перспективно скошенными краями, наглухо закрытые изнутри черными, почти печными заслонками. Чтобы окошечко открылось, следовало нажать вмонтированную в стену кнопку звонка, а кому в какое окошечко звонить, было понятно из надписей над этими амбразурами: «окно для справок», «окно для оформления свиданий», «прием продуктовых передач», «прием вещевых передач». Помещение-коридор оканчивалось массивной железной дверью, возле которой кучковался первый эшелон пришедших на свидание; вскоре они исчезли за дверью, и сразу

стало свободнее.

Около стола с синими базарными весами хлопотали те, кто принес продуктовые передачи. Гирь для весов не было, поэтому в качестве противовеса использовали килограммовый пакет с пряниками: на малой чаше весов – пряники, на большой – толстая уродливая каталка армавирской колбасы. Взвесили, внесли в опись передачи, утерли пот – дальше... У краешка стола стояла красивая девушка и извлекала из блока пачку за пачкой дорогие сигареты, отработанным движением вскрывала пачки и высыпала сигареты в полиэтиленовый пакет; пакет постепенно наполнялся, а рядом лежал еще непечатый блок.

Подумав, что смотреть на людей так подолгу нехорошо, Гена стал изучать настенную информационную печать. Он с любопытством прочитал перечень продуктов и вещей, запрещенных и разрешенных к передаче, ознакомился с порядком передачи и уголовной ответственностью за незаконную передачу... Далее шло объявление, заставившее Гену улыбнуться: «С 1 апреля 2001 г. запрещается прием мисок от граждан для передачи подозреваемым, обвиняемым и осужденным». Типа того, первоапрельская шутка... Но через некоторое время читать на стенах стало уже нечего, и Валерьев от скуки возобновил свои наблюдения за людьми.

Люди были разновозрастные и разнохарактерные, почти все – женского пола, дети среди них отсутствовали.

Единственный мужчина, кроме Гены, был с женой и до-

рожным баулом. Жена тихо плакала, о баул все запинались, на душе у мужчины было скверно. Разрешение выдали на одного человека, на него, а он просто не знал, что жену тоже вписывать надо, чтобы впустили, а теперь уже поздно, не пустят, и поезд через пять часов, а ехать двое суток; хоть передачу закинули, поест, если по пути всё не растащат и сокамерники не отберут; а жена из-за него, дураля, сына не увидит. Скверно...

Девчонки пришли к своим парням – одна первый раз, вторая не первый, познакомились здесь. У той, что первый раз, парня неделю назад закрыли, и целую неделю не могла узнать, где сидит, – представляешь?

– Ну и что, неделя... Мой больше года уже, и переводят из СИЗО в СИЗО, заманали.

– И как его там – не обижают?

– Моего обидь попробуй. Нормально, говорит, прорвемся. Жениться обещал, как выйдет.

– А я год замужем, на третьем месяце, даже не знаю теперь...

– Чего тут не знать – рожай, а то на всю жизнь без детей останешься.

– Тебе легко говорить...

– Очень легко, если ему восемь лет светит.

– А как же ты тогда? Ведь восемь лет, а вы не женаты...

– Да какая разница! Я к нему в зону на длительную свиданку приеду и забеременею, а выйдет – подарок будет.

– Ты смелая.

– Как он.

– И чего ему не хватало? – риторически вопрошала красивая полноватая женщина в костюме леопардового окраса, обращаясь к паре с баулом. – В университете учился, деньги ему давали. А он думал, что это всё так, хиханьки да хаханьки. Подзаработать захотел и травки покурить, посмеяться. Вот и подзаработал, вот и посмеялся.

– Да их лупить надо, а не деньги давать! – мрачно заметил мужчина. – Тогда и мозги будут в нужном направлении работать.

– А как фамилия начальника тюрьмы? – спросила девушка – потрошительница сигаретных пачек, разминая уставшие пальцы.

– А зачем тебе? – живо откликнулась толстая старуха.

– Письмо писать.

– Ты еще собаке служебной напиши.

– Что я ей буду писать? – улыбнулась девушка печально. – Здорово, собака, как твоя жизнь служебная?..

– Во-во, так начальнику и пиши. А то они здесь сволочь на сволочи: мне лекарство надо запить – воды нет, пошла в ларек, а там учет. Чтоб им там всем заучётило!

Первая партия вышла из-за стальной двери, и вскоре запустили вторую. Сухонькая женщина в простой одежде, с многолетней материнской усталостью на лице, каких много бывает в церкви, напутствовала девчонок:

– Главное – не плачьте.

А когда второй эшелон скрылся за дверью, она взяла список и сделала перекличку, после чего собрала разрешения на свидание у тех, кто попал в третью партию.

– Что же вы не заполнили? – спросила она, возвращая Гене бумажку. – На обратной стороне надо паспортные данные писать.

Заполняя обратную сторону разрешения, Валерьев подумал, что эта женщина – вечный тип, скорбь и собранность, неизбежная интеллигентность, ахматовский «Реквием». Но ему надоело наблюдать, надоело ждать, надоело думать и, отдав разрешение в надежные женские руки, он устался на светлое расплывчатое пятно окна и принялся непрерывно творить Иисусову молитву. Через некоторое время Гена удивленно услышал, что его окликнули по фамилии: оказывается, уже пора было заходить.

* * *

Он отдал паспорт и сумку в соответствующие места, а после оказался вместе с остальными семьёю в помещении, похожем на мини-конюшню. Помещение было узким, высоким и содержало восемь своеобразных стоил с окошечком, табуретом и телефонной трубкой в каждом. Застекленные окошечки были забраны изнутри солнцеобразными решетками,

и через них просматривалась еще одна стена с зарешеченными окошечками, расположенная в паре метров. Между стенами пролегал проход, застеленный потертым линолеумом. Провода массивных коричневых телефонных трубок, словно отрезанных от уличных таксофонов, таинственно уходили прямо в растрескавшуюся штукатурку стены, а сами трубки лежали на ржавых металлических поддонах, среди пепла и окурков.

После того, как стальная дверь с лязгом захлопнулась за спиной посетителей и ключ отскрежетал в замочной скважине, наступила металлическая тишь. Все убедились, что в противоположных окошках никого нет, и ждали. Минут через пять послышался первый недовольный возглас. Минут через десять недовольный возглас был мощно поддержан почти всеми. Минут через пятнадцать почти все курили... «А им каково?» – подумал Гена о заключенных и вздохнул.

Стена, противоположная стойлам, содержала высокое маленькое окошко с квадратиком неба за массивной крестовой решеткой. Над самым окошком в густой паутине висела блеклая бабочка – крапивница или павлиний глаз, снизу не разобрать.

Заключенных привели почти через час, и Гена заметался вдоль стойл, пока не увидел отца. Отец увидел сына, улыбнулся, приложил ладонь к стеклу окошка и взял телефонную трубку. Сын понял отца, тоже приложил ладонь к стеклу и поднял трубку с поганого поддона.

– Ну, здравствуй! – сказал Володя Красно Солнышко, внимательно вглядываясь в гостя.

– Здравствуй, па! – ответил Гена.

Решетки на окнах не совпадали: у отца железное солнышко пускало ржавые лучи в одну сторону, у сына – в другую, точнее, это только казалось, что в разные, а на деле – у обоих вправо, но потому-то видимость и ухудшилась. Гена покрепче присел на табурет и жадно всмотрелся в отца. Юноша опасался, что ему предстоит увидеть бритый череп, но отцовы волосы были на месте, только они оказались грязно-седые, обильная белая проседь в черных волнистых волосах. Всего за три года – кто бы мог подумать?

– Поседел, – констатировал он.

– Жизнь такая, что поседеешь, – отозвался Владимир Валерьев.

– Как же ты так? Файкер, блин!

– Долги надо было отдавать. А продукцию я производил качественную.

Было видно, что отец не иронизирует, что он, действительно, гордится своей качественной продукцией. «Ребенок! – подумал Гена с нежностью. – Седой ребенок!»

Поговорили о деле Владимира Валерьева, о перспективах, о том, когда может быть суд и что потом, о зоне и колонии-поселении. Поначалу Гена никак не мог сосредоточиться на разговоре, поскольку люди по обе стороны от него кричали, и их было слышно, хоть он и заткнул указательным

пальцем свободное от трубки ухо. Потом то ли Гена притерпелся, то ли соседи поуспокоились, но ему никто более не досаждал, и стало казаться, что он беседует с отцом один на один по видеотелефону, такие и вправду изобрели, он рекламу слышал...

– ...Даже у нас в городе на переговорном пункте есть – представляешь?

– Не знал, – сказал Владимир. – Значит, и в Москве есть. Могли бы раньше увидеться.

Он улыбнулся и замолчал, взглядываясь в сына. Тот тоже молчал и улыбался, взглядываясь в отца.

– Ты вырос, – отметил отец и после паузы неловко поинтересовался: – Девушка есть?

– Нет, – ответил сын с той же неловкостью.

– Ну, и не надо пока, – поспешно сказал отец. – Я тоже тугодум был, только к третьему курсу увлекся... Кстати, как мама?

– Нормально. Привет тебе передавала.

– И ей тоже передай. Не дергали вас из-за меня?

– Один раз вызывали. Мы сказали, что ничего не знаем, вот и всё.

– Мы же в разводе – чего они лезут? Суки!

– Да ничего страшного, не переживай. Поговорили минут десять и отпустили. Тебе, кстати, привет от Наташи.

– Видел ее? – спросил Владимир смущенно.

– Да.

– Она святая.

– Тебе виднее, – сказал Гена, иронично улыбнувшись, но сразу же поправился: – Извини, па! Я, правда, рад за тебя.

– Вырос, – пробормотал отец. – Только из лифта всё равно не выходи, ты очень высоко можешь подняться.

Гена вспомнил метафору отца о детстве – лифте в небоскребе вроде нью-йоркских башен и недавние события, после чего ответил:

– А если самолеты прилетят? Ты в курсе, что с верхних этажей никто не спасся?

– Спасение – штука условная.

– Точнее, земное благополучие – штука условная, а спасение – величина абсолютная. С такой поправкой – вполне христианская мысль.

– А по-моему, и то условно, и другое условно. Но оказаться на верхних этажах – важнее, чем спастись.

– Важнее, чем остаться в живых, – упрямо поправил Гена. – А спасение возможно на любом этаже.

– Ты поумнел, – констатировал Владимир. – Но я думаю иначе. Ты мысль о спасении связываешь только с христианством. Ты понял, что дом наш многоконфессионален и что, по моим меркам, на верхних этажах окажутся не только христиане, а на нижних – не только буддисты...

– А в самолетах прилетят не только мусульмане, – добавил юноша, тонко улыбнувшись.

– Вот именно.

– Я тебя понял. Ты рассуждаешь как эстет: главное, чтобы было высоко, умно и красиво. Это и есть верхние этажи.

– В принципе, да. Умный и нравственный буддист милее сердцу моему, чем глупый безнравственный христианин. И, наоборот, умный и нравственный христианин милее мне, чем глупый и безнравственный буддист.

– А если сопоставить умного безнравственного и глупого нравственного – кто милее?

– Умный безнравственный, – ответил Владимир, подумав, и улыбнулся. – Ты прав, я эстет. Как у Уайльда: «Эстетика выше этики». Высшая категория – красота. Ну а ты по какому критерию будешь селекцию проводить?

– По истинности. Христианство, а точнее, Православие – эталон. Чем дальше от него, тем дальше от спасения. Я в душе тоже эстет и потому буддиста Пелевина я читаю, а некоторых православных бездарей – нет. Но я понимаю, что шансов на спасение у этих православных бездарей больше, чем у Пелевина.

– Ты очень поумнел. Или говорить, что ли, начал, а раньше всё молчал... Но я с тобой всё равно не согласен, ведь есть и другой аспект...

Но о другом аспекте Гена так ничего и не узнал, поскольку их прервали. Прервали не только Гену и Владимира, но и всех остальных: свидание окончилось.

– Пока! – закричал сын, прикладывая ладонь к стеклу. – Я тебе напишу! Тут бабочка в паутине, я забыл сказать!

– Здесь почти все граффити сентиментальные! – тоже громко отвечал отец, отнимая ладонь от стекла. – Маме привет передавай!

– Передам! – кричал Гена. – Но это не граффити, это настоящая бабочка!

Однако Володя Красно Солнышко уже не слышал: он положил трубку и поднялся с табурета, так что голова исчезла из окошка, а через мгновение исчезло и туловище – заключенного Валерьева увели.

Получив обратно паспорт и сумку, Гена вместе с остальными семьей вышел из-за железной двери в обрыдлую комнату-коридор. На них с недоумением, досадой и завистью посмотрела четвертая партия: что, мол, так долго? На крылечке многие из вышедших закурили и стали обмениваться телефонами. «Похоже, в Москве у всех сотовые», – удивленно подумал юноша, неторопливо пересекая предтюремный двор. Спешить было некуда: времени до поезда полно.

В первом же магазинчике Гена призадумался, разглядывая слабоалкогольную продукцию, и выбрал пол-литровую банку джин-тоника. Раньше он этого напитка не пробовал, но тоник ему нравился, а градусы он расценил как оптимальные. Вкус у джин-тоника оказался горьковато-фармацевтическим с металлическим оттенком. «Нет, это не железо – это алюминий, – размышлял Валерьев. – У банки вкус, наверное, такой же...»

Возле своего вагона Гена встретился с Рудаковым, сооб-

шил ему то, что счел нужным, и передал привет. Юноша чувствовал, что лифт остановился и выжидающе раскрыл двери. «Как в троллейбусе, – мутно подумал он. – Хотя при чем тут троллейбус, хватит и лифта... Кому надо, тот пусть и выходит. Мне выше».

* * *

Субботним утром Гена Валерьев вернулся в родной город. Поезд пришел около шести, было свежо, солнце только-только всходило, в троллейбусе, кроме Гены, ехали двое – кондуктор и водитель. Заспанная Тамара Ивановна в ночной рубашке открыла дверь и отправилась досыпать, но не уснула, оделась и принялась за расспросы. Сын старался отвечать подробно, но получилось коротко. «Не говорить же ей про лифт и бабочку в паутине! – мысленно рассуждал он, припоминая упущенное в рассказе. – Она не поймет, да и не для нее этот разговор был».

– Гуляют где? – переспросил он. – Гуляют на крыше тюрьмы. Он говорил, там на крыше бетонные такие боксы и сверху – еще одна крыша, а между боксами и той крышей – полосочки неба, ветер чуть-чуть задувает. Еще он говорил, что очень тяжело без горизонта, вдаль посмотреть нельзя.

– Кошмар какой!

– Да уж.

Днем Гена увиделся с Артуркой и взял у него лекции. Артурке очень хотелось спросить, что же это за дела такие

были у приятеля, но он, сам себе удивляясь, не спросил, а Гена мысленно поблагодарил его за неожиданную тактичность. Вечером, тупо переписывая последнюю лекцию, Валерьев вдруг зажмурился и до боли сжал челюсти, после чего отшвырнул Артуркину тетрадку и выдрал из своей чистый клетчатый лист. «Поздно уже, – устало подумал он, глянув на часы, но упрямо возразил себе: – Пока не напишу, не лягу!»

Здравствуй, папа!

Я сегодня вернулся от тебя, сейчас лекции переписывал и бросил на середине предложения. Нам надо договорить. Как нас некстати прервали! Тоже на середине предложения. Помнишь у Вайкуле песню про вернисаж? Я, когда маленьким был, не все слова понимал. Там есть такая строчка: «Вот кто-то в профиль и анфас, а я смотрю-смотрю на вас», а мне слышалось: «Вот кто-то пробили анфас, а я смотрю-смотрю на вас». Анфас мне представлялся таким колоколом, вроде корабельных склянок, а вся сцена происходила, по моему разумению, в тюрьме: анфас этот, печально звенящий, означал конец свидания, и в последние мгновения один несчастный человек смотрит на другого несчастного, сейчас их разлучат... Я только что вспомнил об этом и бросил переписывать лекционную бредятину, а листок, на котором пишу, – из тетрадки по психологии.

Грустно мне, папа. Когда я рассказал маме, что горизонта не видно, она отозвалась: «Кошмар какой-то», – и я

только тогда прочувствовал. В городе ведь тоже горизонта почти нет, но простор есть, воздух, небо, и можно за город выйти при желании, а уж там – горизонт... Грустно это, но ты не печалься, когда-нибудь снова увидишь горизонт, а быть может, и другое кое-что увидишь, не зря же Господь на тебя внимание обратил. Когда за грехом следует кара, это хорошо, это значит, что Бог тебя не забывает, что ты ценен в Его очах. Может, с тобой, как с Федором Михайловичем, получится.

Нас ведь прервали на самом интересном месте: верхние этажи с высокой духовностью их обитателей, вне зависимости от религиозной принадлежности. Высокая духовность обусловлена тем, что эти люди внутренне остались детьми. Мне сначала пришла на ум известная оккультная метафора о том, что люди разных конфессий поднимаются в гору по разным склонам и встретятся на вершине, на твоих верхних этажах. Но потом я понял, что у тебя иное: люди верхних этажей не просветленные, постигшие истину благодаря духовным усилиям, а люди, сохранившие в себе истину, не растерявшие ее на жизненном пути. Здесь вопрос уже не религиозный, а философский или психологический. И знаешь, что я тебе скажу: лифт неподвижен! В том-то и фокус, что лифт неподвижен, – движется здание, проваливаясь всё глубже. Если выйдешь из лифта – не остановишься, а начнешь деградировать, будешь проваливаться вместе со зданием. Знал бы ты, как меня мучит эта деградация!

Но хочется верить, что я всё ещё в лифте.

Взросление можно сравнить и со спуском с горы: сначала ты в одиночестве, но чем ниже спускаешься, тем больше людей тебе встречается. Чем ниже, тем люди хуже, тем менее они помнят вершину. Все люди спускаются с разными скоростями; кто-то пытается замереть, осознав процесс, но его толкают в спину; кто-то пытается взобраться наверх, но это почти невозможно, разве что только в самом начале нисхождения, когда очень мало встречных.

О чем бишь я? О том, что мы говорили о разном: я – о спасении, ты – о детскости как высшей черте характера. Это я к тому, что ты, слава Богу, не равноценность религий проповедуешь, а равноценность детскости для всех людей. Вопрос о спасении для тебя пока не актуален, это я понял, но если ты о нем задумаешься, не умничай, не пытайся изобрести велосипед и ни в малую, ни в большую колесницу, в нирвану катящуюся, не садись: тебе не растворяться, а спасаться надо. Православие – путь трудный, но радостный и, главное, единственный. Пойди им, очень тебя прошу, ведь вместе крестились!

Наверное, я слишком уж прямо пишу, получается проповедь, а не беседа на отвлеченные темы. Но дело в том, папа, что это тема совсем не абстрактна, не умозрительна, а так конкретна, что мороз по коже и плакать хочется. Попробуй хоть на минутку встать на мою позицию: все мы бессмертны – и ты, и я, и мама. И от того, как мы про-

живем земную жизнь, будет зависеть, встретимся ли мы в вечности. Я хочу быть с вами! А еще есть Бог – ты не представляешь, какой Он добрый; это только когда молиться начнешь и когда в жизни будут происходить кое-какие события, поймешь, насколько Он тебя любит! Я в вечности с Ним хочу быть, и чтобы вы рядом, и все, кого я знаю, – вот чего я хочу. А если вы того же не захотите, ничего не получится, будет вечный «анфас». Подумай, папа.

Вот и лист заканчивается, хоть и в каждой клеточке писал, и время уж за полночь, и на душе полегчало. Мне кажется, что всё у тебя будет хорошо. Не печалься!

Гена.

Проснувшись на следующее утро, Тамара Ивановна посмотрела на часы, встала, потянулась, прошла на кухню и по целому ряду неоспоримых признаков поняла, что Генка, засранец, убежал в свою церковь без завтрака.

– Идея супер, хоть рассказ пиши, но, по-моему, играть без зрителей – тупилово какое-то... – озадаченно произнес Курин в тот момент, когда Гена, вернувшись из церкви, получал нагоняй.

– Почему тупилово? В том-то и прелесть ролевых игр, что нет ни зрителей, ни сценария – сплошное самораскрытие! – возбужденно возразил Степа, вглядываясь попеременно в лица Дрюни, Миши и Светы, с которыми сидел за одни столиком.

– «Натюрморды» таким никогда не занимались – надо попробовать, – высказался Миша, обмозговывая Степину идею и одновременно любуясь светофористой (красно-желто-зеленой) кроной красавицы березы, росшей неподалеку от летнего кафе.

– И главное, что костюмов особых не надо и репетиций никаких. Я – за! – поддержала Света и хлебнула пива, догоняя остальных, после чего у девушки возникло сразу несколько вопросов: во-первых...

– Не знаю я, где Валерьев пропал, он мне не докладывал, – ответил Артурка в некотором раздражении, прижимая к уху трубку радиотелефона и вглядываясь в монитор компьютера, где замерла сложная стратегическая игра. – Ты мне только из-за этого позвонила?

– Нет, конечно! – смутилась Валя Велина. – Я же говорила: про зарубежку узнать...

А Владимир Валерьев, вернувшись с прогулки, посмотрел в окошко, на небо в клеточку, и вспомнил бабочку в паутине, о которой ему крикнул Гена.

В тот же воскресный день перед ужином Виктор Семенович Солев, поджидая жену и сына, почти машинально вписывал слова в клеточки кроссворда, столь же машинально думая о том, насколько это глупое занятие – разгадывать крестословы.

Глянув на часы, Софья Петровна отметила, что пора ужинать, поднялась со скамейки и молча направилась к маль-

чику, играющему в классики, – она не хотела отвлекать его окриком.

Допрыгав до слова «рай», Женя внимательно посмотрел под ноги и впервые подумал: «Интересно, кто нарисовал эти классики...»

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ДОГОНЯЛКИ

*Не знаете ли, что бегущие на ристалище
бегут все, но один получает награду?*

Так бегите, чтобы получить.

1-е послание апостола Павла к Коринфянам 9, 24

Глава девятнадцатая

– Давай с нами! – крикнул Сашка весело. – Чего расселся?

Женя нехотя спрыгнул с подоконника, чувствительно ударившись пятками о каменный пол рекреации, и подошел к мальчишкам-одноклассникам. Ему не нравилась их игра, – точнее, не хотелось в ней участвовать: ну что за удовольствие – бегать от стены к стене, наперегонки или просто, туда и обратно, и так всю перемену... Посмотреть сверху – даже интересно, как они там бегают, но чтобы самому бегать – брр, да еще и пятка побаливает, надо было слезать, а не прыгать... Но ведь можно же отказаться – или нельзя, раз позвали?.. Так и не разрешив вопроса, Женя побежал и, подбегая к противоположной стене, уже забыл о затруднительной дилемме: сейчас главным было коснуться стены и обратно, и обогнуть обязательно Сашку, ну, или хотя бы толстого обогнуть, уж толстого-то обязательно...

Последним уроком была физкультура, и они снова бегали, но помедленнее и по кругу, и никто никого не обгонял.

– А ты знаешь, почему кроссовки так называются? – спросил Саша у Жени в раздевалке.

– Почему?

– Потому что в них кросс бегают.

– Что бегают?

– Кросс. Ну, то есть наперегонки и на время.

– Странно... – пробормотал Женя в задумчивости. –

Кросс – это крест, я точно знаю.

– Ну как же!

– Мой папа постоянно кроссворды разгадывает. Он сказал, что «кросс» – крест, а «ворд» – слово. Если по-русски, то кроссворд – это крестослов.

– А при чем тут кроссовки? В них что же – на крест забираются, чтобы ноги не скользили?

– Может, кроссом называли крестный путь, путь мучеников? – предположил Женя.

– Как это?

– Ну, например, моего святого Евгения гнали из одного города в другой, в Никополь.

– Зачем?

– Чтобы казнить. Его и других христиан, и всю дорогу били. А одному еще надели специальную обувь с гвоздями внутри. Может, это как раз кроссовки и были?

Саша покрутил пальцем у виска, но Солева такой ответ не удовлетворил и, придя домой, он спросил про кросс у брата.

Миша, заинтересованно хмыкнув, полез в англо-русский словарь и через минуту сказал маленькому филологу:

– Значений куча, особенно глагольных, но нас с тобой существительное интересует... Кросс, распятие, пересечение, крестное знамение, Голгофа... Да уж! А кросс, насколько я понял, сначала бегали по пересеченной местности, отсюда

и название. Но слово интересное, с ним играть и играть, – произнес он уже не для Жени, а просто рассуждая вслух. – Даже с кроссвордом можно поэкспериментировать: слово на кресте, Бог-Слово на Голгофе... Спасибо, братец, использую где-нибудь. А теперь иди отсюда: мне писать надо.

Закончив разговор столь бесцеремонно, Миша склонился над рукописью рассказа «Испытание», ощутило потолстевшей за последние дни. Но поработать толком так и не удалось: вскоре к нему в гости пришел Степа всё с той же идеей фикс, воплощение которой близилось.

– Не боишься, что идея фикс воплощается? – полушутя спросил Миша и процитировал Макаревича: – «А мечта воплотилась во что-то, но мечтой уже быть перестала».

Степа улыбнулся и ответил:

– Как не бояться? Сразу же потеряю смысл жизни и повешусь. Или нет – я уже вешался, что-нибудь новое придумаю.

– С тебя станется, – серьезно заметил Солев. – Может, ну ее на фиг, эту игру?

– Нет уж, вы лучше смирительную рубашку купите в складчину, а после игры сразу наденьте на меня и ведите куда следует, если совсем идиотом считаете, – раздраженно отозвался угловатолицый альбинос.

– Ну ладно, ладно, извини, – пробормотал Миша поспешно. – Что там у нас еще нерешенного с игрой?

– Сначала повтори общую вводную, а потом уже поговорим о сложностях.

– Ладно, повторю. Но ты маньяк – так и знай.

– Не маньяк, а мастер. И вообще, разговорчики в строю.

Задание понятно? – комически посуровел Степа.

– Так точно, товарищ прапорщик, – отрапортовал Солев, вытянувшись по стойке смирно. – Разрешите доложить?

– Докладывайте. И вообще, Миш, садись: у нас ведь не про армию игра будет, а поумнее немножко.

– Слышали бы тебя военные, – усмехнулся тот, присаживаясь. – Ладно, докладываю. Ролевая игра, кабинетка, плод твоей больной фантазии, часа на два, называется «Словоглоты». В общем, существует общество словоглотов. Люди как люди, но с небольшой странностью: для продолжения жизнедеятельности им нужно регулярно слышать определенное слово, каждому свое. А сами они это заветное слово произносить не могут. Неживое слово, то есть в книге или в аудиозаписи, – это пища второго сорта, вроде консервированной крови для вампиров. Словоглоты держат свои заветные слова в тайне и вместе с тем всячески побуждают окружающих, чтобы те эти слова произносили, – наводят разговор на лакомую тему, просят спеть любимую песню, рассказать любимый стишок, где это слово встречается. Словоглоты обожают словесные виды искусства, а в собственно-музыкальных, скульптурных, архитектурных, живописных произведениях ценят прежде всего названия.

– Почти слово в слово, как в нашей распечатке.

– Так ведь ты достал всех, все этот бред почти наизусть

выучили.

– И классно, – сказал Степа с улыбкой. – Пусть вживаются заранее. Теперь расскажи про Партию, инициацию, колдунов и про остальных.

– Партия – полурелигиозная организация, хранительница предания и норм поведения, – ну, как наша доперестроечная коммунистическая партия, или как в Китае, или как в конфуцианстве. Каждому новорожденному партийные деятели вручают амулет с зашитым в нем словом. Церемония мистически окрашена, все люди, в том числе и партийцы, верят, что это таинство. Когда ребенок достигает сознательного возраста – семи лет, – он вскрывает амулет и узнает свое слово. Это инициация, с этого момента начинается жизнь по взрослым правилам. Если слово сильно не нравится, его можно изменить в той же Партии, за большие деньги, или у колдунов, за меньшие деньги. И у тех, и у других срабатывает. Колдуны, естественно, подпольщики, обращение к нам уголовно наказуемо. Если заветное слово рассекречено, таким человеком можно манипулировать, – это еще одна причина смены слова. Деклассированные элементы, которым всё по фигу, нищенствуют, как в «крокодилах», то есть показывают свое слово пантомимой: если жалостливый и догадливый прохожий произнесет их слово вслух, то нищие получают кайф. В этом смысле нищие живут побогаче многих других, как и в нашей жизни.

– Отлично! А теперь – об иноке и Соборе, – попросил Сте-

па, по-котовьи жмурясь от удовольствия.

«Все мы, фантазеры, одинаковые... Нас цитируют – мы кайфуем, как те же словоглоты...» – подумал Миша, глянув на друга с грустной нежностью, и продолжил:

– Инок – от слова «инакий», не такой, как все. Я бы назвал его Нео, как в «Матрице», но хозяин – барин, то есть мастер. Ладно, инок так инок. В общем, существует древнее предание о том, что этот инок явится среди словоглотов, и он будет обладать способностью обходиться без сокровенного слова, и будет призывать словоглотов к новой жизни, полной страшной свободы. Кажется, ты так и написал... Философ, блин! Так вот, этот инок-Нео является и проповедует, а чего он такое проповедует, ты не сказал, – типа, мастерская информация. По этому поводу созывают Собор, как в средневековой Руси, – представителей разных социальных слоев. Этот Собор и есть игра. Все выслушивают пророка, думают и высказывают свои мысли по поводу.

– И при этом каждый, заметь, преследует свои цели.

– Ну да, преследует. Во-первых, каждый думает об учении инока: выгодно оно лично ему или нет. Во-вторых, каждый добивается от окружающих, чтобы его слово было произнесено не менее одного раза за пятнадцать минут.

– Слова достаются перед игрой, по жребью. Какое слово у кого – знаю только я, – важно молвил белобрысый мастер. – Если словоглот за час слышит свое слово не четыре раза, а один или два, то он засыпает. Если он свое слово больше не

услышит, то не проснется до конца игры. Это я вчера придумал, – по-моему, гениально!

– Прикольно, – хмыкнул Миша. – И будет у нас через два часа сонное царство...

– Не будет! В крайнем случае, на песнях, стихах и «крокодилах» выехать можно. Но когда о словах догадаются, начнется жесткое мочилово, уж поверь мне. Кстати, если слово-глосса сам произносит свое слово, то он тоже засыпает.

– Ладно, сегодня ты гений. Игра заканчивается, насколько я понял, вынесением соборного решения относительно инока. Решение выносится через два часа, – типа того, регламент. Тоже хорошо. Со всем согласен. Так в чем же проблема?

– Инок закосил, – сказал Степа и развел руками.

– Вот козел! – выругался Солев. – Он же единственный профессиональный ролевик был! Слушай, а может, ты?

– Нет, я мастер, у меня роль должна быть контролирующая и чтобы можно было со всеми взаимодействовать. Я парторгом буду. А тебе не хочется Нео сыграть?

– Ну на фиг! Я буду писателем, кормильцем народа. Уже много прикольного для этой роли придумал...

– Есть еще вариант.

– Какой?

– Гена. Рыбачок.

– Инок Гена, – со вкусом произнес Миша и повторил недавнее: – Сегодня ты гений. Но потянет ли он? И согла-

сится ли?

– По-моему, он натура творческая. Молчун, правда, но там много говорить и не надо: учение-то очень простое. Уговаривать я умею. И главное, – добавил Степа, лукаво глянув на взбудораженного собеседника, – главное то, что ты тесно пообщаешься со своим прототипом, ты же хотел этого...

– Я проставлюсь, Степ! – воскликнул Миша с благодарностью. – Ящик пива, честное слово, если ты его приведешь!

– Ладно, как ты говоришь. Хорошее слово – «ладно». А где же ты, богатенький Буратино, работаешь теперь? Что-то раньше не замечалось такой щедрости.

– На книжном рынке, уже недели три. Разве я не говорил?

– Нет. Книгами торгуешь?

– Вожу на тележке. Хорошая работа. Утром со склада, вечером на склад, весь день свободен. Там еще мужичок такой прикольный работает – Павел...

– Ну, мужички меня не интересуют, – перебил Степа. – И зубки мне заговаривать не надо, я всё помню: ящик пива, если приведу Гену.

– Заметано, друг!

* * *

Как всегда, Гена опоздал на первую пару минут на десять. Девчонки-однокурсницы, с которыми он встретился в троллейбусе, сразу же сказали, что теперь точно опоздают. Примета, мол, такая народная: если увидишь по пути в универ

Валерьева, то по любому опоздаешь. Перед дверью аудитории Гена попытался по-джентльменски пропустить дам вперед, но те попросили его быть мужчиной и втолкнули первым, а сами шмыгнули следом. Прошло хорошо: успели до переклички.

Спецкурс по русской литературе серебряного века читал молодой преподаватель, недавно защитивший кандидатскую. Тощий, белобрысый, в галстуке, не подходящем к костюму, он с сосредоточенным, напряженным, почти мучительным выражением на лице посмотрел в журнал и начал перекличку.

– Гренкова.

– Здесь.

– Захарова.

– Здесь.

– Иванóв.

– Ударение на первом слоге, – напомнил Артурка. – Здесь.

– Извините, – сказал преподаватель, виновато улыбнувшись. – Опять забыл. А ведь в литературе серебряного века была целая плеяда Ива́новых. И один из них написал рассказ «Стереоскоп». Нет, не тот, который «Возвращение Будды» написал, не Всеволод, а Александр Иванов, я вам даже после переклички расскажу что-нибудь про него и про «Стереоскоп»... Но продолжим... Ивлева.

– Здесь.

После переклички молодой лектор облегченно вздохнул,

закрыл и даже немножко отодвинул от себя журнал, а затем посмотрел на студентов протяжным взглядом. «Хорошие дети, – подумал он. – Хорошие». Хотя и сам пять лет назад был студентом, он за полтора года чтения лекций успел перенять от других преподавателей это ласково-покровительственное именование.

Читать лекцию на всю аудиторию он не мог – всегда обращался к одному слушателю, а то и в стену, поверх голов, что вызывало у студентов улыбки и даже смешки – до тех пор, пока не привыкли. Читал он негромко, неторопливо, иной раз невнятно, а если кто-то с кем-то начинал шушукаться, мгновенно замолкал и ждал, когда молчание станет всеобщим. Поначалу его часто переспрашивали, но потом опять-таки привыкли и вместо шушуканья стали использовать для общения записки. Лекции его были интересными, но конспектировались с трудом.

– Я не планировал говорить сегодня об Александре Иванове и его «Стереоскопе», – начал преподаватель, глядя на Артурку (во-первых, тоже Иванов; во-вторых, парень, а потому не будет глазки строить; в-третьих, второй ряд, как раз по центру). – Но раз уж обещал, немножко расскажу. Годы жизни этого человека – 1876 – 1940, если не ошибаюсь. Запишите – вдруг правильно... А «Стереоскоп» он создал в 1905 году, это уже точно.

Александр Иванов похож на Грибоедова и Ершова в том смысле, что тоже написал одно бессмертное произведение.

Но «Стереоскоп» известен всё-таки менее, нежели «Горе от ума» и «Конек-горбунок». Итак, «Стереоскоп». Истинное порождение серебряного века, подзаголовок – «сумеречный рассказ». По жанру это петербургская повесть – мистика, психологизм, сумерки великого города, да и по объему произведение тяготеет к повести. Написан «Стереоскоп» очень плотным, добротным, несколько старомодным языком. Повествование чрезвычайно детальное, медлительное, обстоятельное, как будто человек сидит и пытается вспомнить и записать решительно всё о своем кратковременном, но удивительном приключении.

Вы, кстати, помечаете у себя что-нибудь? Александр Иванов. «Стереоскоп». «Сумеречный рассказ». 1905 год. Петербургская повесть. Высокая плотность текста. Записали? Тогда продолжим.

Я прочитал этот рассказ недавно. Найти его в книжном виде – дело трудное: он издавался один раз до революции, один раз в сороковые, кажется, годы, и один раз в девяностые – в довольно непрезентабельном сборнике. К счастью, «Стереоскоп» есть в Интернете.

Начинается рассказ со слов: «Я разломал свой стереоскоп». Затем следуют рассуждения героя о том, что он своими руками уничтожил двери в удивительный мир, в который человеку дозволено лишь заглядывать. Стереоскоп, кстати, это такой ящичек с прорезью и окулярами для разглядывания фотографий. Фотографии в него вставляются и просмат-

риваются на свет, как сквозь бинокль.

Так вот, после вступления об уничтоженных дверях следует история разбитого стереоскопа, вся эта сумеречная история. Однажды в какой-то лавке среди никому не нужных вещей герой увидел старинный стереоскоп. Он вспомнил, как в детстве он впервые посмотрел в такой же и как ему открылся волшебный мир стереоскопа. Мир этот был похож на детские сны и потому казался знакомым. Словом, стереоскоп тогда очаровал ребенка, и теперь, по прошествии многих лет, герой увидел похожий прибор и купил его за невысокую цену. Купленный стереоскоп оказался со странностью: щели для смены фотографий не было, но он уже заключал в себе снимок зала Эрмитажа – того, где статуя Зевса. На фотографии виднелась дата – какой-то осенний месяц 1878, кажется, года.

Когда герой пришел домой, поставил стереоскоп перед лампой и пристально заглянул в него, он вдруг осознал, что уже не сидит перед прибором, а стоит на каменном полу в том самом зале Эрмитажа. Всё вокруг было черно-белым или, точнее, коричневатым различных оттенков, как на старых фотографиях или как в фильтре «сепия» в графических редакторах. Позади героя стоял застывший фотограф с фотоаппаратом на треноге. Герой со сладостно-жутким чувством пошел по Эрмитажу.

Абсолютную тишину нарушали только шаги героя. Ему встречались посетители, застывшие в смешных, неесте-

ственных позах. Одежда на них была старомодной, одного из эрмитажных служителей герой узнал – этот застывший, которого он помнил стариком, был значительно моложе. Герой шагал по Эрмитажу тридцатилетней давности, и всё вокруг было прошедшим.

Через некоторое время герою вздумалось крикнуть, и он крикнул, и крик разнесся по всему Эрмитажу и долго бродил по немым залам. Герой ужаснулся и больше не кричал.

В египетском зале герой совершил кражу: он разбил витрину и взял каменного скарабея. Внезапно он почувствовал на себе чей-то взгляд. В нише напротив стояла старуха и смотрела на него с ненавистью. Чтобы придать себе храбрости, герой дотронулся до этой застывшей старухи. И вдруг она упала.

Герой бросился прочь и впервые подумал, как же ему вернуться. Он прибежал в греческий зал, встал прямо перед фотоаппаратом, прижался к нему затылком – и обратный переход свершился. Герой снова сидел перед стереоскопом.

Проснувшись наутро, он решил, что это был сон, но в кармане обнаружился коричневый скарабей. Весь день он думал о чудесном мире стереоскопа, а вечером повторил опыт.

На этот раз герой не остался в Эрмитаже, а отправился гулять по осеннему Петербургу тридцатилетней давности. Перед опытом он предусмотрительно надел плащ.

Город был застывшим, не цветным, солнце светило тусклее, чем в реальной жизни, но тепло от него ощущалось. Ге-

рой разглядывал дома, застывших прохожих, экипажи и через некоторое время оказался на той улице, где жил когда-то. Возле того самого дома. Он вспомнил, что в момент времени, которое остановил чудесный фотограф, он был ребенком и, может быть, именно тогда он впервые побывал в Эрмитаже вместе с отцом... Он вошел в свой бывший дом, в свою бывшую квартиру. Все вещи, все запахи здесь были ему знакомы. Он увидел своих родителей, свою сестренку, себя и даже прилег на свою маленькую кроватку... Но вдруг он почувствовал, что что-то изменилось. Стало как будто темнее.

Герой выскочил из своего бывшего дома и увидел, что солнце садится. Умиленные чувства от того, что ему удалось вернуться в детство, сменились ужасом. Герой бросился к Эрмитажу. Солнце садилось, и воздух холодел.

В Эрмитаже герой против воли заглянул в египетский зал и увидел, что старуха исчезла. Он услышал чьи-то шаги и понял, что это она. Ожила и ищет его. Автор еще очень смешно назвал ее – «фантоша». Не «фантом», не «фантомша», а как-то ласково. Так вот, герой и впрямь увидел вскоре эту ужасную фантошу. Она гналась за ним и двигалась, как автомат. Слова «робот» в те времена еще не существовало, но автор употребил хороший аналог. Так вот, началась жуткая погоня в лабиринтах Эрмитажа. Однажды они столкнулись нос к носу, и герой схватил старуху за плечи и отшвырнул от себя, а она молча поднялась и возобновила преследование. Но герой перехитрил ее: спрятался, пропустил мимо себя, а

потом добежал до зала с Зевсом коротким путем. Когда он прижался затылком к фотоаппарату, фантоша уже стояла на пороге зала. Но переход свершился, и герой схватил молоток и разбил стереоскоп. Когда он извлек из разломанного прибора потемневшую фотографию, старухи на ней уже не было.

Далее в рассказе следуют рассуждения героя о том, был ли он единственным, кто посетил тот мир, и куда делся создатель стереоскопа, и где теперь та старуха... На этом сумеречный рассказ исчерпывает себя и заканчивается. Попробуйте что-нибудь из сказанного записать – даю вам несколько минут.

«Мне бы могло такое присниться», – написал Артурка на листочке и сунул его Гене.

«А я о чем-то похожем в рассказе написал», – добавил Валерьев ниже.

«Когда дашь почитать?» – письменно спросил Иванов.

«Скоро».

Глава двадцатая

Вечером того дня, когда Гена и Артурка слышали историю о волшебном стереоскопе, Света принимала гостей. Пришли Миша и Степа с Леной, так что в небольшой Светиной комнате стало тесновато. Стол (точнее, журнальный столик), по сторонам которого сидели все четверо, был накрыт большим листом ватмана с каким-то рисунком, а из выпивки-закуски и столовых приборов не числилось ничего, за исключением пустого фарфорового блюда.

– Еще раз говорю: это Мишкина идея, – полусмущенно-полураздраженно ответила Света на какое-то ироничное замечание Степы.

– Нет уж, сударыня, тут вы не правы, – продолжил тот шутливую атаку. – Сами же доверили простодушному Михаилу оккультное знание, сами сообщили ему о своем медиумическом даре, так что извольте теперь расхлебывать...

– Да заткнись ты! – всерьез рассердилась Света. – Все девочки в детстве гадали – кто на картах, кто на блюде; что ж тут такого?

– Вы, сударыня, недопонимаете, – не затыкался Степа. – Карты – это одно, а блюдечки, столоверчение, глассолалия и прочий спиритизм – совсем другое.

– Степ, хватит! – попросил Миша. – А то она откажется,

а сами мы не знаем, как это делается. Мне же для рассказа нужно, я объяснял! Нужно жизнью проверить...

– Что же вы, господин хороший, – комически посуровел альбинос, – из-за рассказа вашего под власть демоническую подпасть хотите? Душу свою бессмертную загубить вознамерились и других за собой тащите?!

– Дурак ты, Степа! – диагностировал Солев, невольно передернувшись. – Таким не шутят.

– Миш, а может, и правда не надо?.. – просительно пролепетала Света. – Да и взрослые мы уже – зачем? А так у меня вино есть домашнее, – продолжила она, воодушевившись оттого, что ее не прерывают. – Ты же пробовал – вкусное. Просто посидим, поболтаем.

С довольной улыбкой Степа глянул на Мишу и вдруг напоролся на его яростный взгляд, как напарываются в лесу на кровожадный слепящий сук.

– Не бери, Свет, в голову, – поспешно пробормотал Степа. – Я пошутил. А Миша пишет рассказ – Мише надо помочь... К тому же, если мы блюдечко вертеть не станем, он меня на дуэль вызовет, и моя смерть будет на твоей совести. – Он уже успел немножко оттаять после взгляда василиска и кривовато улыбнулся. – Честно говоря, не верю я, что что-нибудь получится у нас в смысле духообщения. Я читал, что Владимир Соловьев (упертый мистик, между прочим) как-то специально поехал в Лондон, к спиритам. Во время сеанса в темной комнате он услышал колокольчик, –

ну и хватанул рукой на звук. В результате поймал жилистую руку с колокольчиком, да еще и в манжете. Он еще приколотся по этому поводу: никогда, мол, не думал, что духи носят манжеты... У тебя, Свет, кстати, никого там нет под кроватью – с жилистыми руками и колокольчиком?

Миша и Степа рассмеялись, а девушки остались серьезными.

– Это гадание почти всегда получается, – сказала Света тихо. – Всё по-настоящему – и никаких колокольчиков. Если только на первый вопрос «нет» ответит, тогда не получится.

– Она правду говорит, – заметила Лена, в этот вечер молчаливая и не улыбочивая.

– Ты-то откуда знаешь? – Степа даже вздрогнул от изумления.

– Я тоже в школе так гадала.

– Все бабы ведьмы! – заключил он, нервно хмыкнув. – Что ж ты мне раньше не рассказывала?

– А зачем?

– Есть многое на свете, друг Горацио... Ну а вызывали кого? – продолжил Степа допрос.

– Пушкина, Есенина, Наполеона... В основном, по школьной программе, – пошутила рыженькая Лена.

– Все три персонажа, прошу заметить, – ярко выраженные герои-любовники! – рассмеялся Миша, уже успокоившийся насчет сеанса, и был поддержан всеобщим смехом. – Ну а Пушкин, Пушкин-то – что Пушкин? Стихов не диктовал?

– Нам – нет. Зато как матерился!

– Ужас просто! – подтвердила Света, перебивая собеседницу. – Мы его тоже вызывали. Так он такие слова использовал, что просто не поймешь. То какое-то вроде наждака, но неприличное. Наждак – не наждак... Я такого и не знала сроду, и сейчас забыла.

– Я тебе как-нибудь напомним, – усмехнулся Солев. – Замечательный архаизм. Ну а еще чего тебе Пушкин говорил?

– Да так, камасутра сплошная.

И вновь все рассмеялись.

– А нам он однажды свинью ужасную подложил, – вспомнила Лена, наконец-то развеселившись. – Ответил на какой-то вопрос: «Познайте, что такое кунка». Никто из нас такого слова не знал. Спрашивали в классе – тоже никто. Смотрели в словаре: «куница» есть, а «кунки» нет. Ну, спросили у учительницы русского языка и литературы. А она, как на зло, знала. Эх, нам и влетело!..

– И что оно означает? – поинтересовался Степа. – Погоди... Ты, Миш, знаешь? А ты, Свет? Тоже нет... Ну, говори тогда.

– Как бы это помягче... – замялась рыженькая. – Почти то же самое, что ваш «наждак», только наоборот.

– Ай да Пушкин! – расхохотался Миша. – Ай да сукин сын! Давайте сегодня тоже из писателей кого-нибудь вызовем, только посерьезнее.

– Давайте, – согласился Степа. – Достоевского, например.

Он и при жизни был шибко умным и не матерился, наверное.

– Ладно, – молвил Солев.

– Да ну его! – поморщилась Света. – Таковую нуднятину писал...

– А я – за, – проголосовала Лена.

– Большинство за Достоевского, – подытожил Степа, привычно входя в роль организатора. – Только давайте договоримся: для чистоты эксперимента каждый из нас по очереди будет отходить от стола. Если процесс прервется, то сразу станет понятно, кто всех дурачил. Если процесс не прервется ни на ком, то... Есть многое на свете, друг Горацио... Кажется, я это уже говорил.

– Не ты, а Гамлет, – уточнил Миша.

– Не важно. Важно, что если кто-то отказывается от этого условия, то он (она) и есть манжета с колокольчиком.

– Да согласны все, успокойся, – сказал Миша нервно. – Зажигаем свечку, гасим свет...

– Гасим Свет? – лукаво переспросила Света.

– И без шуточек давайте, – попросил Солев, знобливо подрагивая. – Федор Михайлович – человек серьезный.

– Уже не человек, – заметила Света, переворачивая фарфоровое блюдо вверх донцем, на котором была жирно начертана черная диаметрально-одноконечная стрелка.

Гадальное поле представляло собой три концентрических круга. Небольшой внутренний, в который поместили блюдо, был разделен на две половинки: в одной написано «да», в

другой – «нет». Центральный круг, ненамного отстоящий от внутреннего, содержал цифры. Внешний круг – самый большой – был буквенным. Стрелка на блюде четко указывала на линию между «да» и «нет». Все участники сеанса коснулись блюда пальцами левой руки. Был задан ритуальный первый вопрос. Ответ был положительным.

– Будет тебе материал, – шепнула Света Мише...

Протокол духообщения

Прембула: Этот протокол составлен 12.10.01 во время спиритического сеанса четырьмя его участниками, которые поочередно выходили из круга лиц, участвовавших в сеансе, причем духообщение во время их отсутствия не прерывалось.

Миша: Вы Федор Михайлович?

Дух: Нет.

Степа: Кто же вы?

Дух: Иван Федорович.

Света: А где Федор Михайлович?

Дух: Занят.

Лена: А вы из рая или из ада?

Дух: Из пакибытия.

Степа: Удастся ли нам ролевая игра?

Дух: На славу.

Миша: Гена согласится сыграть инока?

Дух: Да.

Света: А к нам правда тогда Пушкин приходил?

Дух: У него и спросите.

Миша: А Бог есть?

Дух: Много богов и господ много.

Степа: Что бывает после смерти?

Дух: По вере.

Лена: Когда в России жизнь наладится?

Дух: К осени улей успокоится.

Света: А когда я замуж выйду?

Дух: Скоро.

Света: А как его зовут?

Дух: Громко.

Степа: Что будет для меня самым трудным в этот месяц?

Дух: Вернуться.

Миша: А для меня?

Дух: Дописать рассказ.

Лена: А для меня?

Дух: Бросить курить.

Лена: Я же не курю.

Дух: Закуришь.

Света: А для меня что самым трудным будет?

Дух: Ждать и догонять.

Степа: Что мы можем для вас сделать?

Дух: Добавьте в круг цифр знаки препинания, пробел и смайлик :)

Примечание: Сеанс окончен.

Подписи участников:

– Расписывайтесь давайте, – сказал Степа, переписав протокол набело, и нехорошо пошутил: – Желательно кровью.

* * *

На следующий день, в субботу, незадолго до полудня, Гена позвонил Вале.

– Велину с третьего этажа позовите, пожалуйста, – попросил он (комнату называть было не принято, поскольку общежитие небольшое и все всех знают).

С минуту или две Валерьев слушал относительную тишину, содержащую расплывчатые шумы, невнятные голоса, еле различимую музыку, а после он услышал звук поспешно приближающихся шагов с прискоком и, наконец, Валин голос.

– Алло!.. Привет, Геночка! Чего звонишь?.. Да, есть такие лекции, до понедельника могу дать... Заходи, конечно. Комната 32.

«Нужны мне эти лекции; до сессии еще куча времени... – подумал Гена, заглядывая в себя с некоторой брезгливостью. – Ну, ты, парень, и вляпался! Ужасно глупое ощущение...»

До комнаты № 32 Валерьев дошел в сопровождении пожилой кастелянши. Еще раз подозрительно оглядев гостя, жен-

щина постучала в дверь и спросила, можно ли ему войти. Оказалось, что можно.

Валя открыла дверь, и кастелянша ретировалась. Между юношей и девушкой оказалась завеса из наборных разноцветных деревянных висюлек. Гена прошел сквозь завесу, как сквозь звонкий сухой ливень. В тесной прихожей, напротив крупнорогих, бодливо оттопыренных вешалок с шаровыми набалдашниками, – напротив этих вешалок во всю стену красовался плакат с голой американской певицей, назвавшейся святым именем.

– Это девчонки повесили, – стыдливо сказала Велина, ладошкой прикрывая «звезде» срамное место. – Проходи в комнату.

– погоди, разденусь-разуюсь, – ответил Валерьев, сняв ветровку и накинув ее на вешалку.

– Не разувайся: на улице сухо.

– Как скажешь.

В комнате никого не было, четыре кровати были идеально застелены, на одной из них сидел игрушечный желтошерстый заяц.

– Твоя – с зайцем? – спросил Гена и устыдился своего вопроса.

– С зайцем, – тихо ответила Валя.

– Хороший заяц, – похвалил Гена и облизнулся, что вышло уж вовсе по-дурацки, но она в этот момент смотрела на зайца, – может, и не заметила.

– Хороший. Я сплю с ним в детства.

– Это называется верностью, – нервно хмыкнул Валерьев, и ему почему-то подумалось о приговоренных к расстрелу, пошучивающих перед казнью.

– Смейся-смейся, – сказала девушка с игриво-угрожающей интонацией и, шагнув к кровати, схватила зайца и прижала к груди. – Он у меня всё равно самый лучший.

– Я и не спорю, – проговорил Гена, понемногу избавляясь от смущения. – Я вообще на твоего зайца не претендую – мне бы тетрадку на пару дней.

– Тетрадку... – пробормотала Валя в замешательстве. – Сейчас вспомню, где она. Ты садись пока.

Юноша сел на стул возле письменного стола и стал наблюдать за поисками. Тетрадка оказалась на подоконнике, возле кипы журналов.

– Что за журналы?

– «Сторожевая башня». Издание свидетелей Иеговы.

– А-а, – уныло протянул Гена, поднялся и подошел поближе; на обложке верхнего журнала подчеркнуто красивая девушка с ярким макияжем на лице, с драгоценными сережками в ушах, с элегантной одеждой на теле – стояла, прикрыв глаза и сложив по-католически ладошки. – Молится, что ли?

– Молится, – ответила Валя с вызовом.

– Ну, пусть молится.

– А вот ты – сколько времени в день молишься? – спросила она напористо.

– Утром – минут пятнадцать, вечером – минут двадцать. Перед причащением – часа по полтора, но это раз в месяц. Ну, и в церкви по воскресеньям и праздникам – литургия идет часа два, вечерняя – часа два с половиной. Если сесть с калькулятором, можно всё это сосчитать. Только на фига? – раздраженно спросил Гена. – Важно ведь не сколько молишься, а кому молишься и как молишься.

– Ты прав, – сказала девушка задумчиво.

– Несколько раз я вообще целый день молился: выходишь на улицу и начинаешь читать Иисусову молитву, а вечером замечаешь, что всё еще читаешь ее, – она незаметная, как пульс... Иногда бывает и слезная молитва, во время нее даже слова кончаются – просто стоишь перед Богом и плачешь. Но чаще – так себе: торопишься, отвлекаешься, не вникаешь, а спохватишься – уже почти правило дочитал. Мне духовник говорит, что такое у всех бывает...

«Что это я вдруг разоткровенничался?..» – мысленно спохватился юноша и замолчал. Молчала и Велина. Они молча стояли и смотрели в окно на осеннюю разноцветную листву, безнадежно цепляющуюся за уснувшие ветви, а на подоконнике высилась тяжелая стопка глянцевого журналов.

– Пойдем погуляем, – вдруг предложил Гена, чувствуя какую-то грусть и духовную усталость; предложил запросто и почти властно.

– Пойдем, – радостно согласилась Валя.

И спросил он ее на улице:

– Какое веруеши?

И сказала она ему веру свою.

– Да это же бред какой-то! – воскликнул он и принялся возражать, по памяти цитируя Евангелие.

Но она не услышала его возражений, хоть он и говорил громко.

Некоторое время после теологического диспута они гуляли молча, а потом вдруг принялись болтать о такой чепухе, что и пересказать-то сложно. Они дошли до старого запущенного парка с ржавыми неработающими аттракционами, о котором поговаривали нехорошее. Но ничего нехорошего не было, – напротив, всё было хорошо: и солнце, и этот листопад, и этот златолиственный ковер под ногами, и эта рыжая вислоухая собака, без усталости приносящая хозяину палку... Валя взобралась на щербатый бордюр, окаймляющий парковую дорожку, и шатко пошла по нему, и Гена понял, что должен подать ей руку и так и идти рядом, подстраховывая... И вдруг он разозлился и сунул руку в карман ветровки.

«Что же это такое?.. – раздраженно подумал Валерьев. – Ведь это уже тысячи, миллионы раз было! И эти парки с листопадом, и это хождение по бордюрам – ведь штамп, клише, трафарет! Штампами писать нельзя – за это всех начинающих графоманов по рукам бьют! Но зачем же тогда жить по трафарету? Вскочила на бордюр и ждет, что я ей руку подам. Если вскочила, значит, обязан подать – таково клише. А вот хрен тебе! Текст со штампами читать невозможно, ес-

ли художественный вкус есть. А если вся жизнь из штампов состоять будет? Стандартное поведение в стандартных ситуациях. Тогда просто нет смысла влезать во всё это: достаточно по сторонам посмотреть».

– Ген! – позвала Валя, сойдя с бордюра, и помахала ладошкой перед глазами Валерьева. – Ты чего?

– Задумался, – ответил он мрачно.

– Просыпайся и пойдем дальше, – весело сказала она, сопроводив свою речь замысловатой жестикуляцией; она заметила, что сурдоперевод ему нравится, а потому старалась почаще использовать язык глухих.

– Ты мне так и не объяснила, зачем тебе язык жестов, – произнес Валерьев, продолжив путь, но уже подумывая, где развернуться, чтобы идти обратно.

– Для проповеди, – ответила Велина. – Другие возвещатели ходят по домам и, если видят глухих, то сигнализируют мне. А я с кем-нибудь иду по этим адресам. Глухие очень любят, когда с ними говорят. У нас уже целая община глухих.

– Это интересно! – воскликнул Гена и вспомнил православных глухонемых, неоднократно виденных им в соборе. – Это очень интересно! Ты, наверное, и на служениях ваших всё им переводишь?

– С ними работа отдельно проводится, но то же самое – и книгоизучение, и школа теократического служения...

– Что еще за школа?

– Ну, вроде обучающих семинаров.

– А, это как в сетевом маркетинге, там успешные дистрибуторы тоже новичков назидают.

– Почти что так.

– А по воскресеньям у вас бывает что-нибудь?

– Бывает, конечно. Служебные доклады, обсуждение «Сторожевой башни». Почти вся неделя чем-нибудь занята.

– Ясно, – протяжно и весомо проговорил Валерьев, о чем-то напряженно размышляя. – Это очень интересно... Сегодня-то, кстати, как я тебя застать смог?

– Сегодня у нас будет вечером.

«В субботу вечером и в воскресенье – как у нормальных», – подумал юноша и кисло улыбнулся.

В той же кисло-улыбчивой задумчивости он шел домой, сжимая в ладони свернутую в трубочку тетрадку Вали Великой. А сама Валя нехотя отвечала в этот момент на расспросы девчонок, живших с ней в одной комнате. «Всё это было, было, было, – думал Гена. – Миллионы раз было. Можно к этому, правда, не как к трафарету отнестись, а как к закону жизни, типа природного. «Пора пришла – она влюбилась». Это как клочком одежды попасть в машину, и вот тебя затягивает, и не вырваться... У кого уж этот образ был?.. Но вырвался же Подколесин! Прыгнул от невесты в окно – смешно, конечно, но ведь это героический поступок, если призадуматься... Ну, взяла она меня за сердце, если не за мошонку, – и что? Поведет теперь, куда ей вздумается? Зачем же мне мозги в таком случае? К тому же, иеговистка... Но на-

счет глухонемых – мысль интересная».

* * *

На воскресной поздней обедне Женя опять увидел того дядю, который когда-то подал ему милостыню. Женя с мамой и папой стояли позади него, и мальчик поневоле замечал, что несколько раз дядя застывал – не крестился и не кланялся, а стоял столбом, потом вдруг спохватывался и крестился с поспешностью. Жене даже захотелось, когда дядя опять задумается, дернуть его за ветровку, но это, наверное, неприлично – взять и дернуть... За этими мыслями Женя проворонил момент, когда нужно было креститься, и пристыженно перекрестился дважды на следующем прощении ектеньи. «Надо следить только за собой!» – подумал он и более не отвлекался.

Гена вздрогнул, очнувшись в очередной раз, перекрестился и самоосуждающе подумал: «Разве так молятся? То рассказ, то глухонемые!» И он принялся молиться, как должно, и лишь во время причащения, в котором не участвовал, вновь задумался о постороннем: «Неужели это влияние рассказа? – размышлял он. – Ведь почти никогда не отвлекался в церкви, а как написал, так и пошло-поехало... Или это из-за Вали? Нашел крайнюю!.. Тело Христово примите, Источника бессмертного вкусите!» Его мысли совпали с молитвой, которую он пел вслух, и растворились в ней.

После службы Гена дождался отца Димитрия, как они и

договаривались неделей ранее. С этим священником Валерьев непривычно сблизился и после двух исповедей у него стал поминать иерея Димитрия в утренних молитвах как духовного отца. Прежде в том же качестве он поминал священника, крестившего его и вскоре куда-то переведенного, а постоянного духовника у Гены и не было никогда. Юноша подходил на исповедь то к одному священнику, то к другому, то к третьему (обычно к тому, перед которым очередь короче) и был в духовном плане как бы «сыном полка». И вот теперь он определился: отец Димитрий мог и выслушать, и подсказать, и после исповеди ему Гена, порывшись в себе, заключал с радостью, что вроде бы все грехи, о которых помнил, назвал. У Гены появилась потребность брать у отца Димитрия благословение после службы и при необходимости он не стыдился перемолвиться со священником по какому-либо вопросу, – словом, он обрел духовника.

– Бог благословит, – сказал отец Димитрий, благословляя и троекратно расцеловался с Геной, после чего добавил: – Я прочитал.

– И как? – спросил Валерьев не без волнения.

– Пойдем куда-нибудь на скамеечку.

– Пойдемте.

Погода держалась отличная, ярко-солнечная, и всё-таки сидеть на деревянной скамейке было немного прохладно.

– Талант у тебя есть, и большой, – начал священник. – Но рассказ, по-моему, не вполне удачен. Он какой-то слишком

уж из головы.

– Потому что внутренних монологов много? – спросил Гена обиженно. – Но он от первого лица, в нем и не может быть по-другому...

– И от первого лица можно по-разному писать. Но я не это имел в виду, когда говорил, что из головы. В части про мальчиков-наркоманчиков, например, есть какие-то черточки, сложно даже сказать, какие... И вот исходя из этих черточек мне как читателю кажется, что автор в том сарайчике не был... Я прав?

– Не был. Только кому какое дело до автора?

– Я имею в виду рассказчика, повествователя, не знаю, как это правильно в литературоведении называется. У тебя же от первого лица рассказ написан, а значит, и тени сомнения быть не должно, что рассказчик правдив. Кстати, судя по рассказу, ты и в церкви не был или был пару раз для сбора материала.

– Вы издеваетесь, что ли?! – воскликнул юноша возмущенно.

– Ну, извини, Гена, извини, прости Христа ради. Но ведь тебе честное, максимально жесткое мнение нужно, чтобы потом отредактировать.

– Я слушаю, – проговорил Валерьев сквозь зубы и вдруг спохватился: – Бог простит, и вы меня простите!

– Бог простит, – улыбчиво молвил батюшка. – Так вот, часть про церковь хуже, чем про сарайчик. То есть я, ко-

нечно, заметил и параллели твои, и символику, и некоторые внутренние монологи очень хороши. Но беда в том, что ты как будто составляешь некое пособие для невоцерковленных. И всё, что знаешь, видел и вычитал, переносишь на страницы рассказа. Как будто взял книжку с толкованием Божественной литургии, набрал примеров из жизни, мыслей, впечатлений, всё это перемешал, но в основе части – всё равно книжка с толкованием. Убери книжку – и рассказ оживет. Из части про наркоманчиков тоже убрать надо что-то, совсем чуть-чуть – поговори со своими плановыми приятелями: наверняка ты от них набирал материал.

– Говорил уже, – сказал Гена уныло, про себя удивляясь прозорливости собеседника.

– И что?

– Сказали, что кое-где схема просвечивает.

– Правильно сказали. Значит, это «кое-где» надо исправлять. Я тебе некоторые места карандашом отметил – посмотри. Главная претензия в духовном плане – это что твой герой вдруг бесноватым оказывается. Такой милый мальчик – и с бесом. Как говорили в советские времена, «нетипично». К тому же, бесенок уж очень мощный попался, если во время Херувимской только легкий дискомфорт испытал. Я раза два или три видел, как бесноватых на Херувимской корежит, – и лают, и пена изо рта... И непонятно, когда этот бесенок в него залез: судя по склонности к внутренним диалогам, давно; но тогда как же твой герой в предшествующее воскре-

сенью ко кресту подходил? А если совсем недавно, то чего же это бесенок так расхрабрился, что подпустил своего подопечного ко кресту? Да и вообще, если бы всё было так просто... В общем, здесь у тебя явный промах. Другие промахи помельче: ектеньи, например, диаконы читают, а не иереи, и еще на Крестовоздвижение крест после службы не выносят: он лежит на аналое, в центре храма, так что здесь ты явно напутал. Есть и еще кое-что – посмотришь, я отметил. Нуднóты и длиннóты тоже есть – их бы сократить не мешало...

– Ну а идея вам как? – спросил Гена с последней надеждой.

– Идея положительная и понятная, – ответил священник. – Правда, максимализм, максимализм юношеский... Если со стороны посмотреть или просто поспокойнее глянуть, то вся ситуация – буря в стакане воды.

– А разве духовная деградация – это не ужасно?! – воскликнул молодой человек. – Живешь и чувствуешь, что ты с каждым днем хуже и хуже, хуже и хуже... Если человек с совестью и, как вы выразились, максималист, то всё очень логично. Дело спасения души – это не буря в стакане воды! Если набралась критическая масса грехов, то произойти и не такое может. К тому же, рядом с ним бес был, подсказывал...

– Бес рядом – это ситуация знакомая, – пробормотал отец Димитрий. – Возможно, ты и прав, а твой герой и по возрасту как раз должен быть максималистом. Но, знаешь ли, Гена, в церкви очень многие думают о постороннем, и отвлекаются,

и какого-то чудного молитвенного настроя, чуть ли не исихастского, не испытывают. И нет в этом ничего ужасного и фатального: скажут на исповеди, что молятся невнимательно, а священник отпустит им этот грех – и живут дальше. Есть, Гена, и пострашнее грехи. Но герой твой очень чистый и, к тому же, максималист. От него отходит начальная крещенская благодать (она ото всех отходит через несколько лет после воцерковления, точнее, это только так кажется, что отходит), а он по неопытности думает, что прежние молитвенные подвиги и восторги – его заслуга, а нынешнее охлаждение – его вина. То, что раньше давалось без усилий, теперь требует напряжения и не всегда получается... Но на самом деле это просто новая фаза во взаимоотношениях с Богом: тогда был медовый месяц, и Он каждый день говорил, что любит тебя, а сейчас – честное супружество. Он и теперь рядом, любит тебя, видит и слышит, но не так бурно и явственно проявляет Свои чувства, как раньше. Не надо впадать в уныние: так и должно быть.

– Слова ваши утешительны, – сказал Гена со вздохом. – Но сама ситуация очень грустная.

– Главное в этой ситуации – не делать глупостей, – заметил батюшка.

– А еще, отец Димитрий, я после написания рассказа в церкви стал отвлекаться, а до того почти никогда, – признался юноша.

– Многие отвлекаются – еще раз тебе говорю. Но вооб-

ще-то, литература – штука коварная. Знаешь историю с Флобером?

– Нет, наверное.

– Когда он написал, что его госпожа Бовари отравилась мышьяком, он и сам слег с симптоматикой такого же отравления.

– Круто! Не знал!

– Так что поосторожнее с литературой: можно отравиться. И еще кое-что об осторожности... – священник примолк, вероятно, сомневаясь, продолжать ли, но решился и продолжил: – Ты не знаком, случайно, с Иваном Федоровичем?

– Каким еще Иваном Федоровичем? Фамилия у него какая?

– А никакой фамилии нет.

– Значит, не знаком, – сказал Гена с улыбкой.

– Ну, и слава Богу! – облегченно выдохнул отец Димитрий. – А в азартные игры, случайно, не играешь?

– Нет, конечно! И не на что, и незачем.

– Тоже слава Богу. Просто явился ко мне вчера Иван Федорович и пожелал тебе удачно сыграть.

– Откуда он меня знает? – изумился Гена.

– Он многих знает, – усмехнулся отец Димитрий. – Страсть как любопытен. Впрочем, не бери в голову.

«Ничего себе «не бери в голову!»» – недоуменно подумал Валерьев, но вдруг вспомнил, что чуть было не забыл рассказать батюшке о глухонемых, и сразу же рассказал, и в про-

цессе рассказа непонятный Иван Федорович начисто выветрился из памяти.

Отец Димитрий внимательно выслушал и сказал, что идея литургии с сурдопереводом очень интересна, и он расспросит своих глухонемых прихожан о таких же знакомых («Как это – расспросите?» – «На бумаге, письменно»), и если наберется община, то можно будет ставить вопрос перед церковным начальством и искать сурдопереводчика. Гена рассказал о Вале Велиной и об окормляемой ею общине глухих, и вот бы хорошо было бы, если бы... Батюшка ответил, что конечно-конечно, пусть приводит ее, поговорим, но только, Гена, я по опыту знаю, что свидетели Иеговы – люди маловменяемые...

Едучи домой в троллейбусе, Гена внимательно просматривал свою рукопись с пометками отца Димитрия и думал, что вот здесь согласен, а здесь он явно не прав, а тут сделано просто гениально и ни в коем случае нельзя трогать. «А связка между частями – пальчики оближешь! – рассуждал Валерьев. – «Небо было цвета глаз старика, впавшего в детство» и «Бесконечная радужка неба глядела на меня взором новорожденного». Великолепно!»

Глава двадцать первая

* * *

Бесконечная радужка неба глядела на меня взором новорожденного, а я, оценив этот взор, ссутулился и уставился под ноги. Там угрюмо стлался грязный асфальт, искусанный людской обувью. Вскоре в поле зрения как-то исподволь сунулся куст, увешанный жемчугом, – сунулся и исчез. Приподняв голову, я посмотрел в сторону и в шаге от обочины увидел растительного франта, метнулся к нему, аки тать, дернул за букли, сорвал жемчуга, сколько рука взяла.

Я шел, и сеял снежные ягоды, и давил их, катящиеся под гору, обиженно хлопающие, верткие. И подумалось ненароком: «Осанна! Осанна в вышних!» Я встопорился и, обозвавшись богохульником, вдарил себе по скуле на полном серьезе, так что потом долго потирал уши.

Но надо было спешить, и я спешил, и, стыдливо отворотившись, прошмыгнул мимо нищего, наблюдавшего самобичевание. Нищий был настоящим калекой с измызганной брючиной, подогнутой на культе ноги, – грех такому не подать. Но я не подал, хотя пара купюр в кармане джинсов оглушительно хрустели при ходьбе и назойливо терлись о ляжку.

«Не для тебя такие купюры, старче! – мысленно оправдывался я. – Зачем они тебе? Знал бы, что пойду в церковь,

набрал бы мелочи и уж тогда ни за что тебя не обошел. А сейчас прости...»

Миновав кладбищенскую калитку, я перекрестился, поклонился спинам спешащих на службу и вновь увидел нищих. «Сколько же вас, нищие! – подумалось мне. – Стоите вы по обочинам, христарадствующие, и приходится тащиться будто сквозь строй... Ведь и не праведники вы: из-за мест грызетесь, заколачиваете намного больше моей стипендии, просите на хлеб, а тратите на водку. Не все вы такие, но многие, многие! Что ж вы, поздравляющие с праздничком, не спешите на службу, а стоите и караулите прохожих? Ась?!»

Но никакие обличительные монологи не могли одолеть стыдобушки, и я усердно наблюдал за дамскими копытцами, цокающими впереди. Надо сказать, в этом наблюдении не было ничего порочного, просто необходимо было куда-то сунуть взгляд... Но внезапно копытца, стабильно шествовавшие предо мной, срулили к беженке-чернушке с картонной мольбой на груди, и монетка скакнула в плоску. Отдернув обожженный взгляд, я едва не побежал, но гора была крута, сердце заколошматилось, и я возвратился к привычному шагу.

«Лучше уж не смотреть никуда», – подумал я и намеренно провалился в глубочайшие свои недра, а тело продолжало шагать совершенно самостоятельно. И поскольку там, в недрах, невозможно находиться без размышления, я раз-

мышлял: «Вот ведь эта гора, на которую я сегодня карабкаюсь, очень символична. Сначала идет беспокойный греховный мир, где люди чего только не делают – живут, в общем. Потом человек проходит через некие врата и вот – он на кладбище. Но ведь его путь не кончается, он всё карабкается в гору, пока наконец не окажется перед следующими вратами, точнее, последними...»

Я вынырнул из себя и оказался перед тесной калиткой в массивной ограде, опоясывающей церковный двор. Войдя, я трижды перекрестился и поклонился храму в такт с последними тягучими ударами благовеста. Золотом была покрыта лишь верхняя часть большой центральной главы собора, поэтому издали казалось, что над ним висит нимб.

«Спешат часики!» – полудовольно заключил я, примкнув к встречающим вне храма. Неожиданно колокол, отдельно и неторопливо благовестивший, лихорадочно заметался; ему начали подзванивать еще несколько – голосами потоньше и вовсе уж суматошных. И закрестились люди, и поскакал трезвон по церковному двору, а за ним следом чинно въехала мощная белая машина. Владыка пожаловал.

В сиреневой длинношлейфной мантии с тремя белыми окаймляющими полосами, в клобуке и с крестообразным посохом седобородый архиепископ выбрался из машины и по красной дорожке прошел в храм. Степенно шагая сквозь людской коридор, он легонько прикасался дланью к склоненным головам. Колокола стихли, и из собора грянуло слово-

слово: с полдюжины священников приветствовали владыку. «Да, не меньше, – подумал я. – Сейчас ему дадут храмовый крест, потом он пройдет дальше, и за ним скатают дорожку. Скорей бы!»

Наконец бабулька в черном, долго примериваясь, кабы не вышло косо, срулетила матерчатую тропинку, и вслед за ней народ, крестясь перед входом, втек в храм. Миновав аркообразный притвор, я раскланялся на три стороны и свернул за свечками. Прихвостившись к коротенькой очереди, купил три дешевых и, как обычно, встал напротив Царских врат.

А тем временем приблизительно в полудесятке шагов от меня на возвышении, именуемом архиерейской кафедрой, двое иподиаконов облачали владыку. Мантия, клобук и паннагия уплыли в алтарь, а взамен на крупном блюде были принесены иные одежды, и вот теперь под соответствующее пение хора иподиаконы почтительно возлагали принесенное на архиепископа. Тот вяло подавал руки, чтобы окольцевали поручами запястья, недовольно поводил плечами и шеей под неудобно легшей фелонью, а облачающие спешно поправляли. Вот наконец и риза, столь же алая, как и у других священнослужителей, вот и омофор – символ архиерейской власти...

Стоя точно напротив спины владыки, я с интересом наблюдал процедуру, производимую над ним. Процедуру эту я видел лишь в третий раз, поскольку всегда опаздывал на

службу, равно как и вообще куда бы то ни было, – такая уж у меня паскудная особенность. А между тем архиепископ, уже облаченный, с забрызганной переливчатыми самоцветами митрой на голове, принял зажженные дикирий и трикирий и, поворотившись к народу, пропел тихим, слегка в нос голосом:

– Мир всем!

И паства благоговейно склонила головы, зная, что сейчас ее осенят свечным крестом. Когда я посмотрел прямо, владыка уже отвернулся. Служба началась.

Псалмы чередовались с молитвами, молитвы с псалмами, прихожане вразнобой крестились и кланялись. Я тоже крестился и кланялся... И наблюдал.

Неподалеку от меня стояла статная простоволосая женщина с мальчонкой. Тот крестился пухлой младенческой ручкой с видимым удовольствием и наклонял увесистую голову. Женщина снисходительно и любовно поглядывала на него и, крестясь плавным лебяжьим движением, кланялась с прижатой к груди рукой. Как видно, она вполне сознавала округлую красоту этого движения и с тем же удовольствием, что и ребенок, повторяла его, как повторяют понравившуюся фразу. И до тех пор склонялась русая непокрытая голова, пока откуда-то сбоку не возникла сухая старушка в белой косынке. Возникшая резко дернула женщину за рукав и припала к ее уху. Та отпрянула, возмущенно зыркнула на старушку и, прошипев что-то, поволокла

ребенка к выходу, а тот всё оглядывался и тянулся туда, к закрытым Царским вратам... В ладошке, свободной от мамашы, он стискивал размякшую и погнувшуюся от теплоты большую красную свечу.

– К празднику передайте, – вполголоса молвил я, потормошив правое плечо впередистоящей, и отдал одну из свечек. «Надо было попросить свечку у того мальчонки, – запоздало подумал я. – Он ведь мимо меня проходил...»

И тут, повинувшись шепотку и рубящему жесту могучего рыжебородого священника, народ расступился, как в незапамятные времена Черное море. Церковная служка, скачавшая дорожку, прошлась по образовавшейся просеке, подравнивая людские ряды. Окадив алтарь и иконостас, два иерея поклонились прихожанам и двинулись вдоль стены собора. Кадила, мелодично бряцая, подпрыгивали и выдыхали фиммиам, а священники, в чьих руках они оживали, слегка наминали кукловодов. «Кукловоды... – мысленно повторил я. – Оно, конечно, похоже, но зачем такие сравнения? Ведь это ж не те ассоциации вызывает! Писатель, е-мое!..»

Покуда я бранил себя, кадящие достигли прохода, стали и, раскланявшись с предстоящими, окурили их благовонным дымом. Я жадно внюхивался в несравненный запах, а иереи возобновили шествие. Когда народ сомкнулся, я заметил, что позади набилось довольно много опоздавшего люда и что в церковь заглянули мои недавние знакомые – солнечные лучи. Белесыми кушаками они протянулись в благоуха-

ющем воздухе, исполосатив его. Они явились в храм безбоязненно и, в отличие от того хилого сарайного лучика, были желанными гостями, а не беглыми отщепенцами. Солнечные лучи, дотоле не так заметные, множились и медленно гладили молящихся по головам...

«Хватит философствовать!» – одернул я себя. – Слушай лучше, как псалом читают». А псалом читали так, будто вели одиноким голосом по веревке с узелками.

Началась великая ектенья, и теперь приходилось креститься и кланяться намного чаще, чем раньше. От этого монотонного поклонения я быстро утомился, и навязчивые мысли о солнечных лучах уже не донимали меня. Наконец-то возникло нормальное молитвенное настроение, теплое и всепроникающее, струящееся из области солнечного сплетения вверх, вверх!

Великая ектенья кончилась возгласом архиепископа и клиросным длинно распетым «аминь». Как и все, склонив голову под благословением, я почувствовал, как крестообразно возмущился воздух, будто благословляющий был прямо предо мной. Служба текла дальше.

Прикинув, сколько в храме народу, я сообразил, что бесполезно пытаться обратиться к иконам, и послал две оставшиеся свечи Спасителю и Богородице. До образа Спасителя свечка добежала быстро, благополучно перескакивая из правой руки в правую, а вот богородичная ее близняшка при тормозила. Размалеванная женщина с мужским носовым

платком на лакированных кудрях, передавая свечку, тронула старушку, ту самую, что пристыдила простоволосую, – тронула за левое плечо. Плечо судорожно дернулось, и после этого ни на какие почтовые домогательства старушка не реагировала, а отвергнутая свечка, обойдя стороной, добралась-таки до Приснодевы.

«Интересная сценка! – отметил я. – Особенно носовой платок – такая деталька, что пальчики оближешь...» Но пальчиков я не облизал – собрался было, да прикусил язык и ужаснулся: молитвенный настрой исчез. Как я ни усердствовал, как ни клевал носом впередистоящую в гимнастических поклонах – всё тщетно! Служба казалась лишь спектаклем, виденным многократно, абсолютно предсказуемым, а потому неинтересным. Я крестился затекишей рукой и механически кланялся, всего лишь повторяя за другими обесценившиеся движения.

И думал.

«Эх ты, писатель! – укорял я себя. – Загнался совсем со своими солнечными лучами: то ты о них запинаешься, то они гладят тебя по голове, то беглецы они, то гости... А на самом-то деле они – видимое солнечное излучение, поток корпускул или как уж там по физике?.. Всё остальное – лишь метафоры, а лучам абсолютно по фигу, куда сунуться. Да и мне, как выясняется, тоже! Посетил сарайчик – увидел, как план курят, посетил церковь – увидел, как молятся. И там и тут нахватал гору материала – хоть об-

пишишь. И обпишусь! Состряпаю рассказик и – нате, жрите!.. Что, читатель, опешил? Ну, прости, родной, прости! Я ведь это так, сорвалось. На самом-то деле я тебя люблю беззаветно, я всегда с тобой буду ласков, даже посюсюкаю, если надо, ты только кушай, мильй, кушай...»

А церковь тем временем молилась: молился архиепископ в алтаре, молились священники и диаконы, молились прихожане, я же лебезил перед читателем ненаписанного рассказа. Все уже успели преклонить головы перед Евангелием, вынырнувшим из Северных врат и уплывшим в Царские. И теперь на клиросах вместо обычного Трисвятого пели в честь праздника:

– Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим.

«Они поклоняются Кресту, они славят воскресение Христово... – тоскливо подумал я. – А мне что делать? Не повторять же молитву, как стишок, как считалочку, сердцем ее не чувствуя! С читателем болтать тоже глупо, да и перевелись они нынче, читатели-то... Может, уйти?»

Но голос из алтаря потребовал, чтобы я вслушивался в премудрость, и начал читать Апостол. Частично было понятно, частично – нет, но в общем-то узнаваемо. Во время чтения двое кадили вдоль иконостаса, и прошлое сравнение их с кукловодами вновь прыгнуло в голову и подумалось: «А почему бы и не кукловоды, коли сравнение хорошее?»

И тут меня вновь потянуло из церкви, но я вновь был

остановлен требованием:

– Вонмем!

И сразу же после него протодиакон, вышедший с Евангелием к аналою и отпахнувший нужную страницу, стал читать:

– Во время оно...

Ах, что это был за голос – изумительно красивый, лоснящийся! По ходу чтения голос из глубочайшего колодезного баса медленно и степенно поднимался вверх, его неудержимый напор выдавливал слезы, затруднял дыхание, а под конец евангельского отрывка вошел в такую силу, что, казалось, еще мгновение, и все падут в обморок. Но протодиакон, будто жалея паству, закрыл Евангелие, положил книгу на плечо и удалился в алтарь, допевая на ходу.

«А ведь проняло! – удивленно подумал я, украв исторгнутую из правого глаза слезу, левый же глаз был сух и зорок. – Ну и что с того? Если бы он пел какую-нибудь арию Мефистофеля, тебя бы тоже наверняка проняло: такой голосище!»

Я понял, что вновь мысленно говорю сам с собой, и заметил странность: вместо просторечного старческого голоса, объяснившего мне, выскочившему из троллейбуса, что я иду в церковь, со мной беседовал мой собственный голос. «Но зачем же я намеренно опускаю себя? – подумалось недоуменно. – Зачем сейчас, когда вновь начал подниматься, чувствовать Слово, я себя будто мухобойкой по макушке хло-

быстнул?..»

Я вопрошал, а отвечать было некому. Я слушал сугубую ектенью, смотрел на коричневые пиджачки мужичков, вышедших с эмалированными тазами со стороны левого клироса, смотрел и не понимал, отчего я себе враг. Мужички пошли в народ, народ шарил по кошелькам и карманам и клал найденное в тазы, я тоже бросил в денежную россыпь лепту в рублевом эквиваленте, благо одну из купюр разменял, покупая свечи. Мужички с законной добычей удалились, люди продолжали молиться, а мне было тошнехонько.

Да, тошнехонько: тело застыло в каком-то жутком параличе, намертво стиснутая щепоть не могла разжаться, и неприметно приползло дикое ощущение, будто я душу котенка. Кое-как разлепив пальцы, я понял, что черненький, писклявый, еще слепой котенок – лишь наваждение. Я одолел взгляд так, чтобы видеть злополучную ладонь, и встрепенулся: к указательному пальцу прилип клочок черной шерсти. Доказательство кошмара скользнуло по панически дрыгнувшей ладони и исчезло: это была всего лишь тень. Большие щепоти я не сжимал и, понятное дело, не крестился: стоял, как обгаженный чайками утес, посреди моря кланяющихся голов. Мне было тошнехонько.

Однажды в приходской церкви, где кроме меня в большом каменном храме стояло с пяток человек, священник в черном подряснике читал что-то на солее перед закрытыми Царскими вратами. И вдруг я осознал необычайную его схо-

жесть с огромной замочной скважиной, и уж так понравилось мне это сравнение, так восхитился я его точностью и символичностью, что служба протекла мимо меня, как и теперь. Но почему же тогда я по окончании службы спокойно поцеловал протянутый батюшкой крест? Ведь не стыдно было, не страшно, не совестно, а сейчас мне вынь да положь молитвенный настрой, иначе ни креститься, ни молиться не могу!.. Отчего так?!

На клиросах запели «Иже Херувимы», из Северных врат в Царские перенесли чашу с Дарами, покуда неосвященными, а мое состояние заметно ухудшилось. Казалось бы, после столбняка с черным котенком уж и некуда, но вот – голова внезапно стала какой-то чужой, все ее части начали одновременно ощущаться. Не болеть, а именно ощущаться; к примеру, я почувствовал, что у меня два уха, похожие на большую бледную курагу, размоченную торгашами для увесистости, и этих самых ушей касаются волосы – великое множество волосков. Так же пронзительно я почувствовал веки, щеки, нос, но самым гадким было ощущение мозга: все его многочисленные извилины, толстые и склизкие, проступали так явственно, будто я держал его в ладонях.

И захотелось мне вырваться из тела, в котором так много всего, – вырваться и поползти к выходу, извиваясь между ногами смешных человечков. А тело пусть остается и молится! И неприятная тошнота принялась подергивать за кадык с изнанки, и взмогло, ослабло в колен-

ных сгибах, и я собрался уходить, негодую, что из-за мало-хольства и часа не могу выстоять... Но отзвучало послед-
нее «аллилуиа» ангельской молитвы «Иже Херувимы», и мне
внезапно полегчало: никакой сверхчувствительности, ника-
ких бредовых желаний...

«А желание и впрямь бредовое! – мысленно изумился я,
решив остаться. – С чего это мне захотелось вырваться из
собственного тела и поползти к выходу?» И вдруг проско-
чила мыслишка: «Может, это и не мне захотелось...» Но я
так ее и не понял.

* * *

«Бывает так, что дух бодр, плоть немощна, а у меня
немощны и то и другое, удивляться нечему, – разъяснил я
себе недавнее. – Но о чем бишь я?..» Припомнив свои мысли
до приступа (а вспоминал я тогда про церковь со священ-
ником-скважиной), я элегантно узелком связал с их об-
рывками новую думу. Итак, я всё удивлялся, отчего в тот
раз ни о каком молитвенном настрое не помышлял, а спо-
койнехонько целовал протянутый батюшкой крест. Мож-
но, конечно, ответить, что тогда совесть дремала, нынче
же проснулась... Нет, слишком банально. Гораздо интерес-
нее ощущение, будто меня весь день сегодня кто-то ведет...

«Хе, день! – мысленно усмехнулся я, осознав изумленно,
что всего-то пара часов прошло, как я из троллейбуса вы-
скочил. – Но всё ж таки ведет, это заметно. Стоп! Пой-

мал, кажется... Такая сверхчувствительность душевная, как только что телесная, – часть какого-то испытания! – вывел я и отчего-то обрадовался. – Ничего, поживем – увидим».

Абсолютно беспричинно радость переродилась в заплевываемую тоску. Ошеломленный этаким чисто истерическим переходом, я сотворил молитву Иисусову и был поддержан распевным священническим басом:

– Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Своею благодатию!

«Но нет! – отчаянно думал я. – Я просил и раньше, но Он не миловал, не милует и сейчас... Да и зачем Ему я, зазнавшийся бумагомаратель?! Я бы ни за что такого не помиловал. И если меня кто и вел в церковь, то не иначе как бесенок – чтобы разуверился: пришел, мол, каяться, а сам...»

Я вновь застолбнячился. Опамятовался лишь когда весь храм дружно грянул:

– Верую!..

Я никогда не попадал на первое слово и, как всегда, подхватил со второго:

– Во единого Бога Отца, Вседержителя...

Это было мое любимое место в службе – совместное пение. Оно – что-то вроде лакмусовой бумажки: знает человек Символ веры, – значит, не впервые в церкви, не любопытствующий. Как правило, пели от силы треть прихожан. И вот я среди этой трети чисто вел ворсистым нутряным

басом, непредположимым при моей комплекции. Молчаливые окружающие изумленно и порой стыдливо косились на меня; было приятно.

Нынче голос мой изменился: он непослушно вихлялся, стал хрупким и уже с извилистой трещинкой, но вскоре сросся, выправился. Я пел и помаленьку оттаивал, оживал и чувствовал, что действительно верую. Да и естественно: выучив Символ веры, я ни разу не усомнился в нем. Только вот жил я распоследней свиньей, а вера без дел мертва... Но сейчас я пел и ощущал, что это пение – дело, и с каждым словом молитвенный настрой возвращался. Я ликующе пел, заглушая молодого баритонящего священника, который солировал и дирижировал перед предстоящими. К ликованию как-то исподволь подмешалось восхищение собственным голосом. Но я не думал об этом, я беспрестанно крестился, отшивырнув воспоминание о котенке...

Но случилось страшное. От неопишуемого восторга я начал петь быстрее и услышал, как остальные голоса потянулись за моим, а священник не сумел перестроиться и замялся. Мигом поняв, что отбил паству, я смолк, молчал и батюшка, а обездоленные голоса начали стихать и разбредаться, но он сразу же подхватил их и благополучно донес до конца.

– Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь! – дружно допели все, кроме вашего покорного слуги. Священник посмотрел на меня. Я глянул на пол. Пол был

каменный. Там лежало раздавленным то, о возвращении чего я так молил.

Вероятно, если бы я шел по ледяной реке и угодил в полынью, и долго барахтался, и выбрался на лед, а после от радости начал прыгать и вновь провалился, то я бы чувствовал себя не хуже, чем теперь. Сейчас спасительный лед отступил от меня, я обессилел, и уже стало интересно, что там, в темной глубине. Страх, раскаяние, жалость к себе – ничего этого не появилось: я был пуст. Казалось, стукни кто по мне, я бы гулко зазвучал, как бессодержательные рыцарские доспехи. Разве что тот самый злоеущий интерес к темной глубине мог ответно вдарить изнутри сухим молотом.

– Свят, свят, свят Господь Саваоф! Исполнь небо и земля славы Твоя. Осанна в вышних! – донеслось откуда-то мелодичное хоровое пение.

Многочисленным эхом пение отразилось в моей бездонной пустоте и сплелось с воспоминанием: вот я иду в гору, и бросаю под ноги снежные ягоды, и давя их, а сам мимовольно думаю: «Осанна! Осанна в вышних!» Тогда я обозвал себя богохульником и вдарил себе по скуле – правильно, правильно. Ведь это Христу, въехавшему в Иерусалим на осле, бросали на дорогу ветки вайи и пели осанну.

Я вновь погрузился в ледяную бездну, мною же произведенную, и всплыл лишь когда затворили Царские врата и задержали их изнутри завесой.

Там, в таинственном алтаре, свершалось чудо превращения хлеба и вина в Тело и Кровь Господни. А мне закрытие врат напомнило нечто... Да! Четыре года назад я окрестился, через полгода купил молитвослов, еще через полгода стал ежедневно молиться... И вот, затворяя дверь в свою комнату перед молитвой, я иной раз представлял, что дверь – это Царские врата, комната – алтарь, а я – священник. И сладостно, и жутко было от таких представлений, и я бросался на колени перед новокупленными образами, и молился, водя пальцем по крупным строчкам молитвослова. И я хотел вечно стоять на коленях и молиться, потому что лишь в коленопреклоненной молитве так отчетливо ощущаешь Божие величие и собственное ничтожество...

Где это всё?!

Поначалу многое церковнославянское казалось малопонятным, труднопроизносимым и громоздким, и я дерзостно пытался осовременить молитву. Я уже почти не пользовался молитвословом, а сверившись с ним однажды, изумился: я читал молитвы абсолютно так же, как там написано. Оказалось, что современные слова, вставленные мной, незаметно выпадали, будто молочные зубы, и заменялись исконными. Как же я радовался тогда, как молился, прося у Бога прощения за самоволие!..

Где это всё?!

Входя в церковь, я словно перешагивал грань между мирами. Тогда тайна была везде: не только в алтаре, но и в цен-

тре храма, под огромным паникадиллом, и в притворе, и на паперти. И я в молитве познавал непознаваемую тайну...

Где это всё?!

«А всё там, там! – горько подумал я, подразумевая великую бездну, разверзшуюся во мне. – Всё туда ухнуло; теперь понятно, куда девают ипаги ипагоглотатели, но отчего же нет глотателей поездов, глотателей гор, глотателей галактик?.. Эта бездна бездонна, если сумела поглотить такое!!!»

Перед затворенными Царскими вратами возник священник и со слов «дорогие братья и сестры» начал проповедь. Он рассказывал о том, как благочестивая императрица Елена обрела Крест, на котором был распят Спаситель, и воздвигла великую находку на Голгофе для поклонения. Я удивился тому, что так внимательно слушаю проповедь после всего происшедшего, и вдруг ужаснулся: не приметно для себя я считал речевые ошибки батюшки, загибая пальцы...

«Что же мне после этого?..» – потерянно подумал я.

Проповедь закончилась, и народ поблагодарил:

– Спаси Господи!

Священник ушел, распахнулись Царские врата, и повторилось многократно виденное, многократно слышанное. Вынесли чашу с Дарами.

«А мне уже никогда не отведают святых Даров! – с отчаянной уверенностью решил я. Уверенность и какая-то самоистязательная радость всклень наполнили меня, доселе

пустовавшего. – Да, их мне не отведать, но то, чем они были до таинства, – можно!.. Купить батон да бутылку кагора и вкушать, пока не окосеешь. Хе-хе! Хоть всю жизнь ежемесячно причащайся – столько не выжрать!!! А повод уважительный, тут уж никто осуждать не будет: поминки, да еще по самому себе!..»

– Тело Христово примите, источника безсмертного вкушите! – уныло тянули на клиросе, вереница вкусивших неспешно текла запивать теплой святой водой. Многие глядели на причастников, проходящих мимо со скрещенными на груди руками, сопереживающе и улыбочиво. Я же зыркал на них так, как, вероятно, зыркают бесы на Ангелов, – злобно и завистливо.

«Ничего! – думал я. – Темная глубина – это тоже интересно».

Причащение закончилось, и архиепископ благословил предстоящих Чашей. То, ради чего собрались здесь люди, свершилось, кульминация миновала, и теперь служба слегка торопливо катилась к развязке. На клиросах пропели нечто соответствующее, владыка, нанизав крохотное солнышко на дужку очков, произнес проповедь о смысле крестного знамения, и без того всем известном: прикасаясь щепотью к челу, груди и плечам, мы подтверждаем, что верны Христу разумом, сердцем и действиями. Потом он скрылся в алтаре и возник вновь уже переоблаченным, с посохом и в мантии. Благословив народ, архиепископ вшагнул в Северные ворота

иконостаса, грянуло священническое славословие, а следом вне храма начальственно рыкнула машина.

«Укатил, – логично вывел я. – Пора и мне. Теперь – вон из церкви, купить кагор (неприменно кагор!), конфетки послаще и – к шлюхе какой-нибудь школьной... Да, знаю такую: мне ее еще сердобольные одноклассники навяливали. К ней, наверное, можно и так... Но нет, нужно с кагором, обязательно с кагором!»

Я развернулся к выходу и уже двинулся было восвояси, но вынесли крест, и я пошел приложиться – более по привычке, нежели сознательно. «Да зачем это я? – подумалось. – Да зачем мне теперь крест?.. Но меня уже цепко стиснула толчея – не мог же я оборотиться и уйти, расталкивая напирающих сзади... Даже сейчас я оставался патологически везливым!»

Большой серебряный крест торчал в руке священника, неприятного мне. Низенький плюгавенький старичок костерил коммунистов, брызжа слюной и промакивая рот красной тряпичей, и как бы между делом протягивал крест то одному, то другому. Но вот и моя очередь, вот и я целую в самый центр креста, в склоненную голову Христову, в растрескавшиеся губы Его, остро пахнущие уксусом... Вдруг что-то красное бешено хлестнуло по глазам, и я пошатнулся, и схватился пятерней за лицо, и взвыл, и скрежет зубовой посышался в храме. Люди поспешно отпрянули от меня, расступились, а я зыбко добрался до колонны с фреска-

ми и стек на пол.

Не одну минуту сидел я на корточках, прислонившись к колонне и перебирая свечные огарки в металлическом ящике подле меня. Постепенно глаза перестали болеть, и голову уже не распирало изнутри. Теперь я видел ясно, а предельной четкости мешали лишь слезы, слегка искажающие очертания предметов. Зато благодаря ним же в церкви появилась радуга. «Сухими глазами я вижу хуже», – заметил я и, от словившись от колонны, поднялся. Ноги были покорны, меня не шатало, только вот лихоманило слегка.

Пройдя несколько шагов, так что оказался точно напротив Царских врат, я пал на колени (именно пал, чтобы больно было, чтобы помнил потом) и прошептал:

– Каюсь, Господи!

Я осенил себя крестом и поклонился, коснувшись лбом пола, грязного по-осеннему. Песчинки, прилипшие к коже, дикая боль оттого, что придавил назревающий прыщ, – всё было мне в радость.

Встав, я вспомнил недавние мысли и ужаснулся: «Это ведь бес во мне изгалялся, бес! Не мог я такого изобрести». Вдруг стало понятно и то, кому так хотелось выскочить из меня и поползти прочь во время пения Херувимской, стало ясно, чьи мысли я принимал за свои...

Прихрамывая, я пошел к огромному распятию. И крест, и Христос на нем, и Иоанн Богослов с Богородицей по бокам – всё было в натуральную величину. Я благоговейно прило-

жился к гвоздиным ранам на ногах Спасителя и подумал: «За что мне такое, Господи?.. Я предал Тебя и целовал в губы, а Ты меня спас... Безгранично Твое милосердие, Боже!»

Крест уже унесли, Царские врата затворили, церковная служба тушила свечи. В правой половине храма, перед шестигранной колонной с фресками, уже начался водосвятный молебен. А я ходил по собору и с тихой молитвенной грустью прикладывался к образам. Обильные слезы спешили по давно проторенным дорожкам, скатывались на шею и впитывались в ворот ветровки.

Я раскланялся на три стороны и вышел из церкви, вне храма тоже троекратно перекрестился и поклонился. Прежде чем выйти за ограду, я купил просфору и теперь шел под гору и грыз священный хлебец, солоноватый от слез. Нищие с обочин исчезли, мне попались лишь двое, и я подал им, и почти сразу же пожалел, что подал мало.

Внезапно припомнились те места службы, во время которых я впадал в тяжкое остолбенение и нырял в темную бездну. Ясно услышалось, как народ соборно пел «Отче наш», отчетливо увиделось, как молоденького диакона рукополагали в священники. Да, тот рукополагаемый был в длинном белом подризнике, а остальные – в красных ризах. Он казался овечкой, и его, растерянного, счастливого и почти испуганного, средних лет протодиакон водил в алтаре вокруг престола. Потом подвел к владыке – поцеловать руку, и юноша бухнулся на колени, но его тотчас подняли и вновь

увели в алтарь. А после пелось: «Достоин! Достоин!» – и что-то по-гречески. Лиц я обычно не запоминаю, да и не мог я разглядеть лица на таком расстоянии, но поди ж ты – новоиспеченного священника запомнил.

«Интересно, – залюбопытничал я, – что во мне бодрствовало и следило за службой, пока я барахтался в темной глубине?..» Но сразу же осекся: мыслить я сейчас не мог – мог только молиться, и я беспрестанно творил молитву Иисусову.

Уже подходя к кладбищенской ограде, я сделал неосторожное движение, и последний кусочек просфоры выпрыгнул из пальцев. Его сразу же подхватила грязно-белая собака и сожрала, широко разевая пасть с черным нёбом. Я встопорился и бессмысленно подумал: «Умная собака. Черное нёбо – верный признак... Неужто опять?.. Неужто?!»

До этого слезотечение мое начало утихать, но теперь я зарыдал в голос, как в детских истериках, и бросился к калитке, юркнул в нее и понял, что забыл перекреститься. Зарыдав еще шибче, я кинулся вниз, вниз, увидел одноногого инвалида, которому я не подал в прошлый раз, и вывалил все деньги в нищенскую плошку. Потом вернулся, спазматически хватая воздух, и у калитки трижды перекрестился, при поклонах касаясь щепотью асфальта.

С горы тем временем спускался человек в плаще. Я узнал его, распрямившись после третьего поклона: это был священник, рукоположенный сегодня. Я глядел на него с ка-

кой-то нежностью, пока он, стоя рядом, крестился и кланялся. Ведь совсем еще мальчишка, борода едва приметная, а он уже священник!

– Благословите, батюшка! – прерывисто попросил я, с трудом проглотив горловой спазм, и сложил ладони крестообразно.

Он чуть ли не пугливо посмотрел на меня, непривычно соединил пальцы, благословил и, покраснев совсем по-мальчишески, протянул руку. Я готовно приложился к тыльной стороне еще не зацелованной юношеской ладони.

Глава двадцать вторая

Тамара Ивановна сидела на расписном деревянном детском стульчике и читала книгу эзотерического содержания, изредка прерывая процесс, чтобы посмотреть, не шалят ли дети. Дети шалили в пределах нормы, и воспитательница вновь припадала к источнику тайных знаний, изданному неплохим тиражом. Наконец она отложила книгу и задумалась, глядя на играющих детей с безучастностью камеры слежения.

На душе у Тамары Ивановны было муторно – совсем как у ребенка, у которого лучший друг отобрал любимую игрушку. Причиной всего стала та самая книга, отложенная сейчас в сторону, – книга желанная и дорогая. Неприятность заключалась в том, что из-за ее покупки не осталось денег не только на семинары, но даже и на клуб. Занятия проходят в ее детском саду – и она уже две недели не может туда попасть. Это же просто свинство! Кто, спрашивается, выбил у заведующей копеечную аренду? Кто привел их сюда? И ее же теперь за порог не пускают без денег! Ну, Олег!.. Дождешься – расскажу заведующей, что у тебя за психологические тренинги!..

«Нет, так нельзя, – урезонивала она себя, разжимая кулак, но распаленное воображение говорило, что можно, только

так и можно: если он с тобой по-свински, то и ты имеешь право, – и кулак снова сжимался, а рассудок продолжал возражать, что так всё-таки нельзя, что если не здесь, то будет другое помещение, и цены изменятся, и ей будет туда ходить не так удобно, и вообще могут не пустить, даже с деньгами, – и наконец она решила: надо посоветоваться с братом.

– Маша! – позвала Тамара Ивановна. – Иди сюда... Слушай, твой папка дома будет сегодня вечером? Никуда не собирался?

– Дома. Никуда.

– Я зайду к вам сегодня. Как там Сашка поживает – нравится ему в школе?

– Гово'гит, н'гавится.

– Вот и хорошо. Когда ты «р» научишься говорить? Нука, как у нас звери рычат? Ррррр! Теперь ты давай: ррррр!..

Вечером, после работы, Тамара Ивановна отправилась к брату Григорию и, затворив дверь, проговорила с порога:

– Привет! Ты когда Машку рычать научишь? Я ей «р-ры», а она мне «г-гы»...

– Привет, Тома, – сдержанно ответил брат. – Раздевайся, проходи. У нас гости.

– Кто? – шепнула сестра, заранее поморщившись.

– Женя Солев с мамой.

– Детсадовская дружба...

– Почему детсадовская? Они теперь одноклассники.

– Не знала. Когда они уйдут, мне надо будет с тобой по-

советоваться.

– Посоветуемся. А пока пошли в зал. Ленка, зараза, гуляет, а я отдувайся. Уже не знаю, о чем говорить, – шепотом пожаловался Григорий Иванович.

– Бедненький... Как уж ее зовут-то?

– Софья Петровна.

– Здравствуйте, Софья Петровна!

– Здравствуйте, Тамара Ивановна! – ответила та несколько удивленно.

– Мы с Гришей сестра и брат, – пояснила новоприбывшая и лукаво добавила: – А вы что подумали?

– Ничего особенного, – смущенно ответила гостья. – Не знала, что вы брат и сестра, вот и удивилась.

– Ясно. А Женя где?

– Они с Сашей в другой комнате. У девочки из их класса завтра день рождения, и учительница поручила им придумать поздравление. Вот они и сидят придумывают.

– Творческий процесс, значит, – улыбнулась воспитательница. – А Машка тоже с ними?

– Машку Лена в секцию отвела, – терпеливо объяснил Григорий Иванович. – Сегодня же понедельник.

– А, ну да, – вспомнила Тамара Ивановна. – Фигурное катание.

– Фигурное катание?! – изумилась Софья Петровна. – Но ведь она младше Саши, по-моему, ей лет пять или шесть...

– Шесть, – подтвердил отец с гордостью. – И уже стоит на

коньках.

– С ума сойти! А я как-то пробовала на коньки встать – ну корова и корова...

– Поначалу все как коровы, а потом ничего, – заметила воспитательница. – Я уж не помню, вы ходили с нами, когда я подготовишек на цирк на льду водила?

– Нет, но Женя мне всё рассказал. Там что, правда белые медведи на коньках катались, или он сочиняет?

– Правда. Так что было бы желание.

– А еще... Вы про секцию заговорили – и я сразу вспомнила... Вы уж простите Христа ради, что я сплетни повторяю, но я уже от нескольких людей слышала... – Софья Петровна замялась, подбирая слова, но так ничего толком не подобрала и выпалила: – Это правда, что у вас в садике секта обосновалась?

– Секта?... – встревожилась Тамара Ивановна, но потом поняла, о чем речь, и рассмеялась: – Секта! Ничего себе секта! Какая же это секта?..

– А что там у вас такое?

– Погодите, я сейчас чай поставлю и всё расскажу. А то эти деятели, чувствуется, еще долго заседать будут. Пусть себе заседают, а мы пока чайку.

Когда она ушла на кухню ставить чайник, в разговор вкрались неловкие паузы и словесные конвульсии, так что продолжать его стало обременительно, однако он был необходим, ведь нельзя просто сидеть и молчать, – и в результате

этот полутруп не угасал, словно поддерживаемый аппаратом искусственного дыхания. А разговор двоих в соседней комнате представлял собой гораздо более активную и жизнеспособную субстанцию; шел он, впрочем, безболезненно прихрамывая, как человек, одна нога которого короче другой, но при этом обе ноги здоровые.

– А она тебе нравится? – внезапно поинтересовался Саша.

– Кто? – не понял Женя.

– Машка Сафронова. Или у кого-то еще день рождения?

– Ну, она хорошая... И что облако на Ангела похоже, сразу поняла...

– А чего ты тогда ничего не придумашь?

– Мы же уже придумали: я говорю, ты открытку вручаешь, Лидия Михайловна за уши тянет.

– А что ты ей будешь желать? – насмешливо спросил Саша. – Расти большой, хорошо учиться и слушаться родителей?

– Да. А что еще надо?

– Ты, прям, как маленький! Она же тебе нравится!

– Ну и что?

– Значит, необычное что-то пожелать надо. Или придумать что-нибудь необычное... Твой Христос праздники устраивал? – неожиданно закончил он.

– Устраивал, – ответил Женя, немало удивившись и подумав, что, наверное, не зря он пересказывает Евангелие на уроках чтения. – Устраивал. На свадьбе в Канне Галилей-

ской Он воду в вино превратил.

– Зачем? Чтобы все напились?

– Чтобы весело было. А еще Он пятью хлебами накормил пять тысяч человек. И там еще двенадцать коробов наполнили несъеденными кусками.

– Круто. А куда потом дели эти короба?

– Съели, наверное.

– Вино и хлеб, выпивка и закуска! – рассмеялся Саша. – Умел Он праздники устраивать!

– Хлеб и вино, Тело и Кровь! – пробормотал Женя и счастливо улыбнулся. – До сих пор празднуем!

Тем временем в соседней комнате началось чаепитие, и Софья Петровна быстрым движением перекрестила свою чашку и розетку с вареньем, а Тамара Ивановна и Григорий Иванович удивленно переглянулись.

– Так что там за секта в детском саду? – спросила Женина мама, отхлебнув из чашки.

– Секта! – воскликнула воспитательница со смехом и возвела очи горé, после чего посмотрела в глаза собеседницы и объяснила: – Не секта, а психологический клуб. Тренинги разные, тесты, лекции. С религией вообще никак не связано. Я была там несколько раз – всё совершенно невинно. Во главе этого клуба – ученый, кандидат психологических наук. А тем, кто сплетни распускают, передайте, что так нельзя. Они нашему садику, между прочим, репутацию портят. А клуб этот аренду платит – он садику выгоден.

– Простите ради Бога! – смущенно проговорила Софья Петровна. – Просто мне рассказывали, что там палочками этими курительными пахнет, и музыка какая-то особая, и крики, как будто кого режут...

– И вы поверили? – улыбчиво пристыдила Тамара Ивановна. – Кто же там вынюхивает и подслушивает?

– Не важно. Завтра же пойду к ним ко всем и скажу, чтобы языками не мели, – сердито пообещала Солева.

Когда она и Женя ушли, брат с усмешкой поглядел на сестру и спросил:

– А что, у вас там правда кто-то орал?

– Да Валька, дура, на ребёфинге. Там ведь рождаться надо. Другие молча или постонут, поплачут немножко, а она прямо в полный голос...

– Как бы не выгнали вас оттуда.

– Пока не выгоняют. Но ты представляешь... – и она гневно поведала ему свою печаль.

– Ты приди к ним тогда и скажи, что или они тебя пускают бесплатно, или ты сообщаешь о них правду-матку и заведующей, и родителям. Это вообще твой садик! Ты им и аренду выбила, и покрываешь их! Они тебя не то что бесплатно должны пускать – они тебе деньги должны платить! Так и скажи. А то нашли овечку...

* * *

Женя Солев пожелал Маше Сафроновой расти большой,

хорошо учиться, слушаться родителей и не грешить.

– Великая грешница! – рассмеялась Машина мама, и весь класс тоже рассмеялся.

Поздравляли сразу после уроков, и в дверях толпились родители. Вслед за Жениными пожеланиями Саша вручил Маше поздравительную открытку, а потом Лидия Михайловна семикратно потянула девочку за ушки. Когда процедура закончилась, Машина мама вручила дочке коробку конфет, и та, смущенно улыбаясь, пошла по рядам одаривать одноклассников. В последнюю очередь она добралась до учительницы, очень смутившись от такой оплошности, но конфет хватило.

Лидия Михайловна поджидала ученицу с нетерпением, поскольку заметила, что дети, поедая конфеты, переглядываются, пожимают плечами и даже морщатся. Отправив конфету в рот, учительница метнулась к Машиной маме и шикнула:

– Вы что, с ума сошли?!

– В чем дело?

– Они с ликером! Немедленно собирайте у тех, кто не доел!

Обратившись к детям, Лидия Михайловна сказала, что эти конфеты для взрослых, что их дали по ошибке, что если кто-то не доел, то пусть складывают обратно в коробку...

– Как – с ликером? – восклицала Машина мама. – Там же ни слова про ликер!

– Машенька, зайчик, ты ни в чем не виновата! И мама твоя ни в чем не виновата! Это просто ошибка! – успокаивала учительница девочку, пока ее мама собирала недоеденные конфеты, но девочка всё равно плакала.

– А ликер – это вино? – спросил Саша, оценивая непривычный вкус.

– Вино, – ответил Женя.

– Канна Галилейская! Канна Галилейская! – вскричал Саша со смехом. – А кусков набрали целую коробку!

Услышав это, Женя разрыдался, и Лидия Михайловна метнулась к нему (Маша уже была с мамой) и повлекла мальчика из класса.

А с Женей приключилась форменная истерика, и он некоторое время неудержимо рыдал возле раковины и не мог прийти в себя даже от умывания холодной водой.

– Ну что ты, горюшко, что ты? – уговаривала учительница, умывая, умывая, умывая мальчика и махая рукой на Софью Петровну, заглянувшую в туалет. – Что ты?

– Почему так?! – с болью проговорил Женя сквозь стук зубовный. – Нельзя играть в Евангелие! Нельзя!

– Никто и не играл, – объяснила Лидия Михайловна. – Просто так получилось. И Маша не виновата, и мама ее не виновата, и Евангелие здесь ни при чем...

– Вы просто не понимаете, – печально заключил мальчик, подавляя последние рыдания.

– Что тут у вас? – спросила Софья Петровна, решительно

входя. – Он мой сын!

– Извините, – пробормотала учительница, отступая.

– Женечка, сынок, что с тобой?

– Ничего, – ответил он спокойно и опустошенно. – Просто нельзя играть в Евангелие. Кому-то от этого будет плохо.

* * *

В тот же день на большой перемене Степа нашел Гену и обратился к нему с таким предложением, которого последний никак не ожидал.

– Но я же не актер, – ответил Валерьев недоуменно. – При чем тут я?

– Нам актер и не нужен. Ролевая игра – это совсем не театр: в ней неясно, кто и как себя поведет и чем всё закончится. И зрителей на ролевых играх тоже нет – есть только участники.

– Ролевые игры – это когда всякие-разные толкиенутые товарищи по лесам бегают с деревянными мечами? – уточнил Гена с улыбкой.

– Не только. Есть настольные ролевые игры, кабинетные и полигонные. Ты про полигонную игру говоришь, а у нас гораздо проще – кабинетка часа на два. Суть ее вот в чем.

И Степа поведал историю общества словоглотов, присовокупив, что роль у инока ключевая и вместе с тем самая простая, ведь он не должен слышать постоянно какое-то слово и может употреблять любые слова, и цель у него благо-

родная: он хочет, чтобы все стали свободными, как он.

– Как Нео в «Матрице», – заметил Гена.

– Далась вам эта «Матрица»! – недовольно пробормотал Степа. – Миша Солев то же самое сказал.

– А он будет играть?

– Да. Между прочим, играют сплошь твои знакомые из «Кометы»: я буду парторгом, моя Лена – журналисткой, Миша – писатель, его Светка – врач, Гриша – генерал, ты, если согласишься, – инок. Зеленый домик в полном составе. Да, еще один чувак будет – ты его не знаешь, – Дрюня Курин, он будет шаманом-подпольщиком.

– Мой одноклассник, – задумчиво сообщил Валерьев. – Шаман – это для него подходит...

– То ли мир тесен, то ли спиралька опять закручивается... – изрек Степа, поморщившись, словно от мигрени. – Помнишь, мы у костра про фатум говорили? А потом мы уже без тебя сидели у костра на том же месте и говорили про фатальную повторяемость событий. Если растянуть этот круговорот по временной оси, то получится спираль. Вопрос в том, сами ли мы кружим, как в лесу кружат, или у нас проводник есть, которому нас кружить нравится. Ты как думаешь?

– Не знаю. Знаю, что Кура учится на экономе, а ты – на ЕГФ.

– Мы из театра «Натюрморды». Вся наша компания из зеленого домика – сплошные натюрморды.

– Это спиралька! – воскликнул Гена возбужденно. – Ты

прав! Я согласен участвовать!

– Вот и славно. Тогда давай обменяемся телефонами и вечером поговорим подробнее о твоём персонаже. Я прихватил наши правила, твою вводную и статьи о ролевых играх – держи, изучай. Игра состоится в эту субботу, в шестнадцать ноль-ноль, в сто семнадцатой аудитории главного корпуса. И помни: каждый игрок будет преследовать свои цели. Продумай, в чем выгоды твоего учения. Кое-что я тебе подскажу, но основную стратегию вырабатываешь ты сам. Кстати, я – твой главный враг на этой игре, так что не особо доверяй моим советам, – улыбчиво предупредил белобрысый мастер. – Пойду в свой корпус, а то перемена заканчивается. Вот мой номер, держи, а теперь свой диктуй... Записал. Пока! Приятно было встретиться на спиральке!

Войдя в аудиторию после звонка, Степа извинился перед преподавателем, подсел к Мише и сообщил:

– Гена согласился. С тебя пиво, желательно – сегодня.

– Ладно. Вечером занесу.

– И прихвати Светку, а я Лену позову. Вдвоем мы столько не выпьем – это во-первых...

– А во-вторых, молодой человек, вы находитесь на семинарском занятии, – саркастически напомнил преподаватель, и Степа извинился вторично.

Вечером Миша в сопровождении Светы и с небольшой тяжело груженной спортивной сумкой – точь-в-точь такой, в каких герои американских боевиков носят оружие, – явился

к Степе. В сумке обреталось пиво, а количество его было сногсшибательным даже для четверых – по два с половиной литра на человека.

– Ну ты даешь! – восхитился хозяин. – Чипсы с меня.

Примерно в тот момент, когда каждый из участников ополовинил по первой бутылке, Лена сказала:

– На прошлой неделе мы так же сидели.

– И блюдце вертели, и сильно потели, – добавил Степа. – Стихоплетка ты моя.

– Я случайно! – рассмеялась она.

– А блюдце вертели всё-таки не мы, – задумчиво проговорил Миша. – Помните, как оно возле букв проворачивалось? Вплотную к букве подъедет, и уже всем ясно, какая буква, а оно всё-таки прокручивается, пока стрелка не укажет на букву. Жуткая какая-то педантичность! И к тому же, попробуйте так вчетвером или втроем провернуть с разных сторон – запутаешься, куда вертеть. А оно легко-легко шло, мы его просто кончиками пальцев касались.

– Так всегда бывает, – заметила Света.

– Степа, ты как этот сеанс расцениваешь? – любопытно спросил Солев. – Тогда все были возбуждены, сейчас время прошло...

– Мистификации не было, – ответил тот. – Протокол духообщения я вам отксерил, там всё точно. Подлинник, подписанный кровью, у меня...

– Не кровью, а красной пастой, – уточнила Лена. – Вооб-

ще, глупая была идея.

– Не важно. Важно, что это было. Если ты, Миш, имеешь в виду содержание, то время покажет. Пока в этих пророчествах сплошной туман. Например, «к осени улей успокоится» – это про Россию, и в середине октября. Ясно, что иносказание, а фиг поймешь.

– Про Гену уже сбылось, – сказал Миша задумчиво. – А про остальных – какие-то темные пророчества, мне даже не по себе немного.

– Сам же хотел! – воскликнула Света обиженно. – Если бы не твой рассказ, никого бы мы не вызывали.

– Знаю, знаю, простите... Мне теперь кажется, что не надо было этого делать, – закончил парень неожиданно для самого себя и присосался к бутылке.

– Впечатлительный вы, батенька, – улыбнулся Степа. – В рассказе хотя бы пригодилось?

– Пригодилось, но мог бы и обойтись. И без Гены, кстати, тоже могу обойтись: мой герой на него не очень похож.

– Я же говорил, что прототип не должен давить на героя. Но инок нам на игрушку всё равно нужен. Кроме того...

Зазвонил телефон, и Степа произнес, вставая с табурета:

– Если это он, то будет жить долго.

– Добрый вечер, – сказал Валерьев в телефонную трубку.

– Добрый вечер, долгожитель, – ответила трубка. – Только что про тебя вспоминали.

– С кем это?

– С натюрмордами-словоглотами. Пьем пиво, радуемся, что иннокентий нашелся. Хочешь – приходи, только я живу далеко. . .

– Нет, спасибо, – отказался Гена, подумав, что «далековато» – странный адрес. – Я тут почитал твои бумажки. В общем, всё круто. Не думал, что у ролевых игр такая серьезная теоретическая база: техногенные, фэнтэзийные, исторические, мистериальные, игры пограничного состояния, игры высокого напряжения, настольные, кабинетные, полигонные, элитарные, полуэлитарные, открытые. . . А «Сказки Шворца», «Искусство хождения по граблям» и «Шестеренка ролей» – это просто великолепно. Ты давно мастеришь?

– Первый раз, – ответил мастер. – Придумал словоглотов, начался теория – и вот теперь не знаю, что из этого выйдет. Свою вводную ты видел, правила видел, сейчас кое-какой компромат на других дам. Извини, я коротко, а то там без меня пьют. . . Начали. Шаман-подпольщик ненавидит систему, то есть Партию, но без системы его деятельность потеряет смысл. Генерал – человек военный. Для армии главное – дисциплина, а Партия – основа порядка. Однако уничтожение словоглотства может дать армии власть над страной. Писатель – лицо привилегированное, кормилец народа, но вдруг у него еще и совесть имеется. . . Журналистке словоглотство мешает вести репортажи, но может помочь в смысле сбора компромата – не знаю, что там Ленка придумает. Врачиха у нас будет специалисткой по откачке. К ней

поступают коматозники, которые употребили свое слово или не услышали его вовремя. Врач в таких случаях вкалывает пациенту стимулятор кратковременного действия, и он жестами показывает свое слово. Так у врачей оказывается компромат – и некоторые приторговывают информацией. Честная у нас врачиха или мафиоза – я не знаю. Ну а я – парт-орг. Мне известны слова некоторых игроков, а те, кто сменил слово у шамана, уже не под моим колпаком. Зато их слова известны шаману. Про себя ты знаешь сам. Всё, я уже и так многовато тебе сказал.

– Значит, игра в морально-нравственный выбор, – заметил Гена, перебирая Степины бумаги. – Тут в одной гениальной статье говорится, что в это играть невозможно. Вот она, автор – некто Ланс из Екатеринбурга...

– Извини, Ген, меня зовут...

– Тогда иди. Пока.

Валерьев положил трубку и принялся перечитывать гениальную статью екатеринбургского Ланцелота, ставя карандашом галочки напротив наиболее понравившихся мест: «В тот момент, когда деяние на моральном поле становится возможным, заканчивается игра и начинается жизнь... Значимым событие на моральном поле становится только тогда, когда один из вариантов выбора – реальная жертва со стороны человека, совершающего выбор... Деяние на игре невозможно, а игра в деяние деянием быть не может... Всякий раз при попытке игры «а-ля высокая трагедия» отыгрыш скаты-

вается или в фарс, или в истерику...» Галочек было немало.

Глава двадцать третья

Кого только не перебивало в 117-й аудитории главного корпуса! Чего только в ней не происходило!.. Ступенчатый амфитеатр для студентов и обширная возвышенная площадка для лектора, похожая на сцену или солею, располагали к проведению неучебных мероприятий. Здесь посвящали в студенты и вручали синие и красные дипломы. Здесь репетировали все, кому не лень, и всё, что угодно. Два вечера в неделю традиционно отводились театру «Натюрморды». Один вечер еженедельно аудиторию занимал эзотерически настроенный профессор, читающий платежеспособной публике лекции ненаучного содержания. Весьма вероятно, что в этой аудитории проводило свои собрания некое тайное общество или секта, а то и несколько неких тайных, ведь дней в неделе не так уж и мало. Приходя в аудиторию к первой паре, студенты иногда ощущали запах можжевелевого дыма, или запах прелого сена, или запах тайны. Уборщицы относились к 117-й аудитории со священным ужасом, а надписи на ее партах были сплошь пессимистическими.

Много чего происходило в знаменитой аудитории, но ролевой игры в ней еще не было.

– Как на экзамене! – усмехнулся Гена, глядя на белые прямоугольные бумажки, разложенные по столу.

– Это и есть экзамен, – нервно отозвался Степа. – Только ты билет не тянешь – с тобой собеседование будет. А вы, господа словоглоты, тяните.

Словоглоты выполнили просимое и посмотрели обратную сторону, где было написано доставшееся слово. Миша выбирал судьбоносное слово последним и с полминуты колдовал над оставшимися бумажками, положив на них ладонь и вода этой ладонью по кругу. Когда его окликнули, поторапливая, он вздрогнул, словно очнувшись, и схватил первый попавшийся жребий.

– Все посмотрели свои слова? – спросил мастер. – Тогда подходите ко мне по одному – я отойду, чтобы другие не слышали.

– Я твоего слова не знаю, – сказал он подошедшему Дрюне Курину. – Ты шаман-подпольщик, ты уже давно сменил свое слово. Ты сменил слово и журналистке. Я ее слова не знаю, а ты знаешь, она тебе сейчас сообщит.

– Я твоего слова не знаю, – сказал он подошедшей Лене. – Ты его сменила у шамана. Иди и сообщи ему, только незаметно.

Остальным подошедшим он говорил:

– Я парторг, поэтому знаю твое слово. Скажи мне его.

– О своих вводных все всё знают, – проговорил Степа после того, как поток подходящих иссяк. – Со словами мы тоже разобрались. Теперь о ходе игры. Напоминаю, что каждый преследует свои цели и определяет, насколько учение инок

соответствует или не соответствует этим целям. Кроме того, целью каждого является не впасть в кому, так что напрягитесь. Если вы не слышите свое слово дважды каждые полчаса, то честно вырубаетесь. За всеми проследить у меня не будет возможности, но кое-что я всё равно услышу. Главное – не обманывайте. Если не услышали слово, то закрываете глаза, а добрый доктор выводит вас из комы и вы жестами показываете ему слово. Доктор произносит его вслух – и вы живете дальше. Менять слово во время игры мы не будем: слишком мало времени. Так что научитесь жить со своим словом. Вопросы есть?

– Я что-то не догоняю, – сказал Курин, – значит, мне нельзя будет никому слово сменить?

– Нельзя. Это же преступление – тебя сразу арестуют. Но вести об этом переговоры ты можешь. Мол, кончится эта бодряга, разойдемся – и тогда я смогу помочь твоему горю.

– Понятно.

– А если я кого-нибудь откачаю, я смогу использовать его слово? – спросила Света.

– В любых целях.

– Супер! – воскликнула она и предупредила с веселой угрозой: – Никому не советую впасть в кому!

– Еще вопросы есть? Генералу Грише всё понятно?

– Так точно, товарищ особист!

– Я парторг, а не особист, – поморщился Степа. – У инока тоже нет вопросов?

– Я их во время игры задам, – ответил Гена, нервически облизнувшись.

– Хорошо... – молвил мастер, передохнул и жестким угловатым голосом начал короткий обратный отсчет: – Три. Два. Один. Игра!

Инок посмотрел на собравшихся и улыбнулся: какие напряженные лица, и все на него смотрят. Вообще, он давно заметил, что напряженное выражение лица – это норма для каждого взрослого словоглота. Как только они вскрывают амулет и прочитывают свое слово, напряженность намертво приклеивается к их лицам. Здесь грань между детьми и взрослыми – а зачем она нужна? Быть, как дети, – вот и вся премудрость. Не думать постоянно о своем слове, а быть свободными – разве это не счастье? Главное, чтобы все захотели и перестали бояться, и сказали вслух свое слово, как я, – и тотчас же всё устроится!..

Парторг нервно ухмыльнулся: этот урод еще и лыбится! И ведь он даже не сознает своей ущербности – он ее проповедует! «Живите без своих слов, как я живу» – а сам, наверное, сменил слово у шамана и всех дурачит. Ну а если не дурачит, если не самозванец, если он и впрямь инок, о котором пророчество... Тем хуже для него! Партия сильнее любого инока, а пророчество – не более чем фольклор. Да и кому этот фольклор был известен? Пророчество три века не переиздавалось, весь тираж был изъят, а передавать такую глупость из уст в уста никто не стал бы. Но этот бродяга обна-

ружил книгу в развалинах бывшей библиотеки! Прочитал и возомнил себя черт знает кем! И что самое неприятное, журналоги пронюхали... Три века назад всё было бы проще!..

Журналистка посмотрела попеременно на инока и парт-орга и подумала, что первый выглядит увереннее. Правда, сумасшедшим, одержимым идеей, и положено быть более чем уверенными. Интересно, у него правда нет слова или он прикидывается? Либо урод, либо мошенник... Однако в истории он уже останется: открыл древлепечатный памятник еретического содержания – хит сезона, огромные тиражи... Был бы не дурак – имел бы процент с продаж, но где ему... Идиот, а имя всё-таки останется...

Писатель смотрел на юродивого с тем же завистливым раздражением, что и журналистка, но он чувствовал и еще кое-что. Пророчество, откопанное этим бродягой, больно било по самолюбию писателя. Уж он-то понимал, почему все зачитываются этим пророчеством: написана там суцкая глупость, никто в нее не верит, но читают все. Почему? А потому что написано гениально: там столько слов, столько самых разных слов... Пищевая ценность текста просто феноменальная! И вот они читают, и видят свои слова, и им хорошо. Когда его, писателя, читают, им тоже бывает хорошо, для того и пишем, ведь пищевая ценность – главный критерий литературы, но по сравнению с тем пророчеством все произведения писателя выглядят очень бледно. Как ни крути, а этот болван отрыл настоящую бомбу, – может, писателя

после этого и читать-то не захотят...

Врач, генерал и шаман предпочитали думать о слове настоящем и о том, как бы не впасть в кому в малознакомой компании. Среди родных и близких всё было гораздо проще: рассказывали друг другу стихи, пели песенки, читали любимое место в книжке, а тут придется подумать, кому можно немножко довериться, кому нельзя, с кем можно заключить тайное соглашение о взаимном питании... Тут уж не до высоких материй, а то, что этот безумец проповедует, и высоким назвать сложно. Унизиться до уровня глупых детей – и только для того, чтобы избавиться от легких неудобств словоглотства. Не слышать слово – это всё равно, что не дышать, не есть, не справлять естественные нужды... Ведь это же элементарная физиология!

– Всем известно, зачем я собрал вас, – сказал парторг с привычной весомостью. – От вас зависит многое. Наш Собор должен вынести решение относительно смутьяна, назвавшего себя иноком. Инок, напомним, – это мифологический персонаж, герой недавно открытой древлепечатной книги. Случаи, подобные нынешнему, хорошо известны в клинической психиатрии. Однако мы пошли на поводу у средств массовой информации и устроили это издевательство над психически больным человеком – и только потому, что об этом написано в пресловутом пророчестве. Не думаю, что наше разбирательство будет долгим, ибо итог его очевиден. Но предоставим слово иноку – вдруг он всех нас переубедит...

Саркастически улыбнувшись, парторг умолк, а инок сказал:

– Я понимаю, что мне сложно поверить. Но я, сколько себя помню, всегда знал, что можно жить иначе. Ваши лица похожи на маски, они очень напряжены – и всё от постоянных мыслей о своем слове. А слово это ничем от других слов не отличается, это просто слово на бумажке. А всё остальное – самовнушение. И кома – результат самовнушения. Если вы все перестанете бояться, то станете воистину свободными – как я...

– Очень расплывчатая цель, – усмехнулся писатель. – Мы видим, что вы бродяга. Такого рода свобода вызывает отвращение – и ничего больше...

– А подвергать своих последователей смертельной опасности просто преступно! – гневно изрекла врач. – Я ежедневно возвращаю к жизни тех, кто впал в кому. А некоторые не возвращаются и умирают. Вам этого мало? Я вообще не понимаю, зачем мы здесь сидим.

Но несмотря на это коренное непонимание, заседание продолжалось еще два часа, как и было запланировано. Инок почти всё оставшееся время молчал, с улыбкой наблюдая за кипением страстей вокруг его простого учения, и вдруг в конце как бы что-то понял, и испугался, и начал говорить, даже пустословить, чтобы что-нибудь изменить, чтобы ситуация не совпала, но она всё равно отвратительным образом совпадала, и уже все это понимали, и чувствовали, чем

всё кончится, и морально готовились сказать то, что должны, ведь от их слова зависит спокойствие общества словоглотов. И когда решение было единогласно, даже хором, принято, словоглоты в некой растерянности посмотрели на инока, и стало очень тихо, и мрачный голос мастера произнес:

– Стоп игра! Всё кончено! Распятие отыгрывать не будем.

Ничего не говоря, Гена Валерьев выбежал из 117 аудитории, из главного корпуса, из университетских ворот, и в парке, с которым граничит вуз, в безлюдном его уголке, опустился на растрескавшуюся скамью-бревно и плакал горько.

* * *

Когда слезотечение прекратилось, Гена тяжело поднялся с бревна и медленно, как после болезни, пошел через парк. «Замечательный синедрион... – вяло мыслил он. – А кем был Степа, Пилатом или Каиафой, я так и не понял. Зато со мной всё ясно. Кретин...» С аттракционов доносились гул, лязг и визг, из тира слышались шлепки воздушшек, людей вокруг Валерьева становилось всё больше. На утопанной площадке юноша увидел высокий деревянный столб без перекладин и проводов и подумал удивленно: «Зачем он здесь?» – но сразу же сообразил, что именно по этому столбу на Масленицу полуголые мужчины лазают за рыжеперыми петухами.

Из парка Гена спустился по живописной тропе к знаменитому роднику. Струя родниковой воды, богатой серебром, мощно била из медного самоварного крана, сам же самовар,

бок которого примерно на треть выступал из холма, был гигантским – в человеческий рост. Вода, напором своим вырывающая посудины из нецепких рук, текла дальше по желобу и вливалась в проточное озерцо с мозаичным дном. Здесь было спокойно, и юноша, умывшись, сел на скамейку, закрыл глаза и с полчаса слушал воду, а потом пошел домой.

Дома он обнаружил, что мать заболела. Она чувствовала себя неважно с прошлого вечера, но сыну не говорила, а он был так увлечен предстоящей игрой, что ничего не замечал. Теперь же он заметил и спросил, а Тамара Ивановна вдруг расплакалась и сказала, что, наверное, умрет.

– Ты что, с ума сошла?! Что с тобой?

– Они меня убьют, – ответила она, словно в беспмятстве. – Но я их всё равно из садика выгоню!

– Ты температуру мерила? – испуганно поинтересовался Гена, прикладывая похолодевшую ладонь к горячему материнскому лбу, потом увидел градусник и посмотрел на ртутный столбик. – Когда мерила?

– Два часа назад.

– Что у тебя болит?

– Ничего. Только озноб. И еще сон приснился, очень плохой...

– Я вызываю «скорую».

– Погоди!

– Не мешай!

Врачи, приехавшие на «скорой», диагностировали грипп,

поставили жаропонижающий укол с димедролом, рассказали, чем сбивать температуру и как лечиться, и уехали. Тамара Ивановна вскоре заснула, но спала беспокойно, постанывала, и Гена горько думал, сидя рядом: «Неужели это из-за меня? Неужели из-за игры? О ком она говорила в бреду? Кто ее убить собирается?» Если бы он знал, что произошло накануне вечером в детском саду, многое прояснилось бы. Впрочем, через несколько дней, когда мать начала выздоравливать, она рассказала ему кое-что из произошедшего.

Итак, накануне вечером Тамара Ивановна пришла на заседание эзотерического клуба, возглавляемого Олегом, и сделала то, о чем договорилась с братом Григорием. После первых нескольких фраз, произнесенных Тамарой Ивановной, Олег прервал ее и направился к двери со словами: «Пойдем выйдем». За дверью он терпеливо выслушал все ее претензии и требования и спокойно ответил:

– Ты знаешь, что если не будет эквивалента, то нарушится вселенское равновесие. Я не собираюсь его нарушать, поэтому не буду давать тебе знания бесплатно.

– Но разве этот садик – не эквивалент? То, что я тебе дала крышу над головой, – не эквивалент?

– Я плачу аренду за помещение, эта плата является эквивалентом за крышу над головой, а ты в этой системе никак не задействована. Если ты хочешь получить знания, то должна дать мне денежный эквивалент. Некоторые считают, что деньги – самый грязный эквивалент из возможных, но это

неверно. Деньги – эквивалент всего, а значит, это самый точный эквивалент. Деньгами всегда можно уравновесить весы, что бы ни лежало на другой их чаше. Как заповедал Микао Усуи своему ученику Хаяши, лечение и обучение не должны быть бесплатными, иначе люди не научатся благодарности.

– Но ведь Христос лечил и учил бесплатно, а Он тоже был великим махатмой, ты сам говорил... – возразила Тамара Ивановна.

– И как Ему отплатили? – усмехнулся Олег. – Распяли, да и дело с концом. А брал бы плату, не нарушал бы законов Вселенной – тогда бы, может, и пожил бы подольше.

– Значит, без денег я тебе не нужна? – спросила ученица с обидой. – А если я устрою так, что тебя попрут отсюда? Как тебе такой эквивалент?

– Тогда я просто найду другое помещение, – ответил учитель и на мгновение прикрыл глаза веками, после чего продолжил: – Но тебе я не завидую. Если ты так сделаешь, то я тебя к себе уже не пущу. И еще ты будешь болеть.

– Почему буду болеть? Ауру продырявишь, что ли? Так я умею защищаться – сам научил, – сказала она почти презрительно.

– Да при чем тут аура!.. – эмоционально воскликнул он, примолк, мысленно читая мантру, и спокойно произнес: – Аура здесь ни при чем, а вот карма – при чем. И законы Вселенной, которые тебе не изменить, тоже при чем. Всё просто: если ты завяжешь, то начнешь болеть, а можешь и за-

гнуться. Я к этому руку не приложу, но так будет. Ведь мы же не картошкой торгуем: знания и умения исходят от высших духовных сущностей, а энергия денег, которые ты мне платишь, восходит к этим сущностям. Каждый новый ученик повышает ценность учения своим жертвоприношением, а каждый отщепенец понижает эту ценность. Сейчас ты пытаешься плюнуть в Космос – неужели ты думаешь, что обратно ничего не свалится? Но это еще полбеды. Ты ведь не только учиться должна, но и лечить, и брать за лечение деньги. Если денег будет много, то гармония с высшими силами восстановится, и можешь меня тогда послать куда подальше. Но ведь я знаю, что в тебе нет коммерческой жилки! Ты будешь лечить только себя, брата, изредка какую-нибудь подружку, а брать деньги за свое умение ты постесняешься. И научить ты тоже никого не сможешь, хотя право учить у тебя уже есть. Ты будешь пустоцветом, бесполезным пустоцветом, а пока от тебя всё-таки есть польза. Ты состоишь в группе, участвуешь в семинарах, помогла нам с этим помещением, приводила новых людей. Но главное – самосовершенствовалась. В нашем городе только три человека прошли четвертую ступень, и ты среди них. И что же – ты собираешься всё это перечеркнуть? Да скорее тебя перечеркнут! И правильно делают.

– Кто перечеркнет? – спросила Тамара Ивановна, щуря левый глаз от внезапной жуткой мигрени.

– Перед смертью увидишь. Или сначала во сне. Но помни,

что твои действия в любом случае кармичны и отразятся на следующих воплощениях...

– Знаешь что, Олег?

– Что? – улыбнулся он, неверно оценив ситуацию.

– Да пошел ты! – ответила она с шальной легкостью, развернулась и зацокала прочь, не забыв поставить защиту, чтобы Олег, если ему вздумается погрозить ей вослед пальцем, не располосовал ауру.

Грипповала Тамара Ивановна дней десять, как и положено. За время болезни она сделала несколько важных звонков. Выйдя на работу в последних числах октября, она узнала, что с ноября клуб будет проводить свои заседания и семинары в другом месте.

* * *

В воскресенье, на следующий день после ролевой игры, Гена исповедался отцу Димитрию, и ему полегчало. «Сколько раз падаешь, столько раз и поднимайся, – сказал священник ободряюще. – И не впадай в уныние». Услышав над собой разрешительную молитву, юноша заплакал тихо и радостно, а когда он поцеловал крест и Евангелие, на металлическом окладе книги осталась слезинка.

Вернувшись домой, Валерьев узнал от матери, что звонил Артурка Иванов.

– А ты как? – спросил сын.

– Получше. Тридцать семь и четыре. Голова тяжелая. Гор-

ло. Сопли. Обыкновенный грипп.

– А вчера помирать собиралась, – улыбнулся Гена. – Лекарства пьешь?

– Пью. Завтра за больничным пойду.

– Это хорошо, – рассеянно проговорил он, набирая номер Артурки.

Настроение Иванова, просочившееся в телефонную трубку, ему не понравилось, и он обещал зайти через полчаса. Наскоро пообедав и прошагав пару кварталов, Гена сдержал обещание.

На кухонном столе у Артурки стояла бутылка дорогой водки, полная на треть. Две трети ее содержимого, судя по Артуркиному виду, находились в его желудке.

– Садись, – сказал он гостю и достал вторую чашку.

– Ты же знаешь, я водку не пью, – ответил тот, присаживаясь и внимательно глядя на друга.

– Сделаю тебе «кровавую Мэри».

Гена с интересом наблюдал, как водка сбегает по ножу, краю чашки и образует над томатным соком прозрачный слой. «Всё равно что запить водку соком, – подумал он, готовясь к неприятной процедуре. – И где же ваши принципы, Геннадий Владимирович? Да при чем тут принципы?! Его нужно поддержать – вот и всё...» Водки хватило на два раза. Соку Артурка не жалел. Пили молча.

– Теперь к делу, – мрачновато произнес Иванов. – Пошли в комнату: мне нужен свидетель.

– Свидетель чего? – поинтересовался Валерьев.

– Свидетель Иеговы, – ухмыльнулся Артурка. – Шутка.

Сейчас поймешь.

– О, таинственный Артурка! О, человек-загадка! – воскликнул Гена с сердитой иронией. – Ну, поссорился с девчонкой, нажрался, друга позвал для компании – чего ж тебе еще?

– Гласа Божьего.

– Совсем, что ли, дурак?

– Сам дурак. Послушай сначала. Короче, Оля меня уже достала, так больше нельзя. Сам я решить ничего не могу, а решать надо. Хочешь вместо меня решить? Я послушаюсь.

– Нет. Это не мое дело.

– Значит, нужен глас Божий, – повторил Артурка серьезно. – Всё очень просто: я буду тянуть жребий, а ты будешь свидетелем. Чтобы я сам себя не обманул, нужен свидетель.

– А ты уверен, что это будет глас Божий? – спросил Гена, немножко поразмыслив.

– Главное, что не мой. Только не говори мне, пожалуйста, о свободе выбора и о том, что нельзя искушать Господа.

– Не буду, раз ты сам об этом подумал. Только не вини Бога, если что-нибудь не то вытянешь.

– Само собой, – тонко усмехнулся экспериментатор и принялся резать бумажки.

– Зачем так много?

– Для чистоты эксперимента. Восемь – это не много. Во-

семь – это гармонично. Лист легко делится на восемь частей. Смотри внимательно. На трех пишу «Оля». На трех – «другая». То есть другая девчонка, спокойная. Осталось две бумажки. На одной пишу «бухло». На другой – «план». Это способы отвлечься, а кроме того – проверка на вшивость.

– Бога на вшивость проверяешь?

– Судьбу. Кладем всё это в кепку. Потряси, пожалуйста, чтобы перемешалось. Хорошо. Я тяну – смотри внимательно.

Гена вдруг вспомнил, как тянули бумажки словоглоты, и ему стало нехорошо, и он тоскливо подумал: «Неужели опять на те же грабли? Зачем я согласился?!»

– План, – прочитал Артурка и, растерянно улыбнувшись, протянул бумажку свидетелю.

– Вижу, что план, – проговорил Валерьев с нехорошей веселостью. – И что же ты теперь делать будешь? Барыгу пойдешь искать?

– По крайней мере, один косяк я выкурю. У меня есть.

– Ах ты, мой запасливый! Специально для лотереи купил?

– Да.

– Вот молодец! Кстати, местные нарики употребляют термин «костыль», чего и вам желаю. Чтобы, так сказать, не выделяться. Курить сейчас будете?

– Сейчас! – огрызнулся Артурка.

– В одно рыло или другу тоже предложите?

– Ты это дерьмо не вытягивал.

– Слушай, – сказал Гена серьезно, – выкинь из головы, а план в унитаз спусти.

– Нет, чувак, не прокатит, – грустно ответил Иванов. – Иначе я себя уважать перестану и тебе в глаза смотреть не смогу.

– Да смотри ради Бога! А бумажка – просто бумажка!

– Нет, Генка, нет. Бог тут ни при чем. Кто при чем – тоже ясно. Но я сделаю то, что выпало. Только помоги мне забить костыль. Ты знаешь, как это делается, – я читал.

– Еще чего! – возмутился Валерьев. – Что ты вообще за мазохист? Понял, кто на дудке играет, – и плясать собираешься!.. Ты же в Бога веришь!

– Хватит! – оборвал Артурка. – Может, мне весело под чертову дудку плясать. А косяк я сам скручу, из этой же бумажки сраной и скручу. Смотри: пересыпал... свернул... край слюной склеил... стержнем утрамбовал... Чем не косяк?

– «Пятку» сделай, – сказал Гена устало, – а то трава в рот попадет. И бумага, наверное, слишком толстая. И вообще, костыль на одного – это много.

– Хочешь присоединиться?

– Я домой пошел. И ты будь дома. Через полчаса я тебе позвоню. Возьми трубку. Если не возьмешь, я тебе «скорую» вызову.

– Только попробуй!

– Тогда возьми трубку, – повторил Валерьев, зашнуровы-

вая кроссовки, и с болью добавил: – Посмеемся!..

Глава двадцать четвертая

Михаил Солев

Испытание

Сегодня умерла мама.

А. Камю

Похорон я не помню. Помню только, что мне навязывали большой мамин портрет в белой бумажной рамке и хотели, чтобы я шел впереди процессии. А я отказался. По уголку портрет перехватывала широкая коричневая лента – такие вплетали в косы девочек-первоклашек, когда я был маленьким. Я думал о первоклашках, о своей курточке с синим букварем на рукаве и ничего не видел. Потом, помню, долго болели глаза: я не моргал и не плакал, а всё куда-то таращился.

Да, и еще: я почему-то испачкал руку землей. Очень странно брать бурую землю, а потом чистить руку о снег.

На поминках не пил, потому что терпеть не могу водку. Вино – да, можно, но не на поминках же... Хорошо хоть посуду помыли – уймища! Мы с мамой всегда спорили, кому посуду мыть... Ма... Ма!..

Они боялись, что я повешусь или еще что-нибудь. Поэтому дед остался со мной ночевать. Было обидно, но я решил не связываться. На следующий день я сказал ему: «Не ночуй больше. Я не маленький», – и он согласился. После обеда он ушел, но потом трижды звонил – приходилось отвечать, иначе он вернулся бы.

После обеда и до самой ночи я был один. Вешаться мне не хотелось; хотелось открыть окно. Очень приятно, наверное, зимой открыть заклеенное окно. Но я открыл только форточку: боялся, что выпрыгну в открытое окно или, еще хуже, придется его снова заклеивать.

Дома было тихо, в форточку задувало снежинки, они таили на полу. Стало холодно, и я закрыл форточку. Есть такие грабители-домушники, они в форточку лазают. У меня в детстве случай был: я шел дворами к другу, а у одного дома, у окон, стояли люди. Они позвали меня и сказали, что забыли ключи. Я согласился помочь им, и они протолкнули меня в форточку, а внутри я встал на кухонный стол. Мне было жутко и интересно в чужой квартире, я гордился собой. Когда я впустил их, мне сказали спасибо. После я подумал, что они грабители, и стало еще приятнее.

Теперь я уже не маленький, в форточку не полезу. Мне восемнадцать, и четыре дня назад у меня умерла мама.

Еще вчера на столе стоял гроб, а после, тоже вчера, были поминки. На том же столе стояли водка и закуска. Это

мамина комната: в углу, на божнице, – иконы. Под иконами, на полу, – талая вода: в форточку намело, придется подтирать. Мама любила молиться на коленях – сейчас ее юбка намокла бы.

Я сходил за тряпкой и подтер. Затем посмотрел на икону – на Христа с книгой – и не перекрестился. Раньше я так не делал. Но раньше у меня и мама не умирала. Раньше и я молился Ему. Раньше.

Мне захотелось поговорить с Ним, и я сказал:

– Послушай, Господи. Я не Иов. Мать моя больше Иов. Если бы Ты забрал меня, она не возроптала бы. Она праведнее. Ты хочешь, чтобы те, кто любит Тебя, страдали. Чтобы очищались страданием. Чтобы несли крест. Ты меня возлюбил, и выбрал крест потяжелее, чтобы наградить потом получше. Я Тебя понимаю, только вот что: я ведь не крыса подопытная!.. И мама не крыса! Не нужен мне Твой крест! Это не любовь! Отрекаюсь!

Я кричал, а Он смотрел на меня и показывал книгу с надписью: «Заповедь новую даю вам: да любите друг друга».

Спать я лег не помолившись. Это было только начало: я решил доказать Ему, что Он не прав, что Его эксперимент жесток и глуп. Пусть Он смотрит на меня и стыдится Своего поступка – так я решил. Я стану плохим, назло Ему стану, я научусь. А Он пусть смотрит и стыдится, и больше не экспериментирует.

Если я душу свою угроблю, а других спасу – ведь это же по Евангелию! Уважать нужно человека, оберегать нужно человека, раз уж создал! Неужели нельзя оградить праведников от зла?! Зачем испытывать праведников на прочность? Ведь быть праведным и без того трудно! Разве Тебе не жалко тех, кто не выдержит испытаний и сломается?! Ты позволяешь волкам резать стадо – какой же Ты Пастырь?! Или Ты забыл, что пасешь овец, а не волкодавов?..

Так я думал, лежа в постели, пока не заснул. И приснилась мне церковь. Глухонемые, муж и жена, крестили младенца. Я уже видел их в храме раньше. Они умели молиться, не слыша службу. И вот теперь принесли в храм плод своей любви. Я стоял и наблюдал: мне было интересно. Глухонемой отец протянул священнику бумажку. Он и раньше протягивал священнику бумажки – во время исповеди, с перечислением грехов. Но теперь на бумажке было написано: «Иоанн имя ему». И выражение лица у глухонемого было молящее. «Он хочет, чтобы уста его отверзлись, как у Захарии», – понял я. «Второго Спасителя не будет, а потому второй предтеча не нужен», – сказал младенец. Родители его не услышали, а священник испуганно отпрянул. «Если бы младенец был в его руках, он бы его уронил», – подумал я и проснулся. А проснувшись, подумал: «К чему бы это?»

Прежде чем умерла мама, я успел сдать сессию. Теперь были каникулы и Святки. Время безделья и радости. «Раз в крещенский вечерок девушки гадали». Гадание – грех. А ка-

кие еще грехи есть? Надо составить списочек, как те глухонемые, и жить по списку. Мама послала меня в магазин со списком того, что надо купить. Вот и теперь у меня будет список того, что надо. Однако нужна еще и стратегия. Сначала попытаемся взять малые веса, мелкие грешки. Потом покрупнее. Потом попробуем работать с количеством, с различными сочетаниями.

Я нашел среди маминых книг «Мытарства блаженной Феодоры», внимательно изучил и составил список.

Потом позавтракал. Пицца, принятая без молитвы, имела странноватый вкус. Придется привыкать: теперь у меня что-то вроде диеты. Богообщение категорически противопоказано.

Позвонил дед. Он, наверное, был делегатом от всех родственников. Затем перезвонит остальным и сообщит, как я. Это умно. Тактично. А может, просто никому больше до меня дела нет. Лучшие бы так и было. Как я? Нормально. Такие у нас теперь нормы. Позавтракал. Ничего не надо. Я достаточно самостоятелен. Ничего, говорю, не надо. Спасибо за беспокойство. Отстаньте, я сказал!

Положил трубку. Улыбнулся. Поставил в списке крестик.

Была суббота, звонков больше не было. Весь день планировал этапы духовного самоубийства. К вечеру напился в хлам.

Утром пошел в церковь. Как и положено в воскресенье. Задача была такая: ни разу не перекреститься. Есть же такие честные любопытствующие, которые не крестятся в церкви.

«Не слишком ли быстро веса наращиваю? – подумал я, проходя мимо нищих. – Не надорваться бы!»

Не перекреститься у входа в церковь было сложнее всего, а потом пошло полегче. Не склоняться под благословения было тоже очень трудно, но если глянуть в этот момент в сторону, то получается вполне терпимо. К середине службы я уже чувствовал себя богатырем в поле. Ветер дует, ковыль колышется, спины гнутся в поклонах. А я стою непоколебимо. Что мне этот молитвенный ветер? Я знаю, что он добрый и теплый. Но потому он и слабый. Этот ветер предназначен не для того, чтобы вырывать с корнями деревья. Противостоять ему совсем не сложно. Однако если подставить ему парус, он всегда будет попутным.

Нет! Это из другой жизни размышления, из другой! Если им попутный, то мне – встречный. Но как встречный он слаб, очень слаб, и плевать я на него хотел! Буду грести против ветра на своей галере, буду грести против.

«Какие хорошие образы! – подумал я с улыбкой. – Надо будет записать». С той же улыбкой я глянул в лицо епископа, повернувшегося для благословения, выдержал процедуру и почувствовал себя свободным. «А мазохисты не дураки, – понял я. – Совсем не дураки».

Свободный и гордый, я стоял в церкви и наблюдал. Видел глухонемых. Они вместе со всеми плыли по молитвенному ветру. Они не слышали его, но зато ощущали. Им, может быть, даже проще. Зачем слышать ветер?..

Женщина кланялась чуть-чуть: мешал живот. Значит, еще не родила. И младенца еще не крестили. Как же тогда мой сон про Иоанна? А вдруг сбудется? Я сам не понял, почему сонная нелепица должна вдруг сбыться. Но взволновался, словно получил подтверждение этому.

И стал я фантазировать, что родится Иоанн здоровым, слышащим и глаголящим. И подумает Иоанн: «За что же Бог так поступил с родителями моими? Почему они не слышат и не глаголят?» И прочитает Иоанн в Евангелии о глухонемых бесноватых, о бесе немом и глухом. Вышел бес – исцелился бесноватый, услышал и возглаголил. И подумает Иоанн о чем-то, о чем-то подумает. Если я это вижу, то Бог и подавно видит. Это испытание похлеще моего, и приготовлено оно Иоанну еще до рождения. А если он не выдержит – и вроде меня, во все тяжкие?

Мне стало жаль Иоанна.

И вдруг я почувствовал себя крайне неудобно: ведь мать есть не только у Иоанна. Но и у меня. Была. Новопреставленная Софья. Ходит теперь по мытарствам. И бесы взывают с нее по моему списочку. Говорят ей: грехов такого разряда у тебя вон сколько, смотри на чашу весов. Кидай-ка,

говорят, на другую чашу добрые дела, иначе мы тебя в ад скинем. Страшно душеньке. А я стою в церкви и ничем ей не помогаю. И кому теперь должно быть стыдно? Богу, потому что я Ему назло грешу? Или мне, потому что я мать предаю?

Насчет Бога не знаю, но мне было очень стыдно. Я заказал Сорокоуст, хотя его, кажется, кто-то из родственников уже заказывал. Кашу маслом не испортишь. Теперь уже наверняка кто-то хороший, кто-то достойный будет сорок дней молиться об упокоении новопреставленной Софьи. А я креститься не буду, раз уж зарекся. И свечку к Распяттию не поставлю. Пусть уж лучше другие. Стыдно, очень стыдно, но иначе нельзя.

Вот уж и причащают. Пойду-ка я отсюда.

Дома было очень пусто. Как в открытом космосе. Как в безвоздушном пространстве. И никуда эту пустоту не деть, даже если вечеринку устроить. Мерзость запустения... Но вечеринка – это идея, раз уж решил жить по списку. После вечеринки в списке появится куча плюсов. Вечеринка – это идея.

Если совсем честно, то друзей у меня нет. Есть знакомые одноклассники, одногруппники, родственники, а с соседями я не знаком. Исключаем родственников и соседей. Одногруппников всего двое, остальные – одногруппницы: такой уж факультет. И ну их, этих двоих: мне с ними еще учить-

ся. Значит, одноклассники. Они периодически собираются вместе и обкуриваются. Это мне известно. Можно устроить, как у америкашек делается, судя по фильмам. Смешанная компания, выпивка и травка, траханье по углам. Можно устроить с меньшим размахом и не за мои деньги, но с теми же грехами.

– Идея хорошая, – согласился одноклассник. – Но я не понимаю, зачем тебе это. Или ты изменился за полтора года?

– Считай, что собираю материал для рассказа. Территория моя, вся фигня в складчину, с девчонок можно поменьше взять или вообще на халяву... Девчонки – не обязательно наши, но чтобы парность была. И мне какую-нибудь тоже, поговорчивее и не крокодила... Материал для рассказа.

– Искусство требует жертв, я понял... А не обидно будет, если лажа получится? Жертвы принесешь, а напишешь лажу...

– Плевать я хотел на эти жертвы.

– Тогда другое дело. Ты изменился, чувак.

– Принимай гостей.

– Проходите.

– Ты один дома?

– Да. И не будет никого. Можете хоть ночевать.

– Круто.

Они прошли. Три одноклассника и четыре девушки. Девушки незнакомые. Точнее, мне не знакомые. Ничего так,

не крокодилы. Одна, кажется, малолетка. Вскоре выяснилось, что она-то мне и досталась. Восьмиклассница, как у Цоя. «Ты любишь своих кукол и воздушные шары». Нет, не восьмиклассница, просто имидж такой. Совершеннолетняя, Светой зовут. Верю – почему бы не поверить...

Классе в пятом, помню, я на каком-то концерте сел рядом с девчонкой. И сказал другим пацанам, что девчонки тоже люди. Это было очень смело. Сесть рядом с девчонкой считалось позором для пацана. Но после этого случая одноклассники посмотрели на меня с уважением, а на девчонок – с интересом.

В старших классах я как-то зажался. Может быть, потому что прочитал у апостола Павла о блудниках. О том, что тела наши – члены Христовы. И что соединяясь с блудницами... Это было страшно. И я слушал треп одноклассников об их любовных похождениях не с завистью, а с ужасом. «Отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет!» А одноклассники смеялись надо мной.

На «факультете невест» я научился, не краснея, разговаривать с девушками. На конкретные и отвлеченные темы. Еще научился отишучиваться, если разговоры эти становились слишком конкретными или слишком отвлеченными. Так что ни прямая атака, ни обходной маневр со стороны девушек не увенчивались успехом. В последнее время они и пытаются почти перестали. Но поговорить любили: всё-

таки парень и, к тому же, рассказы пишет.

Я смотрел на Свету и думал: «Не слишком ли быстро веса наращиваю?» Она была маленькая и худенькая, узкобедрая, но с развитой грудью. Таковую, наверное, очень приятно взять в руки и нести куда-нибудь... Но не слишком ли быстро?..

Девушки план курить отказались, но охотно пили вино и танцевали. Хорошо, что кто-то догадался захватить соответствующую музыку. А то пришлось бы вальсировать под Штрауса...

Обкурка не произвела на меня особого впечатления. Как всё это выглядит, я и так знал. Сто раз расспрашивал, потому что хотел написать рассказ о плановиках. И видел их тоже, обкуренных. Они специально пришли к моему подъезду и позвали меня. Чтобы посмотрел и запомнил. Любителей русской литературы. А теперь обкурился – и никакого эффекта. Пусть один костыль на четверых – но остальные смеются же!..

– Ничего, – утешали меня. – С первого раза мало кто раскуривается.

– Ничего, – пробормотал я. – Крестик поставить можно. Через некоторое время мы со Светой оказались вдвоем на кухне. Из ванной слышалась какая-то возня. Что-то там упало. Наверное, стаканчик с зубной пастой и щетками. Девушка мотнула головой в сторону ванной комнаты и заговорщицки усмехнулась. Я снисходительно улыбнулся, тоже

молча. Молчали и слушали.

– Я тебя вот что спросить хотела, – нарушила она молчание. – Почему у тебя везде иконы? Даже на кухне.

– В ванной и в туалете нет. И еще в коридоре нет и на балконе. А что?

– Просто так. Просто когда иконы... Хорошо им там, в ванной...

Света виновато улыбнулась и посмотрела на икону Успения.

– Это Рождество?

– Наоборот. Вокруг Богородицы не волхвы и пастухи, а апостолы. Они пришли попроситься, потому что Богородица умерла.

– А Христос?

– Христос сверху, принимает душу Своей Матери. Ты не прочь со мной поцеловаться, но стесняешься при иконе. Так?

– Ты какой-то странный. Я вообще могу остаться, если хочешь. Ты мне сразу понравился...

– Вот, смотри, я повернул ее к стене. Давай, начинай, я не умею.

– Чего не умеешь?

– Целоваться, блин, не умею. Ты у меня первая – поняла?

– Ничего себе! Тогда давай подождем, пока другие уйдут.

В первый раз так нельзя – в ванной и всё такое...

Я удивленно улыбнулся.

В комнате было темно. Икона Спасителя был повернута ликом в угол. Как наказанная. Всё случилось очень просто.

– Что ты делаешь? – спросила Света.

– Ставлю крестики.

– Где ты их ставишь?

– Неважно... Ты умеешь гадать?

– С чего это ты вдруг?

– «Раз в крещенский вечерок девушки гадали». Это завтрашний вечер.

– А что за девушки?

– Неважно, это цитата. Дальше – «за ворота баимачок, сняв с ноги, бросали». Все девушки немножко ведьмы. Ты умеешь гадать с блюдцем по буквенному кругу? У нас в классе девчонки так гадали. Умеешь?

– Умею. Хочешь, чтобы мы вдвоем погадали?

– Да. Именно так. И непременно завтра.

– Ладно, я всё принесу. А я тебе нравлюсь хоть немного?

– Спросишь завтра у духов, – пошутил я.

– Это ты вертишь блюдце? – спросил я у Светы во время гадания.

– Нет, – ответила она. – Не отвлекайся.

– Тогда скажи мне, дух, девичью фамилию моей матери.

Блюдце ответило верно. Оно легко скользило по буквенному кругу и останавливалось возле нужной буквы. И не про-

сто останавливалось, но и педантично проворачивалось на месте. Пока стрелка на боку блюда не уткнется в эту букву. Блюдце скользило плавно и стремительно. Мне даже казалось, что если отдернуть руки, оно не остановится. Будет как в сказке, наливное яблочко по блюдечку. Перпетуум мобиле.

– Ты вопрос задал, как в электронной почте, когда пароль к ящику забудешь, – сказала Света с улыбкой и спросила про фамилию: – Правильно?

– Да, – ответил я. – Не отвлекайся.

Дух представился Иваном Федоровичем. Вызывали Федора Михайловича, моего любимого писателя. Но явился этот. Сказал, что Достоевский занят. И вообще отвечал очень расплывчато и лукаво. На вопрос, из рая он или из ада, отвечал, что из пакибытия. Из иного мира. А с каким знаком этот иной мир, с плюсом или минусом, – вроде как неважно. На вопрос о том, что бывает после смерти, был получен ответ, что по вере. А по какой вере – вроде как неважно. На вопрос: «Есть ли Бог?» дух ответил, что «много богов и господ много». Из апостола Павла ответил, но продолжения не привел, продолжение вроде как не важно. А продолжение там такое: «Но у нас один Бог Отец, из Которого всё, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым всё, и мы Им». Очень умный дух. И понятно, из какого Он пакибытия. Но Свете я этих тонкостей раскрыть не стал. Чтобы можно было поставить в списке до-

полнительный крестик.

Света так и не спросила у духа, нравится ли она мне. Интересно, что бы он ей ответил. После гадания я сказал ей, чтобы больше не приходила. Она ушла в слезах.

Рука устала писать. Но это не автоматическое письмо: я не медиум. Смешно звучит: я не медиум, – а прошлым вечером участвовал в спиритическом сеансе. Вечер перешел в ночь, сейчас раннее утро, а рассказ почти дописан. С вечера до утра – целый рассказ. Такого со мной еще не было. И не будет. Но это не автоматическое письмо, честное слово! Верьте мне: люди в моем положении говорят правду. Я даже стиль сознательно избрал: «нулевой градус письма», как у Камю в «Постороннем». Это не автоматическое письмо, а предсмертное, с нулевым градусом.

Самоубийство – страшнейший грех, грех без прощения. Им заканчивается список. Контрольный выстрел в голову, медицина бессильна. Вот и всемогущий Бог бессилён перед самоубийцами. Бог бессилён. Мысль приятна. Неприятна процедура.

У меня есть рассказ про самоубийцу. Три разных способа: петля, бритва и окошко. Три способа, а нужен один. Допишу, поставлю крестик – и сделаю. А как же крестик, если еще не сделал? Мысленно уже сделал, а значит, можно. А если мысленно сделал и уже поставил, то зачем же по-настоящему делать? Здесь лазейка, здесь можно струсить.

Пусть уж крестик ставят те, кто прочитает. А я просто пойду и сделаю.

Бритвой в ванне. Сейчас Крещение. Прошлым вечером святили воду в реках. Благодать – штука заразная. Сегодня изо всех кранов идет святая вода. Вот в ней-то я и сделаю.

Бритвой в ванне.

Посмотри на меня, Господи! Посмотри Своим всевидящим оком! Посмотри на Своего подопытного!

Как Тебе не стыдно?!

Глава двадцать пятая

Солев перечитал свой рассказ и задумался. Рассказ был дописан неделю назад, вечером того субботнего дня, когда состоялась игра «Словоглоты». Миша вернулся домой после игры в каком-то странном состоянии и сразу же сел за письменный стол. Через час рассказ был закончен – закончен со сладостным ужасом и ясным ощущением, что вещь получилась сильная. «Зря он говорил, что мне будет трудно закончить рассказ», – подумал парень в ту субботу, имея в виду блюдечный ответ Ивана Федоровича. Но перечитав рассказ через неделю и задумавшись, Миша понял, что дух был прав.

Взять хотя бы Свету – из-за чего, спрашивается, поссорились? Никакого особого повода не было, просто послал, да и всё, почти на ровном месте. Ну зачем, зачем было называть ту девушку Светой? Слишком живой рассказ получился, слишком, так и норовит с жизнью сплестись! А что хорошего из этого может выйти? Пора отпускать его, пинком под зад – нужны читатели, побольше читателей, пусть с ними живет, а не со мной!

– Миша!

Солев резко обернулся и с ужасом посмотрел на мать.

– Миша, что с тобой? – тревожно спросила Софья Петровна.

– Ничего, – ответил он, опомнившись. – Всё в порядке.

– Где же в порядке, если ты на меня, как на привидение, смотришь... И уже целую неделю так. Что с тобой?

– Ничего, ма, ничего... Просто задумался.

– О чем?

– О чем хочу, о том и думаю! – разозлился Миша.

– Сынок, не сердись, я просто волнуюсь о тебе...

– Я понимаю, но не могу же я тебе все мысли...

– Ладно, сынок, ладно. Пойдем обедать.

После обеда Миша, прихватив с собой рассказ, отправился к Степе.

– Твое пиво, – сказал Степа, проходя на кухню впереди гостя.

– Что мое пиво?

– От твоего ящика осталось четыре бутылки.

– И что? Ты их вернуть хочешь? – спросил Миша нервно. – Только я не первосвященник!

– У тебя крыша, что ли, едет?

– Я не первосвященник, а ты не Иуда! И бутылок должно быть двадцать, как и было, если уж хочешь доигрывать! С самого начала надо было тебе полтора ящика обещать, чтобы тридцать, как и тогда!..

Миша вдруг ощутил резкую боль в области солнечного сплетения, согнулся и сел на пол, пытаясь раздышаться. Степа присел рядом и мирно проговорил:

– Извини. При истерике обычно дают пощечину, но это

как-то не по-мужски. А если кулаком, то мордобой получится, вот я и решил под дых. Ты в порядке?

– Еще бы! – прошипел Солев, а через полминуты встряхнулся как-то по-собачьи и тихо добавил: – Спасибо.

– Всегда пожалуйста, – ответил Степа с улыбкой, поднялся и подал Мише руку.

– Ну и что там за бред про первосвященника и Иуду? – спросил он чуть позже, открывая пиво себе и другу.

– Ты Евангелие читал?

– Нет. Но кое-что слышал. Насчет «да любите друг друга», «распни Его!» и умывания рук. Еще про блудного сына помню и про «кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень», и про «кесарево кесарю, а Божие – Богу». Если подумать, можно еще что-нибудь вспомнить, но сам текст я не читал.

– Не читал, а цитируешь.

– Я цитирую цитаты, а не текст, – объяснил Степа. – Понимаешь разницу?

– Да, – ответил Солев, подумав. – Мировая культура цитирует Евангелие, а ты цитируешь мировую культуру.

– Вот именно. И когда мы на игре орали: «Распни его!», мы мировую культуру цитировали – цитировали цитаты. Я почти уверен, что никто из нас Евангелия не читал.

– Я читал и Гена читал.

– И что?

– И то. Боком нам выйдет, Степка, эта мировая культу-

ра...

Сказав так, Миша жадно присосался к пиву и пил, пил, пока не опорожнил бутылку, а Степа смотрел на него бледным взглядом и молчал, молчал... Молчание иссякло одновременно с пивом.

– Допил? Теперь рассказывай.

– Про что?

– Про Иуду, первосвященника и тридцать бутылок. Иуда предал Христа за тридцать сребреников, это я знаю. И что же дальше?

– А дальше он раскаялся, вернул деньги первосвященнику и повесился.

– Получается, что я уговорил Гену стать иноком, привел его на игру, а его там распяли. За это я взял с тебя пивную мзду, а теперь якобы решил ее вернуть. И вскоре, если рассуждать логически, я должен повеситься.

– Да.

– Отвечу как в том анекдоте про Рабиновича: «Не дождетесь!»

– Слава Богу, – сказал Миша, тускло улыбнувшись. – Рад, что у тебя всё нормально.

– А у тебя проблемы? – быстро спросил Степа и внимательно глянул на собеседника.

– Да, – ответил тот. – По-моему, у меня крыша едет.

– А симптомы?

– Гадание, игра и рассказ сплетаются с жизнью. Иногда я

уже просто не могу провести грань. Это, знаешь, как просыпаешься и поначалу ничего не соображаешь: где сон, где явь, что всамделишное, а что через минуту забудешь. Лежишь и проводишь грань, а если не проведешь ее, то свихнешься. Сейчас я чувствую, что грани размыты: гадание, игра и рассказ реально влияют на мою жизнь.

– А рассказ уже дописан?

– Да, я его даже принес.

– Большой?

– Где-то на полчаса.

– Прочти. А потом поговорим.

Солев прочел.

– Мощный рассказ, вставляет, – похвалил Степа. – И все эти православные прибабасы хорошо описаны, и идея понятна. Как у Владимира Красна Солнышка в «Подопытных крысах» идея, только еще круче: крыса завалила эксперимент вивисектора. Про ответы Ивана Федоровича тоже очень умно рассуждается, я бы так не смог и уж апостола Павла точно бы не цитировал. Ты откуда эту цитату взял?

– Из апостола Павла, послание к Коринфянам.

– Ты и апостола Павла читал?

– Читал. Я много чего прочитал для рассказа, и в церковь ходил за материалом.

– Молодец. Поздравляю с творческим успехом.

– А то, что у меня теперь крыша едет, и я матери пугаюсь, как будто она из гроба встала, и Светку послал, и в ванну

тянет с бритвой – это всё ничего?

– Читателям это всё не интересно, главное – продукт, а продукт ты произвел качественный. Но по жизни у тебя проблемы, согласен. Как и у меня.

– У тебя тоже?

– У меня тоже. И тоже после игры.

– Расскажи.

– Чего уж тут рассказывать... Все в дерьме и всё из-за меня! – горько произнес Степа. – Ты поссорился со Светкой, я – с Ленкой, с тобой я чуть не подрался... Мы все психуем и разбегаемся в разные стороны, как тараканы по кухонному столу, когда свет включишь. Этот свет включился, когда вы крикнули: «Распни его!» – а я с этим согласился. Нам стыдно смотреть в глаза друг другу, поэтому и разбегаемся. А какое состояние у Гены – я вообще не представляю. Я даже не представляю, куда он убежал тогда, ведь что угодно могло случиться. А позвонить ему я не могу, и никто из вас не сможет... Я эту игру придумал, жил ею больше месяца, а в результате вот что получилось. И теперь еще ты приполз. Так тараканов или крыс морят: таракан или крыса сожрет отраву, приползет к своим – и они тоже отравятся. Ты зачем приполз?! Зачем про Иуду рассказал?! Думал, мне легче всех?!

Миша ударил Степу. Степа ответил. Вскоре они, нервно посмеиваясь и переговариваясь, смывали кровь с лиц.

– Как тогда, на втором курсе.

– Точно, из-за Катьки.

- Слушай, Миш, а ведь еще один круг замкнулся, еще один виток спирали!
- Да. Фатум, блин!
- Только бы не повеситься...
- Заткнись! Мы вылечимся! Не бывает отравы без противоядия!
- Ага. В монастырь уйдем. Точняк.
- Зачем сразу в монастырь... Но кое-что у них позаимствовать можно. Он же черт, этот Иван Федорович, черт! А против чертей у них что-нибудь есть...
- Приедем в Дивеево и скажем: «Дайте нам что-нибудь против чертей».
- Ты тоже едешь?
- Еду, конечно. У нас на эту профсоюзную халяву почти полкурса подписалось. Там, говорят, красиво. Со всей страны экскурсии едут, а от нас недалеко.
- Часов шесть ехать.
- Всё равно рядом. Приедем и скажем про чертей. Интересно, что они нам пропишут.
- Можно, и правда, спросить.
- Можно. А то этот Иван Федорович сказал, что игра удастся на славу. Козел.

* * *

В то время, когда Миша и Степа смывали кровь с лиц, Генна Валерьев лепил снежок. Первый снег повалил около часу

назад, большими влажными хлопьями, и Гена сразу же позвонил Вале и теперь шел рядом с ней по мосту над железной дорогой, собирал с перил кружевные перлы и лепил, оглаживал и холил огромную холодную жемчужину.

– Зачем тебе снежок? – спросила девушка.

– Тебе подарю, – ответил юноша.

– Мило. Давай.

– Подожди. Вот сойдем с моста, я чуть-чуть отстану и тогда подарю.

– Ах, так!..

– Мост еще не кончился – готовь ответный подарок.

– Руки морозить не хочу.

– Как хочешь.

– И ты будешь кидать в безоружную?

– Хоть в безоружную, хоть в вооруженную.

– А если я обижусь?

– Значит, дура.

– Вот, значит, как! Хорошо, давай мне этот снежок, а себе слепи еще один.

– Держи. Только, чур, раньше времени...

– Вот тебе!

– Коварная! – взревел Валерьев, отряхиваясь.

– С первым снегом! – рассмеялась Велина.

– Ну, всё! – Гена заскользил загребущей дланью по заснеженным перилам. – Ну, всё! Куда побежала?!

Он настиг ее в конце моста и поразил в голову. Валя оста-

новилась и стала вытряхивать снег из-за воротника. Гена помогал ей и извинялся.

Потом они гуляли по задичавшему парку с ржавыми аттракционами и смотрели, как он изменился под снегом. Парк побелел, но слой снега был недостаточен, чтобы скрыть подножную листву, и лик земли напоминал припудренное лицо в оспинах. Листья, еще остававшиеся на деревьях, были облеплены снегом и если падали вниз под его тяжестью, то с некрасивой поспешностью, как подстреленные птицы. Было тихо, и в этой тишине Гена беседовал с Валею о глухонемых.

– Хорошо, – согласилась она наконец. – Я поговорю с ними и со священником. Я слышала про общину православных глухонемых в Питере, при каком-то университетском храме. Для них литургию с сурдопереводом служат.

– Замечательно! – воскликнул Гена. – Если наберется группа, можно будет съездить за опытом. Ты им объясни завтра, объясни! Пусть приводят друзей. Хорошо бы, если бы ваши глухонемые тоже пришли, тогда бы уж точно бы...

– Наших не трогай, – отрезала Велина. – А с вашими я поговорю.

На следующий день в половине первого, как и было условлено, она оказалась на церковном дворе. Было пасмурно и грязно, вчерашний снег полностью растаял, орали грачи, народ выходил из церкви. Гена тоже вышел, троекратно перекрестился на двери и заозирался по сторонам. Было в его виде что-то неприятно-суетливое, Вале даже захотелось уйти,

а когда он ее заметил и обрадовался радостью охотника, ей еще сильнее захотелось уйти. Но нельзя, нельзя: она возвещательница, у нее служение...

– Отец Димитрий сейчас выйдет, он переоблачается, глухонемой ждет его, – взволнованно сказал Гена.

– А как его зовут?

– Отец Димитрий.

– Глухонемого.

– Не знаю. То есть мне отец Димитрий говорил, но я уже забыл.

– Не важно, сама спрошу. А он один? Ты говорил, у него жена есть...

– Я ее уже примерно месяц не видел, она была беременная.

– Понятно.

Валя чувствовала в себе то же охотничье предвкушение, которое она распознала в Гене и которое в Гене ей очень не понравилось. Но теперь это не важно, пусть себе охотится; главное, чтобы до времени не догадался.

«Красивая и себе на уме», – подумал отец Димитрий, подходя к девушке вместе со своим глухонемым духовным чадом. Благословения она, естественно, не спросила, и священник мысленно попросил Господа о вразумлении – и себя, и ее, и Гены, и раба Божия Анатолия – всех вразуми, Господи! Девушка рассказала о питерской общине глухонемых при университетской церкви. Университетская церковь! В

нашей глуши о таком только мечтать, почти так же фантастично звучит, как литургия для глухонемых...

– Ну а если Господь сотворит чудо, и наберется община, и будет получено благословение, смогли бы вы...

Нет. Естественно. Зачем же она тогда пришла – только из-за Гены? Очень оживленно, эмоционально беседует с Анатолием, жестикулируя и что-то беззвучно проговаривая. Анатолий что-то отвечает ей столь же беззвучно и размашисто. Сначала он выглядит удивленным, потом сердитым, наконец требует ручку и бумагу – это очень простой жест, отец Димитрий не знает, таков ли он в языке глухонемых, но в общении духовного чада с духовным отцом он таков.

Сильно нажимая на бумагу, Анатолий написал: «Почему Христос не Бог? Почему Он архангел Михаил? Почему у человека нет бессмертной души? Эта девушка сумасшедшая?»

«Духовно больная, сектантка, – ответил священник ниже. – Она сказала тебе ложь, но она верит в эту ложь. Помолись о заблудшей Валентине».

Анатолий прочитал, улыбнулся и кивнул, соглашаясь, а затем что-то беззвучно прошептал и крепко перекрестился.

– О чем вы говорите? – беспокойно спросил Гена.

Отец Димитрий подал ему листок.

– Ты... Как тебе не стыдно?! – воскликнул Валерьев, гневно глядя на Велину.

– Гена, будь терпелив, – мягко сказал батюшка.

– Да пошла она в задницу – терпеть ее!..

Валя развернулась и быстро пошла прочь с церковного двора. Гена мгновенно кинулся в погоню, и бежал очень долго, и наконец догнал, и извинился, и долго упрашивал, и в конце концов упросил вернуться, ведь отец Димитрий очень добрый и мудрый и он сможет объяснить, что православную Церковь насадил Христос, что она апостольская, что... На самом деле Гена остался стоять, где стоял, а Валя ушла, куда шла. Глухонемой, имени которого Валерьев так и не вспомнил, тоже ушел куда-то, и тогда юноша спросил:

– Что мне делать с Вале́й?

– О женитьбе уже думал?

– Да.

– Что же тебя смущает? Неверующий муж освящается женой верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим.

– А на том свете разберемся, чья вера была истинной, – горько усмехнулся Гена. – Беспроигрышный вариант. Только во времена апостола Павла и вера была посильней, и христиане редко до старости доживали.

– Думаешь, не справишься? – спросил отец Димитрий с понимающей улыбкой. – Ты умен. Обычно так и бывает: при союзе высшего и низшего высшее подавляется. Но есть и противоположные примеры.

– Видите ли, отец Димитрий, – медленно и с прохладной самоиронией произнес юноша. – Она ведь мне не как жена нужна. Вот в чем фокус. Она мне нужна как переводчица

литургии для глухонемых. Я это понял только что, а она почувствовала чуть раньше.

– А-а... – протянул священник. – Ну, тогда и говорить не о чем.

Это «а-а» прозвучало в устах батюшки как-то уж очень простодушно, и Гена улыбнулся, и была в его улыбке спокойная светлая грустинка.

– Меня еще мама волнует.

– А что с ней такое?

– Грипп, уже почти выздоровела, но не в этом дело.

– А в чем?

– Она выгнала свое эзотерическое общество из детского сада и сразу же заболела. Я же вам рассказывал про нее – коллекционерша дипломов о высшем оккультном образовании, этакая дипломированная ведьма...

– Нельзя так о матери.

– Простите. В общем, выгнала она их по эгоистическим причинам, но получилось хорошо. И теперь она на распутье: туда вернуться не может, потому что выгнала, и к Церкви тоже прилепиться не может, потому что дипломов жалко. Вы бы поговорили с ней, подтолкнули...

– Господь ее и так уже подтолкнул. Тут главное не толчки, а просто не мешать. Если же ты ее ведьмой называть будешь, то ведьма и получится. Молись о ней покрепче, а когда у нее вопросы появятся, отвечай правильно. Если она пойдет куда надо, у нее почти наверняка начнутся проблемы со здоро-

вьем и прочие искушения. Тогда скажи ей про соборование и зови меня, если она согласится. Мой телефон у тебя есть.

– Спаси Бог. Попробую.

– С Богом!

Когда Гена вернулся домой, его встретил телефонный звонок. Звонил Степа.

– Прости меня, Гена, – сказал он.

– За что? – Валерьев и впрямь не сразу сообразил.

– За игру, за то, что я втянул тебя в это.

– Бог простит, и ты меня прости. Я ведь тоже только в конце догадался, я сам вас спровоцировал...

– Но если мы все в конце концов догадались, то почему же так получилось? Я вот этого никак не пойму.

– Наверное, стереотип сработал. А может быть, просто аудитория нехорошая и невидимых советчиков было много.

– Ты серьезно веришь в чертей?

– Верю.

– Я тоже, с некоторых пор... Еще раз прости – и меня, и всех нас.

– Бог простит, и я вас прощаю. Да не переживай ты так! Бесы намного опытнее нас. Ну, попались мы, ну и что теперь – вешаться?

Степа положил трубку.

Глава двадцать шестая

Желтое – черное

Светофоры глупые

Буркалами лупают:

Желтое – черное, желтое – черное.

Поздние прохожие —

Всем набил бы рожу им!

Желтое – черное, желтое – черное.

И луна уставилась...

Может, я не нравлюсь – ась?!

Желтое – черное, желтое – черное.

На душе так пакостно...

Ночь хохочет: нако-ся!

Желтое – черное, желтое – черное.

Плеера наушники —

Как затычки. Душно мне!

Желтое – черное, желтое – черное!

*Водки горечь сладкая,
Тень моя со складками...
Желтое – черное, желтое – черное!..*

*Фонари двуглавые
Светом жгут, как лавою!
Желтое – черное, желтое – черное!!!*

*Прочь из ночи выбежать!!!
Фары. Как?! И вы бежать?!
Желтое – черное, черное, черное...*

*Ночь – она проказница,
Миражами дразнится.
Желтое – черное, желтое – черное.*

Миша Солев лежал в постели до тех пор, пока первые три терцета окончательно не оформились, а затем выскочил из-под одеяла, сел за стол, включил лампу и начал быстро писать, подвывая от наслаждения. Мишин вой разбудил Женю, и мальчик спросил:

– Ты чего?

– Не мешай, – отмахнулся брат. – Пишу.

– Псих, – пробормотал Женя, совсем как ежик в его любимом туманном мультфильме, после чего улыбнулся и за-

снул.

Миша, дописав, посмотрел на часы, хмыкнул, зевнул, выключил свет и залез под одеяло. Еще спать и спать. Но как-то не спалось: лихорадочный пульс стихотворения не давал уснуть, а поверх этого пульса плыли дряблые мысли: «Что ж это у меня всё с летальным исходом?.. Нехорошо...» И еще вспоминалось, как он шел в прошлую субботу от Степы, и он был пьян, и губа его была разбита, и отключенные светофоры мигали желтым. В тот вечер он прогулял работу – не развез книги с книжного рынка – хорошо, что Павел каким-то образом догадался его подменить. А на следующее утро Павел сказал, что люди очень впечатлительны, и иногда это на руку лукавому. Что он имел в виду, Миша почему-то не спросил, но фразу запомнил. И теперь, засыпая после ночного озарения, парень вдруг понял, что дурная впечатлительность – это и есть то самое «желтое – черное, желтое – черное»...

Утром Миша торопливо позавтракал, перевез книги со склада на рынок, управившись раньше обычного, и пешком, почти вприпрыжку, добрался до университета. «Похоже, писать по ночам полезно», – отметил Солев. В универе он хотел показать стихотворение Степе, но тот почему-то отсутствовал. Надо будет ему позвонить: совсем оборзел – такие пары пропускать, заодно и стихотворение прочитать можно. Придя домой, Миша так и сделал – позвонил Степе, долго слушал длинные гудки и наконец положил трубку.

Солев пообедал, почитал, пожалел, что дядя Витя еще на

работе, а маме такое стихотворение не прочтешь, – и отправился возить книги с рынка на склад. Вернувшись, он вновь позвонил Степе, и того опять не было дома, но зато пришел отчим, и стихотворение было прочитано.

– Хорошее стихотворение, – похвалил Виктор Семенович. – Жесткое, нервное, динамичное и рифмы неплохие. Если положить на музыку, получится какой-нибудь панк-рок. Панк-рок с хорошими рифмами – это, пожалуй, что-то новенькое... Короче, молодец.

– Спасибо.

– Но кое-что и тревожит... Помнишь, что я тебе вчера о твоём «Испытании» сказал?

– Ты много чего сказал. Если коротко, то рассказ не получился, потому что мой выюноша мыслит не как православный. Ну ладно, он не православный, но в Бога верит – такое же может быть?.. А православную парадигму как основу для мести он выбрал сознательно, потому что его мать была православной. Может такое быть?

– Не может. Зачем он в таком случае раньше жил по этой парадигме, если не православный? И кому он в результате мстит – матери и себе? В том-то и дело, что по логике рассказа твой выюноша православный, а сознание у него совсем не православное – как у Ивана Карамазова. Твое сознание, чего уж тут лукавить. Это авторский зевок, и никуда от него не денешься. Можно, конечно, написать героя совсем с себя, с неправославным прошлым – тогда всё будет логично, но по

Богу и по читателю не ударит.

– Почему?

– Потому что, если кто-то чужой придет в церковь и нагадит – это одно. Неприятно, конечно, но мало ли придурков на свете – по Богу это не бьет. А если то же самое сделает свой, кто в эту церковь раньше молиться ходил, – это уже удар по Богу.

– Правильно. У меня в рассказе как раз второй случай.

– А вот и не второй: по твоему выюноше видно, что раньше он в церковь не молиться ходил, а место искал, где бы нагадить. Короче, собирал материал.

– А если я так и напишу, всё получится?

– Психологически всё станет достоверным. Но как раз это меня и тревожит, особенно после сегодняшнего стихотворения.

– В смысле? – спросил Миша, и вдруг понял, и самым жалким образом улыбнулся; так улыбаются дети, прежде чем заплакать от страха.

– Настолько серьезно? – спросил Виктор Семенович тихо. Миша молчал.

– Мне Соня говорила, что с тобой что-то... Погоди.

Виктор Семенович пошел к телефону, зазвеневшему как-то особенно резко, снял трубку и позвал Мишу.

– Степа чем-то обколосся, сейчас в коме, – сообщила Лена без предисловий; ее голос был похож на каменный уголь – черный, твердый и хрупкий.

– В коме? Где он? Я приеду! – Солев чувствовал, что куда-то проваливается и что если продолжать проваливаться, то и ехать никуда не надо: там он наверняка встретится со Степой.

– Не надо никуда ехать. Он в шестой. Через полтора часа больница закроеся. И к нему всё равно не пустят.

– Ты там?

– Да.

– И что врачи?

– Говорят, что надежда есть.

– А когда это с ним?..

– Утром нашли на троллейбусной остановке. Хорошо, что у него студенческий с собой был. Я час назад узнала.

– Ты там одна?

– Здесь еще его мать. Говорит: дорогие лекарства покупать не буду, денег нет на дорогие лекарства.

– Скинемся.

– Вот я и звоню всем. Бери деньги, сколько достанешь, и завтра к восьми в больницу. Попробую выяснить: может быть, какое-нибудь особое лекарство есть... А по-хорошему, нужно чудо.

Она всхлипнула, что-то стекольно хрустнуло, и трубка прерывисто запищала.

* * *

Миша положил телефонную трубку и бросился к матери.

– До сколько открыта церковь? – спросил он, задыхаясь.

– Где-то до восьми.

– Как больница.

– Что с тобой?

– Мне нужен мой крестильный крестик.

– Зачем?

– На шею повесить.

– Погоди, он где-то глубоко, я сейчас поищу...

– Некогда, там куплю, – оборвал Миша, обулся, накинул кожанку и выбежал из дому.

Он очень хорошо представлял свой крестильный крестик: точно такие же были у матери и отчима. Они крестились втроем лет десять назад: Софье Петровне и Виктору Семеновичу это было необходимо, чтобы обвенчаться (оказалось, что некрещеных не венчают), а Мишу взяли как бы за компанию. Мальчик сразу же возненавидел свой крестик, как ненавидел в ту пору отчима, и после венчания снял крестик с шеи и отдал матери. Миша сказал, что никогда его больше не наденет, и мать, зная упрямство сына, настаивать не стала. Но свой крест не сняла, и отчим не снял, а вскоре после рождения Жени, она как-то вдруг зачастила в церковь, зачастила, и в доме появились иконы, и тогда мать принялась настойчиво, даже со слезами уговаривать Мишу надеть крестик. Но тот решительно отказывался, зато года три назад, тоже как-то очень вдруг, ее призыв услышал Виктор Семенович, который хотя и носил крестик, но в церковь не ходил.

Миша, вообще, удивлялся, как быстро и всецело меняет людей Церковь. Он помнил мать до воцерковления, помнил отчима до воцерковления и, честно говоря, до воцерковления они ему нравились больше. До воцерковления они были понятнее.

Припоминая это и многое другое, Миша бежал к церкви. Он по-прежнему не хотел уподобляться матери и отчиму. Он по-прежнему не хотел воцерковляться. Но ему было необходимо чудо, а о чуде нужно молиться, причем молиться в церкви и с крестом на шее. Так он чувствовал, и верил своему чувству, и думал, что сейчас можно только так и никак иначе, а после того, как чудо свершится, можно будет жить по-старому.

У ворот кладбища, которое необходимо было пересечь, чтобы добраться до храма, Мише вдруг стало страшно. Он почувствовал, что перед ним не просто поле, старательно засеянное человеческими костями и ожидающее неведомых всходов, – это неприятное чувство было привычным и терпимым; но на сей раз Миша ощутил, что костистое поле, или, точнее, костистый холм и особенно собор на вершине слишком тесно срослись с ненавистным рассказом. Это был эпицентр «Испытания», самое пекло, и соваться туда совсем не хотелось, страшно не хотелось, до дрожи не хотелось... Солев стиснул поклачивавшие зубы, крепко перекрестился и вошел в ворота.

Возле церковной ограды, тоже пришлось креститься, а

возле дверей собора даже трижды и внутри трижды. Миша внезапно понял, что каждым своим действием пишет анти-рассказ: там православный делает над собой усилия, чтобы не креститься и не молиться и тем стремится досадить Богу, а тут приходится, чтобы понравиться... «Да Он издевается! – с ненавистью подумал Миша. – Он Сам пишет этот антирассказ!» Подумав так, парень испуганно одернул себя и попытался успокоиться: ведь нельзя молиться Тому, Кого ненавидишь и Кто понимает твою ненависть.

Солев купил медный крестик, черную тесемку и большую свечу. Когда крестик оказался на груди, Миша ощутил спокойную грусть и что-то вроде сонливости – он даже зевнул и очень этому обстоятельству удивился. Он медленно, словно в воде, пошел к иконе Спасителя, и всё вокруг виделось зыбким, будто сквозь воду; вот по его руке скользнула рыба – нет, не рыба, а чья-то ладонь: оказывается, здесь тоже есть люди, они идут к выходу. Наверное, закончилась вечерняя или что там у них бывает в это время... Хотя какая разница, что это за служба и что за люди... Странно, что всё так замедлилось.

Миша поставил свечу, перекрестился и коснулся губами и лбом иконы. Сделал он это без отвращения, без сознания выполняемого долга, а как-то рассеянно, почти сомнамбулически. И вдруг что-то случилось: его как будто ударили под дых и одновременно по глазам, он даже увидел нечто вроде красной плети или крысиного хвоста, и вспомнилась

строчка: «Сотни тысяч хвостатых, осужденных на муку»... Миша обессилено сел, почти упал на корточки возле колонны и прислонился к ней боком, а потом и спиной. «Что со мной? – ошеломленно думал он. – Господи, что со мной?» Над ним висела икона Спасителя, перед иконой высился большой медный подсвечник, под рукой оказался медный ящичек со свечными огарками, Миша опустил туда ладонь и зачем-то ворошил их. Осознав свои действия, он поспешно вынул руку из ящичка; пальцы блестели от лампадного масла. «Господи, спаси и помилуй! Господи, не дай сойти с ума!» И вдруг он вспомнил, зачем он здесь, и взмолился: «Господи, исцели Степу!» После этой молитвы Мише стало радостно, и силы вернулись, и он встал на ноги, переkreстился и покинул храм.

А в другом приделе храма, перед иконой целителя Пантелеймона, Гена Валерьев тепло и сосредоточенно молился о том же самом. После звонка Лены он очень расстроился – не только из-за поступка Степы, но и из-за того, что у него, Гены, нет денег, чтобы помочь, – так, оскребыши от стипендии, а до следующей – почти неделя. А ведь надо еще и в буфет на большой перемене ходить... Вот и отправился он в церковь, чтобы хоть чем-то, хоть чем-то, робко надеясь, что это «хоть чем-то» действеннее любого лекарства.

Окончив молитву, Гена увидел отца Димитрия, к которому выстроилась небольшая очередь, и тоже пошел за благословением.

– Ну, как там с литургией для глухонемых? – спросил юноша, восклоняясь и отпуская священническую длань.

– С говорящими бы разобраться, – устало ответил батюшка. – Я, кстати, сегодня у них ребенка крестил, мальчик, Ваней назвали. Представляешь, подает мне Анатолий бумажку, и там написано: «Иоанн имя ему», а в глазах Анатолия такая мольба и надежда, что просто...

– Да уж... Тоже решил в Евангелие поиграть.

– Всё, Ген, Ангела-сопутника, здесь еще люди ждут.

Отойдя от священника, Валерьев подумал, что реплика про игру в Евангелие была груба. И еще он забыл попросить отца Димитрия помолиться о болящем Степане. Но, подумав об этом, подходить вторично постеснялся и, недовольный собой, отправился восвояси.

А Солев по пути домой думал о том, что с ним произошло в церкви, и понимал, что Бог есть, и Он им интересуется, и сомнений в этом быть не могло. Вопрос был в том, как строить отношения с этим проявившимся Богом и нужны ли они. Вариантов ответа на вопрос было несколько, и, дойдя до дому, Миша так ничего и не решил.

Софья Петровна, увидев сына, сообщила, что только что звонила Лена и передала, что Степа вышел из комы и что завтрашняя восьмичасовая встреча не нужна.

«Всё хорошо, – подумал Миша. – Всё хорошо. Крестик снимать не буду, пока Степка не выпишется. А потом надо будет решать... Ладно, всё хорошо».

* * *

На следующее утро Степу перевели в общую палату, а через день вся компания, обзвоненная Леной, пришла его проведать. Когда все встретились на крыльце больницы, Лена, слезливо моргая от выдыхаемого табачного дыма, рассказывала, что Степа почти в порядке, только голос пропал – шепчет. Всех в палату не пустят, туда вообще не пускают, ее и Степину мать пустили – и то с боем, но он должен выйти, он уже может, почти всё в порядке, вот только голос пропал...

Гене было неловко смотреть ей в лицо, и он смотрел на ее сигарету с большим пепельным охвостом, которое наконец отвалилось, обнажив уголь, и тогда Гена всё-таки воровато глянул в лицо Лены и сразу же перевел взгляд на другие лица. Лица эти неприятно ассоциировались с игрой «Словоглоты»: здесь были все, кроме Дрюни Курина. «Интересно, ему не сообщили или он не пошел?» – подумал Валерьев.

Курящие докурили, и все вошли в здание больницы. Вызвали Степу. Забили ему место – одно из коричневых дерматиновых сидений. Подождали. Степа пришел.

Шел он медленно, ладонь была вялая, влажная и холодная, лицо – бледное и в кровавых звездочках. Степа был непривычно молчалив – лишь несколько раз просипел что-то самоироничное – и всё улыбался унылой улыбкой. Когда прощались, он сунул Гене бумажный прямоугольник и шепнул: «Дома прочтешь».

По пути домой Гена вспомнил подробности встречи и с радостью подумал: «Вот тебе и словоглоты! Там все преследовали свои цели, а тут все собрались, чтобы помочь. И какая в них тактичность, чуть ли не нежность! Во всех, не только в Степе, а во всех, и во мне, дураке, была такая хорошая, такая правильная пристыженность!.. Все за всех виноваты – это по Достоевскому, это глубоко». Гена был счастлив, ему хотелось расцеловать всех подряд, потому что такие понятные, такие плотские люди вдруг повернулись к нему неожиданной, очень тонкой и хрупкой гранью, и грань эта была прекрасна.

Дома он прочел Степино письмо.

Здравствуй, Гена.

Знаешь, я даже сам не совсем понимаю, с чего мне взбрело в голову написать тебе письмецо. Как побочные причины – относительный ресурс свободного времени и бумаги, как основные – потребность пообщаться с умным человеком и великим русским писателем (ты, помнится, говорил, что пишешь). Ну а если слегка посерьезней, то самое главное, что движет сейчас мной и авторучкой – это желание сказать спасибо. Сказать спасибо всем, ну и прежде всего, конечно, тебе (как адресату письма) за помощь, за поддержку. Ведь если бы не вы все, то, может быть, сидел бы я сейчас, «счастливый» и с отеком мозга, и не выводил бы эти строки, а капал слюной на бумагу...

Всё-таки как-то всё сентиментально получается, с оттенком наивно-радостной плаксивости второй степени. А ведь меня не покидает ощущение, что я стал старым и умным. Когда у тебя есть свободное время и такой интересный социум, как здесь, в токсикологии, и почти нет голо-са, то просто поневоле начинаешь меньше говорить, а больше слушать и думать. Или начнешь вдруг сравнивать себя с причудливым, но абсолютно бесполезным растением, корни которого уходят в пропитанную фармацевтикой почву, а в вены его листьев каждый день вливают физраствор... И вот так побредишь час-другой и начинаешь ощущать себя самой умной особью в радиусе 20 метров.

Однако писать письмо литератору – штука опасная. Прочитает, ухмыльнется и скажет, что для начала неплохо, есть удавшиеся моменты, а про себя всё раскритикует и сделает пометочку. Бездарность, мол, пустая порода. И попробуй его разубеди. Вот и фильтруешь каждую мысль, осторожно подбираешь слова, опасаясь впасть в бесстилье или не раскрыть тему. Хотя на самом деле ничего я, конечно, не фильтрую. Я сейчас как осциллограф. Лист как лента, ручка движется, подобно игле прибора, беспристрастно фиксируя подъемы и спады мозговой активности. Больше спады.

Я чертовски устал. Устал думать, устал жить, устал от повторений. Чувствуешь себя грязной скомканной бумажкой, попавшей в водоворот эволюции и проносящейся по

спиральным окружностям в неизвестном направлении. Всё повторяется, всё течет и ни хрена особо не изменяется. Вроде всё другое, всё по-новому, а присмотришься – та же осень, те же больничные стены, те же песни по радио. Вернее, не совсем уж те же, но столь же идиотичные и безвкусные. Попадаютя, конечно, отдельные жемчужины, но на каждую такую жемчужину холодильник навоза полагается. А душа хочет чего-то большого и свежего. А из свежего здесь только ветер, рвущийся погреться в палате. Это так, лирично-шизофреничное отступление.

На самом деле всё не так уж дерьмово. Мир прекрасен и удивителен, если глаза пошире раскрыть, а мозги промыть физраствором. Всего лишь взять и воткнуть иглу капельницы не в вену, а в череп. Почему никто еще до этого не додумался? Сколько бы жизней спасли (кажется, опять брежу). С другой стороны, придумал же какой-то умный парень (или не парень) выпускать пираретам (это средство такое, жутко стимулирующее мозговую активность) не в колесах, а в ампулах. Пока колешь четвертую ампулу, поумнеешь настолько, что остановишься. А так, прикинь, взял бы какой-нибудь дебил, проглотил две упаковки сразу, поумнел бы жутко часа на три, написал бы новую библию. И откинулся. И вся бодяга по новому кругу, почти что с самого начала.

Уже виден горизонт листа, а ничего особо умного я, по моему, так и не сказал. Я тут пришел к мысли (не думаю,

чтобы особо свежей), что процесс поумнения проходит через три стадии. Сначала человек говорит, не думая, потом думает, прежде чем сказать, а затем наступает время, когда он подумает и промолчит. Так вот, я безнадежно застрял где-то на второй стадии. Полежать бы тут еще недели две, и тогда, возможно, вместо этой трудночитаемой писанины ты бы получил просто чистый лист бумаги. Может, это было бы самое умное.

Нет, не самое. На этом листе обязательно было бы написано главное, о котором я чуть не забыл. Гена, поезжай в Дивеево вместо меня. Вот что там было бы написано. В ближайшиие выходные наш курс едет в Дивеево от профсоюза. Я тоже записался, а теперь место вакантно. Позвони Мише, узнай подробней и съезди, а я пока полежу и подумаю. Еще раз спасибо. За всё. Пока.

Степа.

Глава двадцать седьмая

Ясным холодным утром, в первую субботу ноября, на старом щербатом асфальте стояло полсотни студентов, ожидающих автобус. Почти то же самое было здесь и три месяца назад, когда отъезжали в «Комету», а холодрыга тогда стояла чуть ли не осенняя – помнишь, Гена?

– Помню. Только девчонки тогда по-другому были одеты.

– Точно, – с улыбкой подтвердил Миша. – А правда, что в монастырь без юбок не пускают?

– Тебя пустят, – пошутил Гена, – а для женщин там есть юбки и платки напрокат, но лучше уж со своими.

– Понятно. А ты откуда знаешь?

– Про что?

– Про юбки напрокат.

– Не помню, кто-то рассказывал.

– А помнишь, как я тебе чуть леску не порвал?

– Какую леску?

– Я выходил из автобуса и зацепился ногой за леску твоей удочки.

– Точно, это уже в «Комете» было. Помню.

Они улыбочиво помолчали.

Миша очень хотел говорить с Геной и вместе с тем чувствовал что-то вроде робости, какое-то неожиданное глупое

стеснение. Чувство это было хорошее, приятное и немного забавное. «Сказать бы ему сейчас, как дети в детском саду говорят: «давай с тобой дружить» или даже «дружиться»... – думал он с улыбкой. – А еще они говорят: «Миришь-миришь и больше не дерись» и сцепляются мизинчиками. А Он говорил: «Будьте как дети». Ладно...» К чему это «ладно», Миша и сам не знал, но повторил его вслух, будто пробуя на вкус, и опять улыбнулся: и солнечное небо, и подъезжающий автобус, и улыбающийся Гена – всё было ладно.

В автобусе сидели вместе; путь был неблизок; Миша по привычке наблюдал за Геной, словно тот до сих пор являлся прототипом, хотя какой уж там прототип, да и рассказ дописан. Солев досадовал на себя за эту наблюдательскую позицию, она мешала ему, и он пытался изжить ее всеми силами. Но не очень-то получалось, ведь Гена Валерьев представлял собой идеальный объект для наблюдения, поскольку наблюдению не препятствовал. На вопросы, обращенные к нему, Гена старательно отвечал, в остальное же время молча смотрел в окно или слушал песни, певшиеся всем автобусом, а когда знал слова – подпевал. Голос у него был неплохой, лучше Мишиного, и еще Миша удивился, что Гена знает песни Цоя и Шевчука.

Приехали как раз к монастырской трапезе – достаточно сытному постному обеду. Помимо университетской экскурсии, трапезничали еще несколько человек, и они молились перед едой и после, и Гена подпевал им, и это казалось

Мише естественным, а вот собственное молчание и молчание остальных студентов переживалось как нечто неуместное и даже постыдное. Проанализировав свои чувства, Солев немало удивился.

Монастырь был большой и красивый, с двумя равновеликими пятикупольными храмами, колокольней и еще какими-то постройками. На территории монастыря толклось много пришлого люда – паломники и туристы. Дама в голубом берете, держа над головой малоформатный российский триколор (зачем это? – а, чтобы не потерялись), вела группу на штурм храма. Некоторые из ведомых приостанавливались, беря на прицел фотоаппарата тот или иной эстетически важный объект, жали на спуск и спешили догнать свою знаменосицу.

– А что, во все монастыри посторонних пускают? – спросил Миша у Гены.

– Во все, – ответил тот, – только посторонние не во все едут... Да-а, трудно здесь, наверное, спастись...

Студенческая группа собралась в полном составе, и экскурсовод начала рассказ о Серафиме Саровском и его обители. Рассказ очень заинтересовал Мишу: раньше он знал только, что есть такой святой, современник Пушкина, очень почитаемый, и видел его икону. Теперь он узнал гораздо больше и потому шел к мощам в некотором волнении. Волнение это объяснялось еще и тем, что он никогда раньше не прикладывался к каким бы то ни было мощам и не знал, как они

выглядят – то ли это скелет, то ли мумия, то ли в гробу закрытом, то ли в открытом, то ли как в «Сказке о мертвой царевне»...

Когда Мише было восемь лет, он поцеловал в лоб мертвого отца – это было незабываемо страшное ощущение. Сразу же после похорон он стал задумываться о том, что происходит в земле с теми, кого туда зарыли, стал расспрашивать, и на почве таких размышлений и расспросов у него случались истерики. А кладбище до сих пор вызывало у Миши пульсирующую пугливо-гадливую нелюбовь. Это было третьей причиной волнения, с которым он шел к мощам Серафима Саровского.

К мощам шли через левый боковой вход собора, и была длинная очередь, и у Миши было достаточно времени поразмышлять, повспоминать и попредошущать. Внутри собора оказалась каменная лестница, и лишь за ней – дверь в левый придел; когда Солев поднимался по лестнице, у него осталось лишь одно чувство: «Скорей бы уж».

Рака с мощами стояла под красивой островерхой сенью, с которой свешивалось множество лампад. Люди кланялись перед ракой земным поклоном, прикладывались к ней и отходили, давая место другим. Миша стоял позади Гены и старался сделать всё так же, как он. Вот Гена поднялся с колен и шагнул к раке, а Миша, перекрестившись, встал на колени и коснулся лбом пола... Миша хотел только одного: всё сделать правильно, это почему-то было очень важно, настоль-

ко важно, что страх, любопытство, нетерпение и другие чувства совершенно вытеснились этим стремлением – всё сделать правильно. И когда он всё сделал правильно и отошел в сторону, он подумал, что смерть – это не всегда страшно. Он не понимал своей мысли, как не понимал и того чувства внезапной нежности, которое он ощутил, увидев сквозь стекло раки контуры накрытого платом человеческого тела. Он вообще мало что понимал – он просто смотрел на разноцветные огоньки лампад над ракой, и огоньки эти лучились и расплывались.

– Ну сколько можно вас ждать?! – услышал Миша сердитый голос экскурсовода и медленно обернулся. – Сколько? До отхода автобуса меньше часа, а нам еще по Канавке пробежаться и сухариков набрать!

– А разве сегодня обратно? – спросил Гена изумленно.

– Конечно, сегодня. И поторопитесь, если хотите, чтобы на Серафимов источник по пути заехали.

– Я останусь до завтра, – твердо сообщил Гена. – Доберусь своим ходом.

– Я тоже до завтра, – сказал вдруг Миша и улыбнулся. – Наши фамилии Солев и Валерьев. Вычеркните, пожалуйста.

Экскурсовод недоуменно посмотрела на молодых людей, подумала и произнесла:

– Хорошо. Это ваши проблемы. Ночевать лучше у бабушек, они здесь недорого берут. Перед отходом автобуса подойдите – я точно скажу, куда идти. Как, еще раз, ваши фа-

милии?

* * *

Экскурсовода, обещавшую помочь с ночлегом, не следовало упускать из виду, раз уж до отхода автобуса осталось меньше часа, и Гена, приглашающе махнув Мише, направился к выходу. «Хорошо, что вчера стипендию дали, – подумал он и, ясно почувствовав промыслительность этого совпадения, добавил: – Слава Богу!» Он приостановился и оглянулся посмотреть, идет ли за ним Солев. Солев шел.

Вообще, Мишино поведение приятно озадачивало Гену. Он боялся предполагать и всё-таки предполагал, что совершается таинство обретения веры, и понимал, что наблюдать за этим таинством нехорошо – на то оно и таинство. Но Валерьев ничего не мог с собой поделаться и с затаенной радостью присматривался к Солеву, параллельно размышляя, что это присматривание, вероятно, отвлекло его от главного – потому-то он почти ничего и не почувствовал, приложившись к великой святыне. «Завтра утром приложусь еще раз», – решил он, крестясь на выходе из храма.

Миша и Гена держались несколько позади университетской группы, не сливаясь с ней; разрыв еще более увеличился, когда Миша, прочитав перед началом Канавки инструкцию по ее прохождению, принялся переписывать на бумажку «Богородице Дево, радуйся...». Гена улыбочиво поджидал и, загибая пальцы, творил молитву.

Наконец тронулись. Канавка представляла собой что-то вроде траншеи, прилизанной временем и поросшей травой, а рядом с ней, по дорожке, против часовой стрелки, тихонько шли паломники, шепча Богородичную молитву. Гена и Миша тоже шли и шептали. Гена чувствовал внутри себя и вовне тихую радость, какая случается изредка во время молитвы, и еще он чувствовал, что идет по кромке пакибытия. Тишина, окутавшая Канавку, была не от мира сего, и потому никакие звуки не могли ее вытеснить, – вот дети выбежали из школы, расположенной внутри Канавки, они шумят, но тишина остается тишиною. Гена дошептал, загнул палец и вновь принялся... Тихо.

– наших не видно, – заметил Миша, окончив путь.

– Пойдем к автобусу, – предложил Гена и спросил, поспешая: – Тебе сколько осталось?

– Сбился. Но ощущения очень странные.

– погоди. Я буду дочитывать.

Молчали почти до самого автобуса, пока Гена не перекрестился и не сказал:

– всё.

Они успели и были направлены экскурсоводом по точному адресу к странноприимной бабушке.

– А далеко до Серафимова источника? – спросил Гена.

– километра три. Но вам лучше с нами не ехать, а зайти к бабушке и договориться точно. Как договоритесь, идите на три ближних источника, сначала на Казанский – как раз

успеете до вечерней службы. А на Серафимов источник лучше завтра, после литургии. И сухариков из чугунка батюшки обязательно возьмите. Канавка и сухарики – это обязательно.

– Спаси Бог, – пробормотал Гена, силясь всё запомнить.

– Причащаться собрались? – полюбопытствовала экскурсовод.

– Да, – ответил Гена, а Миша взглянул на него с интересом.

Экскурсовод вдруг как бы смутилась, произнесла: «С Богом!» – и поспешно села в автобус. Автобус тронулся, а она с жалостью к самой себе подумала: «Автобус – Канавка – сухарики...»

Гена же и Миша пошли искать дом странноприимной бабушки, руководствуясь точным адресом и ориентирами.

В селе Дивеево соседствовали избышки-развалюхи и крепкие срубы, брошенных домов видно не было. Гена и Миша шли по ровной асфальтированной дороге, но почему-то думалось, что она здесь одна такая, а рельеф остальных дорог села определяется колдобинами, лужами и коровьими лепехами. С какого-то двора на всё село громогласно разносилось записанное на магнитофон церковное пение. Может быть, знаменное – Гена не разобрался в этом, слышал только, что знаменное пение теперь принято хвалить, а партесное – ругать. А может быть, наоборот, партесное было – Гена не знал.

– Хорошая деталь для рассказа, – сказал Миша с улыбкой. – Слышишь?

– Слышу, хорошая, – согласился Гена и добавил: – Я и забыл, что ты тоже пишешь.

– Пишу. Надо будет в городе обменяться произведениями.

– Обменяемся. Нам сюда, кажется.

Странноприимная бабушка из домика-развалюшки показала им небольшую комнатку с кроватями. Еще она обратила внимание паломников на будильник, чтобы уж не проспали, а за ночлег попросила очень дешево.

– Скажите, а как до Казанского источника добраться? – поинтересовался Гена на прощание.

– А вот как шли от монастыря до меня, так и идите по той дороге. Дойдете до мостка через речку, перейдете и вертайте направо. Там купальня на берегу деревянная, увидите.

Паломники поблагодарили бабушку и отправились к источнику. Дорога вывела из села в поле – тихое и безлюдное. По полю змеилась речка, виднелся и мост. Солнце висело невысоко и готовилось через часок-другой-третий сесть за горизонт. Но пока оно светило ярко и настойчиво, словно не прошло еще бабье лето.

– А что нужно сделать, чтобы причаститься? – спросил Миша вдруг.

Гена ответил не сразу: он понимал, что вопрос не праздный, что Миша захотел причаститься, и, пожалуй, даже зав-

тра причаститься, – и великое изумление онемело Гену. «Так не бывает!» – подумал он и вспомнил историю своего духовного восхождения от крещения до первой исповеди и причастия – по времени это восхождение заняло года полтора. И до крещения путь был немаленький. А тут, понимаете ли, за какие-то часы... В «Комете» на нем и крестика-то не было, – может, и сейчас нет, и он со всеми кричал: «Распни его!»...

– Ген, я спросил, – напомнил Миша.

– Ты хочешь причаститься? Завтра? – резко уточнил Валерьев.

– Да, – ответил Солев просто.

– А ты читал про зерно, которое быстро взошло?

– Читал. Оно упало в места каменистые, поэтому у всходов не было корня и они завяли на солнце. Так бывает с людьми, которые легко веруют и легко разувериваются.

Они уже не шли – они стояли на дороге и пристально смотрели друг другу в глаза, словно играли в гляделки. Гена моргнул первым, покраснел и сказал:

– Прости меня, Миш. Прости Христа ради.

– Да ладно, Ген, всё правильно. Я и сам понимаю, что слишком быстро. Только я всё равно хочу здесь завтра причаститься.

«Может, ему послезавтра на голову кирпич свалится, а тут я со своей гордынькой влез: рановато, видите ли. Обзавидовался. Дурак», – отчитав себя таким манером, Гена решил

помочь Мише, чем сможет, а уж дальше пусть священник решает.

– Пойдем, – сказал он, – а то стоим, как два барана... На ходу тоже говорить можно.

Они перешли мост и свернули направо.

– Ты веришь, что в литургической Чаше – Тело и Кровь Христовы? Веришь, что во время литургии хлеб и вино преобразуются в Тело и Кровь? – задал Гена главный вопрос.

Задумчиво помолчав, Миша медленно ответил:

– Я верю в Бога, – он примолк, будто прислушиваясь, нет ли в этой фразе фальши, и столь же медленно продолжил, после каждого постулата примолкая и прислушиваясь. – Я верю в то, что Христос – Бог... Я верю в то, что написано в Евангелии... Я верю, что связь между Богом и человеком не нарушена и богообщение возможно... Я верю, что Бог присутствует в православных храмах... Я хочу общаться с Богом так, как это делают православные... Если Христос на тайной вечере сказал, что это Тело и Кровь, и апостол Павел писал, что это Тело и Кровь, и православная Церковь верит, что это Тело и Кровь, – то это Тело и Кровь... Да, это Тело и Кровь.

Окончив свой символ веры, Миша остановился, замер, и на лицо его наплыло испуганное выражение.

– Аминь, – бодро сказал Гена, обернулся, остановился и спросил: – Что с тобой?

– Это Тело и Кровь, – повторил Миша с ужасом. – Тело и Кровь Христа.

– По вкусу как хлеб и вино, не бойся.

– Тело и Кровь Бога! То есть получается, что я могу завтра прикоснуться к Богу?!

– Да. Если тебя священник допустит.

– А что нужно, чтобы допустил?

– К причастию готовятся, – с удовольствием объяснил Гена. – Постятся и молятся, а перед причастием исповедуются. Обычно постятся не менее трех дней, а вечером перед причастием и утром вычитывают каноны и особые молитвы. Обязательно нужно быть на вечерней – на помазании. Ну, на вечерней мы побываем, каноны и молитвы отчитаем, а вот как быть с постом – не знаю. Ты случайно не вегетарианец?

– Нет. Но сегодня у меня на завтрак была овсянка на меду, обед здесь постный был...

– Один день есть, уже неплохо. Только на исповеди не забудь сказать, что постился один день.

– Ладно, скажу.

– Опять стоим! – спохватился Гена. – Ну сколько можно стоять? Мы такими темпами на службу опоздаем.

– Тогда побежали! – как-то по-детски озорно воскликнул Миша и припустил по тропинке к деревянному домику-купальне.

Гена бросился вдогонку.

* * *

– Остался? – изумленно переспросила Софья Петровна. –

До завтра?.. Спасибо, что позвонили... Всего доброго.

Она положила трубку, задумчиво постояла перед онемевшим телефоном и пошла к мужу.

– Что там? – поинтересовался Виктор Семенович.

– Мишина одноклассница звонила. Он в монастыре остался.

– Насовсем? – спросил Женя.

Родители рассмеялись.

– Завтра вернется, – ответила мама. – С ним еще кто-то остался.

– Во дает, путешественник... – пробормотал отец и осторожно улыбнулся, после чего продолжил: – Однако ужин никто не отменял.

– Я сейчас, – спохватилась Софья Петровна и ушла на кухню.

– Устал после церкви? – спросил Виктор Семенович.

– Немножко, – ответил сын.

– Ничего, вот сейчас поедим – и сразу силы прибавится.

– А потом каноны читать?

– А потом каноны... Не боишься исповедоваться?

– Не знаю...

– Не бойся. Я, когда первый раз шел на исповедь, очень боялся. Но у меня грехов было много, воз и маленькая тележка, – вот я и боялся. А ты не бойся.

– Я и не боюсь, – сказал Женя, подумал и добавил: – Просто стыдно. И еще непонятно.

– Всем стыдно исповедоваться, это всегда так. И мне стыдно, и маме стыдно. А непонятно тебе что?

– Непонятно, почему я раньше не исповедовался.

– Тебе же объясняли: до семи лет причащают без исповеди. Помнишь, чей день рождения мы в сентябре отмечали?

– Помню, мой.

– Ну, и что тебе непонятно?

– Я же раньше тоже грешил, до семи лет. Грешил и причащался без исповеди.

– Великий грешник! – иронично воскликнул отец, но была в его восклицании и некая неуверенность. – А вообще, скажи завтра об этом священнику. Если в тех грехах тоже надо исповедоваться, то исповедуйся.

– Я так и хотел.

– Молодец.

Родители читали каноны, передавая молитвослов друг другу: вот мама читает, вот папа, вот опять мама, вот опять папа – а Женя стоял рядом и когда они крестились и кланялись, тоже крестился и кланялся. Наконец, когда папа передавал маме молитвослов, мальчик не выдержал и со слезой в голосе воскликнул:

– Я уже взрослый!

– И что? – строго спросил отец.

– Я умею читать, я тоже хочу!

– Взрослый, а раскричался, как маленький, – строго сказала мать.

– Шестая песнь, – сообщил Виктор Семенович с улыбкой и показал сыну пальцем на шестую песнь. – Не торопись и следи за ударениями, они здесь проставлены.

Дрожа и задыхаясь от волнения, мальчик прочитал шестую песнь покаянного канона и понял, что да, это о нем, о Жене: это он грешник, это его душу могут поймать грозные Ангелы, это ему необходимо прежде смерти покаяться...

На исповедь Женя подошел с тем же чувством, с каким он читал покаянный канон. Он видел свои грехи, их было много, они давили, но он не знал, как начать, и чуть не плакал.

– Что ты? – ласково спросил старенький редкобородый священник, наклоняясь к мальчику и чуть согнув ноги в коленях. – Что ты? Не бойся. Родителей слушаешься?

Женя исповедовался неожиданно долго, так что Виктор Семенович и Софья Петровна несколько раз недоуменно переглядывались. Наконец священник накрыл его голову епитрахилью, прочитал разрешительную молитву и чуть приподнял мальчика, чтобы тот поцеловал крест и Евангелие. Благословив исповедника, батюшка положил ладонь ему на макушку, не удержался и погладил по русым волосам. Женя радостно улыбался сквозь слезы, когда вернулся к родителям.

Солевы причастились, день был солнечный, поздним вечером приехал Миша. Когда Миша приехал, Женя читал вечернее правило по своему собственному молитвослову, который ему купили сегодня. Очень хотелось выбежать к бра-

ту, но так делать нельзя, и вообще отвлекаться нельзя, и Женя продолжил молитву. Он слышал, что Миша и мама с папой о чем-то громко говорят, громко и радостно, но нельзя отвлекаться, нельзя, вот мама плачет и смеется, Женя никогда не слышал, чтобы мама одновременно плакала и смеялась, но нельзя, нельзя, нельзя отвлекаться!.. Почитав правило, Женя лег в одежде на постель поверх одеяла и стал ждать брата.

Брат пришел нескоро, но Женя дождался.

– Не спишь? – спросил Миша.

– Не сплю, – ответил Женя. – Хорошо в монастыре?

– Да, хорошо. Я там причастился сегодня.

– Я догадался. Поздравляю.

– Догадливый какой... – пробормотал Миша, удивленно глядя на брата. – Я тебя тоже поздравляю: мне мама сказала. А вот тебе кто сказал?

– Я просто догадался.

– Ладно... – Миша примолк, чувствуя что-то вроде стеснения или робости, и с трудом продолжил: – Мы редко с тобой говорим, брат... А нам нужно с тобой говорить, я только сегодня это понял.

– Давай поговорим, – сказал Женя. – А про что?

– Сложно так сразу... Не знаю... Наверное, про тебя... У тебя ведь со следующей недели каникулы?

– Да, с завтрашнего дня.

– Вот – каникулы! – оживился Миша, словно это ему и

хотелось выяснить. – Каникулы – штука хорошая. Осенние – маленькие, а вот летние – целых три месяца. У меня осенних каникул нет: студентам не положено – только зимние и летние. А тебе видишь, как повезло... Рад, что каникулы?

– Не знаю, – ответил Женя, внимательно глядя на брата.

– Как это так: «не знаю»? «Не знаю» – это не ответ! Наверное, в школе очень нравится? Учиться очень нравится? Да?

– Нравится.

– Это хорошо, но каникулы тоже нужны... А про садик ты не вспоминаешь? Про детский сад. Не хочется иногда вернуться туда?

Мальчик чуть вздрогнул и пытливо посмотрел на Мишу.

– Почему ты спросил?

– Не знаю, мы же о тебе говорим, а ты недавно в садик ходил... Вообще-то, нет: я понял, почему спросил. Мы уже говорили о твоём садике, несколько месяцев назад, летом, тоже вечером. Ты тогда ещё рассказывал, что под кроватями ползал. И ты меня тогда спросил, помню ли я свой детский сад. Вот почему.

Миша и Женя сидели на Жениной кровати и, нервно дрожа обоюдной дрожью, пристально смотрели друг другу в глаза, словно играли в гляделки.

Женя отвернулся и тихо заплакал, вспомнив свой подкроватный путь, и «крысок» в бассейнишке, и горку с шаровушками...

– Жень, не плачь, – попросил Миша, преодолев горловой

спазм. – Хочешь, мы завтра, прямо завтра, сходим в твой садик? Нас пустят, мы всё там посмотрим... Хочешь?

– Нет, – ответил Женя, помолчав, и улыбнулся сквозь слезы. – Это уже не мой садик. Когда он был моим, я причащался без исповеди. Понимаешь?

1998-2008,

Пенза—Ханты-Мансийск—Санкт-Петербург

Евгений Владимирович Чепкасов

Рецензия на книгу Евгения Валерьевича Чепкасова «Триада»

Началось всё с того, что я занялся вопросом своей родословной. Фамилия у меня редкая, и перевирали ее очень часто, почти всегда. Я даже думал, что некий мой предок, по фамилии Черкасов, писал у буквы «р» слишком короткий хвостик, и так в фамилию закралась ошибка. Но при занятии родословной выяснилось, что Чепкасовых много, что в Ульяновской области есть речка Чепкас и два населенных пункта возле этой речки с производными названиями. Так что версия о «короткохвостом» Черкасове отпала. Попутно выяснилось, что несколько десятков Евгениев Чепкасовых живут на просторах нашей Родины, есть среди них и Владимировичи. Но Владимировичи меня не заинтересовали, речь пойдет не о них, а о том Евгении Чепкасове, который живет в Петербурге и на которого я вышел через группу «Чепкасовы forever» на «Одноклассниках». Прямых родственных связей между нами не прослеживается, и отчество у него другое, и по возрасту он значительно младше меня, но он тоже литературовед (правда, он специализируется на литературе народов Крайнего Севера, а я – на Достоевском). И еще он про-

заик. Разумеется, в такой ситуации я не мог не ознакомиться с тем, что пишет мой тезка и однофамилец.

До сих пор у Чепкасова вышла только одна малотиражная книга «Бухта Баракта» с ранними рассказами и стихами, в предисловии которой «Триада» была проанонсирована. До того с творчеством автора можно было ознакомиться либо в толстых литературных журналах и коллективных сборниках, либо на сайте Чепкасова в Интернете, либо в группе «В контакте» со скромным названием «Чепкасоведение». Надо сказать, что произведения Евгения Чепкасова мне понравились, особенно «Повесть о хромавшем человеке» (в журнале «Наш современник» она опубликована под названием «Хромающий человек. Петербургская повесть»), и я написал об этом в гостевой книге его сайта. Чепкасов ответил мне словами благодарности за рецензию, удивлением по поводу одинаковости наших имен-фамилий, и объяснением, что «Повесть о хромавшем человеке» составлена из рассказа «Кружение» и повести «Врачебница», опубликованных ранее в журнале «Сура», и что в дальнейшем к этим двум произведениям прибавится роман «Детский сад». В целом три произведения составят книгу «Триада» – ту самую, которую вы, уважаемый читатель, держите в руках. Замысел мне понравился, и я предложил автору, когда тот закончит свой труд, прислать его мне на рецензию. Чепкасов согласился, причем моя принадлежность к литературоведению оказалось для него неожиданностью, – должен с прискорбием

констатировать, что моих работ о Достоевском он не читал. Такова предыстория нижеследующей рецензии.

«Триада» – книга весьма сложная. Под сложностью я понимаю не трудность для читательского восприятия, а необходимость интеллектуальных усилий для постижения глубинных слоев подтекста. Как и большинство мастерски написанных произведений, «Триада» выглядит целостно и для тех читателей, которые подтекста не видят, и для тех, которые видят первый его слой, и для тех, которые видят второй, третий...

Композиция «Триады» необычна. Это рассказ, повесть и роман (малая, средняя и крупная формы), причем каждое из произведений достаточно самостоятельно, чтобы быть опубликованным отдельно. Однако в таком случае очень многое потерялось бы, ведь, как известно, целое больше суммы своих частей. Что же такое «Триада» как целое?

Для Евгения Чепкасова характерно стремление к композиционной симметрии, которая является ключом к одному из слоев подтекста. Каждая из трех вещей, составляющих «Триаду», трехчастна.

В «Кружении» каждая часть подразделяется на три, что дает в сумме 9 – число кругов дантова ада, а сам рассказ достаточно прозрачно соотносится с «Адом» из «Божественной комедии». При вдумчивом прочтении можно даже отгадать, какие именно круги ада зашифровал Чепкасов (1-й, 3-й и 5-й, порядковые номера в сумме дают опять-таки 9). Об-

ращать внимание на цифры я стал после прямой подсказки автора, так что удивляться моей проницательности не следует. Но продолжим наши математические упражнения.

Три части повести «Врачебница» подразделяются соответственно на пять, четыре и три, что в сумме дает 12 (число, весьма положительное; вспомните рассуждение мальчика Жени из «Детского сада» об этом числе). На протяжении трех частей так или иначе упоминаются все 7 церковных таинств – они-то и являются мистическим стержнем повести. Соотнесенность «Врачебницы» с «Чистилищем» Данте также имеется, но поскольку по учению Православной Церкви никакого чистилища не существует, очищающую, врачующую функцию в повести выполняет сама Церковь, что ясно из эпиграфа повести («Понеже пришел во врачебницу, да не неисцелен отыдеши»).

А эпиграф романа «Детский сад» («И выслал его Господь Бог из сада Эдемского») прямо указывает на потерянный рай, так что налицо структурное соответствие «Триады» Чепкасова «Божественной комедии» Данте. Кстати, композиция «Детского сада» симметрично усложнена: три части по девять глав в каждой, три в третьей степени. В этом романе троичность проявляется наиболее заметно: три главных героя (Гена Валерьев, Миша и Женя Солевы), три вставных письма (Гены, Владимира Валерьева и Степы), три вставных стихотворения (Гены, Владимира Валерьева и Миши), три сна Артурки (роль третьего сна выполняет сюжет «Сте-

реоскопа»: «Мне бы могло такое присниться», – признается Артурка), три поездки (в студенческий лагерь, Москву и Дивеево), три символических детских игры («Тепло – холодно», «Классики», «Догонялки»), причем все эти композиционные элементы равномерно распределены по трем частям романа.

Необходимо сказать, что «Кружение» и «Врачебница» оканчиваются крохотными текстовыми довесочками, как бы выпадающими из их общей структуры, – вероятно, эти довесочки выполняют функцию надписи «Продолжение следует» – и оно, действительно, следует. А после романа «Детский сад» нет ничего, похожего на эпилог, что придает «Триаде» в целом абсолютную композиционную законченность. Хотя вполне возможно, что автор рассчитывал на мою рецензию как на такой текстовой довесочек, который обеспечивал бы структурную симметрию.

Вообще, приверженность Евгения Чепкасова к троичности почти маниакальна, но в «Триаде» эта приверженность вполне оправданна. Точно так же художественно оправдано постоянное упоминание цифры 4 в «Преступлении и наказании», объяснение чего мы находим четвертой главе четвертой части романа – в истории воскрешения четверодневного Лазаря из «четвертого» Евангелия, прочитанной Соней Раскольникову в своей комнатке на четвертом этаже. Впрочем, мы отвлеклись.

Завершая разговор о композиции «Триады», следует об-

ратить внимание на то, что трехчастное деление в каждом произведении весьма остроумно: в «Кружении» это три троллейбусных круга, во «Врачебнице» это три недели, проведенные главным героем в больнице, а в «Детском саде» это три детских игры, особенности которых символически определяют содержание и динамику каждой части.

Теперь следует сказать о художественном методе Евгения Чепкасова. «Триада» – книга, написанная в духе мистического реализма. Мистический компонент происходящего очень ярок в «Кружении», во «Врачебнице» он эпизодичен, а в «Детском саде» почти сводится на нет, как бы уходя на задний план, но при этом чувствуется, что этот задний план вполне реален. Чепкасов использует и некоторые приемы постмодернизма (литературные аллюзии, внутренние авторы, интеллектуальная игра), но это не более, чем приемы, а игра в «Детском саде» выполняет совсем иную функцию, нежели в постмодернизме. В постмодернизме игра призвана показать несерьезность происходящего, отсутствие твердых ориентиров, идеалов, и, по большому счету, реальности как таковой. А в книге Чепкасова нравственные ориентиры и идеалы весьма твердые, они по ходу действия проверяются жизнью, и истинные выстаивают, а ложные идеи разбиваются о жизнь – совсем как у Достоевского. Игры же в романе Чепкасова выполняют функции символически-мистические, т.е. должны восприниматься очень серьезно.

Творческий принцип, который один из героев Чепкасо-

ва сформулировал по отношению к Достоевскому, применим и к самому автору: «Однако вернемся к тому, что Федор Михайлович сунул тебя лицом в страсти и грязь. Самая естественная реакция в данном случае какая? Встать и отряхнуться. Движение прочь от хорошо описанной грязи – это движение в сторону неопишуемого Бога. А система координат в произведениях Достоевского истинно православная, так что рефлекторное движение читателя предполагается не в сторону какой-нибудь пустой нирваны, а в сторону всепрощающего Христа». Именно благодаря следованию этому принципу в «Триаде» встречается «хорошо описанная грязь». Чепкасову, как ни странно, удастся описывать грязь чистыми средствами, т.е. именно хорошо, а если и встречаются в речи его персонажей не вполне приличные слова, то ситуативно и художественно это вполне оправдано (впрочем, мата в его произведениях нет).

Если цель Чепкасова – «рефлекторное движение читателя», прочитавшего его книгу, «в сторону всепрощающего Христа», то это цель миссионерская, а саму книгу следует признать скрытой проповедью. Это и верно, и неверно. Так называемая «идея» произведения, призванная чему-то «научить» читателя, – чаще всего фикция, т.е. все «идеи» возникают в сознании читателей по прочтении, а не следуют из текста напрямую. Вместе с тем, угол зрения, под которым автор показывает окружающий мир, отсев событий окружающего мира, выбор героев – всё это создает некую виртуаль-

ную вселенную, или «мир художественного произведения», в который читатель начинает верить. И этот мир, действительно, может повлиять на психику читателя так, как это прогнозировал создатель виртуального мира, т.е. писатель. Многие, полюбившие вселенную Достоевского, стали православными христианами, и я вполне допускаю, что с некоторыми читателями Евгения Чепкасова может произойти то же самое. Но это не значит, что Достоевский или Чепкасов сознательно проповедовали в художественной форме и этой цели подчинили свое творчество. На мой взгляд, они, будучи православными, привнесли в свои произведения свой взгляд на мир, свои духовные интересы, симпатии и антипатии. Писатель, если он правдоподобен и увлекателен, заставляет читателя видеть мир его (писателя) глазами – только и всего. Однако мы опять слегка отвлеклись.

По художественной манере все три произведения различаются. «Кружение» богато описаниями, тропами, символами, обладает неторопливостью изложения при мощной сюжетной напряженности и, в целом, высочайшей плотностью текста, оно заиклено на одном герое и в этом смысле монологично. Атмосфера «Врачебницы» более разрежена, в ней нет монополии главного героя на восприятие всех событий, ведущую роль играет не речь автора, проявляющаяся в описаниях, а речи персонажей, т.е. торжествует диалогичность, а главными художественными приемами становятся антитеза и параллелизм, соотносящие события рассказа и повести,

символичность обретает меньшую плотность, время убыстряется. В «Детском саде» происходит синтез первой и второй манер написания, – возможно, это указывает на еще один смысл названия книги: гегелевская триада (тезис, антитезис, синтез), о которой рассуждал бес во «Врачебнице». Например, диалогичность и описательность уравниваются, причем явственно проявляются полифоничность и «плавающая точка зрения», когда происходящее описывается с позиции того или иного персонажа, насыщенность тропами гармонично усредняется, время течет с разгоном от медленного до очень быстрого, разгоняясь от части к части, но в последних («выездных») главах каждой части оно симметрично замедляется.

Чтобы проиллюстрировать символичность чепкасовской прозы, приведу небольшой пример: дядя Паша едет в троллейбусе и перебирает в памяти «цветные лоскутки воспоминаний о детстве». Он вспоминает, как однажды какой-то мальчик в детском саду нарисовал свастику, и воспитательница на глазах у других детей разорвала этот рисунок. «Сам Пашенька рисовал хорошо. Особенно ему удавались богатыри: на коне, с мечом-кладенцом или копьем, они кололи драконов в брюхо или рубили им головы. Воспитательница не раз поручала Пашеньке копировать простенькие рисунки из какой-то заветной книжечки, что было очень почетно. Один из них хорошо запомнился: воздушный бой, фашистский самолет, разорванный взрывом надвое, словно он был бумаж-

ным, и наш самолет-победитель. Пашенька скопировал всё очень похоже и тщательно закрасил клетчатое небо голубым карандашом, хотя этого и не требовалось. Когда детсадовцев выводили на прогулку, Пашенька часто смотрел в небо каким-то вопрошающим взглядом. Затем его забирала мама». И почему фашистский самолет разорван «словно бумажный», и почему небо «клетчатое», не требующее цвета, и почему взгляд в настоящее небо «вопрошающий», и что это за богатырь на коне, колющий дракона копьём в брюхо, и почему позднее, в кошмаре дяди Паши, с кровати свешивается «некто трехголовый», а падшему юноше хочется «убить гадину» – всё это составляет символический уровень рассказа, и этот уровень нужно уметь видеть, если читатель действительно пытлив.

О сюжетах и героях трех произведений Чепкасова можно говорить долго – не думаю, что в рамках этой рецензии имеет смысл затевать столь длинный разговор. Скажу только, что сюжеты увлекательны и целостны, даже если не брать в расчет подтекста, а герои характерны и живописны. «Кружение» и «Врачебница» объединены главным героем (дядей Пашей – Павлом), а в «Детском саде» главные герои другие, поэтому связь между первыми двумя произведениями заметнее, но роман всё-таки не отрывается от них: есть общие герои, перекличка с описанными ранее событиями и, наконец, композиционное единство.

И еще кое-что о троичности. Скорее всего, так получи-

лось случайно, но имя, фамилия и название книги – это не просто три слова, но три стопы амфибрахия. Евгений Чепкасов, «Триада». Стопа амфибрахия, кстати, это единственная симметричная стопа в силлабо-тонической системе стихосложения: безударный – ударный – безударный, весомое тело ударного слога и два крыла по бокам.

Я не сомневаюсь, что книга «Триада» увидит свет, и вот какая мысль пришла мне в голову: если мой тезка и однофамилец сможет участвовать в ее допечатной подготовке, то...

Не удивлюсь, совсем не удивлюсь, если в выходных данных книги окажутся столь любимые автором тройки и девятки. Если же я ничего такого не обнаружу, то сильно порадуюсь за автора, который избавился от триадического пунктика и не допустил забавных излишеств.

Однако пора подводить итоги. «Триада», на мой взгляд, – это очень мощная книга, особенно если учесть, что ее автор весьма молод. Надеюсь, что читатели, литературная критика и литературоведение не оставят без внимания эту книгу, и ее чтение, обсуждение и изучение продолжатся. А я, со своей стороны, должен признаться, что писатель Евгений Валерьевич Чепкасов оказался в сфере моих научных интересов – и надеюсь, что надолго.

Москва, 2010

СОДЕРЖАНИЕ

Об авторе. О книге.

ТРИАДА

I. Кружение. *Рассказ*

Круг первый. Сумерки

Круг второй. Вечер дня

Круг третий. Ночная темнота

Вне кругов. Свет

II. Врачебница. *Повесть*

Неделя первая

Неделя вторая

Неделя третья

Рецепт

III. Детский сад. *Роман*

Часть первая. Тепло – холодно

Часть вторая. Классики

Часть третья. Догонялки

**Евгений Владимирович Чепкасов. Рецензия на книгу
Евгения Валерьевича Чепкасова «Триада»**

ПРИМЕЧАНИЯ

- * Поскольку пришел в больницу, да не уйдешь неисцеленным (церковнославянский язык).
- * Веси – ведаешь, знаешь (церковнославянский язык).
- * Ны – нас (церковнославянский язык).

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Впечатления от прочитанного просьба оставлять в группе «Чепкасоведение» социальной сети «В контакте» или отправлять по электронной почте shaman007@mail.ru. Автор ищет возможность переиздания книги «Триада» большим тиражом.

Все права на книгу принадлежат автору.

© Чепкасов Е.В., текст, 2016

© Савельева С.Ю., рисунок, 2016

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ КНИГИ

Электронная книга публикуется по изданию:

Чепкасов Е.В.

Триада: Кружение. Врачебница. Детский сад: Рассказ, повесть, роман. – СПб.: Издательство «Написано пером», 2014. – 479 с.

ISBN 978-5-00071-104-0

Другие издания книги:

Чепкасов Е.В.

Триада: Кружение. Врачебница. Детский сад: Рассказ, повесть, роман. – СПб.: Издательство «Звездное», 2012. – 432 с.

ISBN 978-5-9903249-3-0

Чепкасов Е.В.

Триада: Кружение. Врачебница. Детский сад: Рассказ, повесть, роман. – Toronto: Altaspera Publishing, 2014. – 467 с.

ISBN 978-1-304-84282-4

